This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

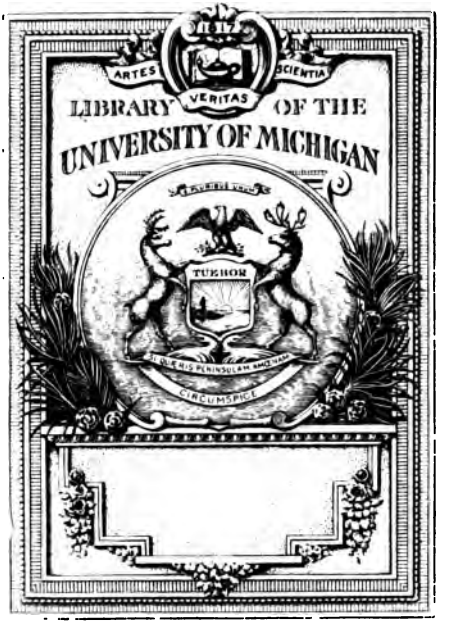
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470682 DUP


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

89
T9
03

И. С. ТУРГЕНЕВЪ

Томъ II.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

ТОМЪ II.

Посмертное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Глазунова, Казанская ул., 8.

1883.

Собственность Глазунова.

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

185220

СОДЕРЖАНІЕ

ВТОРОГО ТОМА:

	стр.
ХОРЬ и КАЛИНЫЧЪ	1
ЕРМОЛАЙ и МЕЛЬНИЧИХА	17
МАЛИНОВАЯ ВОДА	32
УѢЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ	45
МОЙ СОСѢДЪ РАДИЛОВЪ	57
ОДНОДВОРЕЦЪ ОВСЯНИКОВЪ	67
ЛЬГОВЪ	89
БѢЖИНЪ ЛУГЪ	103
КАСЬЯНЪ съ КРАСИВОЙ МЕЧИ	130
БУРМИСТРЪ	154
КОНТОРА	171
БИРЮКЪ	193
ДВА ПОМѢЩИКА	204
ЛЕБЕДЯНЬ	215
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА и ЕЯ ПЛЕМЯННИКЪ	231
СМЕРТЬ	246
ПѢВЦЫ	261
ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ КАРАТАЕВЪ	285
СВИДАНІЕ	304
ГАМЛЕТЪ ЩИГРОВСКАГО УѢЗДА	316
ЧЕРТОПХАНОВЪ и НЕДОПЮСКИНЪ	348
КОНЕЦЪ ЧЕРТОПХАНОВА	371
ЖИВЫЯ МОЩИ	414
СТУЧИТЪ!	431
ЛѢСЪ и СТЕПЬ	450—458

ХОРЬ и КАЛИНЫЧЪ.

Кому случалось изъ болховскаго уѣзда перебираться въ жиздринскій, того, вѣроятно, поражала рѣзкая разница между породой людей въ орловской губерніи и калужской породой. Орловскій мужикъ не великъ ростомъ, сутуловатъ, угрюмъ, глядитъ изъ-подлобья, живетъ въ дрянныхъ осиновыхъ избенкахъ, ходитъ на барщину, торговлей не занимается, ѣстъ плохо, носитъ лапти; калужскій оброчный мужикъ обитаетъ въ просторныхъ сосновыхъ избахъ, высокъ ростомъ, глядитъ смѣло и весело, лицомъ чистъ и бѣлъ, торгуетъ масломъ и дегтемъ и по праздникамъ ходитъ въ сапогахъ. Орловская деревня (мы говоримъ о восточной части орловской губерніи) обыкновенно расположена среди распаханныхъ полей, близъ оврага, коекакъ превращеннаго въ грязный прудъ. Кромѣ немногихъ ракитъ, всегда готовыхъ къ услугамъ, да двухъ-трехъ тощихъ березъ, деревца на версту кругомъ не увидишь; изба лѣпится къ избѣ, крыши закиданы гнилой соломой.... Калужская деревня, напротивъ, большею частью окружена лѣсомъ; избы стоятъ вольнѣй и прямѣй, крыты тесомъ; ворота плотно запираются, плетень на задворкѣ не разметанъ и не вываливается наружу, не зоветъ въ гости всякую прохожую свинью.... И для охотника въ калужской

губерніи лучше. Въ орловской губерніи послѣдніе лѣса и площадя́ *) исчезнутъ лѣтъ черезъ пять, а болотъ и въ поминѣ нѣтъ; въ калужской, напротивъ, засѣки тянутся на сотни, болота на десятки верстъ, и не перевелась еще благородная птица — тетеревъ, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своимъ порывистымъ взлетомъ веселитъ и пугаетъ стрѣлка́ и собаку.

Въ качествѣ охотника посѣщая жиздринскій уѣздъ, сошелся я въ полѣ и познакомился съ однимъ калужскимъ мелкимъ помѣщикомъ, Полутыкинымъ, страстнымъ охотникомъ и, слѣдовательно, отличнымъ человѣкомъ. Водились за нимъ, правда, нѣкоторыя слабости: онъ, напримѣръ, сватался за всѣхъ богатыхъ невѣстъ въ губерніи и, получивъ отказъ отъ руки и отъ дому, съ сокрушеннымъ сердцемъ довѣрялъ свое горе всѣмъ друзьямъ и знакомымъ, а родителямъ невѣстъ продолжалъ посылать въ подарокъ кислые персики и другія сырыя произведенія своего сада; любилъ повторять одинъ и тотъ же анекдотъ, который, несмотря на уваженіе г-на Полутыкина къ его достоинствамъ, рѣшительно никогда никого не смѣшилъ; хвалилъ сочиненіе Акима Нахимова и повѣсть: *Пинну*; заикался; называлъ свою собаку Астрономомъ; вмѣсто *однако* говорилъ *одначе*, и завелъ у себя въ домѣ французскую кухню, тайна которой, по понятіямъ его повара, состояла въ полномъ измѣненіи естественнаго вкуса каждаго кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохомъ; за то ни одна морковка не попадала въ супъ, не принявъ вида ромба или трапеціи. Но, за исключеніемъ этихъ немногихъ и

*) «Площадями» называются въ орловской губерніи большія сплошныя массы кустовъ; орловское нарѣчіе отличается вообще множествомъ своеобытныхъ, иногда весьма мѣткихъ, иногда довольно безобразныхъ, словъ и оборотовъ.

незначительныхъ недостатковъ, г-нъ Полутыкинъ былъ, какъ уже сказано, отличный человѣкъ.

Въ первый же день моего знакомства съ г. Полутыкинымъ, онъ пригласилъ меня на ночь къ себѣ.

— До меня верстъ пять будетъ, — прибавилъ онъ: — пѣшкомъ идти далеко; зайдемте сперва къ Хорю. (Читатель позволитъ мнѣ не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужикъ.... Онъ отсюда близехонько.

Мы отправились къ нему. Посреди лѣса, на расчищенной и разработанной полянѣ, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла изъ нѣсколькихъ сосновыхъ срубовъ, соединенныхъ заборами; передъ главной избой тянулся навѣсъ, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Насъ встрѣтилъ молодой парень, лѣтъ двадцати, высокій и красивый.

— А, Ѳедя! дома Хорь? — спросилъ его г-нъ Полутыкинъ.

— Нѣтъ. Хорь въ городъ уѣхалъ,—отвѣчалъ парень, улыбаясь и показывая рядъ бѣлыхъ, какъ снѣгъ зубовъ.— Телѣжку заложить прикажете?

— Да, братъ, телѣжку. Да принеси намъ квасу.

Мы вошли въ избу. Ни одна суздальская картина не залѣпляла чистыхъ бревенчатыхъ стѣнъ; въ углу, передъ тяжелымъ образомъ въ серебряномъ окладѣ, теплилась лампадка; липовый столъ недавно былъ выскобленъ и вымытъ; между бревнами и по косякамъ оконъ не скиталось рѣзвыхъ прусаковъ, не скрывалось задумчивыхъ таракановъ. Молодой парень скоро появился съ большой бѣлой кружкой, наполненной хорошимъ квасомъ, съ огромнымъ ломтемъ пшеничнаго хлѣба и съ дюжиной соленыхъ огурцовъ въ деревянной мискѣ. Онъ поставилъ всѣ эти припасы на столъ, прислонился къ двери и началъ съ улыбкой на

*

Собственность Глазунова.

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

185120

налъ я послѣ) каждый день ходилъ съ бариномъ на охоту, носилъ его сумку, иногда и ружье, замѣчалъ, гдѣ садится птица, доставалъ воды, набиралъ земляники, устроивалъ шалаши, бѣгалъ за дрожками; безъ него г-нъ Полутыкинъ шагу ступить не могъ. Калинычъ былъ человѣкъ самаго веселаго, самаго кроткаго нрава, безпрестанно попѣвалъ вполголоса, беззаботно поглядывалъ во всѣ стороны, говорилъ немного въ носъ, улыбаясь прищуривалъ свои свѣтло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходилъ онъ не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. Въ теченіи дня онъ не разъ заговаривалъ со мною, услуживалъ мнѣ безъ раболѣпства, но за бариномъ наблюдалъ, какъ за ребенкомъ. Когда невыносимый полуденный зной заставилъ насъ искать убѣжища, онъ свелъ насъ на свою пасѣку, въ самую глушь лѣса. Калинычъ отворилъ намъ избушку, увѣшанную пучками сухихъ душистыхъ травъ, уложилъ насъ на свѣжемъ сѣнѣ, а самъ надѣлъ на голову родъ мѣшка съ сѣткой, взялъ ножъ, горшокъ и головешку и отправился на пасѣку вырѣзать памъ сотъ. Мы запили прозрачный, теплый медъ ключевой водой и заснули подъ однообразное жужжанье пчелъ и болтливый лепетъ листьевъ. — Легкій порывъ вѣтерка разбудилъ меня.... Я открылъ глаза и увидѣлъ Калиныча: онъ сидѣлъ на порогѣ полураскрытой двери и ножомъ вырѣзывалъ ложку. Я долго любовался его лицомъ, кроткимъ и яснымъ, какъ вечернее небо. Г-нъ Полутыкинъ тоже проснулся. Мы не тотчасъ встали. Пріятно послѣ долгой ходьбы и глубокаго сна лежать неподвижно на сѣнѣ: тѣло нѣжится и томится, легкимъ жаромъ пышетъ лицо, сладкая лѣнь смыкаетъ глаза. Наконецъ, мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужиномъ я заговорилъ опять о Хорѣ да о Калинычѣ. «Калинычъ—добрый

мужикъ», сказалъ мнѣ г. Полутыкинъ: — «усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности одначе содержать не можетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходитъ... Какое ужъ тутъ хозяйство,— посудите сами». — Я съ нимъ согласился, и мы легли спать.

На другой день г-нъ Полутыкинъ принужденъ былъ отправиться въ городъ по дѣлу съ сосѣдомъ Пичуковымъ. Сосѣдъ Пичуковъ запахалъ у него землю и на запаханной землѣ высѣкъ его же бабу. На охоту поѣхалъ я одинъ и передъ вечеромъ завернулъ къ Хорю. На порогѣ избы встрѣтилъ меня старикъ—лысый, низкаго роста, плечистый и плотный — самъ Хорь. Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на этого Хоря. Складъ его лица напоминалъ Сократа: такой же высокій, шишковатый лобъ, такіе же маленькіе глазки, такой же курносый носъ. Мы вошли вмѣстѣ въ избу. Тотъ же Ѳедя принесъ мнѣ молока съ чернымъ хлѣбомъ. Хорь присѣлъ на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступилъ со мною въ разговоръ. Онъ, казалось, чувствовалъ свое достоинство, говорилъ и двигался медленно, изрѣдка посмѣивался изъ-подъ длинныхъ своихъ усовъ.

Мы съ нимъ толковали о посѣвѣ, объ урожаѣ, о крестьянскомъ бытѣ.... Онъ со мной все какъ-будто соглашался; только потомъ мнѣ становилось совѣстно, и я чувствовалъ, что говорю не то.... Такъ оно какъ-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть изъ осторожности.... Вотъ вамъ образчикъ нашего разговора:

— Послушай-ка Хорь, — говорилъ я ему:—отчего ты не откупишься отъ своего барина?

— А для чего мнѣ откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброкъ свой знаю... баринъ у насъ хорошій.

— Все же лучше на свободѣ,—замѣтилъ я.

Хорь посмотрѣлъ на меня съ боку.

— Вѣстимо,—проговорилъ онъ.

— Ну, такъ отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутилъ головой.

— Чѣмъ, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина....

— Попалъ Хорь въ вольные люди, продолжалъ онъ въ полголоса, какъ будто про себя: — кто безъ бороды живетъ, тотъ Хорю и нàбольшій.

— А ты самъ бороду сбрѣй.

— Что̀ борода? борода—трава: скосить можно.

— Ну, такъ что-жъ?

— А, знать, Хорь прямо въ купцы попадетъ; купцамъто жизнь хорошая, да и тѣ въ бородахъ.

— А что̀, вѣдь ты тоже торговлей занимаешься?—спросилъ я его.

— Торгуемъ по-маленьку маслишкомъ, да дегтишкомъ... Что же, телѣжку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крѣпокъ ты на языкъ и человѣкъ себѣ-на-умѣ», подумалъ я. — Нѣтъ, сказа́лъ я вслухъ: — телѣжки мнѣ не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя въ сѣнномъ сараѣ.

— Милости просимъ. Да покойно ли тебѣ будетъ въ сараѣ? Я прикажу бабамъ постлать тебѣ простыню и положить подушку.—Эй, бабы!—вскричалъ онъ, поднимаясь съ мѣста: — сюда, бабы!... А ты, Ѳедя, поди съ ними. Бабы, вѣдь, народъ глупый.

Четверть часа спустя, Ѳедя съ фонаремъ проводилъ меня въ сарай. Я бросился на душистое сѣно, собака свернулась у ногъ моихъ; Ѳедя пожелалъ мнѣ доброй ночи, дверь заскрипѣла и захлопнулась. Я довольно долго не могъ заснуть. Корова подошла къ двери, шумно дох-

нула раза два; собака съ достоинствомъ на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь гдѣ-то въ близости стала жевать сѣно и фыркать.... я наконецъ задремалъ.

На зарѣ Ѳедя разбудилъ меня. Этотъ веселый, бойкій парень очень мнѣ правился; да и, сколько я могъ замѣтить, у стараго Хоря онъ тоже былъ любимцемъ. Они оба весьма любезно другъ надъ другомъ подтрунивали. Старикъ вышелъ ко мнѣ на встрѣчу. Отъ того ли, что я провелъ ночь подъ его кровомъ, по другой ли какой причинѣ, только Хорь гораздо ласковѣе вчерашняго обошелся со мной.

— Самоваръ тебѣ готовъ,—сказалъ онъ мнѣ съ улыбкой:—пойдемъ чай пить.

Мы усѣлись около стола. Здоровая баба, одна изъ его невѣстокъ, принесла горшокъ съ молокомъ. Всѣ его сыновья поочередно входили въ избу.—«Что у тебя за рослый народъ!» замѣтилъ я старику.

— Да,—промолвилъ онъ, откусывая крошечный кусокъ сахару: — на меня, да на мою старуху жаловаться, кажись, имъ нечего.

— И всѣ съ тобой живутъ?

— Всѣ. Сами хотятъ, такъ и живутъ.

— И всѣ женаты?

— Вонъ одинъ, пострѣлъ, не женится,—отвѣчалъ онъ, указывая на Ѳедю, который по прежнему прислонился къ двери.—Васька, тотъ еще молодъ, тому погодить можно.

— А что мнѣ жениться? — возразилъ Ѳедя: — мнѣ и такъ хорошо. На что мнѣ жена? Лаяться съ ней, что-ли?

— Ну, ужъ ты.... ужъ я тебя знаю! кольца серебряныя носишь... Тебѣ бы все съ дворовыми дѣвками нюхаться.... «Полноте, безстыдники!» продолжалъ старикъ,

передразнивая горничныхъ.—Ужъ я тебя знаю, бѣлоручка ты этакой!

— А въ бабѣ-то что хорошаго?

— Баба — работница,—важно замѣтилъ Хорь.—Баба мужику слуга.

— Да на что мнѣ работница?

— То-то, чужими руками жаръ загребать любишь. Знаемъ мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли такъ. А? что! Что-жъ ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагуръ. Вишь, барина мы съ тобой безпокоимъ. Женю, небось.... А ты, батюшка, не гнѣвись: дитятко, видишь, малое, разуму не успѣло набраться.

Ѳедя покачалъ головой....

— Дома Хорь?—раздался за дверью знакомый голосъ,— и Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую нарвалъ онъ для своего друга, Хоря. Старикъ радушно его привѣтствовалъ. Я съ изумленіемъ поглядѣлъ на Калиныча: признаюсь, я не ожидалъ такихъ «нѣжностей» отъ мужика.

Я въ этотъ день пошелъ на охоту часами четырьмя позднѣе обыкновеннаго и слѣдующіе три дня провелъ у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чѣмъ я заслужилъ ихъ довѣріе, но они непринужденно разговаривали со мной. Я съ удовольствіемъ слушалъ ихъ и наблюдалъ за ними. Оба пріятеля нисколько не походили другъ на друга. Хорь былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, то-есть: обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями;

Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ. Хорь расплодилъ большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой онъ боялся, а дѣтей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина; Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ. Хорь любилъ Калиныча и оказывалъ ему покровительство; Калинычъ любилъ и уважалъ Хоря. Хорь говорилъ мало, посмѣивался и разумѣлъ про себя; Калинычъ объяснялся съ жаромъ, хотя и не пѣлъ соловьемъ, какъ бойкій фабричный человѣкъ.... Но Калинычъ былъ одаренъ преимуществами, которыя признавалъ самъ Хорь, напримѣръ: онъ заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мнѣ попросилъ его ввести въ конюшню новокупленную лошадь, и Калинычъ съ добросовѣстною важностью исполнилъ просьбу стараго скептика. Калинычъ стоялъ ближе къ природѣ; Хорь же — къ людямъ, къ обществу; Калинычъ не любилъ разсуждать и всему вѣрилъ слѣпо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрѣнія на жизнь. Онъ много видѣлъ, много зналъ, и отъ него я многому научился. Напримѣръ: изъ его разсказовъ узналъ я, что каждое лѣто, передъ покосомъ, появляется въ деревняхъ небольшая телѣжка особеннаго вида. Въ этой телѣжкѣ сидитъ человѣкъ въ кафтанѣ и продаетъ косы. На наличныя деньги онъ беретъ рубль двадцать пять копѣекъ — полтора рубля ассигнаціями; въ долгъ—три рубля и цѣлковый. Всѣ мужики, разумѣется, берутъ у него въ долгъ. Черезъ двѣ-три недѣли онъ появляется снова и требуетъ денегъ. У мужика овесъ только-что скошенъ, стало быть заплатить есть чѣмъ, онъ идетъ съ купцомъ въ кабакъ, и тамъ уже расплачивается. Иные помѣщики вздумали-было покупать сами косы на наличныя деньги и раздавать въ долгъ мужикамъ по той же

цѣнѣ; но мужики оказались недовольными и даже впали въ уныніе; ихъ лишали удовольствія щелкать по косѣ, прислушиваться, перевертывать ее въ рукахъ и разъ двадцать спросить у плутоватаго мѣщанина-продавца: «а что, малый, коса-то не больно того?»—Тѣ же самыя продѣлки происходятъ и при покупкѣ серповъ, съ тою только разницей, что тутъ бабы вмѣшиваются въ дѣло и доводятъ иногда самого продавца до необходимости, для ихъ же пользы, поколотить ихъ. Но болѣе всего страдаютъ бабы вотъ при какомъ случаѣ. Поставщики матеріала на бумажныя фабрики поручаютъ закупку тряпья особеннаго рода людямъ, которые въ иныхъ уѣздахъ называются «орлами». Такой «орелъ» получаетъ отъ купца рублей двѣсти ассигнаціями и отправляется на добычу. Но, въ противность благородной птицѣ, отъ которой онъ получилъ свое имя, онъ не нападаетъ открыто и смѣло: напротивъ, «орелъ» прибѣгаетъ къ хитрости и лукавству. Онъ оставляетъ свою телѣжку гдѣ-нибудь въ кустахъ около деревни, а самъ отправляется по задворьямъ да по задамъ, словно прохожій какой-нибудь, или просто праздношатающійся. Бабы чутьемъ угадываютъ его приближенье и крадутся къ нему на встрѣчу. Въ-торопяхъ совершается торговая сдѣлка. За нѣсколько мѣдныхъ грошей баба отдаетъ «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную поневу. Въ послѣднее время бабы нашли выгоднымъ красть у самихъ себя и сбывать такимъ образомъ пеньку, въ особенности «замашки»,—важное распространеніе и усовершенствованіе промышленности «орловъ!» Но за то мужики, въ свою очередь, навострились, и при малѣйшемъ подозрѣніи, при одномъ отдаленномъ слухѣ о появленіи «орла», быстро и живо приступаютъ къ исправительнымъ и предохранительнымъ мѣрамъ. И, въ самомъ дѣлѣ, не обидно ли?

Пеньку продавать ихъ дѣло,—и они ее точно продаютъ—не въ городѣ,—въ городъ надо самимъ тащиться, а пріѣзжимъ торгашамъ, которые, за неимѣніемъ безмѣна, считаютъ пудъ въ сорокъ горстей — а вы знаете, что̀ за горсть и что̀ за ладонь у русскаго человѣка, особенно, когда онъ «усердствуетъ!» — Такихъ разсказовъ я, человѣкъ неопытный и въ деревнѣ не «живалый» (какъ у насъ въ Орлѣ говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все разсказывалъ, онъ самъ меня разспрашивалъ о многомъ. Узналъ онъ, что я бывалъ за границей, и любопытство его разгорѣлось.... Калинычъ отъ него не отставалъ; но Калиныча болѣе трогали описанія природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку:—«Что̀, у нихъ это тамъ есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?... Ну, говори, батюшка,—какъ-же?...»—«А! ахъ, Господи, твоя воля!» восклицалъ Калинычъ во время моего разсказа; Хорь молчалъ, хмурилъ густыя брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что «дескать это у насъ не шло-бы, а вотъ это хорошо—это порядокъ».—Всѣхъ его разспросовъ я передать вамъ не могу, да и незачѣмъ; но изъ нашихъ разговоровъ я вынесъ одно убѣжденье, котораго, вѣроятно, никакъ не ожидаютъ читатели,—убѣжденье, что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что онъ не прочь и поломать себя: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Что̀ хорошо—то ему и нравится, что̀ разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ,—ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ. Бла-

годаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорилъ со мной о многомъ, чего изъ другого рычагомъ не выворотишь, какъ выражаются мужики, жерновомъ не вымелешь. Онъ дѣйствительно понималъ свое положенье. Толкуя съ Хоремъ, я въ первый разъ услышалъ простую, умную рѣчь русскаго мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать онъ не умѣлъ; Калинычъ — умѣлъ. «Этому шалопаю грамота далась», замѣтилъ Хорь: — «у него и пчелы отродясь не мерли».—«А дѣтей ты своихъ выучилъ грамотѣ?»—Хорь помолчалъ.—«Ѳедя знаетъ».—«А другіе!»—«Другіе не знаютъ».—«А что?»—Старикъ не отвѣчалъ и перемѣнилъ разговоръ. Впрочемъ, какъ онъ уменъ ни былъ, водились и за нимъ многіе предразсудки и предубѣжденія. Бабъ онъ, напримѣръ, презиралъ отъ глубины души, а въ веселый часъ тѣшился и издѣвался надъ ними. Жена его, старая и сварливая, цѣлый день не сходила съ печи и безпрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее вниманія, но невѣстокъ она содержала въ страхѣ Божіемъ. Не даромъ въ русской пѣсенкѣ свекровь поетъ: «Какой ты мнѣ сынъ, какой семьянинъ! не бьешь ты жены, не бьешь молодой....» Я разъ было вздумалъ заступиться за невѣстокъ, попытался возбудить состраданіе Хоря; но онъ спокойно возразилъ мнѣ, что «охота-де вамъ такими.... пустяками заниматься,— пускай бабы ссорятся.... Ихъ что разнимать— то хуже, да и рукъ марать не стоитъ». Иногда злая старуха слѣзала съ печи, вызывала изъ сѣней дворовую собаку, приговаривая: «сюды, сюды, собачка!» и била ее по худой спинѣ кочергой, или становилась подъ навѣсъ и «лаялась», какъ выражался Хорь, со всѣми проходящими. Мужа своего она, однакоже, боялась и, по его приказанію, убиралась къ себѣ на печь. Но особенно любопытно

было послушать споръ Калиныча съ Хоремъ, когда дѣло доходило до г-на Полутыкина.—«Ужъ ты, Хорь, у меня его не трогай», говорилъ Калинычъ. — «А что-жъ онъ тебѣ сапоговъ не сошьетъ?» возражалъ тотъ.—«Эка, сапоги!... на что мнѣ сапоги? Я мужикъ....»—«Да вотъ и я мужикъ, а вишь....» При этомъ словѣ Хорь поднималъ свою ногу и показывалъ Калинычу сапогъ, скроенный вѣроятно изъ мамонтовой кожи.—«Эхъ, да ты развѣ нашъ братъ!» отвѣчалъ Калинычъ. — «Ну, хоть-бы на лапти далъ: вѣдь, ты съ нимъ на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Онъ мнѣ даетъ на лапти». — «Да, въ прошломъ году гривенникъ пожаловалъ». Калинычъ съ досадой отворачивался, а Хорь заливался смѣхомъ, причемъ его маленькіе глазки исчезали совершенно.

Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и поигрывалъ на балалайкѣ. Хорь слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: «Доля ты моя, доля!» Ѳедя не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. «Чего, старикъ, разжалобился?» Но Хорь подпиралъ щеку рукой, закрывалъ глаза и продолжалъ жаловаться на свою долю.... За то, въ другое время, не было человѣка дѣятельнѣе его: вѣчно надъ чѣмъ-нибудь копается — телѣгу чинитъ, заборъ подпираетъ, сбрую пересматриваетъ. Особенной чистоты онъ, однако, не придерживался и на мои замѣчанія отвѣчалъ мнѣ однажды, что «надо-де избѣ жильемъ пахнуть».

— Посмотри-ка,—возразилъ я ему:—какъ у Калиныча на пасѣкѣ чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказалъ онъ со вздохомъ.

— А что, спросилъ онъ меня въ другой разъ:—у тебя своя вотчина есть?—«Есть».—«Далеко отсюда?»—«Верстъ

сто».—«Что же ты, батюшка, живешь въ своей вотчинѣ?»—«Живу».—«А больше, чай, ружьемъ пробавляешься?» —«Признаться, да».—«И хорошо, батюшка, дѣлаешь; стрѣляй себѣ на здоровье тетеревовъ, да старосту мѣняй почаще».

На четвертый день, вечеромъ, г. Полутыкинъ прислалъ за мной. Жаль мнѣ было разставаться съ старикомъ. Вмѣстѣ съ Калинычемъ сѣлъ я въ телѣгу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоровъ, сказалъ я.... «Прощай, Ѳедя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай насъ». Мы поѣхали; заря только-что разгоралась.—«Славная погода завтра будетъ», замѣтилъ я, глядя на свѣтлое небо.—«Нѣтъ, дождь пойдетъ», возразилъ мнѣ Калинычъ:—«утки вонъ плещутся, да и трава больно сильно пахнетъ». — Мы въѣхали въ кусты. Калинычъ запѣлъ вполголоса, подпрыгивая на облучкѣ, и все глядѣлъ, да глядѣлъ на зарю....

На другой день я покинулъ гостепріимный кровъ г-на Полутыкина.

ЕРМОЛАЙ и МЕЛЬНИЧИХА.

ВЕЧЕРОМЪ мы съ охотникомъ Ермолаемъ отправились на «тягу».... Но, можетъ-быть, не всѣ мои читатели знаютъ, что̀ такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захожденія солнца, весной, вы входите въ рощу, съ ружьемъ, безъ собаки. Вы отыскиваете себѣ мѣсто гдѣ-нибудь подлѣ опушки, оглядываетесь, осматриваете пистонъ, перемигиваетесь съ товарищемъ. Четверть часа прошло. Солнце сѣло, но въ лѣсу еще свѣтло; воздухъ чистъ и прозраченъ; птицы болтливо лепечутъ; молодая трава блеститъ веселымъ блескомъ изумруда.... вы ждете. Внутренность лѣса постепенно темнѣетъ; алый свѣтъ вечерней зари медленно скользитъ по корнямъ и стволамъ деревьевъ, поднимается все выше и выше, переходитъ отъ нижнихъ, почти еще голыхъ вѣтокъ, къ неподвижнымъ, засыпающимъ верхушкамъ.... Вотъ и самыя верхушки потускнѣли; румяное небо синѣетъ. Лѣсной запахъ усиливается, слегка повѣяло теплой сыростью; влетѣвшій вѣтеръ около васъ замираетъ. Птицы засыпаютъ—не всѣ вдругъ—по породамъ: вотъ затихли зяблики, черезъ нѣсколько мгновеній малиновки, за ними овсянки. Въ лѣсу все темнѣй да темнѣй. Деревья сливаются въ большія, чернѣющія массы; на синемъ небѣ робко выступаютъ первыя звѣздочки. Всѣ птицы спятъ. Горихвостки, малень-

кіе дятли одни еще сонливо посвистываютъ.... Вотъ и они умолкли. Еще разъ прозвенѣлъ надъ вами звонкій голосъ пѣночки; гдѣ-то печально прокричала иволга, соловей щелкнулъ въ первый разъ. Сердце ваше томится ожиданьемъ, и вдругъ—но одни охотники поймутъ меня—вдругъ въ глубокой тишинѣ раздается особаго рода каркань и шипѣнье, слышится мѣрный взмахъ проворныхъ крылъ,—и вальдшнепъ, красиво наклонивъ свой длинный носъ, плавно вылетаетъ изъ-за темной березы на встрѣчу вашему выстрѣлу.

Вотъ что̀ значитъ «стоять на тягѣ».

Итакъ, мы съ Ермолаемъ отправились на тягу; но, извините, господа: я долженъ васъ сперва познакомить съ Ермолаемъ.

Вообразите себѣ человѣка лѣтъ сорока-пяти, высокаго, худого, съ длиннымъ и тонкимъ носомъ, узкимъ лбомъ, сѣрыми глазками, взъерошенными волосами и широкими, насмѣшливыми губами. Этотъ человѣкъ ходилъ и зиму, и лѣто въ желтоватомъ нанковомъ кафтанѣ нѣмецкаго покроя, но подпоясывался кушакомъ; носилъ синія шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, въ веселый часъ, разорившимся помѣщикомъ. Къ кушаку привязывались два мѣшка, одинъ спереди, искусно перекрученный на двѣ половины, для пороху и для дроби,—другой сзади—для дичи; хлопки же Ермолай доставалъ изъ собственной, повидимому неистощимой шапки. Онъ-бы легко могъ на деньги, вырученныя имъ за проданную дичь, купить себѣ патронташъ и суму, но ни разу даже не подумалъ о подобной покупкѣ, и продолжалъ заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумленіе зрителей искусствомъ, съ какимъ онъ избѣгалъ опасности просыпать или смѣшать дробь и порохъ. Ружье у него было одноствольное, съ кремнемъ, одаренное притомъ скверной

привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлѣе лѣвой. Какъ онъ попадалъ изъ этого ружья,—и хитрому человѣку не придумать, но попадалъ. Была у него и лягавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ея не кормилъ. «Стану я пса кормить, разсуждалъ онъ: — притомъ песъ—животное умное, самъ найдетъ себѣ пропитанье». И, дѣйствительно: хотя Валетка поражалъ даже равнодушнаго прохожаго своей чрезмѣрной худобой, но жилъ, и долго жилъ; даже, несмотря на свое бѣдственное положенье, ни разу не пропадалъ и не изъявлялъ желанья покинуть своего хозяина. Разъ какъ-то въ юные годы, онъ отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро съ него соскочила. Замѣчательнѣйшимъ свойствомъ Валетки было его непостижимое равнодушіе ко всему на свѣтѣ.... Еслибъ рѣчь шла не о собакѣ, я бы употребилъ слово: разочарованность. Онъ обыкновенно сидѣлъ подвернувши подъ себя свой куцый хвостъ, хмурился, вздрагивалъ по временамъ и никогда не улыбался. (Извѣстно, что собаки имѣютъ способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Онъ былъ крайне безобразенъ, и ни одинъ праздный дворовый человѣкъ не упускалъ случая ядовито насмѣяться надъ его наружностью; но всѣ эти насмѣшки и даже удары Валетка переносилъ съ удивительнымъ хладнокровіемъ. Особенное удовольствіе доставлялъ онъ поварамъ, которые тотчасъ отрывались отъ дѣла и съ крикомъ и бранью пускались за нимъ въ погоню, когда онъ, по слабости, свойственной не однѣмъ собакамъ, просовывалъ свое голодное рыло въ полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охотѣ онъ отличался неутомимостью, и чутье имѣлъ порядочное; но если случайно догонялъ подраненнаго зайца, то ужъ и съѣдалъ его съ

наслажденьемъ всего, до послѣдней косточки, гдѣ-нибудь въ прохладной тѣни, подъ зеленымъ кустомъ, въ почтительномъ отдаленіи отъ Ермолая, ругавшагося на всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ діалектахъ.

Ермолай принадлежалъ одному изъ моихъ сосѣдей, помѣщику стариннаго покроя. Помѣщики стариннаго покроя не любятъ «куликовъ» и придерживаются домашней живности. Развѣ только въ необыкновенныхъ случаяхъ, какъ-то: во дни рожденій, именинъ и выборовъ, повара старинныхъ помѣщиковъ приступаютъ къ изготовленію долгоносыхъ птицъ и, войдя въ азартъ, свойственный русскому человѣку, когда онъ самъ хорошенько не знаетъ, что̀ дѣлаетъ, придумываютъ къ нимъ такія мудреныя приправы, что гости большей частью съ любопытствомъ и вниманіемъ разсматриваютъ поданныя яства, но отвѣдать ихъ никакъ не рѣшаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню разъ въ мѣсяцъ пары двѣ тетеревей и куропатокъ, а, впрочемъ, позволялось ему жить, гдѣ хочетъ и чѣмъ хочетъ. Отъ него отказались, какъ отъ человѣка ни на какую работу не годнаго—«лядащаго», какъ говорится у насъ, въ Орлѣ. Пороху и дроби, разумѣется, ему не выдавали, слѣдуя точно тѣмъ же правиламъ, въ силу которыхъ и онъ не кормилъ своей собаки. Ермолай былъ человѣкъ престраннаго рода: беззаботенъ, какъ птица, довольно говорливъ, разсѣянъ и неловокъ съ виду; сильно любилъ выпить, не уживался на мѣстѣ, на ходу шмыгалъ ногами и переваливался съ боку на бокъ,—и, шмыгая и переваливаясь, улепетывалъ верстъ пятьдесятъ въ сутки. Онъ подвергался самымъ разнообразнымъ приключеніямъ: ночевалъ въ болотахъ, на деревьяхъ, на крышахъ, подъ мостами, сиживалъ не разъ взаперти на чердакахъ, въ погребахъ и сараяхъ, лишался ружья, собаки, самыхъ необходимыхъ одѣяній, бывалъ

битъ сильно и долго,—и все-таки, черезъ нѣсколько времени, возвращался домой, одѣтый, съ ружьемъ и съ собакой. Нельзя было назвать его человѣкомъ веселымъ, хотя онъ почти всегда находился въ довольно изрядномъ расположеніи духа; онъ вообще смотрѣлъ чудакомъ. Ермолай любилъ покалякать съ хорошимъ человѣкомъ, особенно за чаркой, но и то не долго: встанетъ, бывало, и пойдетъ. — «Да куда ты, чортъ, идешь? Ночь на дворѣ». — А въ Чаплино. — «Да на что тебѣ тащиться въ Чаплино, за десять верстъ?»—А тамъ у Софрона-мужичка переночевать. — «Да ночуй здѣсь».—Нѣтъ ужъ, нельзя. И пойдетъ Ермолай съ своимъ Валеткой въ темную ночь, черезъ кусты да водомойни, а мужичокъ Софронъ его, пожалуй, къ себѣ на дворъ не пуститъ, да еще, чего добраго, шею ему намнетъ: не безпокой-де честныхъ людей. За то никто не могъ сравниться съ Ермолаемъ въ искусствѣ ловить весной, въ полую воду, рыбу, доставать руками раковъ, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепеловъ, вынашивать ястребовъ, добывать соловьевъ съ «лѣшевой дудкой», съ «кукушкинымъ перелетомъ» *).... Одного онъ не умѣлъ: дрессировать собакъ; терпѣнья недоставало. Была у него и жена. Онъ ходилъ къ ней разъ въ недѣлю. Жила она въ дрянной, полуразвалившейся избенкѣ, перебивалась кое-какъ и кое-чѣмъ, никогда не знала наканунѣ: будетъ-ли сыта завтра, и вообще терпѣла участь горькую. Ермолай, этотъ беззаботный и добродушный человѣкъ, обходился съ ней жестоко и грубо, принималъ у себя дома грозный и суровой видъ,—и бѣдная его жена не знала, чѣмъ угодить ему, трепетала отъ его взгляда, на послѣднюю копѣйку покупала ему вина и

*) Охотникамъ до соловьевъ эти названья знакомы: ими обозначаются лучшія «колѣна» въ соловьиномъ пѣньи.

подобострастно покрывала его своимъ тулупомъ, когда онъ, величественно развалясь на печи, засыпàлъ богатырскимъ сномъ. Мнѣ самому не разъ случалось подмѣчать въ немъ невольныя проявленія какой-то угрюмой свирѣпости: мнѣ не нравилось выраженіе его лица, когда онъ прикусывалъ подстрѣленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой сторонѣ превращался опять въ «Ермолку», какъ его прозвали на сто верстъ кругомъ, и какъ онъ самъ себя называлъ подъчасъ. Послѣдній дворовый человѣкъ чувствовалъ свое превосходство надъ этимъ бродягой, — и, можетъ быть, потому именно и обращался съ нимъ дружелюбно; а мужики сначала съ удовольствіемъ загоняли и ловили его какъ зайца въ полѣ, но потомъ отпускали съ Богомъ и, разъ узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлѣба и вступали съ нимъ въ разговоры.... Этого-то человѣка я взялъ къ себѣ въ охотники, и съ нимъ-то я отправился на тягу въ большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многихъ русскихъ рѣкъ, на подобіе Волги, одинъ берегъ горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая рѣчка вьется чрезвычайно прихотливо, ползетъ змѣей, ни на полъ-версты не течетъ прямо, и въ иномъ мѣстѣ, съ высоты крутого холма, видна верстъ на десять съ своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитникомъ и густыми садами. Рыбы въ Истѣ бездна, особливо головлей (мужики достаютъ ихъ въ жаръ изъ-подъ кустовъ руками). Маленькіе кулички-песочники со свистомъ перелетываютъ вдоль каменистыхъ береговъ, испещренныхъ холодными и свѣтлыми ключами; дикія утки выплываютъ на середину прудовъ и осторожно озираются; цапли торчатъ въ тѣни, въ заливахъ, подъ обрывами.... Мы стояли на тягѣ около часу, убили двѣ

пары вальдшнеповъ и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастія (на тягу можно также ходить поутру), рѣшились переночевать въ ближайшей мельницѣ. Мы вышли изъ рощи, спустились съ холма. Рѣка катила темносинія волны; воздухъ густѣлъ, отягченный ночной влагой. Мы постучались въ ворота. Собаки залились на дворѣ. «Кто тутъ?» раздался сиплый и заспанный голосъ. «Охотники: пусти переночевать». Отвѣта не было.—«Мы заплатимъ». — Пойду скажу хозяину.... Цыцъ, проклятыя!... Экъ на васъ погибели нѣтъ!»—Мы слышали, какъ работникъ вошелъ въ избу; онъ скоро вернулся къ воротамъ. «Нѣтъ», говоритъ, «хозяинъ не велитъ пускать».— Отчего не велитъ? — «Да боится; вы охотники; чего добраго, мельницу зажжете; вишь, у васъ снаряды какіе».— Да что за вздоръ!—«У насъ и такъ въ запрошломъ году мельница сгорѣла: прасолы переночевали, да, знать, какънибудь и подожгли». — Да какъ-же, братъ, не ночевать же намъ на дворѣ!—«Какъ знаете».... Онъ ушелъ, стуча сапогами.

Ермолай посулилъ ему разныхъ непріятностей. «Пойдемте въ деревню», произнесъ онъ, наконецъ, со вздохомъ. Но до деревни было версты двѣ.... «Ночуемъ здѣсь», сказалъ я: — «на дворѣ ночь теплая; мельникъ за деньги намъ вышлетъ соломы».—Ермолай безпрекословно согласился.—Мы опять стали стучаться. — «Да что вамъ надобно?» раздался снова голосъ работника: — «сказано, нельзя». — Мы растолковали ему, чего мы хотѣли. Онъ пошелъ посовѣтоваться съ хозяиномъ и вмѣстѣ съ нимъ вернулся. Калитка заскрипѣла. Появился мельникъ, человѣкъ высокаго роста, съ жирнымъ лицомъ, бычачьимъ затылкомъ, круглымъ и большимъ животомъ. Онъ согласился на мое предложеніе. Въ ста шагахъ отъ мельницы находился маленькій, со всѣхъ сторонъ открытый, навѣсъ.

Намъ принесли туда соломы, сѣна; работникъ на травѣ подлѣ рѣки наставилъ самоваръ, и, присѣвъ на корточки, началъ усердно дуть въ трубу.... Уголья, вспыхивая, ярко освѣщали его молодое лицо. Мельникъ побѣжалъ будить жену, предложилъ мнѣ самъ, наконецъ, переночевать въ избѣ; но я предпочелъ остаться на открытомъ воздухѣ. Мельничиха принесла намъ молока, яицъ, картофелю, хлѣба. Скоро закипѣлъ самоваръ, и мы принялись пить чай. Съ рѣки поднимались пары, вѣтру не было; кругомъ кричали коростели; около мельничныхъ колесъ раздавались слабые звуки: то капли падали съ лопатъ, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонекъ. Пока Ермолай жарилъ въ золѣ картофель, я успѣлъ задремать.... Легкій сдержанный шопотъ разбудилъ меня. Я поднялъ голову: передъ огнемъ, на опрокинутой кадкѣ, сидѣла мельничиха и разговаривала съ моимъ охотникомъ. Я уже прежде, по ея платью, тѣлодвиженіямъ и выговору, узналъ въ ней дворовую женщину — не бабу и не мѣщанку; но только теперь я разсмотрѣлъ хорошенько ея черты. Ей было на видъ лѣтъ тридцать; худое и блѣдное лицо еще хранило слѣды красоты замѣчательной; особенно понравились мнѣ глаза, большіе и грустные. Она оперла локти на колѣни, положило лицо на руки. Ермолай сидѣлъ ко мнѣ спиною и подкладывалъ щепки въ огонь.

— Въ Желтухиной опять падёжъ, говорила мельничиха:—у отца Ивана обѣ коровы свалились.... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? спросилъ, помолчавъ, Ермолай.

— Живутъ.

— Хоть бы поросеночка мнѣ подарили.

Мельничиха помолчала, потомъ вздохнула.

— Съ кѣмъ вы это?—спросила она.

— Съ бариномъ—съ Костомаровскимъ.

Ермолай бросилъ нѣсколько еловыхъ вѣтокъ на огонь; вѣтки тотчасъ дружно затрещали, густой бѣлый дымъ повалилъ ему прямо въ лицо.

— Чего твой мужъ насъ въ избу не пустилъ?

— Боится.

— Вишь, толстый брюхачъ.... Голубушка, Арина Тимофѣевна, вынеси мнѣ стаканчикъ винца!

Мельничиха встала и исчезла во мракѣ. Ермолай запѣлъ вполголоса:

Какъ къ любезной я ходилъ,
Всѣ сапожки обносилъ...

Арина вернулась съ небольшимъ графинчикомъ и стаканомъ. Ермолай привсталъ, перекрестился и выпилъ духомъ. «Люблю!» прибавилъ онъ.

Мельничиха опять присѣла на кадку.

— А что, Арина Тимофѣевна, чай, все хвораешь?

— Хвораю.

— Что такъ?

— Кашель по ночамъ мучитъ.

— Баринъ-то, кажется, заснулъ,—промолвилъ Ермолай послѣ небольшого молчанія. — Ты къ лекарю не ходи, Арина: хуже будетъ.

— Я и то не хожу.

— А ко мнѣ зайди погостить.

Арина потупила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на тотъ случай, продолжалъ Ермолай.... Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петровичъ: видите, картофель испекся.

— А пусть дрыхнетъ,—равнодушно замѣтилъ мой вѣрный слуга,—набѣгался, такъ и спитъ.

Я заворочался на сѣнѣ. Ермолай всталъ и подошелъ ко мнѣ.—«Картофель готовъ-съ, извольте кушать».

Я вышелъ изъ-подъ навѣса; мельничиха поднялась съ кадки и хотѣла уйти. Я заговорилъ съ нею.

— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй годъ пошелъ съ Троицына дня.

— А твой мужъ откуда?

Арина не разслушала моего вопроса.

— Откелева твой мужъ?—повторилъ Ермолай, возвыся голосъ.

— Изъ Бѣлева. Онъ бѣлевскій мѣщанинъ.

— А ты тоже изъ Бѣлева?

— Нѣтъ, я господская.... была господская.

— Чья?

— Звѣркова господина. Теперь я вольная.

— Какого Звѣркова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной?

— А вы почему знаете?—Была.

Я съ удвоеннымъ любопытствомъ и участьемъ посмотрѣлъ на Арину.

— Я твоего барина знаю,—продолжалъ я.

— Знаете?—отвѣчала она вполголоса —и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я съ такимъ участьемъ посмотрѣлъ на Арину. Во время моего пребыванія въ Петербургѣ я случайнымъ образомъ познакомился съ г-мъ Звѣрковымъ. Онъ занималъ довольно важное мѣсто, слылъ человѣкомъ знающимъ и дѣльнымъ. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая—дюжинное и тяжелое созданье; былъ и сынокъ, настоящій барченокъ, избалованный и глупый. Наружность самого г-на Звѣркова мало располагала въ его пользу: изъ широкаго, почти четвероугольнаго лица лукаво выглядывали мыши-

ные глазки, торчалъ носъ большой и острый, съ открытыми ноздрями; стриженные, сѣдые волосы поднимались щетиной надъ морщинистымъ лбомъ, тонкія губы безпрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-нъ Звѣрковъ стоялъ обыкновенно, растопыривъ ножки и заложивъ толстыя ручки въ карманы. Разъ какъ-то пришлось мнѣ ѣхать съ нимъ вдвоемъ въ каретѣ за-городъ. Мы разговорились. Какъ человѣкъ опытный, дѣльный, г. Звѣрковъ началъ наставлять меня на «путь истины».

— Позвольте мнѣ вамъ замѣтить, — пропищалъ онъ, наконецъ:—вы всѣ, молодые люди, судите и толкуете обо всѣхъ вещахъ на-обумъ; вы мало знаете собственное свое отечество; Россія вамъ, господа, незнакома,—вотъ что!... Вы все только нѣмецкія книги читаете. Вотъ, напримѣръ, вы мнѣ говорите теперь и то, и то, на счетъ того, ну, то-есть, на счетъ дворовыхъ людей.... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы ихъ не знаете, не знаете, что̀ это за народъ. (Г-нъ Звѣрковъ громко высморкался и понюхалъ табаку.) Позвольте мнѣ вамъ разсказать, напримѣръ, одинъ маленькій анекдотецъ: васъ это можетъ заинтересовать. (Г-нъ Звѣрковъ откашлянулся.) Вы, вѣдь, знаете, что̀ у меня за жена: кажется, женщину добрѣе ея найти трудно, согласитесь сами. Горничнымъ ея дѣвушкамъ не житье,—просто рай во-о́чію совершается.... Но моя жена положила себѣ за правило: замужнихъ горничныхъ не держать. Оно и точно не годится: пойдутъ дѣти,—то, сё,—ну гдѣ-жъ тутъ горничной присмотрѣть за барыней, какъ слѣдуетъ, наблюдать за ея привычками: ей ужъ не до того, у ней ужъ не то на умѣ. Надо по человѣчеству судить. Вотъ-съ, проѣзжаемъ мы разъ черезъ нашу деревню, лѣтъ тому будетъ—какъ-бы вамъ сказать, не солгать—лѣтъ пятнадцать. Смотримъ, у старосты дѣвочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобо-

страстное что-то въ манерахъ. Жена моя и говоритъ мнѣ: Кокò,—то-есть, вы понимаете, она меня такъ называетъ, — возьмемъ эту дѣвочку въ Петербургъ; она мнѣ нравится, Кокò.... Я говорю: возьмемъ, съ удовольствіемъ. Староста, разумѣется, намъ въ ноги; онъ такого счастья, вы понимаете, и ожидать не могъ.... Ну, дѣвочка, конечно, поплакала сдуру. Оно дѣйствительно жутко сначала: родительскій домъ.... вообще... удивительнаго тутъ ничего нѣтъ. Однако, она скоро къ намъ привыкла; сперва ее отдали въ дѣвичью; учили ее, конечно. Что-жъ вы думаете?... Дѣвочка оказываетъ удивительные успѣхи; жена моя просто къ ней пристращивается, жалуетъ ее наконецъ, помимо другихъ, въ горничныя къ своей особѣ.... замѣчайте!... И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, рѣшительно не было; услужлива, скромна, послушна—просто, все что требуется. За то ужъ и жена ее даже, признаться, слишкомъ баловала; одѣвала отлично, кормила съ господскаго стола, чаемъ поила.... ну, что только можно себѣ представить! Вотъ этакъ она лѣтъ десять у моей жены служила. Вдругъ, въ одно прекрасное утро, вообразите себѣ, входитъ Арина—ее Ариной звали—безъ доклада ко мнѣ въ кабинетъ, — и бухъ мнѣ въ ноги.... Я этого, скажу вамъ откровенно, терпѣть не могу. Человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство, не правда ли?—Чего тебѣ? — «Батюшка, Александръ Силычъ, милости прошу». — Какой? — «Позвольте выдти замужъ». — Я, признаюсь вамъ, изумился.—Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нѣту?—«Я буду служить барынѣ по-прежнему».—Вздоръ! вздоръ! барыня замужнихъ горничныхъ не держитъ.—«Маланья на мое мѣсто поступить можетъ». — Прошу не разсуждать! — «Воля ваша....» Я, признаюсь, такъ и обомлѣлъ. Доложу вамъ, я такой чело-

вѣкъ: ничто меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность.... Вѣдь вамъ говорить нечего — вы знаете, что̀ у меня за жена: ангелъ во плоти, доброта неизъяснимая.... Кажется, злодѣй—и тотъ бы ее пожалѣлъ. Я прогналъ Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете-ли, вѣрить злу, черной неблагодарности въ человѣкѣ. Что-жъ вы думаете? Черезъ полгода опять она изволитъ жаловать ко мнѣ съ тою же самою просьбой. Тутъ я, признаюсь, ее съ сердцемъ прогналъ и погрозилъ ей, и сказать женѣ обѣщался. Я былъ возмущенъ.... Но представьте себѣ мое изумленіе: нѣсколько времени спустя, приходитъ ко мнѣ жена, въ слезахъ, взволнована такъ, что я даже испугался. — Что такое случилось? — «Арина».... Вы понимаете.... я стыжусь выговорить. — Быть не можетъ!... кто же? — «Петрушка лакей». Меня взорвало. Я такой человѣкъ.... полумѣръ не люблю!... Петрушка.... не виноватъ. Наказать его можно, но онъ, по-моему, не виноватъ. Арина.... ну, что-жъ, ну, ну, что-жъ тутъ еще говорить? Я, разумѣется, тотчасъ же приказалъ ее остричь, одѣть въ затрапезъ и сослать въ деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но дѣлать было нечего: безпорядокъ въ домѣ терпѣть, однакоже, нельзя. Больной членъ лучше отсѣчь разомъ.... Ну, ну, теперь посудите сами, — ну, вѣдь, вы знаете мою жену, вѣдь, это, это, это.... наконецъ, ангелъ!... Вѣдь она привязалась къ Аринѣ, — и Арина это знала, и не постыдилась.... А? нѣтъ, скажите.... а? Да что тутъ толковать! Во всякомъ случаѣ, дѣлать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидѣла неблагодарность этой дѣвушки. Что ни говорите.... сѐрдца, чувства—въ этихъ людяхъ не ищите! Какъ волка ни корми, онъ все въ лѣсъ смотритъ.... Впередъ наука! Но я желалъ только доказать вамъ....

И г. Звѣрковъ, не докончивъ рѣчи, отворотилъ голову и завернулся плотнѣе въ свой плащъ, мужественно подавляя невольное волненіе.

Читатель теперь, вѣроятно, понимаетъ, почему я съ участіемъ посмотрѣлъ на Арину.

— Давно ты замужемъ за мельникомъ?—спросилъ я ее наконецъ.

— Два года.

— Что-жъ, развѣ тебѣ баринъ позволилъ?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелій Алексѣевичъ.

— Кто такой?

— Мужъ мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А развѣ вамъ баринъ говорилъ обо мнѣ?—прибавила Арина послѣ небольшого молчанья.

Я не зналъ, что отвѣчать на ея вопросъ. «Арина!» закричалъ издали мельникъ. Она встала и ушла.

— Хорошій человѣкъ ея мужъ?—спросилъ я Ермолая.

— Ништо.

— А дѣти у нихъ есть?

— Былъ одинъ, да померъ.

— Что-жъ, она понравилась мельнику, что-ли? Много ли онъ за нее далъ выкупу?

— А не знаю. Она грамотѣ разумѣетъ; въ ихъ дѣлѣ оно... того... хорошо бываетъ. Стало быть, понравилась.

— А ты съ ней давно знакомъ?

— Давно. Я къ ея господамъ прежде хаживалъ. Ихъ усадьба отселева не далече.

— И Петрушку лакея знаешь?

— Петра Васильевича? Какъ-же, зналъ.

— Гдѣ онъ теперь?

— А въ солдаты поступилъ.

Мы помолчали.

— Что она, кажется, не здорова?—спросилъ я, наконецъ, Ермолая.

— Какое здоровье!... А завтра, чай, тяга хороша будетъ. Вамъ теперь соснуть не худо.

Стадо дикихъ утокъ со свистомъ промчалось надъ нами, и мы слышали, какъ оно спустилось на рѣку недалеко отъ насъ. Уже совсѣмъ стемнѣло и начинало холодать; въ рощѣ звучно щелкалъ соловей. Мы зарылись въ сѣно и заснули.

МАЛИНОВАЯ ВОДА.

Въ НАЧАЛѢ августа жары часто стоятъ нестерпимые. Въ это время, отъ двѣнадцати до трехъ часовъ, самый рѣшительный и сосредоточенный человѣкъ не въ состояніи охотиться, и самая преданная собака начинаетъ «чистить охотнику шпоры», т.-е. идетъ за нимъ шагомъ, болѣзненно прищуривъ глаза и преувеличенно высунувъ языкъ; а въ отвѣтъ на укоризны своего господина униженно виляетъ хвостомъ и выражаетъ смущеніе на лицѣ, но впередъ не подвигается. Именно въ такой день случилось мнѣ быть на охотѣ. Долго противился я искушенію прилечь гдѣ-нибудь въ тѣни, хоть на мгновеніе; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустамъ, хотя сама видимо ничего не ожидала путнаго отъ своей лихорадочной дѣятельности. Удушливый зной принудилъ меня, наконецъ, подумать о сбереженіи послѣднихъ нашихъ силъ и способностей. Кое-какъ дотащился я до рѣчки Исты, уже знакомой моимъ снисходительнымъ читателямъ, спустился съ кручи и пошелъ по желтому и сырому песку въ направленіи ключа, извѣстнаго во всемъ околоткѣ подъ названіемъ «Малиновой воды». Ключъ этотъ бьетъ изъ разсѣлины берега, превратившейся мало-по-малу въ небольшой, но глубокій оврагъ, и въ двадцати шагахъ оттуда съ веселымъ и болтливымъ шумомъ впадаетъ въ рѣку.

Дубовые кусты разрослись по скатамъ оврага; около родника зеленѣетъ короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на травѣ лежала черпалка изъ бересты, оставленная прохожимъ мужикомъ на пользу общую. Я напился, прилегъ въ тѣнь и взглянулъ кругомъ. У залива, образованнаго впаденіемъ источника въ рѣку, и оттого вѣчно покрытаго мелкой рябью, сидѣли ко мнѣ спиной два старика. Одинъ, довольно плотный и высокаго роста, въ темнозеленомъ опрятномъ кафтанѣ и пуховомъ картузѣ, удилъ рыбу; другой—худенькій и маленькій, въ мухояровомъ заплатанномъ сюртучкѣ и безъ шапки, держалъ на колѣняхъ горшокъ съ червями и изрѣдка проводилъ рукой по сѣдой своей головкѣ, какъ-бы желая предохранить ее отъ солнца. Я вглядѣлся въ него попристальнѣе и узналъ въ немъ Шумихинскаго Степушку. Прошу позволенія читателя представить ему этого человѣка.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ моей деревни находится большое село Шумихино, съ каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобныхъ Козьмы и Даміана. Напротивъ этой церкви нѣкогда красовались обширныя господскія хоромы, окруженныя разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющихъ, цвѣточными оранжереями, качелями для народа, и другими, болѣе или менѣе полезными зданіями. Въ этихъ хоромахъ жили богатые помѣщики, и все у нихъ шло своимъ порядкомъ, — какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорѣла до-тла. Господа перебрались въ другое гнѣздо; усадьба запустѣла. Обширное пепелище превратилось въ огородъ, кое-гдѣ загроможденный грудами кирпичей, остат-

ками прежнихъ фундаментовъ. Изъ уцѣлѣвшихъ бревенъ на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочнымъ тесомъ, купленнымъ лѣтъ за десять для построенія павильона на готическій манеръ, и поселили въ ней садовника Митрофана съ женой Аксиньей и семью дѣтьми. Митрофану приказали поставлять на господскій столъ, за полтораста верстъ, зелень и овощи; Аксиньѣ поручили надзоръ за тирольской коровой, купленной въ Москвѣ за большія деньги, но, къ сожалѣнію, лишенной всякой способности воспроизведенія, и потому со времени пріобрѣтенія не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатаго дымчатаго селезня, единственную «господскую» птицу; дѣтямъ, по причинѣ малолѣтства, не опредѣлили никакихъ должностей, что, впрочемъ, нисколько не помѣшало имъ совершенно облѣниться. У этого садовника мнѣ случилось раза два переночевать; мимоходомъ забиралъ я у него огурцы, которые, Богъ вѣдаетъ почему, даже лѣтомъ отличались величиной, дряннымъ водянистымъ вкусомъ и толстой желтой кожей. У него-то увидалъ я впервые Степушку. Кромѣ Митрофана съ его семьей да стараго глухого ктитора Герасима, проживавшаго Христа-ради въ коморочкѣ у кривой солдатки, ни одного дворового человѣка не осталось въ Шумихинѣ, потому что Степушку, съ которымъ я намѣренъ познакомить читателя, нельзя было считать ни за человѣка вообще, ни за дворового въ особенности.

Всякій человѣкъ имѣетъ хоть какое-бы то ни было положеніе въ обществѣ, хоть какія-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мѣрѣ, такъ-называемое «отвѣсное»: Степушка не получалъ рѣшительно никакихъ пособій, не состоялъ въ родствѣ ни съ кѣмъ, никто не зналъ о его существованіи. У этого человѣка даже прошедшаго не было; о немъ не

говорили; онъ и по ревизіи едва-ли числился. Ходили темные слухи, что состоялъ онъ когда-то у кого-то въ камер-динерахъ; но кто онъ, откуда онъ, чей сынъ, какъ попалъ въ число Шумихинскихъ подданныхъ, какимъ образомъ добылъ мухояровый, съ незапамятныхъ временъ носимый имъ кафтанъ, гдѣ живетъ, чѣмъ живетъ,—объ этомъ рѣшительно никто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дѣдушка Трофимычъ, который зналъ родословную всѣхъ дворовыхъ въ восходящей линіи до четвертаго колѣна, и тотъ разъ только сказалъ, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный баринъ, бригадиръ Алексѣй Романычъ, изъ похода въ обозѣ изволилъ привезти. Даже, бывало, въ праздничные дни, дни всеобщаго жалованья и угощенія хлѣбомъ-солью, гречишными пирогами и зеленымъ виномъ, по старинному русскому обычаю,— даже и въ эти дни Степушка не являлся къ выставленнымъ столамъ и бочкамъ, не кланялся, не подходилъ къ барской рукѣ, не выпивалъ духомъ стакана подъ господскимъ взглядомъ и за господское здоровье, стакана, наполненнаго жирною рукою приказчика; — развѣ какая добрая душа, проходя мимо, удѣлитъ бѣднягѣ недоѣденный кусокъ пирога. Въ Свѣтлое Воскресенье съ нимъ христосовались, но онъ не подворачивалъ замаслennаго рукава, не доставалъ изъ задняго кармана своего краснаго яичка, не подносилъ его, задыхаясь и моргая, молодымъ господамъ или даже самой барынѣ. Проживалъ онъ лѣтомъ въ клѣти, позади курятника, а зимой въ предбанникѣ; въ сильные морозы ночевалъ на сѣновалѣ. Его привыкли видѣть, иногда даже давали ему пинка, но никто съ нимъ не заговаривалъ, и онъ самъ, кажется, отъ роду рта не разинулъ. Послѣ пожара, этотъ заброшенный человѣкъ пріютился или, какъ говорятъ орловцы,

«притулился» у садовника Митрофана. Садовникъ не тронулъ его, не сказалъ ему: живи у меня, да и не прогналъ его. Степушка и не жилъ у садовника: онъ обиталъ, виталъ на огородѣ. Ходилъ онъ и двигался безъ всякаго шуму; чихалъ и кашлялъ въ руку, не безъ страха; вѣчно хлопоталъ и возился втихомолку, словно муравей; и все для ѣды, для одной ѣды. И точно, не заботься онъ съ утра до вечера о своемъ пропитаніи, — умеръ бы мой Степушка съ голоду. Плохое дѣло не знать по утру, чѣмъ къ вечеру сытъ будешь! То подъ заборомъ Степушка сидитъ и рѣдьку гложетъ, или морковь сосетъ, или грязный кочанъ капусты подъ себя крошитъ; то ведро съ водой куда-то тащитъ и кряхтитъ; то подъ горшечкомъ огонекъ раскладываетъ и какіе-то черные кусочки изъ-за пазухи въ горшокъ бросаетъ; то у себя въ чуланчикѣ деревяшкой прстукиваетъ, гвоздикъ приколачиваетъ, полочку для хлѣбца устроиваетъ. И все это онъ дѣлаетъ молча, словно изъ-за угла: глядь, ужъ и спрятался. А то вдругъ отлучится дня на два; его отсутствія, разумѣется, никто не замѣчаетъ.... Смотришь, ужъ онъ опять тутъ, опять гдѣ-нибудь около забора подъ таганчикъ щепочки украдкой подкладываетъ. Лицо у него маленькое, глазки желтенькіе, волосы вплоть до бровей, носикъ остренькій, уши пребольшія, прозрачныя, какъ у летучей мыши, борода словно двѣ недѣли тому назадъ выбрита, и никогда ни меньше не бываетъ, ни больше. Вотъ этого-то Степушку я встрѣтилъ на берегу Исты въ обществѣ другого старика.

Я подошелъ къ нимъ, поздоровался и присѣлъ съ ними рядомъ. Въ товарищѣ Степушки я узналъ тоже знакомаго: это былъ вольноотпущенный человѣкъ графа Петра Ильича***, Михайло Савельевъ, по прозвищу Туманъ. Онъ проживалъ у болховскаго чахоточнаго мѣщанина, содержателя постоялаго двора, гдѣ я довольно часто оста-

навливался. Проѣзжающіе по большой орловской дорогѣ молодые чиновники и другіе незанятые люди—(купцамъ, погруженнымъ въ свои полосатыя перины, не до того)—до сихъ поръ еще могутъ замѣтить въ недальнемъ разстояніи отъ большого села Троицкаго огромный деревянный домъ въ два этажа, совершенно заброшенный, съ провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. Въ полдень, въ ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнѣе этой развалины. Здѣсь нѣкогда жилъ графъ Петръ Ильичъ, извѣстный хлѣбосолъ, богатый вельможа стараго вѣка. Бывало, вся губернія съѣзжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительномъ громѣ доморощенной музыки, трескотнѣ бураковъ и римскихъ свѣчей; и, вѣроятно, не одна старушка, проѣзжая теперь мимо запустѣлыхъ боярскихъ палатъ, вздохнетъ и вспомянетъ минувшія времена и минувшую молодость. Долго пировалъ графъ, долго расхаживалъ, привѣтливо улыбаясь, въ толпѣ подобострастныхъ гостей; но имѣнья его, къ несчастію, не хватило на цѣлую жизнь. Разорившись кругомъ, отправился онъ въ Петербургъ искать себѣ мѣста и умеръ въ нумерѣ гостинницы, не дождавшись никакого рѣшенія. Туманъ служилъ у него дворецкимъ и еще при жизни графа получилъ отпускную. Это былъ человѣкъ лѣтъ семидесяти, съ лицомъ правильнымъ и пріятнымъ. Улыбался онъ почти постоянно, какъ улыбаются теперь одни люди Екатерининскаго времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигалъ и сжималъ губы, ласково щурилъ глаза и произносилъ слова нѣсколько въ носъ. Сморкался и нюхалъ табакъ онъ, тоже не торопясь, словно дѣло дѣлалъ.

— Ну, что, Михайло Савельичъ,—началъ я: — наловилъ рыбы?

— А вотъ извольте въ плетушку заглянуть: двухъ окуньковъ залучилъ да головликовъ штукѣ пять.... Покажь, Степка.

Степушка протянулъ ко мнѣ плетушку.

— Какъ ты поживаешь, Степанъ?—спросилъ я его.

— И.... и.... и.... ни.... ничего-о, батюшка, помаленьку,—отвѣчалъ Степанъ, запинаясь, словно пуды языкомъ ворочалъ.

— А Митрофанъ здоровъ?

— Здоровъ,-ка....какъ же, батюшка.

Бѣднякъ отвернулся.

— Да плохо что-то клюетъ, — заговорилъ Туманъ: — жарко больно; рыба-то вся подъ кусты забилась, спитъ.... Надѣнь-ко червяка, Степа. (Степушка досталъ червяка, положилъ на ладонь, хлопнулъ по немъ раза два, надѣлъ на крючокъ, поплевалъ и подалъ Туману.) Спасибо, Степа.... А вы, батюшка, — продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—охотиться изволите?

— Какъ видишь.

— Такъ-съ.... А что это у васъ песикъ аглицкій, али фурлянскій какой?

Старикъ любилъ при случаѣ показать себя: дескать, и мы живали въ свѣтѣ!

— Не знаю, какой онъ породы, а хорошъ.

— Такъ-съ.... А съ собаками изволите ѣздить?

— Своры двѣ у меня есть.

Туманъ улыбнулся и покачалъ головой.

— Оно точно: иной до собакъ охотникъ, а иному ихъ даромъ не нужно. Я такъ думаю, по простому моему разуму: собакъ больше для важности, такъ сказать, держать слѣдуетъ... И чтобы все ужъ и было въ порядкѣ: и лошади чтобъ были въ порядкѣ, и псари, какъ слѣдуетъ, въ порядкѣ и все. Покойный графъ—царство ему небесное!—

охотникомъ отродясь, признаться, не бывалъ, а собакъ держалъ и раза два въ годъ выѣзжать изволилъ. Соберутся псари на дворѣ въ красныхъ кафтанахъ съ галунами и въ трубу протрубятъ; ихъ сіятельство выдти изволятъ, и коня ихъ сіятельству подведутъ; ихъ сіятельство сядутъ, а главный ловчій имъ ножки въ стремена вдѣнетъ, шапку съ головы сниметъ и поводья въ шапкѣ подастъ. Ихъ сіятельство арапельникомъ этакъ изволятъ щелкнуть, а псари загогочутъ да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графомъ поѣдетъ, а самъ на шолковой своркѣ двухъ любимыхъ барскихъ собачекъ держитъ и этакъ наблюдаетъ, знаете.... И сидитъ-то онъ, стремянный-то, высоко, на казацкомъ сѣдлѣ, краснощокій такой, глазищами такъ и водитъ.... Ну, и гости, разумѣется, при этомъ случаѣ бываютъ. И забава, и почетъ соблюденъ.... Ахъ, сорвался, азіятецъ! прибавилъ онъ вдругъ, дернувъ удочкой.

— А что, говорятъ, графъ таки-пожилъ на своемъ вѣку?—спросилъ я.

Старикъ поплевалъ на червяка и закинулъ удочку.

— Вельможественный былъ человѣкъ, извѣстно-съ. Къ нему, бывало, первыя, можно сказать, особы изъ Петербурга заѣзжали. Въ голубыхъ лентахъ, бывало, за столомъ сидятъ и кушаютъ. Ну, да ужъ и угощать былъ мастеръ. Призоветъ, бывало, меня: «Туманъ», говоритъ, «мнѣ къ завтрешнему числу живыхъ стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сіятельство». — Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколонъ перваго сорта, табакерки, картины этакія большущія, изъ самаго Парижа выписывалъ. Задастъ банкетъ,— Господи, владыко живота моего! фейвирки пойдутъ, катанья! Даже изъ пушекъ палятъ. Музыкантовъ однихъ сорокъ человѣкъ на лицо состояло. Кампельмейстера изъ

нѣмцевъ держалъ, да зазнался больно нѣмецъ; съ господами за однимъ столомъ кушать захотѣлъ; такъ и велѣли ихъ сіятельство прогнать его съ Богомъ: у меня и такъ, говоритъ, музыканты свое дѣло понимаютъ. Извѣстно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшутъ, и все больше лакосезъ-матрадура.... Э.... э.... э.... попался братъ! (Старикъ вытащилъ изъ воды небольшого окуня.) На-ко, Стёпа. — Баринъ былъ, какъ слѣдуетъ, баринъ, продолжалъ старикъ, закинувъ опять удочку: — и душа была тоже добрая. Побьетъ, бывало, тебя, — смотришь, ужъ и нозабылъ. Одно: матресокъ держалъ. Охъ, ужъ эти матрески, прости Господи! Онѣ-то его и разорили. И, вѣдь, все больше изъ низкаго сословія выбиралъ. Кажись, чего бы имъ еще? Такъ нѣтъ, — подавай имъ что ни па есть самаго дорогого въ цѣлой Европіи! И то сказать: почему не пожить въ свое удовольствіе,—дѣло господское.... да разоряться-то не слѣдъ. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница — царство ей небесное! Дѣвка была простая, Ситовскаго десятскаго дочь, да такая злющая! По щекамъ, бывало, графа бьетъ. Околдовала его совсѣмъ. Племяннику моему лобъ забрила: на новое платье щеколатъ ей обронилъ.... и не одному ему забрила лобъ. Да.... А всетаки хорошее было времячко!— прибавилъ старикъ съ глубокимъ вздохомъ, потупился и умолкъ.

— А баринъ-то, я вижу, у васъ былъ строгъ?—началъ я, послѣ небольшого молчанія.

— Тогда это было во вкусѣ, батюшка,—возразилъ старикъ, качнувъ головой.

— Теперь ужъ этого не дѣлается, — замѣтилъ я, не спуская съ него глазъ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ боку.

— Теперь, вѣстимо, лучше, пробормоталъ онъ—и далеко закинулъ удочку.

Мы сидѣли въ тѣни; но и въ тѣни было душно. Тяжелый, знойный воздухъ словно замеръ; горячее лицо съ тоской искало вѣтра, да вѣтра-то не было. Солнце такъ и било съ синяго, потемнѣвшаго неба; прямо передъ нами, на другомъ берегу желтѣло овсяное поле, кое-гдѣ проросшее полынью, и хоть-бы одинъ колосъ пошевельнулся. Немного пониже, крестьянская лошадь стояла въ рѣкѣ по колѣни и лѣниво обмахивалась мокрымъ хвостомъ; изрѣдка подъ нависшимъ кустомъ всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставивъ за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали въ порыжѣлой травѣ; перепела кричали какъ-бы нехотя; ястреба плавно носились надъ полями и часто останавливались на мѣстѣ, быстро махая крылами и распустивъ хвостъ вѣеромъ. Мы сидѣли неподвижно, подавленные жаромъ. Вдругъ позади насъ, въ оврагѣ, раздался шумъ: кто-то спускался къ источнику. Я оглянулся и увидалъ мужика лѣтъ пятидесяти, заныленнаго, въ рубашкѣ, въ лаптяхъ, съ плетеной котомкой и армякомъ за плечами. Онъ подошелъ къ ключу, съ жадностію напился и приподнялся.

— Э, Власъ? вскрикнулъ Туманъ, вглядѣвшись въ него:—здорово, братъ. Откуда Богъ принесъ?

— Здорово, Михайла Савельичъ, — проговорилъ мужикъ, подходя къ намъ;—издалеча.

— Гдѣ пропадалъ?—спросилъ его Туманъ.

— А въ Москву сходилъ къ барину.

— Зачѣмъ?

— Просить его ходилъ.

— О чемъ просить?

— Да чтобъ оброку сбавилъ, аль на барщину посадилъ, переселилъ, что-ли.... Сынъ у меня умеръ — такъ мнѣ одному теперь не справиться.

— Умеръ твой сынъ?

— Умеръ. Покойникъ, — прибавилъ мужикъ, помолчавъ:—у меня въ Москвѣ въ извощикахъ жилъ; за меня, признаться, и оброкъ взносилъ.

— Да развѣ вы теперь на оброкѣ?

— На оброкѣ.

— Что-жъ твой баринъ?

— Что̀ баринъ? Прогналъ меня! Говоритъ, какъ смѣешь прямо ко мнѣ идти: на то есть прикащикъ; ты, говоритъ, сперва прикащику обязанъ донести.... да и куда я тебя переселю? Ты, говоритъ, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчалъ вовсе.

— Ну, что-жъ, ты и пошелъ назадъ?

— И пошелъ. Хотѣлъ было справиться, не оставилъли покойникъ какого по себѣ добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: я, молъ, Филипповъ отецъ; а онъ мнѣ говоритъ, а я почемъ знаю? Да и сынъ твой ничего, говоритъ, не оставилъ; еще у меня въ долгу. Ну, я и пошелъ.

Мужикъ разсказывалъ намъ все это съ усмѣшкой, словно о другомъ рѣчь шла; но на маленькіе и съёженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что-жъ ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Извѣстно, домой. Жена, чай, теперь съ голоду въ кулакъ свиститъ.

— Да ты бы.... того.... — заговорилъ внезапно Стёпушка, — смѣшался, замолчалъ, и принялся копаться въ горшкѣ.

— А къ прикащику пойдешь?—продолжалъ Туманъ, не безъ удивленія взглянувъ на Стёпу.

— Зачѣмъ я къ нему пойду?.... За мной и такъ недоимка. Сынъ-то у меня передъ смертію съ годъ хворалъ, такъ и за себя оброку не взнесъ.... Да мнѣ съ полугоря: взять-то съ меня нечего.... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ ни хитри,—шалишь: безотвѣтная моя голова! (Мужикъ разсмѣялся.) Ужъ онъ тамъ какъ ни мудри, Кинтильянъ-то Семенычъ,—а ужъ....

Власъ опять засмѣялся.

— Что-жъ?—это плохо, братъ Власъ,— съ разстановкой произнесъ Туманъ.

— А чѣмъ плохо? Нѣ.... (У Власа голосъ прервался.) Эка жара стоитъ,—продолжалъ онъ, утирая лицо рукавомъ.

— Кто вашъ баринъ?—спросилъ я.

— Графъ***, Валеріанъ Петровичъ.

— Сынъ Петра Ильича?

— Петра Ильича сынъ, — отвѣчалъ Туманъ. Петръ Ильичъ, покойникъ, Власову-то деревню ему при жизни удѣлилъ.

— Что̀, онъ здоровъ?

— Здоровъ, слава Богу,—возразилъ Власъ.—Красный такой сталъ, лицо словно обложилось.

— Вотъ, батюшка, — продолжалъ Туманъ, обращаясь ко мнѣ:—добро бы подъ Москвой, а то здѣсь на оброкъ посадилъ.

— А почемъ съ тягла?

— Девяносто пять рублевъ съ тягла, пробормоталъ Власъ.

— Ну, вотъ, видите: а земли самая малость, только и есть, что господскій лѣсъ.

— Да и тотъ, говорятъ, продали,—замѣтилъ мужикъ.

— Ну, вотъ видите.... Стёпа, дай-ка червяка.... А, Стёпа? что̀ ты, заснулъ что-ли?

Стёпушка встрепенулся. Мужикъ подсѣлъ къ намъ. Мы опять пріумолкли. На другомъ берегу кто-то затянулъ пѣсню да такую унылую.... Пригорюнился мой бѣдный Власъ....

Черезъ полчаса мы разошлись.

УѢЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ.

ОДНАЖДЫ осенью, на возвратномъ пути съ-отъѣзжаго поля, я простудился и занемогъ. Къ счастью, лихорадка застигла меня въ уѣздномъ городѣ, въ гостинницѣ; я послалъ за докторомъ. Черезъ полчаса, явился уѣздный лекарь, человѣкъ небольшого роста, худенькій и черноволосый. Онъ прописалъ мнѣ обычное потогонное, велѣлъ приставить горчишникъ, весьма ловко запустилъ къ себѣ подъ обшлагъ пятирублевую бумажку, — причемъ однако сухо кашлянулъ и глянулъ въ сторону, — и уже совсѣмъ было-собрался отправиться восвояси, да какъ-то разговорился и остался. Жаръ меня томилъ; я предвидѣлъ безсонную ночь и радъ былъ поболтать съ добрымъ человѣкомъ. Подали чай. Пустился мой докторъ въ разговоры. Малый онъ былъ неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странныя дѣла случаются на свѣтѣ: съ инымъ человѣкомъ и долго живешь вмѣстѣ, и въ дружественныхъ отношеніяхъ находишься, а ни разу не заговоришь съ нимъ откровенно, отъ души; съ другимъ же едва познакомиться успѣешь — глядь: либо ты ему, либо онъ тебѣ, словно на исповѣди, всю подноготную и проболталъ. Не знаю, чѣмъ я заслужилъ довѣренность моего новаго пріятеля, — только онъ, ни съ того, ни съ сего, какъ говорится, «взялъ» да и разсказалъ мнѣ довольно замѣчатель-

ный случай; а я вотъ и довожу теперь его разсказъ до свѣдѣнія благосклоннаго читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, началъ онъ разслабленнымъ и дрожащимъ голосомъ (таково дѣйствіе безпримѣснаго березовскаго табаку):—вы не изволите знать здѣшняго судью, Мылова, Павла Лукича?... Не знаете.... Ну, все равно. (Онъ откашлялся и протеръ глаза.) Вотъ, изволите видѣть, дѣло было этакъ, какъ-бы вамъ сказать — не солгать, въ великій постъ, въ самую ростопель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю въ преферансъ. Судья у насъ хорошій человѣкъ и въ преферансъ играть охотникъ. Вдругъ (мой лекарь часто употреблялъ слово: вдругъ), говорятъ мнѣ: человѣкъ васъ спрашиваетъ. Я говорю: что̀ ему надобно? Говорятъ, записку принесъ,—должно быть отъ больного. Подай, говорю, записку. Такъ и есть: отъ больного.... Ну, хорошо,—это, понимаете, нашъ хлѣбъ.... Да вотъ въ чемъ дѣло: пишетъ ко мнѣ помѣщица, вдова; говоритъ, дескать, дочь умираетъ, пріѣзжайте, ради самого Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего.... Да живетъ-то она въ двадцати верстахъ отъ города, а ночь на дворѣ, и дороги такія, что фа! Да и сама бѣднѣющая, больше двухъ цѣлковыхъ ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а развѣ холстомъ придется попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долгъ, вы понимаете, прежде всего:— человѣкъ умираетъ. Передаю вдругъ карты непремѣнному члену Калліопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоитъ телѣжчонка передъ крыльцомъ; лошади крестьянскія, — пузатыя, препузатыя, шерсть на нихъ — войлоко настоящее, и кучеръ, ради уваженья, безъ шапки сидитъ. Ну, думаю, видно, братъ, господа-то твои не на золотѣ ѣдятъ.... Вы изволите смѣяться, а я вамъ скажу: нашъ братъ, бѣд-

ный человѣкъ, все въ соображеньѣ принимай.... Коли кучеръ сидитъ княземъ, да шапки не ломаетъ, да еще посмѣивается изъ-подъ бороды, да кнутикомъ шевелитъ — смѣло бей на двѣ депозитки! А тутъ вижу дѣло-то не тѣмъ пахнетъ. Однако, думаю, дѣлать нечего: долгъ прежде всего. Захватываю самонужнѣйшія лекарства и отправляюсь. Повѣрите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снѣгъ, грязь, водомоины, а тамъ вдругъ плотину прорвало—бѣда! Однако пріѣзжаю. Домикъ маленькій, соломой крытъ. Въ окнахъ свѣтъ: знать, ждутъ. Навстрѣчу мнѣ старушка, почтенная такая, въ чепцѣ; спасите, говоритъ, умираетъ. Я говорю: не извольте безпокоиться.... Гдѣ больная?—Вотъ сюда пожалуйте.—Смотрю: комнатка чистенькая, въ углу лампада, на постелѣ дѣвица лѣтъ двадцати, въ безпамятствѣ. Жаромъ отъ нея такъ и пышетъ, дышетъ тяжело:—горячка. Тутъ же другія двѣ дѣвицы, сёстры,—перепуганы, въ слезахъ.—Вотъ, говорятъ, вчера была совершенно здорова и кушала съ аппетитомъ; поутру сегодня жаловалась на голову, а къ вечеру вдругъ вотъ въ какомъ положеніи.... Я опять-таки говорю: не извольте безпокоиться,—докторская, знаете, обязанность,— и приступилъ. Кровь ей пустилъ, горчишники поставить велѣлъ, микстуру прописалъ. Между тѣмъ я гляжу на нее, гляжу, знаете:—ну, ей-Богу, не видалъ еще такого лица.... красавица, однимъ словомъ! Жалость меня такъ и разбираетъ. Черты такія пріятныя, глаза.... Вотъ, слава Богу, успокоилась; потъ выступилъ, словно опомнилась, кругомъ поглядѣла, улыбнулась, рукой по лицу провела.... Сестры къ ней нагнулись, спрашиваютъ: что̀ съ тобою?— Ничего, говоритъ, да и отворотилась.... Гляжу—заснула. Ну, говорю, теперь слѣдуетъ больную въ покоѣ оставить. Вотъ мы всѣ на цыпочкахъ и вышли вонъ; горничная одна осталась на всякій случай. А въ гостиной ужъ са-

моваръ на столѣ, и ямайскій тутъ же стоитъ: въ нашемъ дѣлѣ безъ этого нельзя. Подали мнѣ чай, просятъ остаться ночевать.... я согласился: куда теперь ѣхать! Старушка все охаетъ. Чего вы? говорю, будетъ жива, не извольте безпокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй часъ.— Да вы меня прикажете разбудить, коли что̀ случится? — «Прикажу, прикажу».—Старушка отправилась, и дѣвицы также пошли къ себѣ въ комнату; мнѣ постель въ гостиной постлали. Вотъ я легъ,—только не могу заснуть, — что̀ за чудеса! Ужъ на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня съ ума нейдетъ. Наконецъ, не вытерпѣлъ, вдругъ всталъ; думаю: пойду посмотрю, что̀ дѣлаетъ пацiентъ? А спальня-то ея съ гостиной рядомъ. Ну, всталъ, растворилъ тихонько дверь, — а сердце такъ и бьется. Гляжу: горничная спитъ, ротъ раскрыла и храпитъ даже, бестiя! а больная лицомъ ко мнѣ лежитъ, и руки разметала, бѣдняжка! Я подошелъ.... Какъ она вдругъ раскроетъ глаза и уставится на меня!... «Кто это? кто это?»—Я сконфузился.—Не пугайтесь, говорю, сударыня: я докторъ, пришелъ посмотрѣть, какъ вы себя чувствуете.—«Вы докторъ?» — Докторъ, докторъ.... Матушка ваша за мною въ городъ посылали; мы вамъ кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этакъ черезъ два мы васъ, дастъ Богъ, на ноги поставимъ. — «Ахъ, да, да, докторъ, не дайте мнѣ умереть.... пожалуйста, пожалуйста».—Что вы это, Богъ съ вами!—А у ней опять жаръ, думаю я про себя; пощупалъ пульсъ: точно, жаръ. Она посмотрѣла на меня,—да какъ возьметъ меня вдругъ за руку. — «Я вамъ скажу, почему мнѣ не хочется умереть, я вамъ скажу, я вамъ скажу.... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому.... послушайте».... Я нагнулся; придвинула она губы къ самому моему уху, волосами щеку мою трогаетъ,—признаюсь, у меня самого

кругомъ пошла голова,—и начала шептать... Ничего не понимаю.... Ахъ, да это она бредитъ.... Шептала, шептала, да такъ проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцемъ мнѣ погрозилась. — «Смотрите же, докторъ, никому».... Коекакъ я ее успокоилъ, далъ ей напиться, разбудилъ горничную и вышелъ.

Тутъ лекарь опять съ ожесточеньемъ понюхалъ табаку и на мгновеніе оцѣпенѣлъ.

— Однако, — продолжалъ онъ,—на другой день больной, въ противность моимъ ожиданіямъ, не полегчило. Я подумалъ, подумалъ и вдругъ рѣшился остаться, хотя меня другіе паціенты ожидали... А вы знаете, этимъ не-лижировать нельзя: практика отъ этого страдаетъ. Но, во-первыхъ, больная дѣйствительно находилась въ отчаяніи; а во-вторыхъ, надо правду сказать, я самъ чувствовалъ сильное къ ней расположеніе. Притомъ же и все семейство мнѣ нравилось. Люди они были хоть и неимущіе, но образованные, можно сказать, на рѣдкость.... Отецъ-то у нихъ былъ человѣкъ ученый, сочинитель; умеръ, конечно, въ бѣдности, но воспитаніе дѣтямъ успѣлъ сообщить отличное; книгъ тоже много оставилъ. Потому-ли, что хлопоталъ-то я усердно около больной, по другимъ-ли какимъ-либо причинамъ, только меня, смѣю сказать, полюбили въ домѣ, какъ родного... Между тѣмъ распутица сдѣлалась страшная: всѣ сообщенія, такъ сказать, прекратились совершенно; даже лекарство съ трудомъ изъ города доставлялось.... Больная не поправлялась... День за день, день за день.... Но вотъ-съ.... тутъ-съ.... (Лекарь помолчалъ.) Право, не знаю, какъ бы вамъ изложить-съ.... (Онъ снова понюхалъ табаку, крякнулъ и хлебнулъ глотокъ чаю.) Скажу вамъ безъ обиняковъ, больная моя.... какъ бы это того.... ну, полюбила,

что-ли, меня.... или нѣтъ, не то, чтобы полюбила.... а, впрочемъ.... право, какъ это, того-съ.... (Лекарь потупился и покраснѣлъ.)

— Нѣтъ, продолжалъ онъ съ живостью:—какое полюбила! Надо себѣ, наконецъ, цѣну знать. Дѣвица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабылъ, можно сказать, совершенно. На счетъ фигуры (лекарь съ улыбкой взглянулъ на себя) также, кажется, нечѣмъ хвастаться. Но дуракомъ Господь Богъ тоже меня не уродилъ: я бѣлое чернымъ не назову; я кое-что тоже смѣкаю. Я, напримѣръ, очень хорошо понялъ, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали—не любовь ко мнѣ почувствовала, а дружеское, такъ сказать, расположеніе, уваженіе, что-ли. Хотя она сама, можетъ быть, въ этомъ отношеніи ошибалась, да вѣдь положеніе ея было какое, вы сами разсудите.... Впрочемъ,—прибавилъ лекарь, который всѣ эти отрывистыя рѣчи произнесъ, не переводя духа и съ явнымъ замѣшательствомъ: — я кажется, немного зарапортовался.... Этакъ вы ничего не поймете.... а вотъ, позвольте, я вамъ все по порядку разскажу.

Онъ допилъ стаканъ чаю и заговорилъ голосомъ болѣе спокойнымъ.

— Такъ, такъ-то-съ. Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медикъ, милостивый государь; вы понять не можете, что̀ происходитъ въ душѣ нашего брата, особенно на первыхъ порахъ, когда онъ начинаетъ догадываться, что болѣзнь-то его одолѣваетъ. Куда дѣнется самоувѣренность! Оробѣешь вдругъ такъ, что и сказать нельзя. Такъ тебѣ и кажется, что и позабылъ-то ты все, что̀ зналъ, и что больной-то тебѣ не довѣряетъ, и что другіе уже начинаютъ замѣчать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебѣ сообщаютъ, изъ-подлобья гля-

дятъ, шепчутся.... э, скверно! Вѣдь есть же лекарство, думаешь, противъ этой болѣзни, стоитъ только найти. Вотъ не оно-ли? Попробуешь — нѣтъ, не оно! Не даешь времени лекарству, какъ слѣдуетъ, подѣйствовать.... то за то схватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу.... вѣдь тутъ оно, думаешь, тутъ! Право слово, иногда на-обумъ раскроешь: авось, думаешь, судьба.... А человѣкъ межъ тѣмъ умираетъ; а другой бы его лекарь спасъ. Консиліумъ, говоришь, нуженъ; я на себя отвѣтственности не беру. А ужъ какимъ дуракомъ въ такихъ случаяхъ глядишь! Ну, со временемъ обтерпишься, ничего. Умеръ человѣкъ,—не твоя вина: ты по правиламъ поступалъ. А то вотъ что еще мучительно бываетъ: видишь довѣріе къ тебѣ слѣпое, а самъ чувствуешь, что не въ состояніи помочь. Вотъ именно такое довѣріе все семейство Александры Андреевны ко мнѣ возымѣло:—и думать позабыли, что у нихъ дочь въ опасности. Я ихъ тоже, съ своей стороны, увѣряю, что ничего, дескать, а у самого душа въ пятки уходитъ. Къ довершенію несчастія, такая подошла распутица, что за лекарствомъ по цѣлымъ днямъ, бывало, кучеръ ѣздитъ. А я изъ комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смѣшные анекдотцы разсказываю, въ карты съ ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодаритъ; а я про себя думаю: не стою я твоей благодарности. Признаюсь вамъ откровенно — теперь не для чего скрываться—влюбился я въ мою больную. И Александра Андреевна ко мнѣ привязалась: никого, бывало, къ себѣ въ комнату, кромѣ меня, не пускаетъ. Начнетъ со мной разговаривать,—разспрашиваетъ меня, гдѣ я учился, какъ живу, кто мои родные, къ кому я ѣзжу? И чувствую я, что не слѣдъ ей разговаривать; а запретить ей, рѣшительно этакъ, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бы-

*

вало, себя за голову:—что ты дѣлаешь, разбойникъ?... А то возьметъ меня за руку и держитъ, глядитъ на меня, долго, долго глядитъ, отвернется, вздохнетъ и скажетъ: какой вы добрый! Руки у ней такія горячія, глаза большіе, томные.—Да, говоритъ, вы добрый, вы хорошій человѣкъ, вы не то, что наши сосѣди.... нѣтъ, вы не такой.... Какъ это я до сихъ поръ васъ не знала! — Александра Андреевна, успокойтесь, говорю.... я, повѣрьте, чувствую, я не знаю, чѣмъ заслужилъ.... только вы успокойтесь, ради Бога, успокойтесь.... все хорошо будетъ, вы будете здоровы.—А между тѣмъ, долженъ я вамъ сказать, прибавилъ лекарь, нагнувшись впередъ и поднявъ кверху брови: — что съ сосѣдями они мало водились оттого, что мелкіе имъ не подъ-стать приходились, а съ богатыми гордость запрещала знаться. Я вамъ говорю: чрезвычайно образованное было семейство; — такъ мнѣ, знаете, и лестно было. Изъ однѣхъ моихъ рукъ лекарство принимала.... приподнимется, бѣдняжка, съ моею помощью, приметъ, и взглянетъ на меня.... сердце у меня такъ и покатится. А между тѣмъ ей все хуже становилось, все хуже: умретъ, думаю, непремѣнно умретъ. Повѣрите-ли, хоть самому въ гробъ ложиться: а тутъ мать, сестры наблюдаютъ, въ глаза мнѣ смотрятъ.... и довѣріе проходитъ. «Что? Какъ!»—Ничего-съ, ничего-съ!—а какое ничего-съ, умъ мѣшается. Вотъ-съ, сижу я однажды ночью, одинъ опять, возлѣ больной. Дѣвка тутъ тоже сидитъ и храпитъ во всю ивановскую.... Ну, съ несчастной дѣвки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра Андреевна весьма не хорошо себя весь вечеръ чувствовала; жаръ ее замучилъ. До самой полуночи все металась; наконецъ, словно заснула; по крайней мѣрѣ не шевелится, лежитъ. Лампада въ углу передъ образомъ горитъ. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдругъ,

словно меня кто подъ бокъ толкнулъ, обернулся я.... Господи, Боже мой! Александра Андреевна во всѣ глаза на меня глядитъ.... губы раскрыты, щеки такъ и горятъ.— Что съ вами?—«Докторъ, вѣдь я умру?»—Помилуй Богъ!— «Нѣтъ, докторъ, нѣтъ, пожалуйста, не говорите мнѣ, что я буду жива.... не говорите.... еслибъ вы знали.... послушайте, ради Бога, не скрывайте отъ меня моего положенія!»—а сама такъ скоро дышетъ. — «Если я буду знать навѣрное, что я умереть должна.... я вамъ тогда все скажу, все!»—Александра Андреевна, помилуйте! — «Послушайте, вѣдь я не спала нисколько, я давно на васъ гляжу.... ради Бога.... я вамъ вѣрю, вы человѣкъ добрый, вы честный человѣкъ, заклинаю васъ всѣмъ, что̀ есть святого на свѣтѣ—скажите мнѣ правду! Еслибъ вы знали, какъ это для меня важно.... Докторъ, ради Бога скажите, я въ опасности?» — Что̀ я вамъ скажу, Александра Андреевна, помилуйте! — «Ради Бога, умоляю васъ!»— Не могу скрыть отъ васъ, Александра Андреевна — вы точно въ опасности, но Богъ милостивъ....—«Я умру, я умру».... И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не стращаетъ». Она вдругъ приподнялась и оперлась на локоть. — «Теперь.... ну, теперь я могу вамъ сказать, что я благодарна вамъ отъ всей души, что вы добрый, хорошій человѣкъ, что я васъ люблю».... Я гляжу на нее, какъ шальной; жутко мнѣ, знаете....— «Слышите-ли, я люблю васъ»....—Александра Андреевна, чѣмъ же я заслужилъ!—«Нѣтъ, нѣтъ, вы меня не понимаете.... ты меня не понимаешь».... И вдругъ, она протянула руки, схватила меня за голову и поцѣловала.... Повѣрите ли, я чуть-чуть не закричалъ.... бросился на колѣни и голову въ подушки спряталъ. Она молчитъ; пальцы ея у меня на волосахъ дрожатъ; слышу: плачетъ.

Я началъ ее утѣшать, увѣрять.... я ужъ, право, не знаю, что̀ я такое ей говорилъ. — Дѣвку, говорю, разбудите, Александра Андреевна.... благодарю васъ.... вѣрьте.... успокойтесь.—«Да полно же, полно», твердила она. «Богъ съ ними со всѣми; ну, проснутся, ну, придутъ—все равно: вѣдь умру же я.... Да и ты чего робѣешь, чего боишься? подними голову.... Или вы, можетъ быть, меня не любите, можетъ быть, я обманулась.... въ такомъ случаѣ, извините меня». — Александра Андреевна,—что̀ вы говорите?... я люблю васъ, Александра Андреевна. — Она взглянула мнѣ прямо въ глаза, раскрыла руки. — «Такъ обними же меня».... Скажу вамъ откровенно: я не понимаю, какъ я въ ту ночь съ ума не сошелъ. Чувствую я, что больная моя себя губитъ; вижу, что не совсѣмъ она въ памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти,—не подумала бы она обо мнѣ; а то, вѣдь, какъ хотите, жутко умирать въ двадцать-пять лѣтъ, никого не любивши: вѣдь вотъ что̀ ее мучило, вотъ отъ чего она, съ отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Но не выпускаетъ она меня изъ своихъ рукъ.— Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю.—«Къ чему», говоритъ, «чего жалѣть? Вѣдь должна же я умереть».... Это она безпрестанно повторяла. «Вотъ если бы я знала, что я въ живыхъ останусь и опять въ порядочныя барышни попаду, мнѣ бы стыдно было, точно стыдно.... а то что̀?»—Да кто вамъ сказалъ, что вы умрете?—«Э, нѣтъ, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умѣешь, посмотри на себя».—Вы будете живы, Александра Андреевна, я васъ вылечу; мы испросимъ у вашей матушки благословеніе.... мы соединимся узами, мы будемъ счастливы. — «Нѣтъ, нѣтъ, я съ васъ слово взяла, я должна умереть.... ты мнѣ обѣщалъ... ты мнѣ сказалъ».... Горько было мнѣ, по многимъ причинамъ

горько. И посудите, вотъ какія иногда приключаются вещицы: кажется ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, какъ мое имя, то-есть не фамилія, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифономъ зовутъ. Да-съ, да-съ; Трифономъ, Трифономъ Иванычемъ. Въ домѣ-то меня всѣ докторомъ звали. Я, дѣлать нечего, говорю: Трифонъ, сударыня. Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — охъ, да не доброе что-то, и засмѣялась потомъ, не хорошо тоже. Вотъ, этакъ-то я почти всю ночь провелъ съ ней. Поутру вышелъ, словно угорѣлый; вошелъ къ ней опять въ комнату уже днемъ, послѣ чаю. Боже мой, Боже мой! Узнать ее нельзя: краше въ гробъ кладутъ. Честью вамъ клянусь, не понимаю теперь, не понимаю рѣшительно, какъ я эту пытку выдержалъ. Три дня, три ночи еще проскрипѣла моя больная.... и какія ночи! Что она мнѣ говорила!... А въ послѣднюю-то ночь, вообразите вы себѣ, — сижу я подлѣ нея и ужъ объ одномъ Бога прошу: прибери, дескать, ее поскорѣй, да и меня тутъ же.... Вдругъ старушка мать— шасть въ комнату.... Ужъ я ей наканунѣ сказалъ, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, какъ увидѣла мать, и говоритъ:— ну, вотъ, хорошо, что пришла.... посмотри-ка на насъ, мы другъ друга любимъ, мы другъ другу слово дали. — «Что это она, докторъ, что она?» Я помертвѣлъ.—Бредитъ-съ, говорю, жаръ.... А она-то:—«Полно, полно, ты мнѣ сейчасъ совсѣмъ другое говорилъ, и кольцо отъ меня принялъ.... Что притворяешься? Мать моя добрая, она проститъ, она пойметъ, а я умираю — мнѣ не къ чему лгать; дай мнѣ руку».... Я вскочилъ и вонъ выбѣжалъ. Старушка, разумѣется, догадалась.

— Не стану я васъ однако долѣе томить, да и мнѣ самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя боль-

ная на другой же день скончалась. Царство ей небесное! (прибавилъ лекарь скороговоркой и со вздохомъ). Передъ смертью попросила она своихъ выдти и меня наединѣ съ ней оставить. — «Простите меня», говоритъ, «я, можетъ быть, виновата передъ вами.... болѣзнь.... но, повѣрьте, я никого не любила болѣе васъ.... не забывайте же меня.... берегите мое кольцо»....

Лекарь отвернулся; я взялъ его за руку.

— Эхъ!—сказалъ онъ, давайте-ка о чемъ-нибудь другомъ говорить, или не хотите-ли въ преферансикъ по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не слѣдъ такимъ возвышеннымъ чувствованіямъ предаваться. Нашъ братъ думай объ одномъ: какъ бы дѣти не пищали, да жена не бранилась. Вѣдь я съ тѣхъ поръ въ законный, какъ говорится, бракъ вступить успѣлъ.... Какъ же.... Купеческую дочь взялъ: семь тысячъ приданаго. Зовутъ ее Акулиной; Трифону-то подъ стать. Баба, долженъ я вамъ сказать, злая, да благо спитъ цѣлый день.... А что-жъ преферансъ?

Мы сѣли въ преферансъ по копѣйкѣ. Трифонъ Иванычъ выигралъ у меня два рубля съ полтиной—и ушелъ поздно, весьма довольный своей побѣдой.

МОЙ СОСѢДЪ РАДИЛОВЪ.

ОСЕНЬЮ вальдшнепы часто держатся въ старинныхъ липовыхъ садахъ. Такихъ садовъ у насъ въ орловской губерніи довольно много. Прадѣды наши, при выборѣ мѣста для жительства, непремѣнно отбивали десятины двѣ хорошей земли подъ фруктовый садъ съ липовыми аллеями. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ, много семьдесятъ, эти усадьбы, «дворянскія гнѣзда», понемногу исчезали съ лица земли; дома сгнивали или продавались на свозъ, каменныя службы превращались въ груды развалинъ, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Однѣ липы по прежнему росли себѣ на славу, и теперь, окруженныя распаханными полями, гласятъ нашему вѣтренному племени о «прежде почившихъ отцахъ и братіяхъ». Прекрасное дерево — такая старая липа.... Ее щадитъ даже безжалостный топоръ русскаго мужика. Листъ на ней мелкій, могучіе сучья широко раскинулись во всѣ стороны, вѣчная тѣнь подъ ними.

Однажды, скитаясь съ Ермолаемъ по полямъ за куропатками, завидѣлъ я въ сторонѣ заброшенный садъ и отправился туда. Только-что я вошелъ въ опушку, вальдшнепъ со стукомъ поднялся изъ куста; — я выстрѣлилъ, и въ то же мгновенье, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня,

раздался крикъ: испуганное лицо молодой дѣвушки выглянуло изъ-за деревьевъ и тотчасъ скрылось. Ермолай подбѣжалъ ко мнѣ. «Что вы здѣсь стрѣляете: здѣсь живетъ помѣщикъ».

Не успѣлъ я ему отвѣтить, не успѣла собака моя съ благородной важностью донести до меня убитую птицу, какъ послышались проворные шаги, и человѣкъ высокаго росту, съ усами, вышелъ изъ чащи и съ недовольнымъ видомъ остановился передо мной. Я извинился, какъ могъ, назвалъ себя и предложилъ ему птицу, застрѣленную въ его владѣніяхъ.

— Извольте,—сказалъ онъ мнѣ съ улыбкой—я приму вашу дичь, но только съ условіемъ: вы у насъ останетесь обѣдать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложенію, но отказаться было невозможно.

— Я здѣшній помѣщикъ и вашъ сосѣдъ, Радиловъ, можетъ, слыхали,—продолжалъ мой новый знакомый: — сегодня воскресенье, и обѣдъ у меня, должно быть, будетъ порядочный, а то-бы я васъ не пригласилъ.

Я отвѣчалъ, что̀ отвѣчаютъ въ такихъ случаяхъ, и отправился вслѣдъ за нимъ. Недавно-расчищенная дорожка скоро вывела насъ изъ липовой рощи; мы вошли въ огородъ. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрѣли круглые, блѣдно-зеленые кочаны капусты, хмель винтами обвивалъ высокія тычинки; тѣсно торчали на грядахъ бурые прутья, перепутанные засохшимъ горохомъ; большія плоскія тыквы словно валялись на землѣ; огурцы желтѣли изъ-подъ запыленныхъ, угловатыхъ листьевъ; вдоль плетня качалась высокая крапива; въ двухъ или трехъ мѣстахъ кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповникъ,—остатки прежнихъ «клумбъ». Возлѣ небольшой сажалки, наполненной крас-

новатой и слизистой водой, виднѣлся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли въ этихъ лужицахъ; собака, дрожа всѣмъ тѣломъ и жмурясь, грызла кость на полянѣ; пѣгая корова тутъ же лѣниво щипала траву, изрѣдка закидывая хвостъ на худую спину. Дорожка повернула въ сторону; изъ-за толстыхъ ракитъ и березъ глянулъ на насъ старенькій, сѣрый домикъ съ тесовой крышей и кривымъ крылечкомъ. Радиловъ остановился.

— Впрочемъ,—сказалъ онъ, добродушно и прямо посмотрѣвъ мнѣ въ лицо: — я теперь раздумалъ; можетъ быть, вамъ вовсе не хочется заходить ко мнѣ: въ такомъ случаѣ....

Я не далъ ему договорить и увѣрилъ его, что мнѣ, напротивъ, очень пріятно будетъ у него отобѣдать.

— Ну, какъ знаете.

Мы вошли въ домъ. Молодой малый, въ длинномъ кафтанѣ изъ синяго толстаго сукна, встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Радиловъ тотчасъ приказалъ ему поднести водки Ермолаю; мой охотникъ почтительно поклонился спинѣ великодушнаго дателя. Изъ передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завѣшенной клѣтками, вошли мы въ небольшую комнатку — кабинетъ Радилова. Я снялъ свои охотничьи доспѣхи, поставилъ ружье въ уголъ; малый въ длинномъ сюртукѣ хлопотливо обчистилъ меня.

— Ну, теперь пойдемте въ гостиную, — ласково проговорилъ Радиловъ: — я васъ познакомлю съ моей матушкой.

Я пошелъ за нимъ. Въ гостиной, на серединѣ дивана, сидѣла старушка небольшого росту, въ коричневомъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ, съ добренькимъ и худенькимъ лицомъ, робкимъ и печальнымъ взглядомъ.

— Вотъ, матушка, рекомендую: сосѣдъ нашъ ***.

Старушка привстала и поклонилась мнѣ, не выпуская изъ сухощавыхъ рукъ толстаго гаруснаго ридикюля въ видѣ мѣшка.

— Давно вы пожаловали въ нашу сторону?—спросила она слабымъ и тихимъ голосомъ, помаргивая глазами.

— Нѣтъ-съ, недавно.

— Долго намѣрены здѣсь остаться?

— Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

— А вотъ это,—подхватилъ Радиловъ, указывая мнѣ на человѣка высокаго и худого, котораго я при входѣ въ гостиную не замѣтилъ: —это Ѳедоръ Михѣичъ.... Ну-ка, Ѳедя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился въ уголъ-то?

Ѳедоръ Михѣичъ тотчасъ поднялся со стула, досталъ съ окна дрянненькую скрыпку, взялъ смычокъ — не за конецъ, какъ слѣдуетъ, а за середину, прислонилъ скрыпку къ груди, закрылъ глаза и пустился въ плясъ, напѣвая пѣсенку и пиликая по струнамъ. Ему на видъ было лѣтъ семьдесятъ; длинный нанковый сюртукъ печально болтался на сухихъ и костлявыхъ его членахъ. Онъ плясалъ; то съ удальствомъ потряхивалъ, то, словно замирая, поводилъ маленькой лысой головкой, вытягивалъ жилистую шею, топоталъ ногами на мѣстѣ, иногда, съ замѣтнымъ трудомъ, сгибалъ колѣни. Его беззубый ротъ издавалъ дряхлый голосъ. Радиловъ, должно быть, догадался по выраженію моего лица, что мнѣ «искусство» Ѳеди не доставляло большого удовольствія.

— Ну, хорошо, старина, полно,—проговорилъ онъ:— можешь пойдти наградить себя.

Ѳедоръ Михѣичъ тотчасъ положилъ скрыпку на окно, поклонился сперва мнѣ, какъ гостю, потомъ старушкѣ, потомъ Радилову и вышелъ вонъ.

- Тоже былъ помѣщикъ,—продолжалъ мой новый прія-
:—и богатый, да разорился—вотъ проживаетъ теперь
ня.... А въ свое время считался первымъ по губер-
хватомъ; двухъ женъ отъ мужей увезъ, пѣсельниковъ
алъ, самъ пѣвалъ и плясалъ мастерски.... Но не
ажете-ли водки? вѣдь ужъ обѣдъ на столѣ.
олодая дѣвушка, та самая, которую я мелькомъ ви-
въ саду, вошла въ комнату.
- А вотъ и Оля! замѣтилъ Радиловъ, слегка отвер-
голову:—прошу любить и жаловать.... Ну, пойдемте
ать.
ы отправились въ столовую, сѣли. Пока мы шли изъ
ной и садились, Ѳедоръ Михѣичъ, у котораго отъ
рады» глазки засіяли и носъ слегка покраснѣлъ, пѣлъ:
мъ побѣды раздавайся!» Ему поставили особый при-
въ углу на маленькомъ столикѣ безъ салфетки. Бѣд-
старикъ не могъ похвалиться опрятностью, и потому
постоянно держали въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ обще-
. Онъ перекрестился, вздохнулъ и началъ ѣсть, какъ
а. Обѣдъ былъ дѣйствительно недуренъ и, въ каче-
воскреснаго, не обошелся безъ трепещущаго желе и
нскихъ вѣтровъ (пирожнаго). За столомъ Радиловъ,
ый лѣтъ десять служилъ въ армейскомъ пѣхот-
полку и въ Турцію ходилъ, пустился въ разсказы;
ушалъ его со вниманіемъ и украдкой наблюдалъ за
ой. Она не очень была хороша собой; но рѣшитель-
и спокойное выраженіе ея лица, ея широкій, бѣлый
, густые волосы и, въ особенности, каріе глаза, не-
шіе, но умные, ясные и живые, поразили-бы и вся-
другого на моемъ мѣстѣ. Она какъ-будто слѣдила за
ымъ словомъ Радилова; не участіе,—страстное вни-
е изображалось на ея лицѣ. Радиловъ, по лѣтамъ,
бы быть ея отцомъ; онъ говорилъ ей: «ты», но я

тотчасъ догадался, что она не была его дочерью. Въ теченіи разговора онъ упомянулъ о своей покойной женѣ—«ея сестра», прибавилъ онъ, указавъ на Ольгу. Она быстро покраснѣла и опустила глаза. Радиловъ помолчалъ и перемѣнилъ разговоръ. Старушка во весь обѣдъ не произнесла слова, сама почти ничего не ѣла и меня не подчивала. Ея черты дышали какимъ-то боязливымъ и безнадежнымъ ожиданьемъ, той старческой грустью, отъ которой такъ мучительно сжимается сердце зрителя. Къ концу обѣда Ѳедоръ Михѣичъ началъ-было «славить» хозяевъ и гостя, но Радиловъ взглянулъ на меня и попросилъ его замолчать; старикъ провелъ рукой по губамъ заморгалъ глазами, поклонился и присѣлъ опять, но уже на самый край стула. Послѣ обѣда мы съ Радиловымъ отправились въ его кабинетъ.

Въ людяхъ, которыхъ сильно и постоянно занимаетъ одна мысль или одна страсть, замѣтно что-то общее, какое-то внѣшнее сходство въ обращеньи, какъ бы ни были, впрочемъ, различны ихъ качества, способности, положеніе въ свѣтѣ и воспитаніе. Чѣмъ болѣе я наблюдалъ за Радиловымъ, тѣмъ болѣе мнѣ казалось, что онъ принадлежалъ къ числу такихъ людей. Онъ говорилъ о хозяйствѣ, объ урожаѣ, покосѣ, о войнѣ, уѣздныхъ сплетняхъ и близкихъ выборахъ, говорилъ безъ принужденья, даже съ участьемъ, но вдругъ вздыхалъ и опускался въ кресла, какъ человѣкъ, утомленный тяжкой работой, проводилъ рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена однимъ чувствомъ. Меня поражало уже то, что я не могъ въ немъ открыть страсти ни къ ѣдѣ, ни къ вину, ни къ охотѣ, ни къ курскимъ соловьямъ, ни къ голубямъ, страдающимъ падучей болѣзнью, ни къ русской литературѣ, ни къ иноходцамъ, ни къ венгеркамъ, ни къ карточной и билліардной игрѣ, ни къ танцовальнымъ

вечерамъ, ни къ поѣздкамъ въ губернскіе и столичные города, ни къ бумажнымъ фабрикамъ и свеклосахарнымъ заводамъ, ни къ раскрашеннымъ бесѣдкамъ, ни къ чаю, ни къ доведеннымъ до разврата пристяжнымъ, ни даже къ толстымъ кучерамъ, подпоясаннымъ подъ самыми мышками, къ тѣмъ великолѣпнымъ кучерамъ, у которыхъ, Богъ знаетъ почему, отъ каждаго движенія шеи глаза косятся и лѣзутъ вонъ.... «Что-жъ это за помѣщикъ, наконецъ!» думалъ я. А между тѣмъ онъ вовсе не прикидывался человѣкомъ мрачнымъ и своею судьбою недовольнымъ; напротивъ, отъ него такъ и вѣяло неразборчивымъ благоволеньемъ, радушьемъ и почти обидной готовностью сближенья съ каждымъ встрѣчнымъ и поперечнымъ. Правда, вы въ то же самое время чувствовали, что подружиться, дѣйствительно сблизиться онъ ни съ кѣмъ не могъ, и не могъ не оттого, что вообще не нуждался въ другихъ людяхъ, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь въ Радилова, я никакъ не могъ себѣ представить его счастливымъ ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцемъ онъ тоже не былъ; но въ его взорѣ, въ улыбкѣ, во всемъ его существѣ таилось что-то чрезвычайно привлекательное, — именно таилось. Такъ, кажется, и хотѣлось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, въ немъ иногда высказывался помѣщикъ и степнякъ; но человѣкъ онъ все-таки былъ славный.

Мы начали-было толковать съ нимъ о новомъ уѣздномъ предводителѣ, какъ вдругъ у двери раздался голосъ Ольги: «Чай готовъ». Мы пошли въ гостиную. Ѳедоръ Михѣичъ по прежнему сидѣлъ въ своемъ уголку, между окошкомъ и дверью, скромно подобравъ ноги. Мать Радилова вязала чулокъ. Сквозь открытыя окна изъ саду вѣяло осенней свѣжестью и запахомъ яблоковъ. Ольга хлопотливо разливала чай. Я съ бо̀льшимъ вниманіемъ смотрѣлъ на нее теперь,

чѣмъ за обѣдомъ. Она говорила очень мало, какъ вообще всѣ уѣздныя дѣвицы, но въ ней, по крайней мѣрѣ, я не замѣчалъ желанья сказать что-нибудь хорошее, вмѣстѣ съ мучительнымъ чувствомъ пустоты и безсилія; она не вздыхала, словно отъ избытка неизъяснимыхъ ощущеній, не закатывала глаза подъ лобъ, не улыбалась мечтательно и неопредѣленно. Она глядѣла спокойно и равнодушно, какъ человѣкъ, который отдыхаетъ отъ большого счастья или отъ большой тревоги. Ея походка, ея движенья были рѣшительны и свободны. Она мнѣ очень нравилась.

Мы съ Радиловымъ опять разговорились. Я уже не помню, какимъ путемъ мы дошли до извѣстнаго замѣчанья: какъ часто самыя ничтожныя вещи производятъ большее впечатлѣніе на людей, чѣмъ самыя важныя.

— Да, — промолвилъ Радиловъ: — это я испыталъ на себѣ. Я, вы знаете, былъ женатъ. Не долго.... три года; моя жена умерла отъ родовъ. Я думалъ, что не переживу ея; я былъ огорченъ страшно, убитъ, но плакать не могъ— ходилъ словно шальной. Ее, какъ слѣдуетъ, одѣли, положили на столъ—вотъ въ этой комнатѣ. Пришелъ священникъ; дьячки пришли, стали пѣть, молиться, курить ладономъ; я клалъ земные поклоны и хоть бы слезинку выронилъ. Сердце у меня словно окаменѣло и голова тоже, — и весь я отяжелѣлъ. Такъ прошелъ первый день. Вѣрители? ночью я заснулъ даже. На другое утро вошелъ я къ женѣ, — дѣло было лѣтомъ, солнце освѣщало ее съ ногъ до головы, да такъ ярко. — Вдругъ я увидѣлъ.... (Здѣсь Радиловъ невольно вздрогнулъ). Что̀ вы думаете? Глазъ у нея не совсѣмъ былъ закрытъ, и по этому глазу ходила муха.... Я повалился, какъ снопъ, и, какъ опомнился, сталъ плакать, плакать,—унять себя не могъ....

Радиловъ замолчалъ. Я посмотрѣлъ на него, потомъ на Ольгу.... Въ вѣкъ мнѣ не забыть выраженія ея лица. Ста-

рушка положила чулокъ на колѣни, достала изъ ридикюля платокъ и украдкой утерла слезу. Ѳедоръ Михѣичъ вдругъ поднялся, схватилъ свою скрыпку и хриплымъ и дикимъ голосомъ затянулъ пѣсенку. Онъ желалъ, вѣроятно, развеселить насъ; но мы всѣ вздрогнули отъ его перваго звука, и Радиловъ попросилъ его успокоиться.

— Впрочемъ, — продолжалъ онъ: — что было, то было; прошлаго не воротишь, да и наконецъ... все къ лучшему въ здѣшнемъ мірѣ, какъ сказалъ, кажется, Вольтеръ,—прибавилъ онъ поспѣшно.

— Да, возразилъ я: — конечно. Притомъ, всякое несчастье можно перенести, и нѣтъ такого сквернаго положенія, изъ котораго нельзя было бы выдти.

— Вы думаете? — замѣтилъ Радиловъ.—Что-жъ, можетъ быть, вы правы. Я, помнится, въ Турціи лежалъ въ госпиталѣ, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помѣщеніемъ мы похвалиться не могли,—разумѣется, дѣло военное,—и то еще слава Богу! Вдругъ къ намъ еще приводятъ больныхъ,—куда ихъ положить? Лекарь туда, сюда, — нѣтъ мѣста. Вотъ подошелъ онъ ко мнѣ, спрашиваетъ фельдшера: «живъ?» Тотъ отвѣчаетъ: «утромъ былъ живъ». Лекарь нагнулся, слышитъ: дышу. Не вытерпѣлъ пріятель. «Вѣдь, экая натура-то дура», говоритъ:—«вѣдь, вотъ умретъ человѣкъ, вѣдь непремѣнно умретъ, а все скрипитъ, тянетъ, только мѣсто занимаетъ, да другимъ мѣшаетъ». Ну, подумалъ я про себя, плохо тебѣ, Михайло Михайлычъ.... А вотъ выздоровѣлъ и живъ до сихъ поръ, какъ изволите видѣть. Стало быть, вы правы.

— Во всякомъ случаѣ я правъ,—отвѣчалъ я: — еслибъ вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы изъ вашего сквернаго положенія.

— Разумѣется, разумѣется,—прибавилъ онъ, — сильно ударивъ рукою по столу.... Стоитъ только рѣшиться....

Что толку въ скверномъ положеніи?... Къ чему медлить, тянуть....

Ольга быстро встала и вышла въ садъ.

— Ну-ка, Ѳедя, плясовую! — воскликнулъ Радиловъ.

Ѳедя вскочилъ, пошелъ по комнатѣ той щеголеватой, особенной поступью, какою выступаетъ извѣстная «коза» около ручного медвѣдя, и запѣлъ: «Какъ у нашихъ у воротъ....»

У подъѣзда раздался стукъ бѣговыхъ дрожекъ, и черезъ нѣсколько мгновеній вошелъ въ комнату старикъ высокаго росту, плечистый и плотный, однодворецъ Овсяниковъ.... Но Овсяниковъ такое замѣчательное и оригинальное лицо, что мы, съ позволенія читателя, поговоримъ о немъ въ другомъ отрывкѣ. А теперь я отъ себя прибавлю только то, что на другой же день мы съ Ермолаемъ чѣмъ-свѣтъ отправились на охоту, а съ охоты домой,—что чрезъ недѣлю я опять зашелъ къ Радилову, но не засталъ ни его, ни Ольги дома, а черезъ двѣ недѣли узналъ, что онъ внезапно исчезъ, бросилъ мать, уѣхалъ куда-то съ своей золовкой. Вся губернія взволновалась и заговорила объ этомъ происшествіи, и я только тогда окончательно понялъ выраженіе Ольгина лица во время разсказа Радилова. Не однимъ состраданіемъ дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.

Передъ моимъ отъѣздомъ изъ деревни я посѣтилъ старушку Радилову. Я нашелъ ее въ гостиной; она играла съ Ѳедоромъ Михѣичемъ въ дурачки.

— Имѣете вы извѣстіе отъ вашего сына? — спросилъ я ее наконецъ.

Старушка заплакала. Я уже болѣе не разспрашивалъ ее о Радиловѣ.

ОДНОДВОРЕЦЪ ОВСЯНИКОВЪ.

ПРЕДСТАВЬТЕ себѣ, любезные читатели, человѣка полнаго, высокаго, лѣтъ семидесяти, съ лицомъ, напоминающимъ нѣсколько лицо Крылова, съ яснымъ и умнымъ взоромъ подъ нависшей бровью, съ важной осанкой, мѣрной рѣчью, медлительной походкой: вотъ вамъ Овсяниковъ. Носилъ онъ просторный синій сюртукъ съ длинными рукавами, застегнутый до верху, шелковый лиловый платокъ на шеѣ, ярко вычищенные сапоги съ кистями, и вообще съ виду походилъ на зажиточнаго купца. Руки у него были прекрасныя, мягкія и бѣлыя: онъ часто въ теченіи разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяниковъ своею важностью и неподвижностью, смышленостью и лѣнью, своимъ прямодушіемъ и упорствомъ напоминалъ мнѣ русскихъ бояръ допетровскихъ временъ.... Ферязь бы къ нему пристала. Это былъ одинъ изъ послѣднихъ людей стараго вѣка. Всѣ сосѣди его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться съ нимъ. Его братья, однодворцы, только-что не молились на него, шапки передъ нимъ издали ломали, гордились имъ. Говоря вообще, у насъ до сихъ поръ однодворца трудно отличить отъ мужика: хозяйство у него едва-ли не хуже мужицкаго, телята не выходятъ изъ гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная.

*

Овсяниковъ былъ исключеніемъ изъ общаго правила, хоть и не слылъ за богача. Жилъ онъ одинъ съ своей женой въ уютномъ, опрятномъ домикѣ, прислугу держалъ небольшую, одѣвалъ людей своихъ по-русски и называлъ работниками. Они же у него и землю пахали. Онъ и себя не выдавалъ за дворянина, не прикидывался помѣщикомъ, никогда, какъ говорится, «не забывался», не по первому приглашенію садился и при входѣ новаго гостя непремѣнно поднимался съ мѣста, но съ такимъ достоинствомъ, съ такой величавой привѣтливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяниковъ придерживался старинныхъ обычаевъ не изъ суевѣрія (душа въ немъ была довольно свободная), а по привычкѣ. Онъ, напримѣръ, не любилъ рессорныхъ экипажей, потому что не находилъ ихъ покойными, и разъѣзжалъ либо въ бѣговыхъ дрожкахъ, либо въ небольшой красивой телѣжкѣ съ кожаной подушкой, и самъ правилъ своимъ добрымъ гнѣдымъ рысакомъ. (Онъ держалъ однѣхъ гнѣдыхъ лошадей.) Кучеръ, молодой краснощекій парень, остриженный въ скобку, въ синеватомъ армякѣ и низкой бараньей шапкѣ, подпоясанный ремнемъ, почтительно сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Овсяниковъ всегда спалъ послѣ обѣда, ходилъ въ баню по субботамъ, читалъ однѣ духовныя книги (причемъ съ важностью надѣвалъ на носъ круглыя серебряныя очки), вставалъ и ложился рано. Бороду, однако же, онъ брилъ и волосы носилъ по-нѣмецки. Гостей онъ принималъ весьма ласково и радушно, но не кланялся имъ въ поясъ, не суетился, не подчивалъ ихъ всякимъ сушеньемъ и соленьемъ. «Жена!» говорилъ онъ медленно, не вставая съ мѣста и слегка повернувъ къ ней голову: — «принеси господамъ чего-нибудь полакомиться». Онъ почиталъ за грѣхъ продавать хлѣбъ—Божій даръ, и въ 40-мъ году, во время общаго голода и страшной дороговизны, роздалъ окрестнымъ помѣщикамъ и мужикамъ весь свой за-

пасѣ; они ему на слѣдующій годъ съ благодарностью взнесли свой долгъ натурой. Къ Овсяникову часто прибѣгали сосѣди съ просьбой разсудить, помирить ихъ и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совѣта. Многіе, по его милости, окончательно размежевались.... Но послѣ двухъ или трехъ сшибокъ съ помѣщицами, онъ объявилъ, что отказывается отъ всякаго посредничества между особами женскаго пола. Терпѣть онъ не могъ поспѣшности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Разъ какъ-то у него домъ загорѣлся. Работникъ въ попыхахъ вбѣжалъ къ нему съ крикомъ: «пожаръ! пожаръ»!—«Ну, чего-же ты кричишь?» спокойно сказалъ Овсяниковъ:—«подай мнѣ шапку и костыль».... Онъ самъ любилъ выѣзжать лошадей. Однажды рьяный битюкъ *) помчалъ его подъ гору къ оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенокъ малолѣтній, — убьешься», добродушно замѣчалъ ему Овсяниковъ и, черезъ мгновенье, полетѣлъ въ оврагъ вмѣстѣ съ бѣговыми дрожками, мальчикомъ, сидѣвшимъ сзади, и лошадью. Къ счастью на днѣ оврага грудами лежалъ песокъ. Никто не ушибся, одинъ битюкъ вывихнулъ себѣ ногу.—«Ну, вотъ, видишь», продолжалъ спокойнымъ голосомъ Овсяниковъ, поднимаясь съ земли:—я тебѣ говорилъ». И жену онъ сыскалъ по себѣ. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокаго росту, важная и молчаливая, вѣчно повязанная коричневымъ шелковымъ платкомъ. Отъ нея вѣяло холодомъ, хотя не только никто не жаловался на ея строгость, но, напротивъ, многіе бѣдняки называли ее матушкой и благодѣтельницей. Правильныя черты лица, большіе темные глаза, тонкія губы

*) Битюками или съ Битюка называются особенной породы лошади, которыя развелись въ воронежской губерніи, около извѣстнаго „Хрѣноваго“ (бывшаго коннаго завода гр. Орловой).

и теперь еще свидѣтельствовали о нѣкогда-знаменитой ея красотѣ. Дѣтей у Овсяникова не было.

Я съ нимъ познакомился, какъ уже извѣстно читателю, у Радилова и дня черезъ два поѣхалъ къ нему. Я засталъ его дома. Онъ сидѣлъ въ большихъ кожаныхъ креслахъ и читалъ Четьи-Минеи. Сѣрая кошка мурлыкала у него на плечѣ. Онъ меня принялъ, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились въ разговоръ.

— А скажите-ка, Лука Петровичъ, правду,—сказалъ я между прочимъ:—вѣдь прежде, въ ваше-то время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вамъ, — возразилъ Овсяниковъ:—спокойнѣе мы жили; довольства больше было, точно.... А все-таки теперь лучше; а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ дастъ.

— А я такъ ожидалъ, Лука Петровичъ, что вы мнѣ старое время хвалить станете.

— Нѣтъ, стараго времени мнѣ особенно хвалить не изъ чего. Вотъ хоть бы, примѣромъ сказать, вы помѣщикъ теперь, такой же помѣщикъ какъ вашъ покойный дѣдушка, а ужъ власти вамъ такой не будетъ! да и вы сами не такой человѣкъ. Насъ и теперь другіе господа притѣсняютъ; но безъ этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется—авось, мука́ будетъ. Нѣтъ, ужъ я теперь не увижу, чего въ молодости насмотрѣлся.

— А чего бы, напримѣръ?

— А хоть бы, напримѣръ, опять-таки скажу про вашего дѣдушку. Властный былъ человѣкъ! обижалъ нашего брата. Вѣдь вотъ вы, можетъ, знаете,—да какъ вамъ своей земли не знать,—клинъ-то, что̀ идетъ отъ Чеплыгина къ Малиннину?... Онъ у васъ подъ овсомъ теперь.... Ну, вѣдь онъ нашъ,—весь, какъ есть, нашъ. Вашъ дѣдушка у насъ его отнялъ; выѣхалъ верхомъ, показалъ рукой, говоритъ: мое

владѣнье,—и завладѣлъ. Отецъ-то мой, покойникъ (царство ему небесное!), человѣкъ былъ справедливый, горячій былъ тоже человѣкъ, не вытерпѣлъ, — да и кому охота свое доброе терять?—и въ судъ просьбу подалъ. Да одинъ подалъ, другіе-то не пошли, — побоялись. Вотъ вашему дѣдушкѣ и донесли, что Петръ Овсяниковъ, молъ, на васъ жалуется: землю, вишь, отнять изволили.... Дѣдушка вашъ къ намъ тотчасъ и прислалъ своего ловчаго Бауша съ командой.... Вотъ и взяли моего отца, и въ вашу вотчину повели. Я тогда былъ мальчишка маленькій, босикомъ за нимъ побѣжалъ. Что-жъ?... Привели его къ вашему дому да подъ окнами и высѣкли. А вашъ-то дѣдушка стоитъ на балконѣ да посматриваетъ; а бабушка подъ окномъ сидитъ и тоже глядитъ. Отецъ мой кричитъ: «матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядываетъ. Вотъ и взяли съ отца слово отступиться отъ земли и благодарить еще велѣли, что живого отпустили. Такъ она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своихъ мужиковъ: какъ, молъ, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьемъ отнята. Такъ вотъ отъ этого и нельзя намъ, маленькимъ людямъ, очень-то жалѣть о старыхъ порядкахъ.

Я не зналъ, что̀ отвѣчать Овсяникову, и не смѣлъ взглянуть ему въ лицо.

— А то другой сосѣдъ у насъ въ тѣ поры завелся,— Комовъ, Степанъ Никтополіонычъ. Замучилъ-было отца совсѣмъ: не мытьемъ, такъ катаньемъ. Пьяный былъ человѣкъ и любилъ утощать, и какъ подопьетъ да скажетъ по-французски: «се бонъ», да облизнется — хоть святыхъ вонъ неси! По всѣмъ сосѣдямъ шлетъ просить пожаловать. Тройки такъ у него наготовѣ и стояли; а не поѣдешь,— тотчасъ самъ нагрянетъ.... И такой странный былъ человѣкъ! Въ «тверёзомъ» видѣ не лгалъ; а какъ выпьетъ —

и начнетъ разсказывать, что у него въ Питерѣ три дома на Фонтанкѣ: одинъ красный съ одной трубой, другой — желтый съ двумя трубами, а третій—синій безъ трубъ,— и три сына (а онъ и женатъ-то не бывалъ): одинъ въ инфантеріи, другой въ кавалеріи, третій самъ по себѣ.... И говоритъ, что въ каждомъ домѣ живетъ у него по сыну, что къ старшему ѣздятъ адмиралы, ко второму генералы, а къ младшему все англичане! Вотъ и поднимется и говоритъ: «за здравіе моего старшаго сына, онъ у меня самый почтительный!»—и заплачетъ. И бѣда, коли кто отказываться станетъ. «Застрѣлю!»—говоритъ: «и хоронить не позволю!»... А то вскочитъ и закричитъ: «пляши, народъ Божій, на свою потѣху и мое утѣшеніе!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Дѣвокъ своихъ крѣпостныхъ вовсе замучилъ. Бывало, всю ночь, какъ есть, до утра хоромъ поютъ, и какая выше голосомъ забираетъ, той и награда. А станутъ уставать,—голову на руки положитъ и загорюетъ: «охъ, сирота я сиротливая! покидаютъ меня, голубчика!» Конюха́ тотчасъ дѣвокъ и пріободрятъ. Отецъ-то мой ему и полюбись: что́ прикажешь дѣлать? Вѣдь чуть въ гробъ отца моего не вогналъ, и точно вогналъ-бы, да самъ, спасибо, умеръ: съ голубятни въ пьяномъ видѣ свалился.... Такъ вотъ какіе у насъ сосѣдушки бывали!

— Какъ времена-то измѣнились!—замѣтилъ я.

— Да, да,—подтвердилъ Овсяниковъ.... Ну, и то сказать: въ старые-то годы дворяне живали пышнѣе. Ужъ нечего и говорить про вельможъ: я въ Москвѣ на нихъ насмотрѣлся. Говорятъ, они и тамъ перевелись теперь.

— Вы были въ Москвѣ?

— Былъ, давно, очень давно. Мнѣ вотъ теперь семьдесятъ-третій годъ пошелъ, а въ Москву я ѣздилъ на шестнадцатомъ году.

Овсяниковъ вздохнулъ.

— Кого-жъ вы тамъ видали?

— А многихъ вельможъ видѣлъ — и всякъ ихъ видѣлъ; жили открыто, на славу и удивленіе. Только до покойнаго графа Алексѣя Григорьевича Орлова-Чесменскаго не доходилъ ни одинъ. Алексѣя-то Григорьевича я видалъ часто; дядя мой у него дворецкимъ служилъ. Изволилъ графъ жить у Калужскихъ воротъ, на Шáболовкѣ. Вотъ былъ вельможа! Такой осанки, такого привѣта милостиваго вообразить невозможно и разсказать нельзя. Ростъ одинъ чего стоилъ, сила, взглядъ! Пока не знаешь его, не войдешь къ нему — боишься точно, робѣешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригрѣетъ, и весь повеселѣешь. Каждаго человѣка до своей особы допускалъ, и до всего охотникъ былъ. На бѣгу самъ правилъ и со всякимъ гонялся; и никогда не обгонитъ съ-разу, не обидитъ, не оборветъ, а развѣ подъ самый конецъ переѣдетъ; и такой ласковый,—противника утѣшитъ, коня его похвалитъ. Голубей-турмановъ держалъ первѣйшаго сорта. Выйдетъ, бывало, на дворъ, сядетъ въ кресла и прикажетъ голубковъ поднять; а кругомъ, на крышахъ, люди стоятъ съ ружьями противъ ястребовъ. Къ ногамъ графа большой серебряный тазъ поставятъ съ водой; онъ и смотритъ въ воду на голубковъ. Убогіе, нищіе сотнями на его хлѣбѣ живали.... и сколько денегъ онъ передавалъ! А разсердится,—словно громъ прогремитъ. Страху много, а плакаться не на что: смотришь, — ужъ и улыбается. Пиръ задастъ — Москву споитъ!... И вѣдь умница былъ какой! вѣдь Турку-то онъ побилъ. Бороться тоже любилъ; силачей къ нему изъ Тулы возили, изъ Харькова, изъ Тамбова, отовсюду. Кого поборетъ — наградитъ; а коли кто его поборетъ — задаритъ вовсе и въ губы поцѣлуетъ.... А то, въ бытность мою въ Москвѣ, затѣялъ садку такую, какой на Руси не бывало: всѣхъ, какъ есть, охотниковъ со всего царства къ себѣ въ

гости пригласилъ и день назначилъ, и три мѣсяца сроку далъ. Вотъ и собрались. Навезли собакъ, егерей, — ну, войско наѣхало, какъ есть, войско! Сперва попировали, какъ слѣдуетъ, а тамъ и отправились за заставу. Народу сбѣжалось тьма-тьмущая!... И что̀ вы думаете?... Вѣдь вашего дѣдушки собака всѣхъ обскакала.

— Не Миловидка-ли? — спросилъ я.

— Миловидка, Миловидка.... Вотъ графъ его и началъ упрашивать: «продай мнѣ, дескать, твою собаку: возьми, что хочешь».—«Нѣтъ, графъ», говоритъ, «я не купецъ: тряпицы ненужной не продамъ, а изъ чести хоть жену готовъ уступить, только не Миловидку.... Скорѣе себя самого въ полонъ отдамъ». А Алексѣй Григорьевичъ его похвалилъ: «люблю», говоритъ. Дѣдушка-то вашъ ее назадъ въ каретѣ повезъ; а какъ умерла Миловидка, съ музыкой въ саду ее похоронилъ—псицу похоронилъ и камень съ надписью надъ псицей поставилъ.

— Вѣдь, вотъ Алексѣй Григорьевичъ не обижалъ же никого, — замѣтилъ я.

— Да оно всегда такъ бываетъ: кто самъ мелко плаваетъ, тотъ и задираетъ.

— А что̀ за человѣкъ былъ этотъ Баушъ? — спросилъ я послѣ нѣкотораго молчанія.

— Какъ-же это вы про Миловидку слыхали, а про Баушa нѣтъ?... Это былъ главный ловчій и доѣзжачій вашего дѣдушки. Дѣдушка-то вашъ его любилъ не меньше Миловидки. Отчаянный былъ человѣкъ, и что̀ бы вашъ дѣдъ ни приказалъ—мигомъ исполнитъ, хоть на ножъ полѣзетъ... И какъ порскалъ—такъ стонъ въ лѣсу, бывало, и стоитъ. А то вдругъ заупрямится, слѣзетъ съ коня и ляжетъ.... И какъ только перестали собаки слышать его голосъ — кончено! Горячій слѣдъ бросятъ, не погонятъ ни за какія блага. И-ихъ, вашъ дѣдушка разсердится! «Живъ быть не

хочу, коли не повѣшу бездѣльника! На изнанку антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!» А кончится тѣмъ, что пошлетъ узнать, чего ему надобно, отчего не порскаетъ? И Баушъ въ такихъ случаяхъ обыкновенно потребуетъ вина, выпьетъ, поднимется и загогочетъ опять на славу.

— Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петровичъ?

— Любилъ-бы.... точно,—не теперь: теперь моя пора прошла,—а въ молодыхъ годахъ.... да знаете, не ловко, по причинѣ званія. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и изъ нашего сословія иной, пьющій и неспособный, бывало присосѣдится къ господамъ.... да что за радость!... Только себя срамитъ. Дадутъ ему лошадь дрянную, спотыкливую; то-и-дѣло шапку съ него на земь бросаютъ; арапникомъ, будто по лошади, по немъ задѣваютъ; а онъ все смѣйся, да другихъ смѣши. Нѣтъ, скажу вамъ: чѣмъ мельче званіе, тѣмъ строже себя держи, а то какъ разъ себя замараешь.

— Да,—продолжалъ Овсяниковъ со вздохомъ: —много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ я на свѣтѣ живу: времена подошли другія. Особенно въ дворянахъ вижу я перемѣну большую. Мелкопомѣстные—всѣ либо на службѣ побывали, либо на мѣстѣ не сидятъ; а что покрупнѣй—тѣхъ и узнать нельзя. Насмотрѣлся я на нихъ, на крупныхъ-то, вотъ по случаю размежеванія. И долженъ я вамъ сказать: сердце радуется, на нихъ глядя: обходительны, вѣжливы. Только вотъ что мнѣ удивительно: всѣмъ наукамъ они научились, говорятъ такъ складно, что душа умиляется, а дѣла-то настоящаго не смыслятъ, даже собственной пользы не чувствуютъ: ихъ же крѣпостной человѣкъ, прикащикъ, гнетъ ихъ куда хочетъ, словно дугу. Вѣдь, вотъ вы, можетъ, знаете Королева, Александра Владиміровича,—чѣмъ не дворянинъ? Собой красавецъ, богатъ,

въ «ниверситетахъ» обучался, кажись, и за границей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ. Знаете?... ну, такъ слушайте. На прошлой недѣлѣ съѣхались мы въ Березовку, по приглашенію посредника, Никифора Ильича. И говоритъ намъ посредникъ, Никифоръ Ильичъ: «надо, господа, размежеваться; это срамъ, нашъ участокъ ото всѣхъ другихъ отсталъ: приступимте къ дѣлу». Вотъ и приступили. Пошли толки, споры, какъ водится; повѣренный нашъ ломаться сталъ. Но первый забуянилъ Овчинниковъ Порфирій.... И изъ чего буянитъ человѣкъ?... У самого вершка земли нѣту: по порученію брата распоряжается. Кричитъ: «нѣтъ! меня вамъ не провести! нѣтъ, не на того наткнулись! планы сюда! землемѣра мнѣ подайте, христопродавца подайте сюда!»—«Да какое, наконецъ, ваше требованіе?»—«Вотъ дурака нашли! эка! вы думаете: я вамъ такъ-таки сейчасъ мое требованіе и объявлю?... нѣтъ, вы планы сюда подайте, — вотъ что!» А самъ рукой стучитъ по планамъ. Марѳу Дмитревну обидѣлъ кровно. Та кричитъ: «какъ вы смѣете мою репутацію позорить?»—«Я», говоритъ, «вашей репутаціи моей бурой кобылѣ не желаю». Насилу мадерой отпоили. Его успокоили, — другіе забунтовали. Королевъ-то Александръ Владимірычъ сидитъ, мой голубчикъ, въ углу, набалдашникъ на палкѣ покусываетъ, да только головой качаетъ Совѣстно мнѣ стало, мочи нѣтъ, хоть вонъ бѣжать. Что, молъ, объ насъ подумаетъ человѣкъ? Глядь, поднялся мой Александръ Владимірычъ, показываетъ видъ, что говорить желаетъ. Посредникъ засуетился, говоритъ: «господа, господа, Александръ Владимірычъ говорить желаетъ». И нельзя не похвалить дворянъ: всѣ тотчасъ замолчали. Вотъ и началъ Александръ Владимірычъ, и говоритъ: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежеваніе, безспорно, выгодно для владѣльцевъ,

но въ сущности оно введено для чего?—для того, чтобъ крестьянину было легче, чтобъ ему работать сподручнѣе было, повинности справлять; а тò теперь онъ самъ своей земли не знаетъ и не рѣдко за пять верстъ пахать ѣдетъ,— и взыскать съ него нельзя. Потомъ сказалъ Александръ Владимірычъ, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ, что наконецъ, если здраво разсудить, ихъ выгоды и наши выгоды — все едино: имъ хорошо — намъ хорошо, имъ худо — намъ худо.... и что, слѣдовательно, грѣшно и неразсудительно не соглашаться изъ пустяковъ.... И пошелъ, и пошелъ.... да, вѣдь, какъ говорилъ! за душу такъ и забираетъ.... Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, въ старинныхъ книгахъ такихъ рѣчей не бываетъ.... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ. Говоритъ: я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на немъ заведу, съ усовершенствованіями. Я, говоритъ, ужъ это мѣсто выбралъ: у меня на этотъ счетъ свои соображенія.... И хоть бы это было справедливо: а то просто,— сосѣдъ Александра Владимірыча, Карасиковъ Антонъ, поскупился Королёвскому прикащику сто рублевъ ассигнаціями взнести. Такъ мы и разъѣхались, не сдѣлавши дѣла. А Александръ Владимірычъ по сихъ поръ себя правымъ почитаетъ и все о суконной фабрикѣ толкуетъ, только къ осушкѣ болота не приступаетъ.

— А какъ онъ въ своемъ имѣньи распоряжается?

— Все новые порядки вводитъ. Мужики не хвалятъ,— да ихъ слушать нечего. Хорошо поступаетъ Александръ Владимірычъ.

— Какъ-же это, Лука Петровичъ? Я думалъ, что вы придерживаетесь старины?

— Я — другое дѣло. Я вѣдь не дворянинъ и не помѣ-

щикъ. Что̀ мое за хозяйство?... Да я иначе и не умѣю. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, — и то слава Богу! Молодые господа прежнихъ порядковъ не любятъ: я ихъ хвалю.... Пора за умъ взяться. Только вотъ что̀ горе: молодые господа больно мудрятъ. Съ мужикомъ, какъ съ куклой, поступаютъ: повертятъ, повертятъ, поломаютъ, да и бросятъ. И прикащикъ, крѣпостной человѣкъ, или управитель изъ нѣмецкихъ уроженцевъ, опять крестьянина въ лапы заберетъ. И хотя-бы одинъ изъ молодыхъ-то господъ примѣръ подалъ, показалъ: вотъ, молъ, какъ надо распоряжаться!... Чѣмъ же это кончится? Неужто-жъ я такъ и умру и новыхъ порядковъ не увижу?... Что̀ за притча?—старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не зналъ, что̀ отвѣчать Овсяникову. Онъ оглянулся, придвинулся ко мнѣ поближе и продолжалъ вполголоса:

— А слыхали про Василья Николаича Любозвонова?

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Растолкуйте мнѣ, пожалуйста, что́ за чудеса такія? Ума не приложу. Его же мужики разсказывали, да я ихъ рѣчей въ толкъ не возьму. Человѣкъ онъ, вы знаете, молодой, недавно послѣ матери наслѣдство получилъ. Вотъ пріѣзжаетъ къ себѣ въ вотчину. Собрались мужички поглазѣть на своего барина. Вышелъ къ нимъ Василій Николаичъ. Смотрятъ мужики,—что́ за диво!—ходитъ баринъ въ плисовыхъ панталонахъ, словно кучеръ, а сапожки обулъ съ оторочкой; рубаху красную надѣлъ и кафтанъ тоже кучерской; бороду отпустилъ, а на головѣ така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное,—пьянъ, не пьянъ, а и не въ своемъ умѣ. «Здорово», говоритъ, «ребята! Богъ вамъ въ помощь». Мужики ему въ поясъ,—только молча: заробѣли, знасте. И онъ словно самъ робѣетъ. Сталъ онъ имъ рѣчь держать: «я-де русскій», говоритъ, «и вы рус-

кіе; я русское все люблю.... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская».... Да вдругъ какъ скомандуетъ: «а ну, дѣтки, спойте-ка русскую, народственную пѣсню!» У мужиковъ поджилки затряслись; вовсе одурѣли. Одинъ-было смѣльчакъ запѣлъ, да и присѣлъ тотчасъ къ землѣ, за другихъ спрятался.... И вотъ чему удивляться надо: бывали у насъ и такіе помѣщики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одѣвались, почитай, что кучерами и сами плясали, на гитарѣ играли, пѣли и пили съ дворовыми людишками, съ крестьянами пировали; а вѣдь этотъ-то Василій-то Николаичъ, словно красная дѣвушка: все книги читаетъ, али пишетъ, а не то вслухъ канты произноситъ,—ни съ кѣмъ не разговариваетъ, дичится, знай-себѣ по саду гуляетъ, словно скучаетъ или груститъ. Прежній-то прикащикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился: передъ пріѣздомъ Василья Николаича дворы крестьянскіе обѣгалъ, всѣмъ кланялся,—видно чуяла кошка, чье мясо съѣла! И мужики надѣялись, думали: «шалишь, братъ! — ужо́ тебя къ отвѣту потянутъ, голубчика; вотъ ты ужо́ напляшешься, жила ты этакой»!... А вмѣсто того вышло—какъ вамъ доложить? самъ Господь не разберетъ, что́ такое вышло! Позвалъ его къ себѣ Василій Николаичъ и говоритъ, а самъ краснѣетъ, и такъ, знаете, дышетъ скоро: «будь справедливъ у меня, не притѣсняй никого,—слышишь?» Да съ тѣхъ поръ его къ своей особѣ и не требовалъ! Въ собственной вотчинѣ живетъ, словно чужой. Ну, прикащикъ и отдохнулъ; а мужики къ Василью Николаичу подступиться не смѣютъ: боятся. И, вѣдь, вотъ опять что́ удивленія достойно: и кланяется имъ баринъ, и смотритъ привѣтливо, — а животы у нихъ отъ страху такъ и подводитъ. Что́ за чудеса такія, батюшка, скажите?... Или я глупъ сталъ, состарѣлся, что-ли, — не понимаю.

Я отвѣчалъ Овсяникову, что, вѣроятно, господинъ Любозвоновъ боленъ.

— Какое боленъ! Поперегъ себя толще, и лицо такое, Богъ съ нимъ, окладистое, даромъ, что молодъ.... А, впрочемъ, Господь вѣдаетъ! (И Овсяниковъ глубоко вздохнулъ.)

— Ну, въ сторону дворянъ, началъ я: — что́ вы мнѣ объ однодворцахъ скажете, Лука Петровичъ?

— Нѣтъ, ужъ вотъ отъ этого увольте,—поспѣшно проговорилъ онъ: — право.... и сказалъ бы вамъ.... да что! (Овсяниковъ рукой махнулъ.) Станемте лучше чай кушать.... Мужики, какъ есть мужики; а, впрочемъ, правду сказать, какъ же и быть-то намъ?

Онъ замолчалъ. Подали чай. Татьяна Ильинична встала съ своего мѣста и сѣла поближе къ намъ. Въ теченіи вечера она нѣсколько разъ безъ шума выходила и также тихо возвращалась. Въ комнатѣ воцарилось молчаніе. Овсяниковъ важно и медленно выпивалъ чашку за чашкой.

— Митя былъ сегодня у насъ, — вполголоса замѣтила Татьяна Ильинична.

Овсяниковъ нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходилъ прощенья просить.

Овсяниковъ покачалъ головою.

— Ну, подите вы, — продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—что́ прикажете дѣлать, съ сродственниками? И отказаться отъ нихъ невозможно... Вотъ и меня тоже Богъ наградилъ племянничкомъ. Малый онъ съ головой, бойкій малый, спору нѣтъ; учился хорошо, только проку мнѣ отъ него не дождаться. На службѣ казенной состоялъ — бросилъ службу: вишь, ему ходу не было.... Да развѣ онъ дворянинъ? И дворянъ-то не сейчасъ въ генералы жалуютъ. Вотъ теперь и живетъ безъ дѣла.... Да это-

бы еще куда ни шло,—а то въ ябедники пустился! Крестьянамъ просьбы сочиняетъ, доклады пишетъ, сотскихъ научаетъ, землемѣровъ на чистую воду выводитъ, по питейнымъ домамъ таскается, съ мѣщанами городскими да съ дворниками на постоялыхъ дворахъ знается. Долго-ли тутъ до бѣды? Ужъ и становые и исправники ему не разъ грозились. Да онъ, благо, балагурить умѣетъ: ихъ же разсмѣшитъ, да имъ же потомъ и наваритъ кашу.... Да полно, не сидитъ-ли онъ у тебя въ коморкѣ? — прибавилъ онъ, обращаясь къ женѣ:—я, вѣдь, тебя знаю: ты, вѣдь, сердобольная такая, — покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснѣла.

— Ну, такъ и есть,—продолжалъ Овсяниковъ.... Охъ, ты, баловница! Ну, вели ему войти, — ужъ такъ и быть, ради дорогого гостя, прощу глупца.... Ну, вели, вели....

Татьяна Ильинична подошла къ двери и крикнула: «Митя!»

Митя, малый лѣтъ двадцати-восьми, высокій, стройный и кудрявый, вошелъ въ комнату и, увидѣвъ меня, остановился у порога. Одежда на немъ была нѣмецкая, но одни неестественной величины буфы на плечахъ служили явнымъ доказательствомъ тому, что кроилъ ее не только русскій — россійскій портной.

— Ну, подойди, подойди, заговорилъ старикъ: — чего стыдишься? Благодари тётку: прощенъ.... Вотъ, батюшка, рекомендую, — продолжалъ онъ, показывая на Митю: — и родной племянникъ, а не слажу никакъ. Пришли послѣднія времена! (Мы другъ другу поклонились.) Ну, говори, что ты тамъ такое напуталъ? За что на тебя жалуются, сказывай.

Митѣ видимо не хотѣлось объясняться и оправдываться при мнѣ.

— Послѣ, дядюшка,—пробормоталъ онъ.

— Нѣтъ, не послѣ, а теперь,—продолжалъ старикъ.... Тебѣ, я знаю, при господинѣ помѣщикѣ совѣстно: тѣмъ лучше—казнись. Изволь, изволь-ка говорить.... Мы послушаемъ.

— Мнѣ нечего стыдиться,—съ живостью началъ Митя и тряхнулъ головой. — Извольте сами, дядюшка, разсудить. Приходятъ ко мнѣ рѣшетиловскіе однодворцы и говорятъ: заступись, братъ.—Что такое?—А вотъ что: магазины хлѣбные у насъ въ исправности, то-есть лучше быть не можетъ; вдругъ пріѣзжаетъ къ намъ чиновникъ: приказано-де осмотрѣть магазины. Осмотрѣлъ и говоритъ: въ безпорядкѣ ваши магазины, упущенья важныя, начальству обязанъ донести.—Да въ чемъ упущенья? — А ужъ про это я знаю, говоритъ.... Мы было-собрались и рѣшили: чиновника, какъ слѣдуетъ, отблагодарить,—да старикъ Прохорычъ помѣшалъ; говоритъ: этакъ ихъ только разлакомишь. Что, въ самомъ дѣлѣ? или ужъ нѣтъ намъ расправы никакой?... Мы старика-то и послушались, а чиновникъ-то осерчалъ и жалобу подалъ, донесеніе написалъ. Вотъ теперь и требуютъ насъ къ отвѣту.—Да точно-ли у васъ магазины въ исправности? спрашиваю я.— Видитъ Богъ, въ исправности, и законное количество хлѣба имѣется.... Ну, говорю, такъ вамъ робѣть нечего, и написалъ бумагу имъ.... И еще неизвѣстно, въ чью пользу рѣшится.... А что вамъ на меня по этому случаю нажаловались,—дѣло понятное: всякому своя рубашка къ тѣлу ближе.

— Всякому, да видно не тебѣ,—сказалъ старикъ вполголоса.... — А что у тебя тамъ за каверзы съ шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тутъ я правъ, — опять-таки извольте разсудить. У шутоломовскихъ крестьянъ сосѣдъ Безпандинъ четыре десятины земли запахалъ. Моя, говоритъ, земля. Шутоломовцы-то на оброкѣ, помѣщикъ ихъ за границу уѣхалъ— кому за нихъ заступиться, сами посудите? А земля ихъ безспорная, крѣпостная изъ-поконъ-вѣку. Вотъ и пришли ко мнѣ, говорятъ: напиши просьбу. Я и написалъ. А Безпандинъ узналъ и грозиться началъ: «я, говоритъ, этому Митькѣ заднія лопатки изъ вертлюговъ повыдергаю, а не то и совсѣмъ голову съ плечъ снесу».... Посмотримъ, какъ-то онъ ее снесетъ: до сихъ поръ цѣла.

— Ну, не хвастайся: не сдобровать ей, твоей головѣ,— промолвилъ старикъ:—человѣкъ-то ты сумасшедшій вовсе!

— А что-жъ, дядюшка, не вы-ли сами мнѣ говорить изволили....

— Знаю, знаю, что̀ ты мнѣ скажешь, — перебилъ его Овсяниковъ: — точно: по справедливости долженъ человѣкъ жить и ближнему помогать обязанъ есть. Бываетъ, что и себя жалѣть не долженъ.... Да ты развѣ все такъ поступаешь? Не водятъ тебя въ кабакъ, что-ли? не пьютъ тебя, не кланяются, что-ли: Дмитрій Алексѣичъ, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы ужъ тебѣ предъявимъ, — да цѣлковенькій или синенькую изъ-подъ полы въ руку? А? не бываетъ этого? сказывай, не бываетъ?

— Въ этомъ я точно виноватъ, — отвѣчалъ, потупившись, Митя:—но съ бѣдныхъ я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь... эхъ, ты! Знать за святыхъ все заступаешься!... А Борьку Переходова забылъ?... Кто за него хлопоталъ? кто покровительство ему оказывалъ? а?

*

— Переходовъ по своей винѣ пострадалъ, точно....

— Казенныя деньги потратилъ... Шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бѣдность, семейство....

— Бѣдность, бѣдность.... Человѣкъ онъ пьющій, азартный—вотъ что!

— Пить онъ съ горя началъ,—замѣтилъ Митя, понизивъ голосъ.

— Съ горя! Ну, помогъ бы ему, коли сердце въ тебѣ такое ретивое, а не сидѣлъ-бы съ пьянымъ человѣкомъ въ кабакахъ самъ. Что онъ красно говоритъ,—вишь невидаль какая!

— Человѣкъ-то онъ добрѣйшій....

— У тебя всѣ добрые.... А что, продолжалъ Овсяниковъ, обращаясь къ женѣ:—послали ему.... ну, тамъ, ты знаешь....

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Гдѣ ты эти дни пропадалъ?—заговорилъ опять старикъ.

— Въ городѣ былъ.

— Небось, все на билліардѣ игралъ, да чайничалъ, на гитарѣ бренчалъ, по присутственнымъ мѣстамъ шмыгалъ, въ заднихъ комнаткахъ просьбы сочинялъ, съ купецкими сынками щеголялъ? Такъ вѣдь?... Сказывай!

— Оно, пожалуй, что такъ,—съ улыбкой сказалъ Митя.... Ахъ, да! чуть-было не забылъ: Фунтиковъ, Антонъ Парѳенычъ, къ себѣ васъ въ воскресенье проситъ откушать.

— Не поѣду я къ этому брюхачу. Рыбу дастъ сотенную, а масло положитъ тухлое. Богъ съ нимъ совсѣмъ!

— А то я Ѳедосью Михайловну встрѣтилъ.

— Какую это Ѳедосью?

— А Гарпенченки помѣщика, вотъ, что Микулино суккіону купилъ. Ѳедосья-то изъ Микулина. Въ Москвѣ на

оброкѣ жила въ швеяхъ и оброкъ платила исправно, сто-восемьдесятъ-два рубля съ полтиной въ годъ.... И дѣло свое знаетъ: въ Москвѣ заказы получала хорошіе. А теперь Гарпенченко ее выписалъ, да вотъ и держитъ такъ, должности ей не опредѣляетъ. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да онъ никакого рѣшенья не объявляетъ. Вы, дядюшка, съ Гарпенченкой-то знакомы, — такъ не можете-ли вы замолвить ему словечко?... А Ѳедосья выкупъ за себя дастъ хорошій.

— Не на твои-ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю,—продолжалъ старикъ съ недовольнымъ лицомъ:—этотъ Гарпенченко, прости Господи, жи́ла: векселя скупаетъ, деньги въ ростъ отдаетъ, имѣнья съ молотка пріобрѣтаетъ.... И кто его въ нашу сторону занесъ? Охъ, ужъ эти мнѣ заѣзжіе! Не скоро отъ него толку добьешься;—а, впрочемъ, посмотримъ.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты, смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся.... Богъ съ тобой, Богъ съ тобой!... Только впередъ смотри, а то ей-Богу, Митя, не сдобровать тебѣ,—ей-Богу, пропадешь... Не все же мнѣ тебя на плечахъ выносить... я и самъ человѣкъ не властный. Ну, ступай теперь съ Богомъ.

Митя вышелъ. Татьяна Ильинична отправилась за нимъ.

— Напой его чаемъ, баловница,—закричалъ ей вслѣдъ Овсяниковъ.... Не глупый малый, продолжалъ онъ:—и душа добрая, только я боюсь за него.... А впрочемъ, извините, что такъ долго васъ пустяками занималъ.

Дверь изъ передней отворилась. Вошелъ низенькій, сѣденькій человѣкъ въ бархатномъ сюртучкѣ.

— А, Францъ Иванычъ! — вскрикнулъ Овсяниковъ: — здравствуйте! какъ васъ Богъ милуетъ?

— Позвольте, любезный читатель, познакомить васъ и съ этимъ господиномъ.

Францъ Иванычъ Лежёнь (Lejeune), мой сосѣдъ и орловскій помѣщикъ, не совсѣмъ обыкновеннымъ образомъ достигъ почетнаго званія русскаго дворянина. Родился онъ въ Орлеанѣ, отъ французскихъ родителей, и вмѣстѣ съ Наполеономъ отправился на завоеваніе Россіи, въ качествѣ барабанщика. Сначала все шло, какъ по маслу, и нашъ французъ вошелъ въ Москву съ поднятой головой. Но на возвратномъ пути бѣдный m-r Lejeune, полузамершій и безъ барабана, попался въ руки смоленскимъ мужичкамъ. Смоленскіе мужички заперли его на ночь въ пустую сукональню, а на другое утро привели къ проруби, возлѣ плотины, и начали просить барабанщика «de la grrrrande armée» уважить ихъ, т. е. нырнуть подъ ледъ. M-r Lejeune не могъ согласиться на ихъ предложеніе и, въ свою очередь, началъ убѣждать смоленскихъ мужичковъ, на французскомъ діалектѣ, отпустить его въ Орлеанъ. «Тамъ, messieurs», говорилъ онъ, «мать у меня живетъ, une tendre mère». Но мужички, вѣроятно по незнанію географическаго положенія города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествіе внизъ по теченію извилистой рѣчки Гнилотерки, и уже стали поощрять его легкими толчками въ шейные и спинные позвонки, какъ вдругъ, къ неописанной радости Лежёня, раздался звукъ колокольчика, и на плотину взъѣхали огромныя сани съ пестрѣйшимъ ковромъ на преувеличенно-возвышенномъ задкѣ, запряженныя тройкой саврасыхъ вятокъ. Въ саняхъ сидѣлъ толстый и румяный помѣщикъ въ волчьей шубѣ.

— Что вы тамъ такое дѣлаете? — спросилъ онъ мужиковъ.

— А француза топимъ, батюшка.

— А! равнодушно возразилъ помѣщикъ и отвернулся.

— Monsieur! Monsieur!—закричалъ бѣднякъ.

— А, а! съ укоризной заговорила волчья шуба: — съ двунадесятью языкъ на Россію шелъ, Москву сжегъ, окаянный, крестъ съ Ивана Великаго стащилъ, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвостъ поджалъ! По дѣламъ вору и мука.... Пошелъ, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочемъ, стой!—прибавилъ помѣщикъ....—Эй, ты мусье, умѣешь ты музыкѣ?

— Sauvez moi, sauvez moi, mon bon monsieur! — твердилъ Лежёнь.

— Вѣдь вишь народецъ! и по-русски-то ни одинъ изъ нихъ не знаетъ! Мюзикъ, мюзикъ, савэ мюзикъ ву? савэ? Ну, говори-же! Компренэ? савэ музикъ ву? на фортопьяно жуэ савэ?

Лежёнь понялъ, наконецъ, чего добивается помѣщикъ, и утвердительно закивалъ головой.

— Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue tous les instruments possibles! Oui, monsieur.... Sauvez moi, monsieur!

— Ну, счастливъ твой Богъ,—возразилъ помѣщикъ.... Ребята, отпустите его; вотъ вамъ двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежёня посадили въ сани. Онъ задыхался отъ радости, плакалъ, дрожалъ, кланялся, благодарилъ помѣщика, кучера, мужиковъ. На немъ была одна зеленая фуфайка съ розовыми лентами, а морозъ трещалъ на славу. Помѣщикъ молча глянулъ на его посинѣвшіе и окоченѣлые члены, завернулъ несчастнаго въ свою шубу и привезъ его домой. Дворня сбѣжалась. Француза на-скоро отогрѣли, накормили и одѣли. Помѣщикъ повелъ его къ своимъ дочерямъ.

— Вотъ, дѣти,—сказалъ онъ имъ:—учитель вамъ сысканъ. Вы все приставали ко мнѣ: выучи-де насъ музы-

кѣ и французскому діалекту: вотъ вамъ и французъ, и на фортопьянахъ играетъ.... Ну, мусье, — продолжалъ онъ, указывая на дрянныя фортопьянишки, купленныя имъ за пять лѣтъ у жида, который, впрочемъ, торговалъ одеколономъ:—покажи намъ свое искусство: жуэ!

Лежёнь съ замирающимъ сердцемъ сѣлъ на стулъ: онъ отъ роду и не касался фортопьянъ.

— Жуэ-же, жуэ-же!—повторялъ помѣщикъ.

Съ отчаяньемъ ударилъ бѣднякъ по клавишамъ, словно по барабану, заигралъ, какъ попало... «Я такъ и думалъ», разсказывалъ онъ потомъ, «что мой спаситель схватитъ меня за воротъ и выброситъ вонъ изъ дому». Но, къ крайнему изумленію невольнаго импровизатора, помѣщикъ, погодя немного, одобрительно потрепалъ его по плечу. «Хорошо, хорошо», промолвилъ онъ, «вижу, что знаешь; поди теперь, отдохни».

Недѣли черезъ двѣ отъ этого помѣщика Лежёнь переѣхалъ къ другому, человѣку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткій нравъ, женился на его воспитанницѣ, поступилъ на службу, вышелъ въ дворяне, выдалъ свою дочь за орловскаго помѣщика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился самъ на жительство въ Орелъ.

Вотъ этотъ-то самый Лежёнь, или, какъ теперь его называютъ, Францъ Иванычъ, и вошелъ при мнѣ въ комнату Овсяникова, съ которымъ онъ состоялъ въ дружественныхъ отношеніяхъ....

Но, быть можетъ, читателю уже наскучило сидѣть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я краснорѣчиво умолкаю.

ЛЬГОВЪ.

ПОѢДЕМТЕ-КА въ Льговъ, сказалъ мнѣ однажды уже извѣстный читателямъ Ермолай: — мы тамъ утокъ настрѣляемъ вдоволь.

Хотя для настоящаго охотника дикая утка не представляетъ ничего особенно-плѣнительнаго, но, за неимѣньемъ пока другой дичи (дѣло было въ началѣ сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бѣгать по полямъ за куропатками мнѣ надоѣло), я послушался моего охотника и отправился въ Льговъ.

Льговъ — большое степное село съ весьма древней, каменной, одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой рѣчкѣ Росотѣ. Эта рѣчка, верстъ за пять отъ Льгова, превращается въ широкій прудъ, по краямъ и кое-гдѣ по серединѣ заросшій густымъ тростникомъ, по орловскому — майеромъ. На этомъ-то прудѣ, въ заводяхъ или затишьяхъ между тростниками, выводилось и держалось безчисленное множество утокъ всѣхъ возможныхъ породъ: кряковыхъ, полукряковыхъ, шилохвостыхъ, чирковъ, нырковъ и пр. Небольшія стаи то-и-дѣло перелетывали и носились надъ водою, а отъ выстрѣла поднимались такія тучи, что охотникъ невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорилъ: фу-у! — Мы пошли-было съ

Ермолаемъ вдоль пруда, но, во-первыхъ, у самаго берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторыхъ, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирокъ и подвергался нашимъ выстрѣламъ и лишался жизни, то достать его изъ сплошного майера наши собаки не были въ состояніи: несмотря на самое благородное самоотверженіе, онѣ не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даромъ рѣзали свои драгоцѣнные носы объ острые края тростниковъ.

— Нѣтъ,—промолвилъ, наконецъ, Ермолай:—дѣло не ладно: надо достать лодку.... Пойдемте назадъ въ Льговъ.

Мы пошли. Не успѣли мы ступить нѣсколько шаговъ, какъ, намъ на встрѣчу, изъ-за густой ракиты выбѣжала довольно дрянная лягавая собака, и вслѣдъ за ней появился человѣкъ средняго роста, въ синемъ, сильно потертомъ сюртукѣ, желтоватомъ жилетѣ, панталонахъ цвѣта гри-де-лень или блё-д-амуръ, наскоро засунутыхъ въ дырявые сапоги, съ краснымъ платкомъ на шеѣ и одноствольнымъ ружьемъ за плечами. Пока наши собаки, съ обычнымъ, ихъ породѣ свойственнымъ, китайскимъ церемоніаломъ, снюхивались съ новой для нихъ личностью, которая видимо трусила, поджимала хвостъ, закидывала уши и быстро перевертывалась всѣмъ тѣломъ, не сгибая колѣней и скаля зубы, — незнакомецъ подошелъ къ намъ и чрезвычайно вѣжливо поклонился. Ему на видъ было лѣтъ двадцать-пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасомъ, торчали неподвижными косицами,— небольшіе каріе глазки привѣтливо моргали, — все лицо, повязанное чернымъ платкомъ, словно отъ зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать, — началъ онъ мягкимъ и вкрадчивымъ голосомъ:—я здѣшній охотникъ Владиміръ.... Услышавъ о вашемъ прибытіи и узнавъ, что

вы изволили отправиться на берега нашего пруда, рѣшился, если вамъ не будетъ противно, предложить вамъ свои услуги.

Охотникъ Владиміръ говорилъ, ни дать, ни взять, какъ провинціальный молодой актеръ, занимающій роли первыхъ любовниковъ. Я согласился на его предложеніе и, не дойдя еще до Льгова, уже успѣлъ узнать его исторію. Онъ былъ вольноотпущенный дворовый человѣкъ; въ нѣжной юности обучался музыкѣ, потомъ служилъ камердинеромъ, зналъ грамотѣ, почитывалъ, сколько я могъ замѣтить, кое-какія книжонки и, живя теперь, какъ многіе живутъ на Руси, безъ гроша наличнаго, безъ постояннаго занятія, питался только-что не манной небесной. Выражался онъ необыкновенно изящно и видимо щеголялъ своими манерами; волокита тоже, должно быть, былъ страшный и, по всѣмъ вѣроятіямъ, успѣвалъ: русскія дѣвушки любятъ краснорѣчіе. Между прочимъ, онъ мнѣ далъ замѣтить, что посѣщаетъ иногда сосѣднихъ помѣщиковъ, и въ городъ ѣздитъ въ гости, и въ преферансъ играетъ, и съ столичными людьми знается. Улыбался онъ мастерски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла къ нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губахъ, когда онъ внималъ чужимъ рѣчамъ. Онъ васъ выслушивалъ, онъ соглашался съ вами совершенно, но все-таки не терялъ чувства собственнаго достоинства, и какъ будто хотѣлъ вамъ дать знать, что и онъ можетъ, при случаѣ, изъявить свое мнѣніе. Ермолай, какъ человѣкъ неслишкомъ образованный и уже вовсе не «субтильный», началъ было его «тыкать». Надо было видѣть, съ какой усмѣшкой Владиміръ говорилъ ему: «вы-съ»....

— Зачѣмъ вы повязаны платкомъ?—спросилъ я его.— Зубы болятъ?

— Нѣтъ-съ,—возразилъ онъ:—это болѣе пагубное слѣд-

ствіе неосторожности. Былъ у меня пріятель, хорошій человѣкъ-съ, но вовсе не охотникъ, какъ это бываетъ-съ. Вотъ-съ, въ одинъ день говоритъ онъ мнѣ: любезный другъ мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — въ чемъ состоитъ эта забава. Я, разумѣется, не захотѣлъ отказать товарищу: досталъ ему, съ своей стороны, ружье-съ и взялъ его на охоту-съ. Вотъ-съ, мы, какъ слѣдуетъ, поохотились; наконецъ, вздумалось намъ отдохнуть-съ. Я сѣлъ подъ деревомъ; онъ же, напротивъ того, съ своей стороны, началъ выкидывать ружьемъ артикулъ-съ, причемъ цѣлился въ меня. Я попросилъ его перестать, но, по неопытности своей, онъ не послушался-съ. Выстрѣлъ грянулъ, и я лишился подбородка и указательнаго перста правой руки....

Мы дошли до Льгова. И Владиміръ, и Ермолай, оба рѣшили, что безъ лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаникъ *),—замѣтилъ Владиміръ:— да я не знаю, куда онъ его спряталъ. Надобно сбѣгать къ нему.

— Къ кому? спросилъ я.

— А здѣсь человѣкъ живетъ, прозвище ему Сучокъ.

Владиміръ отправился къ Сучку съ Ермолаемъ. Я сказалъ имъ, что буду ждать ихъ у церкви. Разсматривая могилы на кладбищѣ, наткнулся я на почернѣвшую, четырехугольную урну съ слѣдующими надписями: на одной сторонѣ, французскими буквами: «Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy»; на другой: «Подъ симъ камнемъ погребено тѣло французскаго подданнаго, графа Бланжія; родился 1737, умре 1799 года, всего житія его было 62 года»; на третьей: «миръ его праху»; а на четвертой:

*) Плоская лодка, сколоченная изъ старыхъ барочныхъ досокъ.

«Подъ камнемъ сѣмъ лежитъ французскій эмигрантъ;
Породу знатную имѣлъ онъ и талантъ.
Супругу и семью оплакавъ избіянну,
Покинулъ родину, тиранами попранну;
Россійскія страны достигнувъ береговъ,
Обрѣлъ на старости гостепріимный кровъ;
Училъ дѣтей, родителей покоилъ...
Всевышній Судія его здѣсь успокоилъ».

Приходъ Ермолая, Владиміра и человѣка съ страннымъ прозвищемъ Сучокъ—прервалъ мои размышленія.

Босоногій, оборванный и взъерошенный Сучокъ казался съ виду отставнымъ дворовымъ, лѣтъ шестидесяти.

— Есть у тебя лодка?—спросилъ я.

— Лодка есть, — отвѣчалъ онъ глухимъ и разбитымъ голосомъ:—да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да изъ дырьевъ клепки повывалились.

— Велика бѣда!—подхватилъ Ермолай; — паклей заткнуть можно.

— Извѣстно, можно,—подтвердилъ Сучокъ.

— Да ты кто?

— Господскій рыболовъ.

— Какъ же это ты рыболовъ, а лодка у тебя въ такой неисправности?

— Да въ нашей рѣкѣ и рыбы-то нѣту.

— Рыба не любитъ ржавчины болотной,—съ важностью замѣтилъ мой охотникъ.

— Ну,—сказалъ я Ермолаю:—поди достань пакли и справь намъ лодку, да поскорѣй.

Ермолай ушелъ.

— А, вѣдь, этакъ мы, пожалуй, и ко дну пойдемъ?—сказалъ я Владиміру.

— Богъ милостивъ, отвѣчалъ онъ. Во всякомъ случаѣ должно предполагать, что прудъ не глубокъ.

— Да, онъ не глубокъ,—замѣтилъ Сучокъ, который говорилъ какъ-то странно, словно съ просонья:—да на днѣ тина и трава, и весь онъ травой заросъ. Впрочемъ, есть тоже и колдобины *).

— Однакоже, если трава такъ сильна,—замѣтилъ Владиміръ:—такъ и грести нельзя будетъ.

— Да кто-жъ на дощаникахъ гребетъ? Надо пихаться. Я съ вами поѣду; у меня тамъ есть шестикъ, — а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна въ иномъ мѣстѣ, пожалуй, не достанешь,—сказалъ Владиміръ.

— Оно, правда, что неловко.

Я присѣлъ на могилу въ ожиданіи Ермолая. Владиміръ отошелъ, для приличія, нѣсколько въ сторону и тоже сѣлъ. Сучокъ продолжалъ стоять на мѣстѣ, повѣся голову и сложивъ, по старой привычкѣ, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста, — началъ я: — давно ты здѣсь рыбакомъ?

— Седьмой годъ пошелъ, — отвѣчалъ онъ, встрепенувшись.

— А прежде чѣмъ ты занимался?

— Прежде ѣздилъ кучеромъ.

— Кто-жъ тебя изъ кучеровъ разжаловалъ?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что̀ насъ-то купила. Вы не изволите знать: Алёна Тимофѣвна, толстая такая.... не молодая.

— Съ чего-жъ она вздумала тебя въ рыболовы произвести?

— А Богъ ее знаетъ. Пріѣхала къ намъ изъ своей вотчины, изъ Тамбова, велѣла всю дворню собрать, да и

*) Глубокое мѣсто, яма въ прудѣ или рѣкѣ.

вышла къ намъ. Мы сперва къ ручкѣ, и она ничего: не серчаетъ.... А потомъ и стала по порядку насъ разспрашивать: чѣмъ занимался, въ какой должности состоялъ? Дошла очередь до меня; вотъ и спрашиваетъ: ты чѣмъ былъ? Говорю: кучеромъ. — Кучеромъ? ну, какой ты кучеръ, посмотри на себя: какой ты кучеръ? Не слѣдъ тебѣ быть кучеромъ, а будь у меня рыболовомъ и бороду сбрей. На случай моего пріѣзда къ господскому столу рыбу поставляй, слышишь?... Съ тѣхъ поръ вотъ я въ рыболовахъ и числюсь. — Да прудъ у меня, смотри, содержать въ порядкѣ.... А какъ его содержать въ порядкѣ?

— Чьи-же вы прежде были?

— А Сергѣя Сергѣича Пехтерева. По наслѣдствію ему достались. Да и онъ нами не долго владѣлъ, всего шесть годовъ. У него-то вотъ я кучеромъ и ѣздилъ.... да не въ городѣ—тамъ у него другіе были, а въ деревнѣ.

— И ты съ-молоду все былъ кучеромъ?

— Какое все кучеромъ! Въ кучера-то я попалъ при Сергѣѣ Сергѣичѣ, а прежде поваромъ былъ,—но не городскимъ тоже поваромъ, а такъ, въ деревнѣ.

— У кого-жъ ты былъ поваромъ?

— А у прежняго барина, у Аѳанасія Неѳедыча, у Сергѣя Сергѣичина дяди. Льговъ-то онъ купилъ, Аѳанасій Неѳедычъ купилъ, а Сергѣю Сергѣичу имѣнье-то по наслѣдствію досталось.

— У кого купилъ?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вотъ, что́ въ запрошломъ году умерла, подъ Болховымъ.... то-бишь подъ Карачевымъ, въ дѣвкахъ.... И замужемъ не бывала. Не изволите знать? Мы къ ней поступили отъ ея батюшки, отъ Василья Семеныча. Она таки-долгонько нами владѣла.... годиковъ двадцать.

— Что-жъ, ты у ней былъ поваромъ?

— Сперва точно былъ поваромъ, а то и въ кофи́шенки попалъ.

— Во что?

— Въ кофи́шенки.

— Это что́ за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфетѣ состоялъ и Антономъ назывался, а не Кузьмой. Такъ барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время былъ кофише́нкомъ?

— Нѣтъ, не все время: былъ и ахтеромъ.

— Неужели?

— Какъ-же, былъ.... на кеятрѣ игралъ. Барыня наша кеятръ у себя завела.

— Какія-же ты роли занималъ?

— Чего изволите-съ?

— Что́ ты дѣлалъ на театрѣ?

— А вы не знаете? Вотъ меня возьмутъ и нарядятъ; я такъ и хожу наряженый, или стою, или сижу, какъ тамъ придется. Говорятъ: вотъ что́ говори,—я и говорю. Разъ слѣпого представлялъ.... Подъ каждую вѣку мнѣ по горошинѣ положили.... Какъ-же!

— А потомъ чѣмъ былъ?

— А потомъ опять въ повара поступилъ.

— За что́ же тебя въ повара разжаловали?

— А братъ у меня сбѣжалъ.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чѣмъ ты былъ?

— А въ разныхъ должностяхъ состоялъ: сперва въ казачкахъ находился, фалеторомъ былъ, садовникомъ, а то и доѣзжачимъ.

— Доѣзжачимъ?... И съ собаками ѣздилъ?

— Ѣздилъ и съ собаками, да убился: съ лошадью упалъ и лошадь зашибъ. Старый-то баринъ у насъ былъ престрогій; велѣлъ меня выпороть, да въ ученье отдать въ Москву, къ сапожнику.

— Какъ въ ученье? Да ты, чай, не ребенкомъ въ дѣвичье попалъ?

— Да лѣтъ, этакъ, мнѣ было двадцать слишкомъ.

— Какое-жъ тутъ ученье въ двадцать лѣтъ?

— Стало быть, ничего, можно, коли баринъ приказалъ. Да онъ, благо, скоро умеръ,—меня въ деревню и вернули.

— Когда-же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучокъ приподнялъ свое худенькое и желтенькое лицо и усмѣхнулся.

— Да развѣ этому учатся?... Стряпаютъ-же бабы!

— Ну, промолвилъ я: — видалъ ты, Кузьма, виды на своемъ вѣку! Что-жъ ты теперь въ рыболовахъ дѣлаешь, коль у васъ рыбы нѣту?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава Богу, что въ рыболовы произвели. А-то вотъ другого, такого же, какъ я, старика—Андрея Пупыря—въ бумажную фабрику, въ черпальную, барыня приказала поставить. Грѣшно, говоритъ, даромъ хлѣбъ ѣсть.... А Пупырь-то еще на милость надѣялся: у него двоюродный племянникъ въ барской конторѣ сидитъ конторщикомъ: доложить обѣщался объ немъ барынѣ, напомнить. Вотъ-те и напомнилъ!... А Пупырь въ моихъ глазахъ племяннику-то въ ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Былъ женатъ?

— Нѣтъ, батюшка, не былъ. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани Богъ! Бывало, говоритъ: вѣдь живуже я такъ, въ дѣвкахъ, что за баловство! чего имъ надо?

— Чѣмъ-же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!... Харчи выдаются — и то слава Тебѣ, Господи! много доволенъ. Продли Богъ вѣка нашей госпожѣ!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка,—произнесъ онъ сурово.—Ступай за шестомъ—ты!...

Сучокъ побѣжалъ за шестомъ. Во все время моего разговора съ бѣднымъ старикомъ, охотникъ Владиміръ поглядывалъ на него съ презрительной улыбкой.

— Глупый человѣкъ-съ,—промолвилъ онъ, когда тотъ ушелъ: — совершенно необразованный человѣкъ, мужикъ-съ, больше ничего-съ. Дворовымъ человѣкомъ его назвать нельзя-съ.... и все хвасталъ-съ.... Гдѣ-жъ ему быть актеромъ-съ, сами извольте разсудить-съ! Напрасно изволили безпокоиться, изволили съ нимъ разговаривать-съ.

Черезъ четверть часа мы уже сидѣли на дощаникѣ Сучка. (Собакъ мы оставили въ избѣ подъ надзоромъ кучера Іегудіила.) Намъ не очень было ловко, но охотники народъ не разборчивый. У тупого, задняго конца стоялъ Сучокъ и «пихался»; мы съ Владиміромъ сидѣли на перекладинѣ лодки; Ермолай помѣстился спереди, у самаго носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у насъ подъ ногами. Къ счастью, погода была тихая, и прудъ словно заснулъ.

Мы плыли довольно медленно. Старикъ съ трудомъ выдергивалъ изъ вязкой тины свой длинный шестъ, весь перепутанный зелеными нитями подводныхъ травъ; сплошные, круглые листья болотныхъ лилій тоже мѣшали ходу нашей лодки. Наконецъ, мы добрались до тростниковъ, и пошла потѣха. Утки шумно поднимались, «срывались» съ пруда, испуганныя нашимъ неожиданнымъ появленіемъ

въ ихъ владѣніяхъ, выстрѣлы дружно раздавались вслѣдъ за ними, и весело было видѣть, какъ эти кургузыя птицы кувыркались на воздухѣ, тяжко шлепались объ воду. Всѣхъ подстрѣленныхъ утокъ мы, конечно, не достали: легко пораненныя ныряли; иныя, убитыя на-повалъ, падали въ такой густой майеръ, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть ихъ; но все-таки къ обѣду лодка наша черезъ край наполнилась дичью.

Владиміръ, къ великому утѣшенію Ермолая, стрѣлялъ вовсе не отлично и послѣ каждаго неудачнаго выстрѣла удивлялся, осматривалъ и продувалъ ружье, недоумѣвалъ и, наконецъ, излагалъ намъ причину, почему онъ промахнулся. Ермолай стрѣлялъ, какъ всегда, побѣдоносно; я — довольно плохо, по обыкновенію. Сучокъ посматривалъ на насъ глазами человѣка, съ-молоду состоявшаго на барской службѣ, изрѣдка кричалъ: «вонъ, вонъ еще утица!»—и то-и-дѣло почесывалъ спину — не руками, а приведенными въ движеніе плечами. Погода стояла прекрасная: бѣлыя, круглыя облака высоко и тихо неслись надъ нами, ясно отражаясь въ водѣ; тростникъ шушукалъ кругомъ; прудъ мѣстами, какъ сталь, сверкалъ на солнцѣ. Мы собирались вернуться въ село, какъ вдругъ съ нами случилось довольно непріятное происшествіе.

Мы уже давно могли замѣтить, что вода къ намъ понемногу все набиралась въ дощаникъ. Владиміру было поручено выбрасывать ее вонъ посредствомъ ковша, похищеннаго, на всякій случай, моимъ предусмотрительнымъ охотникомъ у зазѣвавшейся бабы. Дѣло шло, какъ слѣдовало, пока Владиміръ не забывалъ своей обязанности. Но къ концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успѣвали заряжать ружья. Въ пылу перестрѣлки мы не обращали вниманія на состояніе нашего дощаника, — какъ вдругъ,

*

отъ сильнаго движенія Ермолая (онъ старался достать убитую птицу и всѣмъ тѣломъ налегъ на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, къ счастью, не на глубокомъ мѣстѣ. Мы вскрикнули, но уже было поздно: черезъ мгновенье мы стояли въ водѣ по горло, окруженные всплывшими тѣлами мертвыхъ утокъ. Теперь я безъ хохота вспомнить не могу испуганныхъ и блѣдныхъ лицъ моихъ товарищей (вѣроятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцемъ); но въ ту минуту, признаюсь, мнѣ и въ голову не приходило смѣяться. Каждый изъ насъ держалъ свое ружье надъ головой, и Сучокъ, должно-быть по привычкѣ подражать господамъ, поднялъ шестъ свой кверху. Первый нарушилъ молчаніе Ермолай.

— Тьфу ты пропасть! — пробормоталъ онъ, плюнувъ въ воду:—какая оказія! А все ты, старый чортъ!—прибавилъ онъ съ сердцемъ, обращаясь къ Сучку:—что̀ это у тебя за лодка?

— Виноватъ,—пролепеталъ старикъ.

— Да и ты хорошъ,—продолжалъ мой охотникъ, повернувъ голову въ направленіи Владиміра: — чего смотрѣлъ? чего не черпалъ? ты, ты, ты....

Но Владиміру было ужъ не до возраженій: онъ дрожалъ, какъ листъ, зубъ на зубъ не попадалъ, и совершенно безсмысленно улыбался. Куда дѣвалось его краснорѣчіе, его чувство тонкаго приличія и собственнаго достоинства!

Проклятый дощаникъ слабо колыхался подъ нашими ногами.... Въ мигъ кораблекрушенія вода намъ показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпѣлись. Когда первый страхъ прошелъ, я оглянулся; кругомъ, въ десяти шагахъ отъ насъ, росли тростники; вдали, надъ ихъ верхушками, виднѣлся берегъ. «Плохо!» подумалъ я.

— Какъ намъ быть?—спросилъ я Ермолая.

— А вотъ, посмотримъ: не ночевать-же здѣсь,—отвѣтилъ онъ.—На, ты, держи ружье,—сказалъ онъ Владиміру.

Владиміръ безпрекословно повиновался.

— Пойду сыщу бродъ,—продолжалъ Ермолай съ увѣренностью, какъ-будто во всякомъ прудѣ непремѣнно долженъ существовать бродъ,—взялъ у Сучка шестъ и отправился въ направленіи берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умѣешь-ли плавать?—спросилъ я его.

— Нѣтъ, не умѣю, — раздался его голосъ изъ-за тростника.

— Ну, такъ утонетъ, равнодушно замѣтилъ Сучокъ, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнѣва, и теперь, совершенно успокоенный, только изрѣдка отдувался, и, казалось, не чувствовалъ никакой надобности перемѣнить свое положеніе.

— И безъ всякой пользы пропадетъ-съ,—жалобно прибавилъ Владиміръ.

Ермолай не возвращался болѣе часу. Этотъ часъ намъ показался вѣчностью. Сперва мы перекликивались съ нимъ очень усердно; потомъ онъ сталъ рѣже отвѣчать на наши возгласы, наконецъ умолкъ совершенно. Въ селѣ зазвонили къ вечернѣ. Межъ собой мы не разговаривали, даже старались не глядѣть другъ на друга. Утки носились надъ нашими головами; иныя собирались сѣсть подлѣ насъ, но вдругъ поднимались кверху, какъ говорится, «коломъ», и съ крикомъ улетали. Мы начинали костенѣть. Сучокъ хлопалъ глазами, словно спать располагался.

Наконецъ, къ неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Былъ на берегу; бродъ нашелъ.... Пойдемте.

Мы хотѣли-было тотчасъ же отправиться; но онъ сперва досталъ подъ водой изъ кармана веревку, привязалъ уби-

тыхъ утокъ за лапки, взялъ оба конца въ зубы и побрелъ впередъ; Владиміръ за нимъ, я за Владиміромъ. Сучокъ замыкалъ шествіе. До берега было около двухъ-сотъ шаговъ, Ермолай шелъ смѣло и безостановочно (такъ хорошо замѣтилъ онъ дорогу), лишь изрѣдка покрикивая: «лѣвѣй,— тутъ на-право колдобина!» или: «правѣй,—тутъ на-лѣво завязнешь».... Иногда вода доходила намъ до горла, и раза два бѣдный Сучокъ, будучи ниже всѣхъ насъ ростомъ, захлебывался и пускалъ пузыри.—«Ну, ну, ну!» грозно кричалъ на него Ермолай, — и Сучокъ карабкался, болталъ ногами, прыгалъ и таки-выбирался на болѣе мелкое мѣсто, но даже въ крайности не рѣшался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконецъ, берега.

Часа два спустя, мы уже всѣ сидѣли, по мѣрѣ возможности обсушенные, въ большомъ сѣнномъ сараѣ, и собирались ужинать. Кучеръ Іегудіилъ, человѣкъ чрезвычайно медлительный, тяжёлый на подъемъ, разсудительный и заспанный, стоялъ у воротъ и усердно подчивалъ табакомъ Сучка. (Я замѣтилъ, что кучера въ Россіи очень скоро дружатся.) Сучокъ нюхалъ съ остервенѣніемъ, до тошноты: плевалъ, кашлялъ и, повидимому, чувствовалъ большое удовольствіе. Владиміръ принималъ томный видъ, наклонялъ головку на бокъ и говорилъ мало. Ермолай вытиралъ наши ружья. Собаки съ преувеличенной быстротой вертѣли хвостами въ ожиданіи овсянки; лошади топали и ржали подъ навѣсомъ.... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбѣгались его послѣдніе лучи; золотыя тучки разстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна.... На селѣ раздавались пѣсни.

БѢЖИНЪ ЛУГЪ.

Былъ прекрасный іюльскій день, одинъ изъ тѣхъ дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. Съ самаго ранняго утра небо ясно; утренняя заря не пылаетъ пожаромъ: она разливается кроткимъ румянцемъ. Солнце—не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое, какъ передъ бурей, но свѣтлое и привѣтно лучезарное—мирно всплываетъ подъ узкой и длинной тучкой, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый ея туманъ. Верхній, тонкій край растянутаго облачка засверкаетъ змѣйками; блескъ ихъ подобенъ блеску кованаго серебра.... Но вотъ опять хлынули играющіе лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглыхъ высокихъ облаковъ, золотисто-сѣрыхъ, съ нѣжными бѣлыми краями. Подобно островамъ, разбросаннымъ по безконечно-разлившейся рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются съ мѣста; далѣе, къ небосклону, они сдвигаются, тѣснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они такъ-же лазурны, какъ небо: они всѣ насквозь проникнуты свѣтомъ и теплотой. Цвѣтъ небосклона, легкій, блѣдно-ли-

ловый, не измѣняется во весь день и кругомъ одинаковъ; нигдѣ не темнѣетъ, не густѣетъ гроза; развѣ, кое-гдѣ, протянутся сверху внизъ голубоватыя полосы:—то сѣется едва замѣтный дождь. Къ вечеру эти облака исчезаютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватыя и неопредѣленныя, какъ дымъ, ложатся розовыми клубами напротивъ заходящаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось такъ-же спокойно, какъ спокойно взошло на небо, алое сіянье стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшей землей, и, тихо мигая, какъ бережно несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда. Въ такіе дни краски всѣ смягчены; свѣтлы, но не ярки; на всемъ лежитъ печать какой-то трогательной кротости. Въ такіе дни жаръ бываетъ иногда весьма силенъ, иногда даже «паритъ» по скатамъ полей; но вѣтеръ разгоняетъ, раздвигаетъ накопившійся зной, и вихри-круговороты—несомнѣнный признакъ постоянной погоды—высокими бѣлыми столбами гуляютъ по дорогамъ черезъ пашню. Въ сухомъ и чистомъ воздухѣ пахнетъ полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за часъ до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желаетъ земледѣлецъ для уборки хлѣба....

Въ такой точно день охотился я однажды за тетеревами въ чернскомъ уѣздѣ тульской губерніи. Я нашелъ и настрѣлялъ довольно много дичи; наполненный ягдташъ немилосердно рѣзалъ мнѣ плечо; но уже вечерняя заря погасала, и въ воздухѣ, еще свѣтломъ, хотя не озаренномъ болѣе лучами закатившагося солнца, начинали густѣть и разливаться холодныя тѣни, когда я рѣшился, наконецъ, вернуться къ себѣ домой. Быстрыми шагами прошелъ я длинную «площадь» кустовъ, взобрался на холмъ и, вмѣсто ожиданной знакомой равнины съ дубовымъ лѣскомъ направо и низенькой бѣлой церковью въ отдаленіи, увидалъ совершенно другія, мнѣ неизвѣстныя мѣста. У

ногъ, моихъ тянулась узкая долина; прямо напротивъ, крутой стѣной возвышался частый осинникъ. Я остановился въ недоумѣніи, оглянулся.... «Эге!» подумалъ я: «да это я совсѣмъ не туда попалъ: я слишкомъ забралъ вправо», и, самъ дивясь своей ошибкѣ, проворно спустился съ холма. Меня тотчасъ охватила непріятная, неподвижная сырость, точно я вошелъ въ погребъ; густая, высокая трава на днѣ долины, вся мокрая, бѣлѣла ровной скатертью; ходить по ней было какъ-то жутко. Я поскорѣй выкарабкался на другую сторону и пошелъ, забирая влѣво, вдоль осинника. Летучія мыши уже носились надъ его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясномъ небѣ; рѣзво и прямо пролетѣлъ въ вышинѣ запоздалый ястребокъ, спѣша въ свое гнѣздо. «Вотъ, какъ только я выйду на тотъ уголъ», думалъ я про себя, «тутъ сейчасъ и будетъ дорога; — а съ версту крюку я далъ!»

Я добрался, наконецъ, до угла лѣса, но тамъ не было никакой дороги: какіе-то некошенные, низкіе кусты широко разстилались передо мною, а за ними, далёко, далёко, виднѣлось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?... Да гдѣ-же я?»—Я сталъ припоминать, какъ и куда ходилъ въ теченіи дня ... «Э! да это Парахинскіе кусты!» воскликнулъ я наконецъ: «точно! вонъ это, должно быть, Синдѣевская роща ... Да какъ же это я сюда зашелъ? Такъ далеко?... Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошелъ вправо, черезъ кусты. Между тѣмъ ночь приближалась и росла, какъ грозовая туча; казалось, вмѣстѣ съ вечерними парами отовсюду поднималась и даже съ вышины лилась темнота. Мнѣ попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая впередъ. Все кругомъ быстро чернѣло и утиха-

ло,—одни перепела изрѣдка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своихъ мягкихъ крыльяхъ, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула въ сторону. Я вышелъ на опушку кустовъ и побрёлъ по полю межой. Уже я съ трудомъ различалъ отдаленные предметы: поле неясно бѣлѣло вокругъ; за нимъ, съ каждымъ мгновеніемъ надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мракъ. Глухо отдавались мои шаги въ застывающемъ воздухѣ. Поблѣднѣвшее небо стало опять синѣть,—но то уже была синева ночи. Звѣздочки замелькали, зашевелились на немъ.

Что я было-принялъ за рощу, оказалось темнымъ и круглымъ бугромъ. «Да гдѣ же это я?» повторилъ я опять вслухъ, остановился въ третій разъ и вопросительно посмотрѣлъ на свою англійскую желто-пѣгую собаку, Діанку, рѣшительно умнѣйшую изо всѣхъ четвероногихъ тварей. Но умнѣйшая изъ четвероногихъ тварей только повиляла хвостикомъ, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мнѣ никакого дѣльнаго совѣта. Мнѣ стало совѣстно передъ ней, и я отчаянно устремился впередъ, словно вдругъ догадался, куда слѣдовало идти, обогнулъ бугоръ и очутился въ неглубокой, кругомъ распаханной лощинѣ. Странное чувство тотчасъ овладѣло мной. Лощина эта имѣла видъ почти правильнаго котла съ пологими боками; на днѣ ея торчало стоймя нѣсколько большихъ бѣлыхъ камней,—казалось, они сползлись туда для тайнаго совѣщанія,—и до того въ ней было нѣмо и глухо, такъ плоско, такъ уныло висѣло надъ нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то звѣрокъ слабо и жалобно пискнулъ между камней. Я поспѣшилъ выбраться назадъ на бугоръ. До сихъ поръ я все еще не терялъ надежды сыскать дорогу домой; но тутъ я окончательно удостовѣрился въ томъ, что заблудился совершенно и, уже нисколько не ста-

рясь узнавать окрестныя мѣста, почти совсѣмъ потонувшія во мглѣ, пошелъ себѣ прямо, по звѣздамъ—на удалую.... Около получаса шелъ я такъ, съ трудомъ переставляя ноги. Казалось, отъ-роду не бывалъ я въ такихъ пустыхъ мѣстахъ: нигдѣ не мерцалъ огонекъ, не слышалось никакого звука. Одинъ пологій холмъ смѣнялся другимъ, поля безконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдругъ изъ земли передъ самымъ моимъ носомъ. Я все шелъ, и уже собирался-было прилечь гдѣ-нибудь до утра, какъ вдругъ очутился надъ страшной бездной.

Я быстро отдернулъ занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумракъ ночи, увидѣлъ далеко подъ собою огромную равнину. Широкая рѣка огибала ее уходящимъ отъ меня полукругомъ; стальные отблески воды, изрѣдка и смутно мерцая, обозначали ея теченье. Холмъ, на которомъ я находился, спускался вдругъ почти отвѣснымъ обрывомъ; его громадныя очертанія отдѣлялись, чернѣя, отъ синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, въ углу, образованномъ тѣмъ обрывомъ и равниной, возлѣ рѣки, которая въ этомъ мѣстѣ стояла неподвижнымъ, темнымъ зеркаломъ, подъ самой кручью холма, краснымъ пламенемъ горѣли и дымились другъ подлѣ дружки два огонька. Вокругъ нихъ копошились люди, колебались тѣни, иногда ярко освѣщалась передняя половина маленькой кудрявой головы....

Я узналъ наконецъ, куда я зашелъ. Этотъ лугъ славится въ нашихъ околоткахъ подъ названіемъ Бѣжина-Луга.... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно въ ночную пору; ноги подкашивались подо мной отъ усталости. Я рѣшился подойти къ огонькамъ и, въ обществѣ тѣхъ людей, которыхъ принялъ за гуртовщиковъ, дождаться зари. Я благополучно спустился внизъ, но не успѣлъ выпустить изъ рукъ послѣднюю,

ухваченную мною вѣтку, какъ вдругъ двѣ большія, бѣлыя, лохматыя собаки со злобнымъ лаемъ бросились на меня. Дѣтскіе звонкіе голоса раздались вокругъ огней; два-три мальчика быстро поднялись съ земли. Я откликнулся на ихъ вопросительные крики. Они подбѣжали ко мнѣ, отозвали тотчасъ собакъ, которыхъ особенно поразило появленіе моей Діанки, и я подошелъ къ нимъ.

Я ошибся, принявъ людей, сидѣвшихъ вокругъ тѣхъ огней, за гуртовщиковъ. Это просто были крестьянскіе ребятишки изъ сосѣдней деревни, которые стерегли табунъ. Въ жаркую лѣтнюю пору лошадей выгоняютъ у насъ на ночь кормиться въ поле: днемъ мухи и оводы не дали бы имъ покоя. Выгонять передъ вечеромъ и пригонять на утренней зарѣ табунъ—большой праздникъ для крестьянскихъ мальчиковъ. Сидя безъ шапокъ и въ старыхъ полушубкахъ на самыхъ бойкихъ кляченкахъ, мчатся они съ веселымъ гиканьемъ и крикомъ, болтая руками и ногами, высоко подпрыгиваютъ, звонко хохочутъ. Легкая пыль желтымъ столбомъ поднимается и несется по дорогѣ; далеко разносится дружный топотъ, лошади бѣгутъ, навостривъ уши; впереди всѣхъ, задравши хвостъ и безпрестанно мѣняя ногу, скачетъ какой-нибудь рыжій косматъ, съ репейниками въ спутанной гривѣ.

Я сказалъ мальчикамъ, что заблудился, и подсѣлъ къ нимъ. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилегъ подъ обглоданный кустикъ и сталъ глядѣть кругомъ. Картина была чудесная: около огней дрожало и какъ-будто замирало, упираясь въ темноту, круглое красноватое отраженіе; пламя, вспыхивая, изрѣдка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкій языкъ свѣта лизнетъ голые сучья лозника и разомъ исчезнетъ; — острыя, длинныя тѣни, врываясь на мгновенье, въ свою очередь, до-

бѣгали до самыхъ огоньковъ: мракъ боролся со свѣтомъ. Иногда, когда пламя горѣло слабѣе и кружокъ свѣта съуживался, изъ надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнѣдая, съ извилистой проточиной, или вся бѣлая, внимательно и тупо смотрѣла на насъ, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчасъ скрывалась. Только слышно было, какъ она продолжала жевать и отфыркивалась. Изъ освѣщеннаго мѣста трудно разглядѣть, что̀ дѣлается въ потемкахъ, и потому вблизи все казалось задернутымъ почти черной завѣсой; но далѣе къ небосклону длинными пятнами смутно виднѣлись холмы и лѣса. Темное, чистое небо торжественно и необъятно-высоко стояло надъ нами со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ. Сладко стѣснялась грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ — запахъ русской лѣтней ночи. Кругомъ не слышалось почти никакого шума.... Лишь изрѣдка въ близкой рѣкѣ съ внезапной звучностью плеснётъ большая рыба, и прибрежный тростникъ слабо зашумитъ, едва поколебленный набѣжавшей волной.... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидѣли вокругъ ихъ; тутъ же сидѣли и тѣ двѣ собаки, которымъ такъ было-захотѣлось меня съѣсть. Онѣ еще долго не могли примириться съ моимъ присутствіемъ и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изрѣдка рычали съ необыкновеннымъ чувствомъ собственнаго достоинства; сперва рычали, а потомъ слегка визжали, какъ-бы сожалѣя о невозможности исполнить свое желаніе. Всѣхъ мальчиковъ было пять: Ѳедя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Изъ ихъ разговоровъ я узналъ ихъ имена и намѣренъ теперь же познакомить съ ними читателя.)

Первому, старшему изо всѣхъ, Ѳедѣ, вы бы дали лѣтъ четырнадцать. Это былъ стройный мальчикъ, съ красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудря-

выми бѣлокурыми волосами, свѣтлыми глазами и постоянной, полувеселой, полу-разсѣянной улыбкой. Онъ принадлежалъ, по всѣмъ примѣтамъ, къ богатой семьѣ и выѣхалъ-то въ полѣ не по нуждѣ, а такъ, для забавы. На немъ была пестрая ситцевая рубаха съ желтой каемкой; небольшой новый армячокъ, надѣтый въ накидку, чуть держался на его узенькихъ плечикахъ; на голубенькомъ поясѣ висѣлъ гребешокъ. Сапоги его съ низкими голенищами были точно его сапоги—не отцовскіе. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза сѣрые, скулы широкія, лицо блѣдное, рябое, ротъ большой, но правильный, вся голова огромная, какъ говорится, съ пивной котелъ, тѣло приземистое, неуклюжее. Малый былъ неказистый,—что̀ и говорить!—а все-таки онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила. Одеждой своей онъ щеголять не могъ: вся она состояла изъ простой замашной рубахи да изъ заплатанныхъ портовъ. Лицо третьяго, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслѣповатое, оно выражало какую-то тупую, болѣзненную заботливость; сжатыя губы его не шевелились, сдвинутыя брови не расходились, — онъ словно все щурился отъ огня. Его желтые, почти бѣлые волосы торчали острыми косицами изъ-подъ низенькой войлочной шапочки, которую онъ обѣими руками то-и-дѣло надвигалъ себѣ на уши. На немъ были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокругъ стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлушѣ на видъ было не болѣе двѣнадцати лѣтъ. Четвертый, Костя, мальчикъ лѣтъ десяти, возбуждалъ мое любопытство своимъ задумчивымъ и печальнымъ взоромъ. Все лицо его было невелико, худо, въ веснушкахъ, книзу заострено, какъ у бѣлки; губы едва было можно разли-

чить; но странное впечатлѣніе производили его большіе, черные, жидкимъ блескомъ блестѣвшіе глаза: они, казалось, хотѣли что-то высказать, для чего на языкѣ, — на его языкѣ по крайней мѣрѣ,—не было словъ. Онъ былъ маленькаго роста, сложенія тщедушнаго, и одѣтъ довольно бѣдно. Послѣдняго, Ваню, я сперва было и не замѣтилъ: онъ лежалъ на землѣ, смирнехонько прикурнувъ подъ угловатую рогожу, и только изрѣдка выставлялъ изъ-подъ нея свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лѣтъ семь.

Итакъ, я лежалъ подъ кустикомъ въ сторонѣ и поглядывалъ на мальчиковъ. Небольшой котельчикъ висѣлъ надъ однимъ изъ огней; въ немъ варились «картошки». Павлуша наблюдалъ за нимъ и, стоя на колѣняхъ, тыкалъ щепкой въ закипавшую воду. Ѳедя лежалъ, опершись на локоть и раскинувъ полы своего армяка. Илюша сидѣлъ рядомъ съ Костей и все также напряженно щурился. Костя понурилъ немного голову и глядѣлъ куда-то вдаль. Ваня не шевелился подъ своей рогожей. Я притворился спящимъ. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о томъ и сёмъ, о завтрашнихъ работахъ, о лошадяхъ; но вдругъ Ѳедя обратился къ Ильюшѣ и, какъ-бы возобновляя прерванный разговоръ, спросилъ его:

— Ну, и что̀-жъ ты, такъ и видѣлъ домового?

— Нѣтъ, я его не видалъ, да его и видѣть нельзя,— отвѣчалъ Ильюша сиплымъ и слабымъ голосомъ, звукъ котораго какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ выраженію его лица:—а слышалъ.... Да и не я одинъ.

— А онъ у васъ гдѣ водится?—спросилъ Павлуша.

— Въ старой рольнѣ *).

*) «Рольней» и «черпальней» на бумажныхъ фабрикахъ называется то

— А развѣ вы на фабрику ходите?

— Какъ же, ходимъ. Мы съ братомъ, съ Авдюшкой, въ лисовщикахъ состоимъ *).

— Вишь ты—фабричные!...

— Ну, такъ какъ же ты его слышалъ? — спросилъ Ѳедя.

— А вотъ какъ. Пришлось намъ съ братомъ Авдюшкой, да съ Ѳедоромъ Михѣевскимъ, да съ Ивашкой Косымъ, да съ другимъ Ивашкой, что̀ съ Красныхъ Холмовъ, да еще съ Ивашкой Сухоруковымъ, да еще были тамъ другіе ребятишки; всѣхъ было насъ ребятокъ человѣкъ десять — какъ есть вся смѣна; но а пришлось намъ въ рольнѣ заночевать, то-есть не то, чтобы этакъ пришлось, а Назаровъ, надсмотрщикъ, запретилъ: говоритъ: что̀, молъ, вамъ, ребяткамъ, домой таскаться; завтра работы много, такъ вы, ребятки, домой не ходите. Вотъ мы остались и лежимъ всѣ вмѣстѣ, и зачалъ Авдюшка говорить, что̀, молъ, ребята, ну, какъ домовой придетъ?... И не успѣлъ онъ, Авдѣй-отъ, проговорить, какъ вдругъ кто-то надъ головами у насъ и заходилъ; но а лежали-то мы внизу, а заходилъ онъ наверху, у колеса. Слышимъ мы: ходитъ, доски подъ нимъ такъ и гнутся, такъ и трещатъ; вотъ прошелъ онъ черезъ наши головы; вода вдругъ по колесу какъ зашумитъ, зашумитъ; застучитъ, застучитъ, колесо, завертится; но а заставки у дворца-то**) спущены. Дивимся мы:—кто-жъ это ихъ поднялъ, что вода пошла; однако, колесо повертѣлось, повертѣлось, да и стало. Пошелъ

строеніе, гдѣ въ чанахъ вычерпываютъ бумагу. Оно находится у самой плотины, подъ колесомъ.

*) «Лисовщики» гладятъ, скоблятъ бумагу.

**) «Дворцомъ» называется у насъ мѣсто, по которому вода бѣжитъ на колесо.

тотъ опять къ двери наверху, да по лѣстницѣ спущаться сталъ, и этакъ спущается, словно не торопится; ступеньки подъ нимъ такъ даже и стонутъ.... Ну, подошелъ тотъ къ нашей двери, подождалъ, подождалъ — дверь вдругъ вся такъ и распахнулась. Всполохнулись мы, смотримъ — ничего.... Вдругъ, глядь, у одного чана форма *) зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этакъ по воздуху, словно кто ею полоскалъ, да и опять на мѣсто. Потомъ у другого чана крюкъ снялся съ гвоздя, да опять на гвоздь; потомъ будто кто-то къ двери пошелъ, да вдругъ какъ закашляетъ, какъ заперхаетъ, словно овца какая, да зычно такъ.... Мы всѣ такъ ворохомъ и свалились, другъ подъ дружку полѣзли.... Ужъ какъ же мы напужались о ту пору!

— Вишь какъ! — промолвилъ Павелъ. — Чего-жъ онъ распашлялся?

— Не знаю; можетъ, отъ сырости.

Всѣ помолчали.

— А что́—спросилъ Ѳедя:—картошки сварились?

Павлуша пощупалъ ихъ.

— Нѣтъ, еще сыры.... Вишь, плеснула,—прибавилъ онъ, повернувъ лицо въ направленіи рѣки: — должно быть, щука.... А вонъ звѣздочка покатилась.

— Нѣтъ, я вамъ что̀, братцы, разскажу, — заговорилъ Костя тонкимъ голоскомъ:—послушайте-ка, намеднись что̀ тятя при мнѣ разсказывалъ.

— Ну, слушаемъ, — съ покровительствующимъ видомъ сказалъ Ѳедя.

— Вы, вѣдь, знаете Гаврилу, слободскаго плотника?

— Ну да; знаемъ.

*) Сѣтка, которой бумагу черпаютъ.

— А знаете-ли, отчего онъ такой все невеселый, все молчитъ, знаете? Вотъ отчего онъ такой невеселый: пошелъ онъ разъ, тятенька говорилъ, пошелъ онъ, братцы мои, въ лѣсъ по орѣхи. Вотъ, пошелъ онъ въ лѣсъ по орѣхи да и заблудился; зашелъ, Богъ знаетъ, куды зашелъ. Ужъ онъ ходилъ, ходилъ, братцы мои — нѣтъ! не можетъ найти дороги; а ужъ ночь на дворѣ. Вотъ и присѣлъ онъ подъ дерево; давай, молъ, дождусь утра,—присѣлъ и задремалъ. Вотъ задремалъ и слышитъ вдругъ, кто-то его зоветъ. Смотритъ — никого. Онъ опять задремалъ,—опять зовутъ. Онъ опять глядитъ, глядитъ: а передъ нимъ на вѣткѣ русалка сидитъ, качается и его къ себѣ зоветъ, а сама помираетъ со смѣху, смѣется.... А мѣсяцъ-то свѣтилъ сильно, такъ сильно, явственно свѣтитъ мѣсяцъ,—все, братцы мои, видно. Вотъ зоветъ она его, и такая сама вся свѣтленькая, бѣленькая сидитъ на вѣткѣ, словно плотичка какая или пескарь,—а то вотъ еще карась бываетъ такой бѣлесоватый, серебряный.... Гаврила-то плотникъ такъ и обмеръ, братцы мои, а она, знай, хохочетъ, да его все къ себѣ этакъ рукой зоветъ. Ужъ Гаврило было и всталъ, послушался-было русалки, братцы мои, да знать, Господь его надоумилъ: положилъ-таки на себя крестъ.... А ужъ какъ ему было трудно крестъ-то класть, братцы мои; говоритъ: рука, просто, какъ каменная, не ворочается.... Ахъ, ты этакой, а!... Вотъ, какъ положилъ онъ крестъ, братцы мои, русалочка-то и смѣяться перестала, да вдругъ какъ заплачетъ.... Плачетъ она, братцы мои, глаза волосами утираетъ, а волоса у нея зеленые, что̀ твоя конопля. Вотъ, поглядѣлъ, поглядѣлъ на нее Гаврила, да и сталъ ее спрашивать: «чего ты, лѣсное зелье, плачешь?» А русалка-то какъ взговоритъ ему: «не креститься-бы тебѣ», говоритъ, «человѣче, житьбы тебѣ со мной на веселіи до конца дней: а плачу я,

убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся-же и ты до конца дней». Тутъ она, братцы мои, пропала, а Гаврилѣ тотчасъ и понятственно стало, какъ ему изъ лѣсу, то-есть, выдти.... А только съ тѣхъ поръ вотъ онъ все невеселый ходитъ.

— Эка! — проговорилъ Ѳедя послѣ недолгаго молчанья: — да какъ же это можетъ этакая лѣсная нечисть хрестіянскую душу спортить,—онъ же ея не послушался?

— Да вотъ, поди ты! — сказалъ Костя. — И Гаврила баилъ, что голосокъ, молъ, у ней такой тоненькій, жалобный, какъ у жабы.

— Твой батька самъ это разсказывалъ? — продолжалъ Ѳедя.

— Самъ. Я лежалъ на палатяхъ, все слышалъ.

— Чудное дѣло! Чего ему быть невеселымъ?... А знать онъ ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился!—подхватилъ Ильюша. — Какъ же! защекотать она его хотѣла, вотъ что̀ она хотѣла. Это ихнее дѣло, этихъ русалокъ-то.

— А, вѣдь, вотъ и здѣсь должны быть русалки, — замѣтилъ Ѳедя.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Костя:—здѣсь мѣсто чистое, вольное. Одно:—рѣка близко.

— Всѣ смолкли. Вдругъ, гдѣ-то въ отдаленіи, раздался протяжный, звенящій, почти стенящій звукъ, одинъ изъ тѣхъ непонятныхъ ночныхъ звуковъ, которые возникаютъ иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоятъ въ воздухѣ и медленно разносятся наконецъ, какъ-бы замирая. Прислушаешься,—и какъ-будто нѣтъ ничего, а звенитъ. Казалось, кто-то долго, долго прокричалъ подъ самымъ небосклономъ, кто-то другой какъ-будто отозвался ему въ лѣсу тонкимъ, острымъ хохотомъ, и слабый, ши-

*

пящій свистъ промчался по рѣкѣ. Мальчики переглянулись, вздрогнули....

— Съ нами крестная сила!—шепнулъ Илья.

— Эхъ, вы, вороны!—крикнулъ Павелъ: — чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Всѣ пододвинулись къ котельчику и начали ѣсть дымящійся картофель; одинъ Ваня не шевельнулся.) Что же ты?—сказалъ Павелъ.

Но онъ не вылѣзъ изъ-подъ своей рогожи. Котельчикъ скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки,—началъ Ильюша:—что намеднись у насъ на Варнавицахъ приключилось?

— На плотинѣ-то?—спросилъ Ѳедя.

— Да, да, на плотинѣ, на прорванной. Вотъ ужъ нечистое мѣсто, такъ нечистое, и глухое такое. Кругомъ все такіе буераки, овраги, а въ оврагахъ все казюли *) водятся.

— Ну, что̀ такое случилось? сказывай....

— А вотъ что случилось. Ты, можетъ быть, Ѳедя, не знаешь, а только тамъ у насъ утопленникъ похороненъ; а утопился онъ давнымъ-давно, какъ прудъ еще былъ глубокъ; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: такъ — бугорочекъ ... Вотъ, на-дняхъ, зоветъ прикащикъ псаря Ермила; говоритъ: ступай, молъ, Ермилъ, на пошту. Ермилъ у насъ завсегда на пошту ѣздитъ; собакъ-то онъ всѣхъ своихъ поморилъ: не живутъ онѣ у него отчего-то, такъ-таки никогда и не жили, а псарь онъ хорошій, всѣмъ взялъ.. Вотъ поѣхалъ Ермилъ за поштой, да и замѣшкался въ городѣ, но а ѣдетъ назадъ ужъ онъ хмѣленъ. А ночь, и свѣтлая ночь: мѣсяцъ свѣтитъ.... Вотъ и ѣдетъ Ермилъ черезъ плотину: такая ужъ его до-

*) По-орловскому: змѣи.

рога вы ла. Ѣдетъ онъ этакъ, псарь Ермилъ, и видитъ: у утопленника на могилѣ барашекъ, бѣлый такой, кудрявый, хорошенькій, похаживаетъ. Вотъ и думаетъ Ермилъ: сѣмъ возьму его, — что ему такъ пропадать, да и слѣзъ, и взялъ его на руки.... Но а барашекъ — ничего. Вотъ идетъ Ермилъ къ лошади, а лошадь отъ него таращится, храпитъ, головой трясетъ; однако, онъ ее отпрукалъ, сѣлъ на нее съ барашкомъ и поѣхалъ опять: барашка передъ собой держитъ. Смотритъ онъ на него, и баранекъ ему прямо въ глаза такъ и глядитъ. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, молъ, не помню я, чтобы этакъ бараны кому въ глаза смотрѣли; однако, ничего; сталъ онъ его этакъ по шерсти гладить,—говоритъ: «бяша, бяша!» А баранъ-то вдругъ какъ оскалитъ зубы, да ему тоже: «бяша, бяша»....

Не успѣлъ разсказчикъ произнести это послѣднее слово, какъ вдругъ обѣ собаки разомъ поднялись, съ судорожнымъ лаемъ ринулись прочь отъ огня и исчезли во мракѣ. Всѣ мальчики перепугались. Ваня выскочилъ изъ-подъ своей рогожи. Павлуша съ крикомъ бросился вслѣдъ за собаками. Лай ихъ быстро удалялся.... Послышалась безпокойная бѣготня встревоженнаго табуна. Павлуша громко кричалъ: «Сѣрый! Жучка!».... Черезъ нѣсколько мгновеній лай замолкъ; голосъ Павла принесся уже издалека.... Прошло еще немного времени; мальчики съ недоумѣніемъ переглядывались, какъ-бы выжидая, что-то будетъ.... Внезапно раздался топотъ скачущей лошади; круто остановилась она у самаго костра и, уцѣпившись за гриву, проворно спрыгнулъ съ нея Павлуша. Обѣ собаки также вскочили въ кружокъ свѣта и тотчасъ сѣли, высунувъ красные языки.

— Что тамъ? что такое?—спросили мальчики.

— Ничего,—отвѣчалъ Павелъ, махнувъ рукой на ло-

шадь:—такъ, что-то собаки зачуяли. Я думалъ волкъ, — прибавилъ онъ равнодушнымъ голосомъ, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ѣздой, горѣло смѣлой удалью и твердой рѣшимостью. Безъ хворостинки въ рукѣ, ночью, онъ, нимало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка.... «Что за славный мальчикъ!» думалъ я, глядя на него.

— А видали ихъ, что-ли, волковъ-то?—спросилъ трусишка Костя.

— Ихъ всегда здѣсь много, — отвѣчалъ Павелъ: — да они безпокойны только зимой.

Онъ опять прикорнулъ передъ огнемъ. Садясь на землю, уронилъ онъ руку на мохнатый затылокъ одной изъ собакъ, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, съ признательной гордостью посматривая съ боку на Павлушу.

Ваня опять забился подъ рогожку.

— А какіе ты намъ, Илюшка, страхи разсказывалъ, — заговорилъ Ѳедя, которому, какъ сыну богатаго крестьянина, приходилось быть запѣвалой (самъ-же онъ говорилъ мало, какъ-бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собакъ тутъ нелегкая дернула залаять.... А точно, я слышалъ, это мѣсто у васъ нечистое.

— Варнавицы?... Еще бы! еще какое нечистое! Тамъ не разъ, говорятъ, стараго барина видали — покойнаго барина. Ходитъ, говорятъ, въ кафтанѣ долгополомъ и все это этакъ охаетъ, чего-то на землѣ ищетъ. Его разъ дѣдушка Трофимычъ повстрѣчалъ.—Что, молъ, батюшка, Иванъ Иванычъ, изволишь искать на землѣ?

— Онъ его спросилъ?—перебилъ изумленный Ѳедя.

— Да, спросилъ.

— Ну, молодецъ же послѣ этого Трофимычъ.... Ну, и что-жъ тотъ?

— Разрывъ-травы, говоритъ, ищу. Да такъ глухо говоритъ, глухо: — разрывъ-травы. — А на что тебѣ, батюшка Иванъ Иванычъ, разрывъ-травы? — Давитъ, говоритъ, могила давитъ, Трофимычъ: вонъ хочется, вонъ....

— Вишь какой! — замѣтилъ Ѳедя: — мало, знать, пожилъ.

— Экое диво! промолвилъ Костя:—я думалъ, покойниковъ можно только въ родительскую субботу видѣть.

— Покойниковъ во всякъ часъ видѣть можно,—съ увѣренностью подхватилъ Ильюшка, который, сколько я могъ замѣтить, лучше другихъ зналъ всѣ сельскія повѣрья....— Но а въ родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кѣмъ, то-есть, въ томъ году очередь помирать. Стоитъ только ночью сѣсть на паперть на церковную да все на дорогу глядѣть. Тѣ и пойдутъ мимо тебя по дорогѣ, кому, то-есть, умирать въ томъ году. Вотъ у насъ въ прошломъ году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видѣла она кого-нибудь?—съ любопытствомъ спросилъ Костя.

— Какъ же. Перво-на-перво она сидѣла долго, долго, никого не видала и не слыхала.... только все какъ-будто собачка этакъ залаетъ, залаетъ гдѣ-то.... Вдругъ, смотритъ: идетъ по дорожкѣ мальчикъ въ одной рубашенкѣ. Она приглянулась—Ивашка Ѳедосѣевъ идетъ....

— Тотъ, что умеръ весной?—перебилъ Ѳедя.

— Тотъ самый. Идетъ и головушки не подымаетъ.... А узнала его Ульяна.... Но а потомъ смотритъ: баба идетъ. Она вглядываться, вглядываться,—ахъ, ты, Господи!—сама идетъ по дорогѣ, сама Ульяна.

— Неужто сама?—спросилъ Ѳедя.

— Ей-Богу, сама.

— Ну что̀-жъ, вѣдь она еще не умерла̀?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: въ чемъ душа держится.

Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ откуда ни возьмись бѣлый голубокъ, — налетѣлъ прямо въ это отраженіе, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крылами.

— Знать отъ дому отбился, — замѣтилъ Павелъ.—Теперь будетъ летѣть, покуда на что̀ наткнется, и гдѣ ткнетъ, тамъ и ночуетъ до зари.

— А что̀, Павлуша,—промолвилъ Костя:—не праведная-ли это душа летѣла на небо, ась?

Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.

— Можетъ быть,—проговорилъ онъ наконецъ.

— А скажи, пожалуй, Павлуша,—началъ Ѳедя:—что у васъ тоже въ Шаламовѣ было видать предвидѣнье-то небесное? *)

— Какъ солнца-то не стало видно? Какъ-же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Баринъ-то нашъ, хоша и толковалъ намъ напредки, что, дескать, будетъ вамъ предвидѣнье, а какъ затемнѣло, самъ, говорятъ, такъ перетрусился, что на-поди. А на дворовой избѣ баба стряпуха, такъ та̀, какъ только затемнѣло, слышь, взяла да ухватомъ всѣ горшки перебила въ печи: «кому теперь ѣсть», говоритъ, наступило свѣтопреставленіе». Такъ шти и по-

*) Такъ мужики называютъ у насъ солнечное затмѣніе.

текли. А у насъ на деревнѣ такіе, братъ, слухи ходили, что, молъ, бѣлые волки по землѣ побѣгутъ, людей ѣсть будутъ, хищная птица полетитъ, а то и самого Тришку *) увидятъ.

— Какого это Тришку?—спросилъ Костя.

— А ты не знаешь? — съ жаромъ подхватилъ Илюша: — ну, братъ, откентелева-же ты, что Тришки не знаешь? Сидни-же у васъ въ деревнѣ сидятъ, вотъ ужъ точно сидни! Тришка — эвто будетъ такой человѣкъ удивительный, который придетъ, а придетъ онъ такой удивительный человѣкъ, что его и взять нельзя будетъ, и ничего ему сдѣлать нельзя будетъ: такой ужъ будетъ удивительный человѣкъ. Захотятъ его, напримѣръ, взять хрестьяне: выйдутъ на него съ дубьемъ, оцѣпятъ его, но а онъ имъ глаза отведетъ—такъ отведетъ имъ глаза, что они же сами другъ друга побьютъ. Въ острогъ его посадятъ, напримѣръ,—онъ попроситъ водицы испить въ ковшикѣ: ему принесутъ ковшикъ, а онъ нырнетъ туда, да и поминай какъ звали. Цѣпи на него надѣнутъ, а онъ въ ладошки затрепещется — онѣ съ него такъ и попадаютъ. Ну, и будетъ ходить этотъ Тришка по селамъ да по городамъ; и будетъ этотъ Тришка, лукавый человѣкъ, соблазнять народъ хрестіянскій.... ну, а сдѣлать ему нельзя будетъ ничего.... Ужъ такой онъ будетъ удивительный, лукавый человѣкъ.

— Ну да,—продолжалъ Павелъ своимъ неторопливымъ голосомъ:—такой. Вотъ его-то и ждали у насъ. Говорили старики, что вотъ, молъ, какъ только предвидѣнье небесное зачнется, такъ Тришка и придетъ. Вотъ и зачалось предвидѣнье. Высыпалъ весь народъ на улицу, въ поле,

*) Въ повѣрьи о «Тришкѣ», вѣроятно, отозвалось сказаніе объ антихристѣ.

ждетъ, что̀ будетъ. А у насъ, вы знаете, мѣсто видное, привольное. Смотрятъ—вдругъ отъ слободки съ горы идетъ какой-то человѣкъ, такой мудреный, голова такая удивительная.... всѣ какъ крикнутъ: «ой, Тришка идетъ! ой, Тришка идетъ!» да кто куды! Староста нашъ въ канаву залѣзъ; старостиха въ подворотнѣ застряла, благимъ матомъ кричитъ, свою-же дворную собаку такъ запужала, что та съ цѣпи долой, да черезъ плетень, да въ лѣсъ; а Кузькинъ отецъ, Дорофѣичъ, вскочилъ въ овесъ, присѣлъ, да и давай кричать перепеломъ: «авось, молъ, хоть птицу-то врагъ, душегубецъ, пожалѣетъ». Таково-то всѣ переполошились!... А человѣкъ-то это шелъ нашъ бочаръ, Вавила: жбанъ себѣ новый купилъ, да на голову пустой жбанъ и надѣлъ.

Всѣ мальчики засмѣялись и опять пріумолкли на мгновенье, какъ это часто случается съ людьми, разговаривающими на открытомъ воздухѣ. Я поглядѣлъ кругомъ: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свѣжесть поздняго вечера смѣнила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягкимъ пологомъ на заснувшихъ поляхъ; еще много времени оставалось до перваго лепета, до первыхъ росинокъ зари. Луны не было на небѣ: она въ ту пору поздно всходила. Безчисленныя, золотыя звѣзды, казалось, тихо текли всѣ, наперерывъ мерцая, по направленію млечнаго пути, и, право, глядя на нихъ, вы какъ будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бѣгъ земли.... Странный, рѣзкій, болѣзненный крикъ раздался вдругъ два раза сряду надъ рѣкой и, спустя нѣсколько мгновеній, повторился уже далѣе....

Костя вздрогнулъ.... «Что̀ это»?

— Это цапля кричитъ,—спокойно возразилъ Павелъ.

— Цапля,—повторилъ Костя.... А что̀ такое, Павлу-

ша, я вчера слышалъ вечеромъ,—прибавилъ онъ, помолчавъ немного:—ты, можетъ быть, знаешь....

— Что ты слышалъ?

— А вотъ что я слышалъ. Шелъ я изъ Каменной-Гряды въ Шашкино; а шелъ сперва все нашимъ орѣшникомъ, а потомъ лужкомъ пошелъ — знаешь, тамъ, гдѣ онъ сугибелью *) выходитъ, — тамъ, вѣдь, есть бучило **); знаешь, оно еще все камышомъ заросло; вотъ, пошелъ я мимо этого бучила, братцы мои, и вдругъ изъ того-то бучила какъ застонетъ кто-то, да такъ жалостливо, жалостливо: у-у.... у-у.... у-у! Страхъ такой меня взялъ, братцы мои: время-то позднее, да и голосъ такой болѣзный. Такъ вотъ, кажется, самъ-бы и заплакалъ.... Что-бы это такое было? ась?

— Въ этомъ бучилѣ, въ запрошломъ лѣтѣ, Акима лѣсника утопили воры,—замѣтилъ Павлуша:—такъ, можетъ быть, его душа жалобится.

— А, вѣдь, и то, братцы мои,—возразилъ Костя, расширивъ свои и безъ того огромные глаза.... Я и не зналъ, что Акима въ томъ бучилѣ утопили: я бы еще не такъ напужался.

— А то, говорятъ, есть такія лягушки махонькія — продолжалъ Павелъ,—которыя такъ жалобно кричатъ.

— Лягушки? ну, нѣтъ, это не лягушки.... какія это.... (Цапля опять прокричала надъ рѣкой.)—Экъ ее!—невольно произнесъ Костя:—словно лѣшій кричитъ.

— Лѣшій не кричитъ, онъ нѣмой, — подхватилъ Илюша:—онъ только въ ладоши хлопаетъ да трещитъ....

---

*) Сугибель—крутой поворотъ въ оврагѣ.

**) Бучило — глубокая яма съ весенней водой, оставшейся послѣ половодья, которая не пересыхаетъ даже лѣтомъ.

— А ты его видалъ, лѣшаго-то, что-ли?—насмѣшливо перебилъ его Ѳедя.

— Нѣтъ не видалъ, и сохрани Богъ его видѣть: но а другіе видѣли. Вотъ на-дняхъ онъ у насъ мужичка обошелъ: водилъ, водилъ его по лѣсу, и все вокругъ одной поляны.... Едва-те къ свѣту домой добился.

— Ну, и видѣлъ онъ его?

— Видѣлъ. Говоритъ, такой стоитъ большой, большой, темный, скутанный, этакъ словно за деревомъ, хорошенько не разберешь, словно отъ мѣсяца прячется, и глядитъ, глядитъ глазищами-то, моргаетъ ими, моргаетъ....

— Эхъ ты! — воскликнулъ Ѳедя, слегка вздрогнувъ и передернувъ плечами:—пфу!...

— И зачѣмъ эта погань въ свѣтѣ развелась? — замѣтилъ Павелъ:—право!

— Не бранись: смотри, услышитъ,—замѣтилъ Илья.

Настало опять молчаніе.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани: — гляньте на Божьи звѣздочки, — что пчелки роятся!

Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожи, оперся на кулачокъ и медленно поднялъ кверху свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,—ласково заговорилъ Ѳедя:—что твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,—отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходитъ?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

— А мнѣ дашь?

— И тебѣ дамъ.

Ваня вздохнулъ.

— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

И Ваня опять положилъ свою голову на землю. Павелъ всталъ и взялъ въ руку пустой котельчикъ.

— Куда ты? — спросилъ его Ѳедя.

— Къ рѣкѣ, водицы зачерпнуть: водицы захотѣлось испить.

Собаки поднялись и пошли за нимъ.

— Смотри, не упади въ рѣку!—крикнулъ ему вслѣдъ Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказалъ Ѳедя: — онъ остережется.

— Да, остережется. Всяко бываетъ: онъ вотъ нагнется, станетъ черпать воду, а водяной его за руку схватитъ да потащитъ къ себѣ. Станутъ потомъ говорить: упалъ, дескать, малый въ воду.... А какое упалъ?... Во-вонъ, въ камыши полѣзъ, прибавилъ онъ, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», какъ говорится у насъ.

— А правда-ли, спросилъ Костя:—что Акулина дурочка съ тѣхъ поръ и рехнулась, какъ въ водѣ побывала?

— Съ тѣхъ поръ.... Какова теперь! Но а говорятъ, прежде красавица была. Водяной ее испортилъ. Знать, не ожидалъ, что ее скоро вытащутъ. Вотъ онъ ее, тамъ у себя на днѣ, и испортилъ.

(Я самъ не разъ встрѣчалъ эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, съ чернымъ какъ уголь лицомъ, помутившимся взоромъ и вѣчно оскаленными зубами, топчется она по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ, гдѣ-нибудь на дорогѣ, крѣпко прижавъ костлявыя руки къ

груди и медленно переваливаясь съ ноги на ногу, словно дикій звѣрь въ клѣткѣ. Она ничего не понимаетъ, что̀ бы ей ни говорили, и только изрѣдка судорожно хохочетъ.)

— А говорятъ, продолжалъ Костя: — Акулина оттого въ рѣку и кинулась, что ее полюбовникъ обманулъ.

— Оттого самаго.

— А помнишь Васю? печально прибавилъ Костя.

— Какого Васю? — спросилъ Ѳедя.

— А вотъ того, что̀ утонулъ, — отвѣчалъ Костя:—въ этой вотъ въ самой рѣкѣ. Ужъ какой-же мальчикъ былъ! и-ихъ, какой мальчикъ былъ! Мать-то его, Ѳеклиста, ужъ какъ же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Ѳеклиста-то, что ему отъ воды погибель произойдетъ. Бывало, пойдетъ-отъ Вася съ нами, съ ребятками, лѣтомъ, въ рѣчку купаться,—она такъ вся и встрепещется. Другія бабы ничего, идутъ себѣ мимо съ корытами, переваливаются, а Ѳеклиста поставитъ корыто на земь и станетъ его кликать: «вернись, молъ, вернись, мой свѣтикъ! охъ, вернись, соколикъ!» — И какъ утонулъ, Господь знаетъ. Игралъ на бережку, и мать тутъ же была, сѣно сгребала; вдругъ слышитъ, словно кто пузыри по водѣ пускаетъ,— глядь, а только ужъ одна Васина шапонька по водѣ плыветъ. Вѣдь, вотъ съ тѣхъ поръ и Ѳеклиста не въ своемъ умѣ:—придетъ да и ляжетъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ утопъ; ляжетъ, братцы мои, да и затянетъ пѣсенку, — помните, Вася-то все такую пѣсенку пѣвалъ,—вотъ ее-то она и затянетъ, а сама плачетъ, плачетъ, горько Богу жалится....

— А вотъ Павлуша идетъ,—молвилъ Ѳедя.

Павелъ подошелъ къ огню съ полнымъ котельчикомъ въ рукѣ.

— Что̀ ребята, — началъ онъ, помолчавъ: — неладно дѣло.

— А что?—торопливо спросилъ Костя.

— Я Васинъ голосъ слышалъ.

Всѣ такъ и вздрогнули.

— Что ты, что ты?—пролепеталъ Костя.

— Ей-Богу. Только сталъ я къ водѣ нагибаться, слышу вдругъ, зовутъ меня этакъ Васинымъ голоскомъ и словно изъ-подъ воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда». Я отошелъ. Однако, воды зачерпнулъ.

— Ахъ ты, Господи! ахъ ты, Господи!—проговорили мальчики, крестясь.

— Вѣдь это тебя водяной звалъ, Павелъ,—прибавилъ Ѳедя....—А мы только-что о немъ, о Васѣ-то, говорили.

— Ахъ, это примѣта дурная,—съ разстановкой проговорилъ Ильюша.

— Ну, ничего, пущай!—произнесъ Павелъ рѣшительно и сѣлъ опять:—своей судьбы не минуешь.

Мальчики пріутихли. Видно было, что слова Павла произвели на нихъ глубокое впечатлѣніе. Они стали укладываться передъ огнемъ, какъ-бы собираясь спать.

— Что это? — спросилъ вдругъ Костя, приподнявъ голову.

Павелъ прислушался.

— Это кулички летятъ, посвистываютъ.

— Куда-жъ они летятъ?

— А туда, гдѣ, говорятъ, зимы не бываетъ.

— А развѣ есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнулъ и закрылъ глаза.

Уже болѣе трехъ часовъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ я присосѣдился къ мальчикамъ. Мѣсяцъ взошелъ наконецъ; я его не тотчасъ замѣтилъ: такъ онъ былъ малъ и узокъ.

Эта безлунная ночь, казалось, была все такъ же великолѣпна, какъ и прежде.... Но уже склонились къ темному краю земли многія звѣзды, еще недавно высоко стоявшія на небѣ; все совершенно затихло кругомъ, какъ обыкновенно затихаетъ все только къ утру: все спало крѣпкимъ, неподвижнымъ, передразсвѣтнымъ сномъ. Въ воздухѣ уже не такъ сильно пахло,—въ немъ снова какъ-будто разливалась сырость.... Не долги лѣтнія ночи!.. Разговоръ мальчиковъ угасалъ вмѣстѣ съ огнями.... Собаки даже дремали; лошади, сколько я могъ различить, при чуть-брезжущемъ, слабо-льющемся свѣтѣ звѣздъ, тоже лежали, понуривъ головы.... Слабое забытье напало на меня; оно перешло въ дремоту.

Свѣжая струя пробѣжала по моему лицу. Я открылъ глаза:—утро зачиналось. Еще нигдѣ не румянилась заря, но уже забѣлѣлось на востокѣ. Все стало видно, хотя смутно видно, кругомъ. Блѣдно-сѣрое небо свѣтлѣло, холодѣло, синѣло; звѣзды то мигали слабымъ свѣтомъ, то исчезали; отсырѣла земля, запотѣли листья, кое-гдѣ стали раздаваться живые звуки, голоса́, и жидкій, ранній вѣтерокъ уже пошелъ бродить и порхать надъ землею. Тѣло мое отвѣтило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно всталъ и пошелъ къ мальчикамъ. Они всѣ спали какъ убитые вокругъ тлѣющаго костра; одинъ Павелъ приподнялся до половины и пристально поглядѣлъ на меня.

Я кивнулъ ему головой и пошелъ во-свояси вдоль задымившейся рѣки. Не успѣлъ я отойти двухъ верстъ, какъ уже полились кругомъ меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленѣвшимся холмамъ, отъ лѣсу до лѣсу, и сзади по длинной пыльной дорогѣ, по сверкающимъ, обагреннымъ кустамъ, и по рѣкѣ, стыдливо синѣвшей изъподъ рѣдѣющаго тумана — полились сперва алые, потомъ красные, золотые потоки молодого, горячаго свѣта.... Все

зашевелилось, проснулось, запѣло, зашумѣло, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зардѣлись крупныя капли росы; мнѣ навстрѣчу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдругъ мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувшій табунъ....

Я, къ сожалѣнію, долженъ прибавить, что въ томъ же году Павла не стало. Онъ не утонулъ: онъ убился, упавъ съ лошади. Жаль, славный былъ парень!

КАСЬЯНЪ съ КРАСИВОЙ-МЕЧИ.

Я возвращался съ охоты въ тряской телѣжкѣ и, подавленный душнымъ зноемъ лѣтняго облачнаго дня (извѣстно, что въ такіе дни жара бываетъ иногда еще несноснѣе, чѣмъ въ ясные, особенно когда нѣтъ вѣтра), дремалъ и покачивался, съ угрюмымъ терпѣніемъ предавая всего себя на съѣденіе мелкой, бѣлой пыли, безпрестанно поднимавшейся съ выбитой дороги изъ-подъ разсохшихся и дребезжавшихъ колесъ,—какъ вдругъ вниманіе мое было возбуждено необыкновеннымъ безпокойствомъ и тревожными тѣлодвиженіями моего кучера, до этого мгновенія еще крѣпче дремавшаго, чѣмъ я. Онъ задергалъ возжами, завозился на облучкѣ и началъ покрикивать на лошадей, то-и-дѣло поглядывая куда-то въ сторону. Я осмотрѣлся. Мы ѣхали по широкой распаханной равнинѣ; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбѣгали въ нее невысокіе, тоже распаханные холмы; взоръ обнималъ всего какихъ-нибудь пять верстъ пустыннаго пространства: вдали—небольшія березовыя рощи своими округленно-зубчатыми верхушками однѣ нарушали почти прямую черту небосклона. Узкія тропинки тянулись по полямъ, пропадали въ лощинкахъ, вились по пригоркамъ, и на одной изъ нихъ, которой въ пяти-стахъ шагахъ впе-

реди отъ насъ приходилось пересѣкать нашу дорогу, различилъ я какой-то поѣздъ. На него-то поглядывалъ мой кучеръ.

Это были похороны. Впереди, въ телѣгѣ, запряженной одной лошадкой, шагомъ ѣхалъ священникъ; дьячокъ сидѣлъ возлѣ него и правилъ: за телѣгой четыре мужика, съ обнаженными головами, несли гробъ, покрытый бѣлымъ полотномъ; двѣ бабы шли за гробомъ. Тонкій, жалобный голосокъ одной изъ нихъ вдругъ долетѣлъ до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустыхъ полей этотъ переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напѣвъ. Кучеръ погналъ лошадей: онъ желалъ предупредить этотъ поѣздъ. Встрѣтить на дорогѣ покойника—дурная примѣта. Ему дѣйствительно удалось проскакать по дорогѣ прежде чѣмъ покойникъ успѣлъ добраться до нея; но мы еще не отъѣхали и ста шаговъ, какъ вдругъ нашу телѣгу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучеръ остановилъ разбѣжавшихся лошадей, махнулъ рукой и плюнулъ.

— Что̀ тамъ такое?—спросилъ я.

Кучеръ мой слѣзъ молча и не торопясь.

— Да что̀ такое?

— Ось сломалась.... перегорѣла, — мрачно отвѣчалъ онъ, и съ такимъ негодованіемъ поправилъ вдругъ шлею на пристяжной, что та совсѣмъ покачнулась-было на бокъ, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себѣ зубомъ ниже колѣна передней ноги.

Я слѣзъ и постоялъ нѣкоторое время на дорогѣ, смутно предаваясь чувству непріятнаго недоумѣнія. Правое колесо почти совершенно подвернулось подъ телѣгу и, казалось, съ нѣмымъ отчаяніемъ поднимало кверху свою ступицу.

— Что̀ теперь дѣлать?—спросилъ я наконецъ.

*

— Вонъ кто виноватъ!—сказалъ мой кучеръ, указывая кнутомъ на поѣздъ, который успѣлъ уже свернуть на дорогу и приближался къ намъ: — ужъ я всегда это замѣчалъ,—продолжалъ онъ:—это примѣта вѣрная—встрѣтить покойника.... Да.

. И онъ опять обезпокоилъ пристяжную, которая, видя его нерасположеніе и суровость, рѣшилась остаться неподвижною, и только изрѣдка и скромно помахивала хвостомъ. Я походилъ немного взадъ и впередъ и опять остановился передъ колесомъ.

Между тѣмъ покойникъ нагналъ насъ. Тихо свернувъ съ дороги на траву, потянулось мимо нашей телѣги печальное шествіе. Мы съ кучеромъ сняли шапки, раскланялись съ священникомъ, переглянулись съ носильщиками. Они выступали съ трудомъ; высоко поднимались ихъ широкія груди. Изъ двухъ бабъ, шедшихъ за гробомъ, одна была очень стара и блѣдна; неподвижныя ея черты, жестоко искаженныя горестью, хранили выраженіе строгой, торжественной важности. Она шла молча, изрѣдка поднося худую руку къ тонкимъ ввалившимся губамъ. У другой бабы, молодой, женщины лѣтъ двадцати-пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло отъ плача; поровнявшись съ нами, она перестала голосить и закрылась рукавомъ.... Но вотъ покойникъ миновалъ насъ, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ея жалобное, надрывающее душу пѣніе. Безмолвно проводивъ глазами мѣрно колыхавшійся гробъ, кучеръ мой обратился ко мнѣ.

— Это Мартына плотника хоронятъ, — заговорилъ онъ:—что̀ съ Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабамъ узналъ. Старая-то—его мать, а молодая—жена.

— Онъ боленъ былъ, что-ли?

— Да.... горячка.... Третьяго дня за дохтуромъ посылалъ управляющій, да дома дохтура не застали.... А плотникъ былъ хорошій; зашибалъ маненько, а хорошій былъ плотникъ. Вишь баба-то его какъ убивается.... Ну, да, вѣдь извѣстно: у бабъ слезы-то некупленныя. Бабьи слезы та же вода.... Да.

И онъ нагнулся, пролѣзъ подъ поводомъ пристяжной и ухватился обѣими руками за дугу.

— Однако, замѣтилъ я:—что-жъ намъ дѣлать?

Кучеръ мой сперва уперся колѣномъ въ плечо коренной, тряхнулъ раза два дугой, поправилъ сѣделку, потомъ опять пролѣзъ подъ поводомъ пристяжной и, толкнувъ ее мимоходомъ въ морду, подошелъ къ колесу — подошелъ и, не спуская съ него взора, медленно досталъ изъ-подъ полы кафтана тавлинку, медленно вытащилъ за ремешокъ крышку, медленно всунулъ въ тавлинку своихъ два толстыхъ пальца (и два-то едва въ ней умѣстились), помялъ-помялъ табакъ, перекосилъ заранѣе носъ, понюхалъ съ разстановкой, сопровождая каждый пріемъ продолжительнымъ кряхтѣніемъ, и, болѣзненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился въ глубокое раздумье.

— Ну, что?—проговорилъ я наконецъ.

Кучеръ мой бережно вложилъ тавлинку въ карманъ, надвинулъ шляпу себѣ на брови, безъ помощи рукъ, однимъ движеніемъ головы, и задумчиво полѣзъ на облучокъ.

— Куда-же ты? спросилъ я его не безъ изумленія.

— Извольте садиться,—спокойно отвѣчалъ онъ и добралъ возжи.

— Да какъ-же мы поѣдемъ?

— Ужъ поѣдемъ-съ.

— Да ось....

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась....

— Сломалась-то она, сломалась; ну, а до выселокъ доберемся.... шагомъ, то-есть. Тутъ вотъ за рощей направо есть выселки: Юдиными прозываются.

— И ты думаешь, мы доѣдемъ?

Кучеръ мой не удостоилъ меня отвѣтомъ.

— Я лучше пѣшкомъ пойду,—сказалъ я.

— Какъ угодно-съ....

И онъ махнулъ кнутомъ. Лошади тронулись.

Мы дѣйствительно добрались до выселковъ, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертѣлось. На одномъ пригоркѣ оно чуть-чуть не слетѣло; но кучеръ мой закричалъ озлобленнымъ голосомъ, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли изъ шести низенькихъ и маленькихъ избушекъ, уже успѣвшихъ скривиться на бокъ, хотя ихъ, вѣроятно, поставили недавно: дворы не у всѣхъ были обнесены плетнемъ. Въѣзжая въ эти выселки, мы не встрѣтили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улицѣ, даже собакъ; только одна, черная, съ куцымъ хвостомъ, торопливо выскочила при насъ изъ совершенно высохшаго корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчасъ, безъ лая, опрометью бросилась подъ ворота. Я зашелъ въ первую избу, отворилъ дверь въ сѣни, окликнулъ хозяевъ, — никто не отвѣчалъ мнѣ. Я кликнулъ еще разъ: голодное мяуканье кошки раздалось за другой дверью. Я толкнулъ ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнувъ во тьмѣ зелеными глазами. Я всунулъ голову въ комнату, посмотрѣлъ: темно, дымно и пусто. Я отправился на дворъ, и тамъ никого не было.... Въ загородкѣ теленокъ промычалъ; хромой, сѣрый гусь отковылялъ немного въ сторону. Я пере-

шелъ во вторую избу, — и во второй избѣ ни души. Я на дворъ....

По самой серединѣ ярко освѣщеннаго двора, на самомъ, какъ говорится, припёкѣ, лежалъ, лицомъ къ землѣ и накрывши голову армякомъ, какъ мнѣ показалось, мальчикъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, возлѣ плохой телѣжонки, стояла, подъ соломеннымъ навѣсомъ, худая лошаденка въ оборванной сбруѣ. Солнечный свѣтъ, падая струями сквозь узкія отверстія обветшалаго намета, пестрилъ небольшими свѣтлыми пятнами ея косматую красно-гнѣдую шерсть. Тутъ же, въ высокой скворешницѣ болтали скворцы, съ спокойнымъ любопытствомъ поглядывая внизъ изъ своего воздушнаго домика. Я подошелъ къ спящему, и началъ его будить....

Онъ поднялъ голову, увидалъ меня и тотчасъ вскочилъ на ноги.... «Что, что надо? что такое?» забормоталъ онъ съ просонья.

Я не тотчасъ ему отвѣтилъ: до того поразила меня его наружность. Вообразите себѣ карлика лѣтъ пятидесяти съ маленькимъ, смуглымъ и сморщеннымъ лицомъ, острымъ носикомъ, карими, едва замѣтными глазками и курчавыми, густыми, черными волосами, которые, какъ шляпка на грибѣ, широко сидѣли на крошечной его головкѣ. Все тѣло его было чрезвычайно тщедушно и худо, и рѣшительно нельзя передать словами, до чего былъ необыкновененъ и страненъ его взглядъ.

— Что надо?—спросилъ онъ меня опять.

Я объяснилъ ему, въ чемъ было дѣло, онъ слушалъ меня, не спуская съ меня своихъ медленно моргавшихъ глазъ.

— Такъ нельзя-ли намъ новую ось достать? — сказалъ я наконецъ:—я-бы съ удовольствіемъ заплатилъ.

— А вы кто такіе? охотники, что-ли?—спросилъ онъ, окинувъ меня взоромъ съ ногъ до головы.

— Охотники.

— Пташекъ небесныхъ стрѣляете, небось?... звѣрей лѣсныхъ?... И не грѣхъ вамъ Божьихъ пташекъ убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичокъ говорилъ очень протяжно. Звукъ его голоса также изумилъ меня. Въ немъ не только не слышалось ничего дряхлаго,—онъ былъ удивительно сладокъ, молодъ и почти женски нѣженъ.

— Оси у меня нѣтъ, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія: — эта вотъ не годится (онъ указалъ на свою телѣжку),—у васъ, чай, телѣга большая.

— А въ деревнѣ найти можно?

— Какая тутъ деревня!... Здѣсь ни у кого нѣтъ.... Да и дóма нѣтъ никого: всѣ на работѣ. Ступайте,—промолвилъ онъ вдругъ и легъ опять на землю.

Я никакъ не ожидалъ этого заключенія.

— Послушай, старикъ,—заговорилъ я, коснувшись до его плеча:—сдѣлай одолженіе, помоги.

— Ступайте съ Богомъ! Я усталъ: въ городъ ѣздилъ, — сказалъ онъ мнѣ, и потащилъ себѣ армякъ на голову.

— Да сдѣлай-же одолженіе, — продолжалъ я: — я.... я заплачу.

— Не надо мнѣ твоей платы.

— Да пожалуйста, старикъ....

Онъ приподнялся до половины и сѣлъ, скрестивъ свои тонкія ножки.

— Я-бы тебя свелъ, пожалуй, на ссѣчки *). Тутъ у насъ купцы рощу купили,—Богъ имъ судья, сводятъ ро-

*) Срубленное мѣсто въ лѣсу.

щу-то, и контору выстроили, Богъ имъ судья. Тамъ-бы ты у нихъ ось и заказалъ, или готовую купилъ.

— И прекрасно!—радостно воскликнулъ я.—Прекрасно!... пойдемъ.

— Дубовую ось, хорошую,—продолжалъ онъ, не поднимаясь съ мѣста.

— А далеко до тѣхъ ссѣчекъ?

— Три версты.

— Ну что-жъ! мы можемъ на твоей телѣжкѣ доѣхать.

— Да нѣтъ....

— Ну, пойдемъ, сказалъ я: — пойдемъ, старикъ! Кучеръ насъ на улицѣ дожидается.

Старикъ неохотно всталъ и вышелъ за мной на улицу. Кучеръ мой находился въ раздраженномъ состояніи духа: онъ собрался-было попоить лошадей, но воды въ колодцѣ оказалось чрезвычайно мало, и вкусъ ея былъ нехорошій, а это, какъ говорятъ кучера́, первое дѣло.... Однако, при видѣ старика, онъ осклабился, закивалъ головой и воскликнулъ:

— А, Касьянушка! здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человѣкъ! — отвѣчалъ Касьянъ унылымъ голосомъ.

Я тотчасъ сообщилъ кучеру его предложеніе; Ерофей объявилъ свое согласіе и въѣхалъ на дворъ. Пока онъ, съ обдуманной хлопотливостью, отпрягалъ лошадей, старикъ стоялъ, прислонясь плечомъ къ воротамъ, и невесело посматривалъ то на него, то на меня. Онъ какъ-будто недоумѣвалъ: его, сколько я могъ замѣтить, не слишкомъ радовало наше внезапное посѣщеніе.

— А развѣ и тебя переселили? — спросилъ его вдругъ Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Экъ! — проговорилъ мой кучеръ сквозь зубы. —

Знаешь, Мартынъ-то плотникъ.... ты вѣдь Рябовскаго Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, онъ умеръ. Мы сейчасъ его гробъ повстрѣчали.

Касьянъ вздрогнулъ.

— Умеръ?—проговорилъ онъ и потупился.

— Да, умеръ. Что-жъ ты его не вылечилъ, а? Вѣдь ты, говорятъ, лечишь, ты лекарка.

Мой кучеръ видимо потѣшался, глумился надъ старикомъ.

— А это твоя телѣга, что̀-ли?—прибавилъ онъ указывая на нее плечомъ.

— Моя.

— Ну, телѣга.... телѣга!—повторилъ онъ, и, взявъ ее за оглобли, чуть не опрокинулъ кверху дномъ.... Телѣга!... А на чемъ-же вы на ссѣчки поѣдете?... Въ эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большія,—а это что̀ такое?

— А не знаю,—отвѣчалъ Касьянъ:—на чемъ вы поѣдете; развѣ вотъ на этомъ животикѣ, — прибавилъ онъ со вздохомъ.

— На этомъ-то? подхватилъ Ерофей и, подойдя къ Касьяновой клячонкѣ, презрительно ткнулъ ее третьимъ пальцемъ правой руки въ шею.—Ишь, прибавилъ онъ съ укоризной:—заснула, ворона!

Я попросилъ Ерофея заложить ее поскорѣй. Мнѣ самому захотѣлось съѣздить съ Касьяномъ на ссѣчки: тамъ часто водятся тетерева̀. Когда уже телѣжка была совсѣмъ готова, и я кое-какъ вмѣстѣ съ своей собакой уже умѣстился на ея покоробленномъ лубочномъ днѣ, и Касьянъ, сжавшись въ комочекъ и съ прежнимъ унылымъ выраженіемъ на лицѣ, тоже сидѣлъ на передней грядкѣ,—Ерофей подошелъ ко мнѣ и съ таинственнымъ видомъ прошепталъ:

— И хорошо сдѣлали, батюшка, что съ нимъ поѣхали. Вѣдь онъ такой, вѣдь онъ юродивецъ, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, какъ вы понять-то его могли....

Я хотѣлъ-было замѣтить Ерофею, что до сихъ поръ Касьянъ мнѣ казался весьма разсудительнымъ человѣкомъ, но кучеръ мой тотчасъ продолжалъ тѣмъ же голосомъ:

— Вы только смотрите, того, туда-ли онъ васъ привезетъ. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровѣе ось извольте взять.... А что, Блоха,—прибавилъ онъ громко:—что у васъ хлѣбушкомъ можно разжиться?

— Поищи; можетъ, найдется,—отвѣчалъ Касьянъ, дернулъ возжами, и мы покатили.

Лошадка его, къ истинному моему удивленію, бѣжала очень недурно. Въ теченіи всей дороги Касьянъ сохранялъ упорное молчаніе и на мои вопросы отвѣчалъ отрывисто и нехотя. Мы скоро доѣхали до ссѣчекъ, а тамъ добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей надъ небольшимъ оврагомъ, на скорую руку перехваченнымъ плотиной и превращеннымъ въ прудъ. Я нашелъ въ этой конторѣ двухъ молодыхъ купеческихъ прикащиковъ, съ бѣлыми какъ снѣгъ зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой рѣчью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговалъ у нихъ ось и отправился на ссѣчки. Я думалъ, что Касьянъ останется при лошади, будетъ дожидаться меня, но онъ вдругъ подошелъ ко мнѣ.

— А что, пташекъ стрѣлять идешь?—заговорилъ онъ:—а?

— Да, если пайду.

— Я пойду съ тобой.... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли.—Вырубленнаго мѣста было всего съ версту. Я, признаюсь, больше глядѣлъ на Касьяна, чѣмъ на свою собаку. Недаромъ его прозвали Блохой. Его черная, ничѣмъ не прикрытая головка (впрочемъ, его волосы

могли замѣнить любую шапку) такъ и мелькала въ кустахъ. Онъ ходилъ необыкновенно проворно и словно все подпрыгивалъ на ходу, безпрестанно нагибался, срывалъ какія-то травки, совалъ ихъ за пазуху, бормоталъ себѣ что-то подъ носъ и все поглядывалъ на меня и на мою собаку, да такимъ пытливымъ, страннымъ взглядомъ. Въ низкихъ кустахъ, «въ мелочахъ», и на ссѣчкахъ часто держатся маленькія сѣрыя птички, которыя то-и-дѣло перемѣщаются съ деревца на деревцо и посвистываютъ, внезапно ныряя на лету. Касьянъ ихъ передразнивалъ, перекликался съ ними; поршокъ *) полетѣлъ, чиликая, у него изъ-подъ ногъ,—онъ зачиликалъ ему вслѣдъ; жаворонокъ сталъ спускаться надъ нимъ, трепеща крылами и звонко распѣвая—Касьянъ подхватилъ его пѣсенку. Со мной онъ все не заговаривалъ....

Погода была прекрасная, еще прекраснѣе, чѣмъ прежде; но жара̀ все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокія и рѣдкія облака, изжелта-бѣлыя, какъ весенній запоздалый снѣгъ, плоскія и продолговатыя, какъ опустившіеся паруса̀. Ихъ узорчатые края, пушистые и легкіе, какъ хлопчатая бумага, медленно, но видимо измѣнялись съ каждымъ мгновеніемъ: онѣ таяли, эти облака, и отъ нихъ не падало тѣни. Мы долго бродили съ Касьяномъ по ссѣчкамъ. Молодые отпрыски, еще не успѣвшіе вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почернѣвшіе, низкіе пни; круглые губчатые наросты съ сѣрыми каймами, тѣ самые наросты, изъ которыхъ вываривaютъ трутъ, лѣпились къ этимъ пнямъ; земляника пускала по нимъ свои розовые усики; грибы тутъ же тѣсно сидѣли семьями. Ноги безпрестанно путались и цѣплялись въ длинной травѣ, пресыщенной

*) Молодой перепелъ.

горячимъ солнцемъ; всюду рябило въ глазахъ отъ рѣзкаго металлическаго сверканія молодыхъ, красноватыхъ листьевъ на деревцахъ; всюду пестрѣли голубые гроздья журавлинаго гороху, золотыя чашечки куриной-слѣпоты, на половину лиловые, на половину желтые цвѣты Ивана-да-Марьи; кое-гдѣ, возлѣ заброшенныхъ дорожекъ, на которыхъ слѣды колесъ обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дровъ, потемнѣвшихъ отъ вѣтра и дождя, сложенныя саженями; слабая тѣнь падала отъ нихъ косыми четвероугольниками, — другой тѣни не было нигдѣ. Легкій вѣтерокъ то просыпался, то утихалъ: подуетъ вдругъ прямо въ лицо и какъ-будто разыграется,— все весело зашумитъ, закиваетъ и задвижется кругомъ, граціозно закачаются гибкіе концы папоротниковъ,—обрадуешься ему.... но вотъ ужъ онъ опять замеръ, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещатъ, словно озлобленные,—и утомителенъ этотъ непрестанный, кислый и сухой звукъ. Онъ идетъ къ неотступному жару полудня; онъ словно рожденъ имъ, словно вызванъ имъ изъ раскаленной земли.

Не наткнувшись ни на одинъ выводокъ, дошли мы, наконецъ, до новыхъ ссѣчекъ. Тамъ недавно срубленныя осины печально тянулись по землѣ, придавивъ собою и траву, и мелкій кустарникъ; на иныхъ листья еще зеленые, но уже мертвые, вяло свѣшивались съ неподвижныхъ вѣтокъ; на другихъ они уже засохли и покоробились. Отъ свѣжихъ золотисто-бѣлыхъ щепокъ, грудами лежавшихъ около ярко-влажныхъ пней, вѣяло особеннымъ, чрезвычайно пріятнымъ, горькимъ запахомъ. Вдали, ближе къ рощѣ, глухо стучали топоры, и по временамъ, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево....

Долго не находилъ я никакой дичи; наконецъ, изъ ши-

рокаго дубоваго куста, насквозь проросшаго полынью, полетѣлъ коростель. Я ударилъ; онъ перевернулся на воздухѣ и упалъ. Услышавъ выстрѣлъ, Касьянъ быстро закрылъ глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядилъ ружья и не поднялъ коростеля. Когда же я отправился далѣе, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ упала убитая птица, нагнулся къ травѣ, на которую брызнуло нѣсколько капель крови, покачалъ головой, пугливо взглянулъ на меня.... Я слышалъ послѣ, какъ онъ шепталъ: «Грѣхъ!... Ахъ, вотъ это грѣхъ!»

Жара заставила насъ, наконецъ, войти въ рощу. Я бросился подъ высокій кустъ орѣшника, надъ которымъ молодой, стройный кленъ красиво раскинулъ свои легкія вѣтки. Касьянъ присѣлъ на толстый конецъ срубленной березы. Я глядѣлъ на него. Листья слабо колебались въ вышинѣ, и ихъ жидко-зеленоватыя тѣни тихо скользили взадъ и впередъ по его тщедушному тѣлу, кое-какъ закутанному въ темный армякъ,—по его маленькому лицу. Онъ не поднималъ головы. Наскучивъ его безмолвіемъ, я легъ на спину и началъ любоваться мирной игрой перепутанныхъ листьевъ на далекомъ свѣтломъ небѣ. Удивительно пріятное занятіе лежать на спинѣ въ лѣсу и глядѣть вверхъ! Вамъ кажется, что вы смотрите въ бездонное море, что оно широко разстилается *подъ* вами, что деревья не поднимаются отъ земли, но, словно корни огромныхъ растеній, спускаются, отвѣсно падаютъ въ тѣ стеклянно-ясныя волны; листья на деревьяхъ то сквозятъ изумрудами, то сгущаются въ золотистую, почти черную зелень. Гдѣ-нибудь, далеко, оканчивая собою тонкую вѣтку, неподвижно стоитъ отдѣльный листокъ на голубомъ клочкѣ прозрачнаго неба, и рядомъ съ нимъ качается другой, напоминая своимъ движеніемъ игру рыбьяго плёса, какъ-будто движеніе то самовольное и не производится вѣтромъ.

Волшебными подводными островами тихо наплываютъ и тихо проходятъ бѣлыя круглыя облака,—и вотъ, вдругъ все это море, этотъ лучезарный воздухъ, эти вѣтки и листья, облитые солнцемъ — все заструится, задрожитъ бѣглымъ блескомъ, и поднимется свѣжее, трепещущее лепетанье, похожее на безконечный мелкій плескъ внезапно набѣжавшей зыби. Вы не двигаетесь—вы глядите: и нельзя выразить словами, какъ радостно и тихо и сладко становится на сердцѣ. Вы глядите: — та глубокая, чистая лазурь возбуждаетъ на устахъ вашихъ улыбку, невинную, какъ она сама; какъ облака по небу, и какъ будто вмѣстѣ съ ними, медлительной вереницей проходятъ по душѣ счастливыя воспоминанія, и все вамъ кажется, что взоръ вашъ уходитъ дальше и дальше, и тянетъ васъ самихъ за собой въ ту спокойную, сіяющую бездну, и невозможно оторваться отъ этой вышины, отъ этой глубины....

— Баринъ, а баринъ! — промолвилъ вдругъ Касьянъ своимъ звучнымъ голосомъ.

Я съ удивленіемъ приподнялся; до сихъ поръ онъ едва отвѣчалъ на мои вопросы, а то вдругъ самъ заговорилъ.

— Что тебѣ?—спросилъ я.

— Ну, для чего ты пташку убилъ?—началъ онъ, глядя мнѣ прямо въ лицо.

— Какъ для чего?... Коростель — это дичь: его ѣсть можно.

— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

— Да, вѣдь, ты самъ, небось, гусей или курицъ, напримѣръ, ѣшь?

— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель—птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой—и грѣхъ ее

убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла.... А человѣку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлѣбъ—Божья благодать, да водѣ небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ.

Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на Касьяна. Слова его лились свободно; онъ не искалъ ихъ, онъ говорилъ съ тихимъ одушевленіемъ и кроткою важностію, изрѣдка закрывая глаза.

— Такъ и рыбу, по-твоему, грѣшно убивать? — спросилъ я.

— У рыбы кровь холодная,—возразилъ онъ съ увѣренностію:—рыба тварь нѣмая. Она не боится, не веселится: рыба тварь безсловесная. Рыба не чувствуетъ, въ ней и кровь не живая.... Кровь, — продолжалъ онъ, помолчавъ — святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется.... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ.... Охъ, великій!

Онъ вздохнулъ и потупился. Я, признаюсь, съ совершеннымъ изумленіемъ посмотрѣлъ на страннаго старика. Его рѣчь звучала не мужичьей рѣчью: такъ не говорятъ простолюдины, и краснобаи такъ не говорятъ. Этотъ языкъ, обдуманно-торжественный и странный.... Я не слыхалъ ничего подобнаго.

— Скажи, пожалуйста, Касьянъ, — началъ я, не спуская глазъ съ его слегка раскраснѣвшагося лица:—чѣмъ ты промышляешь?

Онъ не тотчасъ отвѣтилъ на мой вопросъ. Его взглядъ безпокойно забѣгалъ на мгновеніе.

— Живу, какъ Господь велитъ,— промолвилъ онъ наконецъ; — а чтобы, то-есть, промышлять — нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно, съ мальства; работаю пока мочно,—работникъ-то я плохой.... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ, и руки глупы. Ну, весной соловьевъ ловлю.

— Соловьевъ ловишь?... А какъ же ты говорилъ, что всякую лѣсную и полевую и прочую тамъ тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и такъ свое возьметъ. Вотъ хоть-бы Мартынъ-плотникъ: жилъ Мартынъ-плотникъ, и не долго жилъ и померъ; жена его теперь убивается о мужѣ, о дѣткахъ малыхъ.... Противъ смерти ни человѣку, ни твари не слукавить. Смерть и не бѣжитъ, да и отъ нея не убѣжишь; да помогать ей не должно.... А я соловушекъ не убиваю, — сохрани Господи! Я ихъ не на муку ловлю, не на погибель ихъ живота, а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселье.

— Ты въ Курскъ ихъ ловить ходишь?

— Хожу я и въ Курскъ и подалѣ хожу, какъ случится. Въ болотахъ ночую да въ залѣсьяхъ, въ полѣ ночую одинъ, во глуши: тутъ кулички разсвистятся, тутъ зайцы кричатъ, тутъ селезни стрекочутъ.... По вечеркамъ замѣчаю, по утренничкамъ выслушиваю, по зарямъ обсыпаю сѣткой кусты.... Иной соловушко такъ жалостно поетъ, сладко.... жалостно даже.

— И продаешь ты ихъ?

— Отдаю добрымъ людямъ.

— А что-жъ ты еще дѣлаешь?

— Какъ дѣлаю?

— Чѣмъ ты занятъ?

Старикъ помолчалъ.

— Ничѣмъ я этакъ не занятъ.... Работникъ я плохой. Грамотѣ однако разумѣю.

— Ты грамотный?

— Разумѣю грамотѣ. Помогъ Господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человѣкъ?

— Нѣту-ти, безсемейный.

— Что такъ?... Перемерли, что-ли?

— Нѣтъ, а такъ: задачи въ жизни не вышло. Да это все подъ Богомъ, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ; а справедливъ долженъ быть человѣкъ,—вотъ что! Богу угоденъ, то-есть.

— И родни у тебя нѣтъ?

— Есть.... да.... такъ....

Старикъ замялся.

— Скажи, пожалуйста,—началъ я:—мнѣ послышалось, мой кучеръ у тебя спрашивалъ, что̀, дескать, отчего ты не вылечилъ Мартына? Развѣ ты умѣешь лечить?

— Кучеръ твой справедливый человѣкъ,—задумчиво отвѣчалъ мнѣ Касьянъ:—а тоже не безъ грѣха. Лекаркой меня называютъ.... Какая я лекарка!... и кто можетъ лечить? Это все отъ Бога. А есть.... есть травы, цвѣты есть: помогаютъ, точно. Вотъ хоть череда, напримѣръ, трава добрая для человѣка; вотъ подорожникъ тоже; объ нихъ и говорить не зазорно: чистыя травки—Божія. Ну, а другія не такъ: и помогаютъ-то онѣ, а грѣхъ; и говорить о нихъ грѣхъ. Еще съ молитвой развѣ.... Ну, конечно, есть и слова такія.... А кто вѣруетъ—спасется,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Ты ничего Мартыну не давалъ?—спросилъ я.

— Поздно узналъ, — отвѣчалъ старикъ. — Да что! — кому какъ на роду написано. Не жилецъ былъ плотникъ Мартынъ, не жилецъ на землѣ: ужъ это такъ. Нѣтъ, ужъ какому человѣку не жить на землѣ, того и солнышко не грѣетъ какъ другого, и хлѣбушекъ тому не въ прокъ,—словно что его отзываетъ.... Да; упокой Господь его душу!

— Давно васъ переселили къ намъ?—спросилъ я, послѣ небольшого молчанія.

Касьянъ встрепенулся.

— Нѣтъ, недавно: года четыре. При старомъ баринѣ

мы все жили на своихъ прежнихъ мѣстахъ, а вотъ опека переселила. Старый баринъ у насъ былъ кроткая душа, смиренникъ,—царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо разсудила; видно ужъ такъ пришлось.

— А вы гдѣ прежде жили?

— Мы съ Красивой-Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верстъ сто.

— Что-жъ, тамъ лучше было?

— Лучше.... лучше. Тамъ мѣста привольныя, рѣчныя, гнѣздо наше; а здѣсь тѣснота, сухмень.... Здѣсь мы осиротѣли. Тамъ у насъ, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холмъ, взойдешь—и Господи, Боже мой, что это? а?... И рѣка-то, и луга, и лѣсъ; а тамъ церковь, а тамъ опять пошли луга. Далече видно, далече. Вотъ какъ далеко видно.... смотришь, смотришь, ахъ ты, право! Ну, здѣсь, точно, земля лучше: суглинокъ, хорошій суглинокъ, говорятъ крестьяне; да съ меня хлѣбушка-то всюду вдоволь народится.

—. А что, старикъ, скажи правду, тебѣ, чай, хочется на родинѣ-то побывать?

— Да, посмотрѣлъ бы. А впрочемъ, вездѣ хорошо. Человѣкъ я безсемейный, непосѣдъ. Да и что! много, что-ли, дома-то высидишь? А вотъ, какъ пойдешь, какъ пойдешь,—подхватилъ онъ, возвысивъ голосъ:—и полегчитъ, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты виднѣй, и поется-то ладнѣе. Тутъ, смотришь,—трава какая растетъ; ну, замѣтишь—сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напримѣръ, ключевая, родникъ, святая вода: ну, напьешься—замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя.... А то за Курскомъ пойдутъ степи, этакія степныя мѣста, вотъ удивленіе, вотъ удовольствіе человѣку, вотъ раздолье-то, вотъ Божія-то благодать! И идутъ онѣ, люди сказываютъ, до са-

*

мыхъ теплыхъ морей, гдѣ живетъ птица Гамаюнъ сладкогласная, и съ деревъ листъ ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки ростутъ золотыя на серебряныхъ вѣткахъ, и живетъ всякъ человѣкъ въ довольствѣ и справедливости.... И вотъ ужъ я-бы туда пошелъ.... Вѣдь я мало-ли куда ходилъ! И въ Ромёнъ ходилъ, и въ Синбирскъ славный-градъ, и въ самую Москву золотыя-маковки; ходилъ на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видалъ, добрыхъ хрестьянъ, и въ городахъ побывалъ честныхъ.... Ну вотъ, пошелъ-бы я туда.... и вотъ.... и ужъ и ... И не одинъ я грѣшный.... много другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ.... да!... А то что̀ дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ,—вотъ оно что....

Эти послѣднія слова Касьянъ произнесъ скороговоркой, почти невнятно; потомъ онъ еще что-то сказалъ, чего я даже разслышать не могъ, а лицо его такое странное приняло выраженіе, что мнѣ невольно вспомнилось названіе «юродивца». Онъ потупился, откашлянулся и какъ-будто пришелъ въ себя.

— Эко солнышко! — промолвилъ онъ вполголоса:—эка благодать, Господи! эка теплынь въ лѣсу!

Онъ повелъ плечами, помолчалъ, разсѣянно глянулъ и запѣлъ потихоньку. Я не могъ уловить всѣхъ словъ его протяжной пѣсенки; слѣдующія по̀слышались мнѣ:

А зовутъ меня Касьяномъ,
А по прозвищу Блоха....

«Э»! подумалъ я; «да онъ сочиняетъ».... Вдругъ онъ вздрогнулъ и умолкъ, пристально всматриваясь въ чащу лѣса. Я обернулся и увидѣлъ маленькую крестьянскую дѣвочку, лѣтъ восьми, въ синемъ сарафанчикѣ, съ клѣтча-

тымъ платкомъ на головѣ и плетенымъ кузовкомъ на загорѣлой, голенькой рукѣ. Она, вѣроятно, никакъ не ожидала насъ встрѣтить; какъ говорится, наткнулась на насъ, и стояла неподвижно въ зеленой чащѣ орѣшника, на тѣнистой лужайкѣ, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успѣлъ разглядѣть ее: она тотчасъ нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся, — кликнулъ старикъ ласково.

— Боюсь,—раздался тонкій голосокъ.

— Не бойся, не бойся, поди ко мнѣ.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругомъ,—ея дѣтскія ножки едва шумѣли по густой травѣ,—и вышла изъ чащи подлѣ самаго старика. Это была дѣвушка не восьми лѣтъ, какъ мнѣ показалось сначала, по небольшому ея росту,—но тринадцати или четырнадцати. Все ея тѣло было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно съ лицомъ самого Касьяна, хотя Касьянъ красавцемъ не былъ. Тѣ же острыя черты, тотъ же странный взглядъ, лукавый и довѣрчивый, задумчивый и проницательный, и движенья тѣ же.... Касьянъ окинулъ ее глазами; она стояла къ нему бокомъ.

— Что, грибы собирала?—спросилъ онъ.

— Да, грибы,—отвѣчала она съ робкой улыбкой.

— Много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И бѣлые есть?

— Есть и бѣлые.

— Покажь-ка, покажь.... (Она спустила кузовъ съ руки и приподняла до половины широкій листъ лапуха, которымъ грибы были покрыты.) — Э! сказалъ Касьянъ, на-

гнувшись надъ кузовомъ: — да какіе славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьянъ, что-ли? спросилъ я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нѣтъ, такъ, сродственница, проговорилъ Касьянъ съ притворной небрежностью.—Ну, Аннушка, ступай,—прибавилъ онъ тотчасъ:—ступай съ Богомъ. Да смотри....

— Да зачѣмъ же ей пѣшкомъ идти?—прервалъ я его.— Мы бы ее довезли...

Аннушка загорѣлась, какъ маковъ цвѣтъ, ухватилась обѣими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядѣла на старика.

— Нѣтъ, дойдетъ, — возразилъ онъ тѣмъ же равнодушно лѣнивымъ голосомъ.—Что ей?... Дойдетъ и такъ.... Ступай.

Аннушка проворно ушла въ лѣсъ. Касьянъ поглядѣлъ за нею вслѣдъ, потомъ потупился и усмѣхнулся. Въ этой долгой усмѣшкѣ, въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ, въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нѣжность. Онъ опять поглядѣлъ въ сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себѣ лицо, нѣсколько разъ покачалъ головой.

— Зачѣмъ ты ее такъ скоро отослалъ? — спросилъ я его:—я-бы у нея грибы купилъ....

— Да вы тамъ, все равно, дома купите, когда захотите, — отвѣчалъ онъ мнѣ, въ первый разъ употребляя слово «вы».

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нѣтъ.... какое.... такъ....— отвѣтилъ онъ, какъ-бы нехотя, и съ того же мгновенья впалъ въ прежнюю молчаливость.

Видя, что всѣ мои усилія заставить его опять разго-

вориться оставались тщетными, я отправился на ссѣчки. Притомъ же и жара немного спа́ла; но неудача или, какъ говорятъ у насъ, незадача моя продолжалась, и я съ однимъ коростелемъ и съ новой осью вернулся въ выселки. Уже подъѣзжая ко двору, Касьянъ вдругъ обернулся ко мнѣ.

— Баринъ, а баринъ — заговорилъ онъ: — вѣдь я виноватъ передъ тобой; вѣдь это я тебѣ дичь-то всю отвелъ.

— Какъ-такъ?

— Да ужъ это я знаю. А вотъ и ученый пёсъ у тебя и хорошій, а ничего не смогъ. Подумаешь, люди что̀, люди, а? Вотъ и звѣрь, а что̀ изъ него сдѣлали?

Я-бы напрасно сталъ убѣждать Касьяна въ невозможности «заговорить» дичь, и потому ничего не отвѣчалъ ему. Притомъ же мы тотчасъ повернули въ ворота.

Въ избѣ Аннушки не было; она уже успѣла придти и оставить кузовъ съ грибами. Ерофей приладилъ новую ось, подвергнувъ ее сперва строгой и несправедливой оцѣнкѣ; а черезъ часъ я выѣхалъ, оставивъ Касьяну немного денегъ, которыя онъ сперва-было не принялъ, но потомъ, подумавъ и подержавъ ихъ на ладони, положилъ за пазуху. Въ теченіи этого часа онъ не произнесъ почти ни одного слова; онъ по прежнему стоялъ, прислонясь къ воротамъ, не отвѣчалъ на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, какъ только вернулся, успѣлъ замѣтить, что Ерофей мой снова находился въ сумрачномъ расположеніи духа.... И въ самомъ дѣлѣ, ничего съѣстного онъ въ деревнѣ не нашелъ, водопой для лошадей былъ плохой. Мы выѣхали. Съ неудовольствіемъ, выражавшимся даже на его затылкѣ, сидѣлъ онъ на козлахъ и страхъ желалъ заговорить со мной, но, въ ожиданіи перваго моего вопроса, ограничивался легкимъ ворчаньемъ вполголоса и поучительными, а

иногда язвительными рѣчами, обращенными къ лошадямъ. — «Деревня»! — бормоталъ онъ:—«а еще деревня! Спросилъ хошь квасу—и квасу нѣтъ.... Ахъ ты, Господи! А вода—просто, тьфу! (Онъ плюнулъ вслухъ.) Ни огурцовъ, ни квасу—ничего.... Ну ты, прибавилъ онъ громко, обращаясь къ правой пристяжной:—я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себѣ потворствовать небось.... (И онъ ударилъ ее кнутомъ.)—Совсѣмъ отлукавилась лошадь, а вѣдь какой прежде согласный былъ животъ.... Ну-ну, оглядывайся!...»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей,—заговорилъ я: — что̀ за человѣкъ этотъ Касьянъ?

Ерофей не скоро мнѣ отвѣчалъ: онъ вообще человѣкъ былъ обдумывающій и неторопливый; но я тотчасъ могъ догадаться, что мой вопросъ его развеселилъ и успокоилъ.

— Блоха-то? — заговорилъ онъ наконецъ, передернувъ возжами: — чудной человѣкъ: какъ есть, юродивецъ, такого чудного человѣка и не скоро найдешь другого. Вѣдь, напримѣръ, вѣдь онъ ни дать, ни взять нашъ вотъ саврасый: отъ рукъ отбился тоже.... отъ работы, то-есть. Ну, конечно, что̀ онъ за работникъ, — въ чемъ душа держится, — ну, а все-таки.... Вѣдь онъ съ-измальства такъ. Сперва онъ со дядьями со своими въ извозъ ходилъ: они у него были троечные; ну, а потомъ знать наскучило — бросилъ. Сталъ дома жить, да и дома-то не усиживался: такой безпокойный, — ужъ точно блоха. Баринъ ему попался, спасибо, добрый—не принуждалъ. Вотъ онъ такъ съ тѣхъ поръ все и болтается, что̀ овца безпредѣльная. И вѣдь такой удивительный, Богъ его знаетъ: то молчитъ, какъ пень, то вдругъ заговоритъ,—а что̀ заговоритъ, Богъ его знаетъ. Развѣ это манеръ? Это не манеръ. Несообразный человѣкъ, какъ есть. Поетъ, однако, хорошо. Этакъ важно—ничего, ничего.

— А что̀, онъ лечитъ, точно?

— Какое лечитъ!... Ну, гдѣ ему! Таковскій онъ человѣкъ. Меня, однако, отъ золотухи вылечилъ.... Гдѣ ему! глупый человѣкъ, какъ есть,—прибавилъ онъ, помолчавъ.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы имъ по Сычовкѣ сосѣди, на Красивой-то на Мечи.

— А что̀ эта, намъ въ лѣсу попалась дѣвушка, Аннушка, что̀, она ему родня?

Ерофей посмотрѣлъ на меня черезъ плечо и осклабился во весь ротъ.

— Хе!... да, сродни. Она сирота; матери у ней нѣту, да и неизвѣстно, кто̀ ея мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахиваетъ.... Ну, живетъ у него. Вострая дѣвка, нѣча сказать; хорошая дѣвка, и онъ старый, въ ней души не чаетъ: дѣвка хорошая. Да вѣдь онъ, вы вотъ не повѣрите, а вѣдь онъ, пожалуй, Аннушку-то свою грамотѣ учить вздумаетъ. Ей-ей, отъ него это станется: ужъ такой онъ человѣкъ неабиакавенный. Непостоянный такой, несоразмѣрный даже.... Э-э-э! вдругъ перервалъ самого себя мой кучеръ и, остановивъ лошадей, нагнулся на бокъ и принялся нюхать воздухъ.—Никакъ гарью пахнетъ? Такъ и есть! Ужъ эти мнѣ новыя оси.... А, кажется, на что̀ мазалъ.... Пойти водицы добыть: вотъ кстати и прудикъ.

И Ерофей медлительно слѣзъ съ облучка, отвязалъ ведерку, пошелъ къ пруду и, вернувшись, не безъ удовольствія слушалъ, какъ шипѣла втулка колеса, внезапно охваченная водою.... Разъ шесть приходилось ему на какихъ-нибудь десяти верстахъ обливать разгоряченную ось, и уже совсѣмъ завечерѣло, когда мы возвратились домой.

БУРМИСТРЪ.

ВЕРСТАХЪ въ пятнадцати отъ моего имѣнія, живетъ одинъ мнѣ знакомый человѣкъ, молодой помѣщикъ, гвардейскій офицеръ въ отставкѣ, Аркадій Павлычъ Пѣночкинъ. Дичи у него въ помѣстьѣ водится много, домъ построенъ по плану французскаго архитектора, люди одѣты по-англійски, обѣды задаетъ онъ отличные, принимаетъ гостей ласково, а все-таки неохотно къ нему ѣдешь. Онъ человѣкъ разсудительный и положительный, воспитанье получилъ, какъ водится, отличное, служилъ, въ высшемъ обществѣ потерся, а теперь хозяйствомъ занимается съ большимъ успѣхомъ. Аркадій Павлычъ, говоря собственными его словами, строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ — для ихъ-же блага. «Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми», говоритъ онъ въ такомъ случаѣ: «невѣжество, mon cher; il faut prendre cela en considération». Самъ же, въ случаѣ такъ-называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и гòлоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: «вѣдь я тебя просилъ, любезный мой», или: «чтò съ тобою, другъ мой, опомнись»; причемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ. Роста онъ не-

ьшого, сложенъ щеголевато, собою весьма недуренъ, ки и ногти въ большой опрятности содержитъ; съ его мяныхъ губъ и щекъ такъ и пышетъ здоровьемъ. Смѣется ь звучно и беззаботно, привѣтливо щуритъ свѣтлые, ка- глаза. Одѣвается онъ отлично и со вкусомъ; выписы- тъ французскія книги, рисунки и газеты, но до чтенія большой охотникъ: «Вѣчнаго жида» едва осилилъ. Въ ты играетъ мастерски. Вообще Аркадій Павлычъ счи- тся однимъ изъ образованнѣйшихъ дворянъ и завиднѣй- хъ жениховъ нашей губерніи; дамы отъ него безъ ума въ особенности хвалятъ его манеры. Онъ удивительно рошо себя держитъ, остороженъ, какъ кошка, и ни въ кую исторію замѣшанъ отъ роду не бывалъ, хотя при чаѣ дать себя знать и робкаго человѣка озадачить и зать любитъ. Дурнымъ обществомъ рѣшительно брез- тъ — скомпрометтироваться боится; за то въ веселый съ объявляетъ себя поклонникомъ Эпикура, хотя вообще философіи отзывается дурно, называя ее туманной пи- й германскихъ умовъ, а иногда и просто чепухой. Му- ку онъ тоже любитъ; за картами поетъ сквозь зубы, но чувствомъ; изъ Лючіи и Сомнамбулы тоже помнитъ, что-то все высоко забираетъ. По зимамъ онъ ѣздитъ Петербургъ. Домъ у него въ порядкѣ необыкновен- ъ; даже кучера подчинились его вліянію и каждый день только вытираютъ хомуты и армяки чистятъ, но и са- ъ-себѣ лицо моютъ. Дворовые люди Аркадія Павлыча матриваютъ, правда, что-то изъ-подлобья,—но у насъ Руси угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь. Аркадій влычъ говоритъ голосомъ мягкимъ и пріятнымъ, съ раз- новкой и какъ-бы съ удовольствіемъ пропуская каждое во сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также отребляетъ много французскихъ выраженій, какъ-то: ais c'est impayable?» «Mais comment donc!» и пр. Со

всѣмъ тѣмъ, я, по крайней-мѣрѣ, не слишкомъ охотно его посѣщаю, и если-бы не тетерева и не куропатки, вѣроятно совершенно бы съ нимъ раззнакомился. Странное какое-то безпокойство овладѣваетъ вами въ его домѣ; даже комфортъ васъ не радуетъ, и всякій разъ, вечеромъ, когда появится передъ вами завитый каммердинеръ въ голубой ливреѣ съ гербовыми пуговицами и начнетъ подобострастно стягивать съ васъ сапоги, вы чувствуете, что если-бы вмѣсто его блѣдной и сухопарой фигуры внезапно предстали передъ вами изумительно-широкія скулы и невѣроятно-тупой носъ молодого дюжаго парня, только-что взятаго бариномъ отъ сохи, но уже успѣвшаго въ десяти мѣстахъ распороть по швамъ недавно пожалованный нанковый кафтанъ — вы бы обрадовались несказанно и охотно-бы подверглись опасности лишиться вмѣстѣ съ сапогомъ и собственной вашей ноги вплоть до самаго вертлюга....

Несмотря на мое нерасположеніе къ Аркадію Павлычу, пришлось мнѣ однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велѣлъ заложить свою коляску, но онъ не хотѣлъ меня отпустить безъ завтрака на англійскій манеръ и повелъ къ себѣ въ кабинетъ. Вмѣстѣ съ чаемъ подали намъ котлеты, яйца въ смятку, масло, медъ, сыръ и пр. Два каммердинера, въ чистыхъ бѣлыхъ перчаткахъ, быстро и молча предупреждали наши малѣйшія желанія. Мы сидѣли на персидскомъ диванѣ. На Аркадіѣ Павлычѣ были широкіе шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фесъ съ синей кистью и китайскіе желтые туфли безъ задковъ. Онъ пилъ чай, смѣялся, разсматривалъ свои ногти, курилъ, подкладывалъ себѣ подушки подъ бокъ и вообще чувствовалъ себя въ отличномъ расположеніи духа. Позавтракавши плотно и съ видимымъ удовольствіемъ, Аркадій Павлычъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился.

— Отчего вино не нагрѣто? — спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ каммердинеровъ.

Каммердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь я тебя спрашиваю, любезный мой?—спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный каммердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него изъ-подлобья.

— Pardon, mon cher, — промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на каммердинера. — Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшаго молчанія, поднялъ брови и позвонилъ.

Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

— На счетъ Ѳедора.... распорядиться, — проговорилъ Аркадій Павлычъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ толстый и вышелъ.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne, весело замѣтилъ Аркадій Павлычъ.—Да куда-же вы? останьтесь, посидите еще немного.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я:—мнѣ пора.

— Все на охоту! Охъ, ужъ эти мнѣ охотники! Да вы куда теперь ѣдете?

— За сорокъ верстъ отсюда, въ Рябово.

— Въ Рябово? Ахъ, Боже мой, да въ такомъ случаѣ я съ вами поѣду. Рябово всего въ пяти верстахъ отъ моей Шипиловки, а я таки-давно въ Шипиловкѣ не бывалъ: все времени улучить не могъ. Вотъ какъ кстати пришлось: вы сегодня въ Рябовѣ поохотитесь, а вечеромъ ко мнѣ.

Ce sera charmant. Мы вмѣстѣ поужинаемъ, — мы возьмемъ съ собою повара, — вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно!—прибавилъ онъ, не дождавшись моего отвѣта. C'est arrangé.... Эй, кто тамъ? Коляску намъ велите заложить, да поскорѣй. Вы въ Шипиловкѣ не бывали? Я-бы посовѣстился предложить вамъ провести ночь въ избѣ моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы, и въ Рябовѣ въ сѣнномъ-бы сараѣ ночевали.... Ѣдемъ, ѣдемъ!

И Аркадій Павлычъ запѣлъ какой-то французскій романсъ.

— Вѣдь вы, можетъ быть, не знаете, продолжалъ онъ, покачиваясь на обѣихъ ногахъ:—у меня тамъ мужики на оброкѣ. Конституція,—что̀ будешь дѣлать? Однако оброкъ мнѣ платятъ исправно. Я-бы ихъ, признаться, давно на барщину ссадилъ, да земли мало! я и такъ удивляюсь, какъ они концы съ концами сводятъ. Впрочемъ, c'est leur affaire. Бурмистръ у меня тамъ молодецъ, une forte tête, государственный человѣкъ! Вы увидите.... Какъ, право, это хорошо пришлось!

Дѣлать было нечего. Вмѣсто девяти часовъ утра мы выѣхали въ два. Охотники поймутъ мое нетерпѣнье. Аркадій Павлычъ любилъ, какъ онъ выражался, при случаѣ побаловать себя и забралъ съ собою такую бездну бѣлья, припасовъ, платья, духовъ, подушекъ и разныхъ несессеровъ, что иному бережливому и владѣющему собою нѣмцу хватило-бы всей этой благодати на годъ. При каждомъ спускѣ съ горы Аркадій Павлычъ держалъ краткую, но сильную рѣчь кучеру, изъ чего я могъ заключить, что мой знакомецъ порядочный трусъ. Впрочемъ, путешествіе совершилось весьма благополучно; только на одномъ недавно починенномъ мостикѣ телѣга съ поваромъ завалилась, и заднимъ колесомъ ему придавило желудокъ.

Аркадій Павлычъ, при видѣ паденія доморощеннаго Карема, испугался не на шутку и тотчасъ велѣлъ спросить: цѣлы-ли у него руки? Получивъ же отвѣтъ утвердительный, немедленно успокоился. Со всѣмъ тѣмъ, ѣхали мы довольно долго; я сидѣлъ въ одной коляскѣ съ Аркадіемъ Павлычемъ и подъ конецъ путешествія почувствовалъ тоску смертельную, тѣмъ болѣе, что въ теченіи нѣсколькихъ часовъ мой знакомецъ совершенно выдохся и началъ уже либеральничать. Наконецъ, мы пріѣхали, только не въ Рябово, а прямо въ Шипиловку; какъ-то оно такъ вышло. Въ тотъ день я и безъ того уже поохотиться не могъ и потому, скрѣпя сердце, покорился своей участи.

Поваръ пріѣхалъ нѣсколькими минутами ранѣе насъ и, повидимому, уже успѣлъ распорядиться и предупредить кого слѣдовало, потому-что при самомъ въѣздѣ въ околицу встрѣтилъ насъ староста (сынъ бурмистра), дюжій и рыжій мужикъ въ косую сажень ростомъ, верхомъ и безъ шапки, въ новомъ армякѣ на распашку. — «А гдѣ же Софронъ?» спросилъ его Аркадій Павлычъ. Староста сперва проворно соскочилъ съ лошади, поклонился барину въ поясъ, промолвилъ: «Здравствуйте, батюшка Аркадій Павлычъ», потомъ приподнялъ голову, встряхнулся и доложилъ, что Софронъ отправился въ Перовъ, но что за нимъ уже послали.—«Ну, ступай за нами», сказалъ Аркадій Павлычъ. Староста отвелъ изъ приличія лошадь въ сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку въ рукѣ. Мы поѣхали по деревнѣ. Нѣсколько мужиковъ въ пустыхъ телѣгахъ попались намъ на-встрѣчу; они ѣхали съ гумна и пѣли пѣсни, подпрыгивая всѣмъ тѣломъ и болтая ногами на воздухѣ; но при видѣ нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимнія шапки (дѣло было лѣтомъ) и приподнялись, какъ-бы ожидая приказаній. Аркадій Павлычъ милостиво имъ покло-

нился. Тревожное волненіе видимо распространялось по селу. Бабы въ клѣтчатыхъ паневахъ швыряли щепками въ недогадливыхъ или слишкомъ усердныхъ собакъ; хромой старикъ съ бородой, начинавшейся подъ самыми глазами, оторвалъ недопоенную лошадь отъ колодезя, ударилъ ее неизвѣстно за что̀ по боку, а тамъ уже поклонился. Мальчишки въ длинныхъ рубашёнкахъ съ воплемъ бѣжали въ избы, ложились брюхомъ на высокій порогъ, свѣшивали головы, закидывали ноги кверху и такимъ образомъ весьма проворно перекатывались за дверь, въ темныя сѣни, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью въ подворотню; одинъ бойкій пѣтухъ съ черной грудью, похожей на атласный жилетъ, и краснымъ хвостомъ, закрученнымъ на самый гребень, остался было на дорогѣ и уже совсѣмъ собрался кричать, да вдругъ сконфузился и тоже побѣжалъ. Изба бурмистра стояла въ сторонѣ отъ другихъ, посреди густого зеленаго конопляника. Мы остановились передъ воротами. Г-нъ Пѣночкинъ всталъ, живописно сбросилъ съ себя плащъ и вышелъ изъ коляски, привѣтливо озираясь кругомъ. Бурмистрова жена встрѣтила насъ съ низкими поклонами и подошла къ барской ручкѣ. Аркадій Павлычъ далъ ей нацѣловаться вволю и взошелъ на крыльцо. Въ сѣняхъ, въ темномъ углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но къ рукѣ подойти не дерзнула. Въ такъ-называемой холодной избѣ—изъ сѣней направо—уже возились двѣ другія бабы; онѣ выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одервенѣлые тулупы, масленые горшки, люльку съ кучей тряпокъ и пестрымъ ребенкомъ, подметали банными вѣниками соръ. Аркадій Павлычъ выслалъ ихъ вонъ и помѣстился на лавкѣ подъ образами. Кучера́ начали вносить сундуки, ларцы и прочія удобства, всячески стараясь умѣрить стукъ своихъ тяжелыхъ сапоговъ.

Между-тѣмъ Аркадій Павлычъ разспрашивалъ старосту объ урожаѣ, посѣвѣ и другихъ хозяйственныхъ предметахъ. Староста отвѣчалъ удовлетворительно, но какъ-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтанъ застегивалъ. Онъ стоялъ у дверей и то-и-дѣло сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному каммердинеру. Изъ-за его могущественныхъ плечъ удалось мнѣ увидѣть, какъ бурмистрова жена въ сѣняхъ въ-тихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдругъ застучала телѣга и остановилась передъ крыльцомъ: вошелъ бурмистръ.

Этотъ, по словамъ Аркадія Павлыча, государственный человѣкъ былъ роста небольшого, плечистъ, сѣдъ и плотенъ, съ краснымъ носомъ, маленькими голубыми глазами и бородой въ видѣ вѣера. Замѣтимъ кстати, что съ тѣхъ поръ, какъ Русь стоитъ, не бывало еще на ней примѣра раздобрѣвшаго и разбогатѣвшаго человѣка безъ окладистой бороды; иной весь свой вѣкъ носилъ бородку жидкую, клиномъ,—вдругъ, смотришь, обложился кругомъ словно сіяньемъ, — откуда волосъ берется! Бурмистръ, должно быть, въ Перовѣ подгулялъ: и лицо-то у него отекло порядкомъ, да и виномъ отъ него попахивало.

— Ахъ вы отцы наши, милостивцы вы наши, заговорилъ онъ на-распѣвъ и съ такимъ умиленіемъ на лицѣ, что вотъ-вотъ, казалось, слезы брызнутъ:—насилу-то изволили пожаловать!... Ручку, батюшка, ручку, — прибавилъ онъ, уже загодя протягивая губы.

Аркадій Павлычъ удовлетворилъ его желаніе.—Ну, что, братъ Софронъ, каково у тебя дѣла идутъ?—спросилъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Ахъ вы отцы наши, — воскликнулъ Софронъ: — да какъ-же имъ худо идти, дѣламъ-то! Да вѣдь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просвѣтить изволили пріѣздомъ-то своимъ, осчастливили по гробъ дней.

Слава тебѣ Господи, Аркадій Павлычъ, слава тебѣ Господи! Благополучно обстоитъ все милостью вашей.

Тутъ Софронъ помолчалъ, поглядѣлъ на барина и, какъбы снова увлеченный порывомъ чувства (притомъ же и хмель бралъ свое), въ другой разъ попросилъ руки и запѣлъ пуще прежняго.

— Ахъ, вы отцы наши, милостивцы.... и.... ужъ что! Ей-Богу, совсѣмъ дуракомъ отъ радости сталъ.... Ей-Богу, смотрю да не вѣрю.... Ахъ, вы отцы наши!...

Аркадій Павлычъ глянулъ на меня, усмѣхнулся и спросилъ: «N'est-ce pas que c'est touchant»?

— Да, батюшка Аркадій Павлычъ,—продолжалъ неугомонный бурмистръ: — какъ же вы это? Сокрушаете вы меня совсѣмъ, батюшка; извѣстить меня не изволили о вашемъ пріѣздѣ-то. Гдѣ же вы ночку-то проведете? Вѣдь, тутъ нечистота, соръ....

— Ничего, Софронъ, ничего, — съ улыбкой отвѣчалъ Аркадій Павлычъ:—здѣсь хорошо.

— Да вѣдь отцы вы наши— для кого хорошо? для нашего брата мужика хорошо; а вѣдь вы.... ахъ, вы отцы мои, милостивцы, ахъ, вы отцы мои!... Простите меня, дурака, съ ума спятилъ, ей-Богу, одурѣлъ вовсе.

Между-тѣмъ подали ужинъ; — Аркадій Павлычъ началъ кушать. Сына своего старикъ прогналъ—дескать, духоты напущаешь.

— Ну, что, размежевался, старина? — спросилъ г-нъ Пѣночкинъ, который явно желалъ поддѣлаться подъ мужицкую рѣчь и мнѣ подмигивалъ.

— Размежевались, батюшка: все твоею милостью. Третьяго дня сказку подписали. Хлыновскіе-то сначала поломались.... поломались, отецъ, точно. Требовали.... требовали.... и Богъ знаетъ, чего требовали; да вѣдь дурачье, батюшка, народъ глупый. А мы, батюшка, милостью тво-

ею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетворили; все по твоему приказу дѣйствовали, батюшка; какъ ты изволилъ приказать, такъ мы и дѣйствовали, и съ вѣдома Егора Дмитрича все дѣйствовали.

— Егоръ мнѣ докладывалъ, — важно замѣтилъ Аркадій Павлычъ.

— Какъ же, батюшка, Егоръ Дмитричъ, какъ-же.

— Ну, и стало быть вы теперь довольны?

Софронъ только того и ждалъ. — Ахъ, вы отцы наши, милостивцы наши! запѣлъ онъ опять.... Да помилуйте вы меня.... да вѣдь мы за васъ, отцы наши, денно и нощно Господу Богу молимся.... Земли, конечно, маловато....

Пѣночкинъ перебилъ его. — Ну, хорошо, хорошо, Софронъ, знаю, ты мнѣ усердный слуга.... А что, какъ умолотъ?

Софронъ вздохнулъ.

— Ну, отцы вы наши, умолотъ-то небольно хорошъ. Да что̀, батюшка Аркадій Павлычъ, позвольте вамъ доложить, дѣльцо какое вышло. (Тутъ онъ приблизился, разводя руками, къ господину Пѣночкину, нагнулся и прищурилъ одинъ глазъ.) Мертвое тѣло на нашей землѣ оказалось.

— Какъ такъ?

— И самъ умá не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно врагъ попуталъ. Да, благо, подлѣ чужой межи оказалось; а только, что̀ грѣха таить, на нашей землѣ. Я его тотчасъ на чужой-то клинъ и приказалъ стащить, пока можно было, да караулъ приставилъ и своимъ заказалъ: молчать! говорю. А становому на всякій случай объяснилъ: вотъ какіе порядки, говорю: да чайкомъ его, да благодарностъ.... Вѣдь что̀, батюшка, думаете? Вѣдь оста-

лось у чужаковъ на шеѣ; а вѣдь мертвое тѣло, что двѣсти рублевъ—какъ калачъ.

Г-нъ Пѣночкинъ много смѣялся уловкѣ своего бурмистра и нѣсколько разъ сказалъ мнѣ, указывая на него головой: «Quel gaillard, a?»

Между тѣмъ на дворѣ совсѣмъ стемнѣло; Аркадій Павлычъ велѣлъ со стола прибирать и сѣна принести. Камердинеръ постлалъ намъ простыни, разложилъ подушки; мы легли. Софронъ ушелъ къ себѣ, получивъ приказаніе на слѣдующій день. Аркадій Павлычъ, засыпая, еще потолковалъ немного объ отличныхъ качествахъ русскаго мужика, и тутъ же замѣтилъ мнѣ, что, со времени управленія Софрона, за Шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки.... Сторожъ заколотилъ въ доску; ребенокъ, видно еще не успѣвшій проникнуться чувствомъ должнаго самоотверженья, запищалъ гдѣ-то въ избѣ.... Мы заснули.

На другой день утромъ мы встали довольно рано. Я было-собрался ѣхать въ Рябово, но Аркадій Павлычъ желалъ показать мнѣ свое имѣнье и упросилъ меня остаться. Я и самъ былъ не прочь убѣдиться на дѣлѣ въ отличныхъ качествахъ государственнаго человѣка—Софрона. Явился бурмистръ. На немъ былъ синій армякъ, подпоясанный краснымъ кушакомъ. Говорилъ онъ гораздо меньше вчерашняго, глядѣлъ зорко и пристально въ глаза барину, отвѣчалъ складно и дѣльно. Мы вмѣстѣ съ нимъ отправились па гумно. Софроновъ сынъ, трехъ-аршинный староста, по всѣмъ признакамъ человѣкъ весьма глупый, также пошелъ за нами, да еще присоединился къ намъ земскій Ѳедосѣичъ, отставной солдатъ съ огромными усами и престраннымъ выраженіемъ лица: точно онъ весьма давно тому назадъ чему-то необыкновенно удивился, да съ тѣхъ поръ ужъ и не пришелъ въ себя. Мы осмотрѣли

гумно, ригу, овины, сараи, вѣтряную мельницу, скотный дворъ, зеленя, конопляники; все было дѣйствительно въ отличномъ порядкѣ: однѣ унылыя лица мужиковъ приводили меня въ нѣкоторое недоумѣніе. Кромѣ полезнаго, Софронъ заботился еще о пріятномъ: всѣ канавы обсадилъ ракитникомъ, между скирдами на гумнѣ дорожки провелъ и песочкомъ посыпалъ, на вѣтряной мельницѣ устроилъ флюгеръ въ видѣ медвѣдя съ разинутой пастью и краснымъ языкомъ, къ кирпичному скотному двору прилѣпилъ нѣчто въ родѣ греческаго фронтона и подъ фронтономъ бѣлилами надписалъ: «Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Содъ саракавомъ году. Сей скотный дфоръ». — Аркадій Павлычъ разнѣжился совершенно, пустился излагать мнѣ на французскомъ языкѣ выгоды оброчнаго состоянья, причемъ однако замѣтилъ, что барщина для помѣщиковъ выгоднѣе, — да мало ли чего нѣтъ!... Началъ давать бурмистру совѣты, какъ сажать картофель, какъ для скотины кормъ заготовлять и пр. Софронъ выслушивалъ барскую рѣчь со вниманіемъ, иногда возражалъ, но уже не величалъ Аркадія Павлыча ни отцомъ, ни милостивцемъ, и все напиралъ на то, что земли-де у нихъ маловато, прикупить бы не мѣшало. «Что́-жъ, купите», говорилъ Аркадій Павлычъ: — «на мое имя я не прочь». — На эти слова Софронъ не отвѣчалъ ничего, только бороду поглаживалъ. — «Однако, теперь-бы не мѣшало съѣздить въ лѣсъ», замѣтилъ г. Пѣночкинъ. Тотчасъ привели намъ верховыхъ лошадей; мы поѣхали въ лѣсъ или, какъ у насъ говорится, въ «заказъ». Въ этомъ «заказѣ» нашли мы глушь и дичь страшную, за что́ Аркадій Павлычъ похвалилъ Софрона и потрепалъ его по плечу. Г-нъ Пѣночкинъ придерживался на счетъ лѣсоводства русскихъ понятій, и тутъ же разсказалъ мнѣ презабавный, по его словамъ, случай, какъ одинъ шутникъ-помѣщикъ вразумилъ

своего лѣсника, выдравъ у него около половины бороды, въ доказательство того, что отъ подрубки лѣсъ гуще не выростаетъ.... Впрочемъ, въ другихъ отношеніяхъ, и Софронъ, и Аркадій Павлычъ — оба не чуждались нововведеній. По возвращеніи въ деревню, бурмистръ повелъ насъ посмотрѣть вѣялку, недавно выписанную имъ изъ Москвы. Вѣялка точно дѣйствовала хорошо, но если бы Софронъ зналъ, какая непріятность ожидала и его, и барина, на этой послѣдней прогулкѣ, онъ вѣроятно остался-бы съ нами дома.

Вотъ что случилось. Выходя изъ сарая, увидали мы слѣдующее зрѣлище. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, подлѣ грязной лужи, въ которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: одинъ — старикъ лѣтъ шестидесяти, другой — малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земскій Ѳедосѣичъ усердно хлопоталъ около нихъ и, вѣроятно, успѣлъ-бы уговорить ихъ удалиться, еслибъ мы замѣшкались въ сараѣ, но, увидѣвъ насъ, онъ вытянулся въ струнку и замеръ на мѣстѣ. Тутъ же стоялъ староста съ разинутымъ ртомъ и недоумѣвающими кулаками. Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губу и подошелъ къ просителямъ. Оба, молча, поклонились ему въ ноги.

— Что́ вамъ надобно? о чемъ вы просите? — спросилъ онъ строгимъ голосомъ и нѣсколько въ носъ. (Мужики взглянули другъ на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно отъ солнца, да поскорѣй дышать стали.)

— Ну, что́-же? — продолжалъ Аркадій Павлычъ и тотчасъ-же обратился къ Софрону:—изъ какой семьи?

— Изъ Тоболѣевой семьи, — медленно отвѣчалъ бурмистръ.

— Ну, что́-же вы?—заговорилъ опять г. Пѣночкинъ:—

языковъ у васъ, нѣтъ, что-ли? Сказывай, ты, чего тебѣ надобно?—прибавилъ онъ, качнувъ головой на старика.—Да не бойся, дуракъ.

Старикъ вытянулъ свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинулъ посинѣвшія губы, сиплымъ голосомъ произнесъ: «Заступись, государь!» и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Молодой мужикъ тоже поклонился. Аркадій Павлычъ съ достоинствомъ посмотрѣлъ на ихъ затылки, закинулъ голову и разставилъ немного ноги.—Что́ такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть.... Замучены совсѣмъ. (Старикъ говорилъ съ трудомъ.)

— Кто тебя замучилъ?

— Да Софронъ Яковличъ, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Антипомъ, батюшка.

— А это кто?

— А сынокъ мой, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ опять и усами повелъ.

— Ну, такъ чѣмъ же онъ тебя замучилъ?—заговорилъ онъ, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ пекруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ — вонъ его милость. (Онъ указалъ на старосту.)

— Гмъ!—произнесъ Аркадій Павлычъ.

— Не дай въ конецъ разориться, кормилецъ.

Г-нъ Пѣночкинъ нахмурился.—Что́-же это однако значитъ? спросилъ онъ бурмистра вполголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человѣкъ-*съ*,—отвѣчалъ бурмистръ, въ пер-

вый разъ употребляя «слово-еръ»:—неработящій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ ужъ пятый годъ-съ.

— Софронъ Яковличъ за меня недоимку взнесъ, батюшка, продолжалъ старикъ: — вотъ пятый годочекъ пошелъ, какъ взнесъ, а какъ взнесъ—въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и....

— А отъ чего недоимка за тобой завелась? — грозно спросилъ г. Пѣночкинъ (Старикъ понурилъ голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (Старикъ разинулъ-было ротъ.) — Знаю я васъ, — съ заналъчивостью продолжалъ Аркадій Павлычъ:—ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубіянъ тоже,—ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужъ это само собою разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужъ я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грубитъ, а теперь въ ногахъ валяется.

— Батюшка, Аркадій Павлычъ,—съ отчаяньемъ заговорилъ старикъ:—помилуй, заступись,—какой я грубіянъ? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, не въ моготу приходится. Не взлюбилъ меня Софронъ Яковличъ, за что́ не взлюбилъ,—Господь ему судья! Разоряетъ въ конецъ, батюшка.... Послѣдняго вотъ сыночка.... и того.... (На желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика сверкнула слезинка.)—Помилуй, государь, заступись....

— Да и не насъ однихъ, — началъ-было молодой мужикъ....

Аркадій Павлычъ вдругъ вспыхнулъ:

— А тебя кто спрашиваетъ, а? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи.... Это что́ такое? Молчать, говорятъ тебѣ! молчать!... Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ. Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую.... у меня.... (Аркадій Павлычъ шагнулъ впередъ, да, вѣроятно, вспом-

нилъ о моемъ присутствіи, отвернулся и положилъ руки въ карманы....) Je vous demande bien pardon, mon cher, сказалъ онъ съ принужденной улыбкой, значительно понизивъ голосъ.—C'est le mauvais côté de la médaille.... Ну, хорошо, хорошо,—продолжалъ онъ, не глядя на мужиковъ: — я прикажу.... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.)—Ну, да вѣдь я сказалъ вамъ.... хорошо. Ступайте-же, я прикажу, говорятъ вамъ.

Аркадій Павлычъ обернулся къ нимъ спиной.—«Вѣчно неудовольствія»,—проговорилъ онъ сквозь зубы и пошелъ большими шагами домой. Софронъ отправился вслѣдъ за нимъ. Земскій выпучилъ глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнулъ утокъ изъ лужи. Просители постояли еще немного на мѣстѣ, посмотрѣли другъ на друга и поплелись, не оглядываясь, во-свояси.

Часа два спустя я уже былъ въ Рябовѣ и вмѣстѣ съ Анпадистомъ, знакомымъ мнѣ мужикомъ, собирался на охоту. До самаго моего отъѣзда Пѣночкинъ дулся на Софрона. Заговорилъ я съ Анпадистомъ о Шипиловскихъ крестьянахъ, о г. Пѣночкинѣ, спросилъ его, не знаетъ-ли онъ тамошняго бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?... вона!

— А что онъ за человѣкъ?

— Собака, а не человѣкъ: такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да вѣдь Шипиловка только-что числится за тѣмъ, какъ бишь его, за Пѣнкинымъ-то; вѣдь не онъ ей владѣетъ: Софронъ владѣетъ.

— Неужто?

— Какъ своимъ добромъ владѣетъ. Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него словно батраки: кого съ

обозомъ посылаетъ, кого куды....—затормошилъ совсѣмъ.

— Земли у нихъ, кажется, немного?

— Немного? Онъ у однихъ Хлыновскихъ восемьдесятъ десятинъ нанимаетъ, да у нашихъ сто-двадцать; вотъ-те и цѣлыхъ полтораста десятинъ. Да онъ не одной землей промышляетъ: и лошадьми промышляетъ, и скотомъ, и дегтемъ, и масломъ, и пенькой, и чѣмъ-чѣмъ.... Уменъ, больно уменъ, и богатъ же, бестія! Да вотъ чѣмъ плохъ—дерется. Звѣрь—не человѣкъ; сказано: собака, песъ, какъ есть, песъ.

— Да что-жъ они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! недоимокъ не бываетъ, такъ ему что? Да, поди ты,— прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія:—пожалуйся. Нѣтъ, онъ тебя.... да, поди-ка.... Нѣтъ ужъ, онъ тебя вотъ какъ, того....

Я вспомнилъ про Антипа и разсказалъ ему, что видѣлъ.

Ну,—промолвилъ Аппадистъ:—заѣстъ онъ его теперь; заѣстъ человѣка совсѣмъ. Староста теперь его забьетъ. Экой безталанный, подумаешь, бѣдняга! И за что терпитъ.... На сходкѣ съ нимъ повздорилъ, съ бурмистромъ-то, не въ терпежъ знать пришлось.... Велико дѣло! Вотъ онъ его, Антипа-то, клевать и началъ. Теперь доѣдетъ. Вѣдь, онъ такой песъ, собака, прости Господи мое прегрѣшенье, знаетъ, на кого налечь. Стариковъ-то, что побогаче, да посемейнѣе, не трогаетъ, лысый чортъ, а тутъ вотъ и расходился! Вѣдь онъ Антиповыхъ-то сыновей безъ очереди въ некруты отдалъ, мошенникъ безпардонный, песъ, прости Господи мое прегрѣшенье!

Мы отправились на охоту.

Зальцбруннъ, въ Силезіи,
іюль, 1847 г.

КОНТОРА.

Дѣло было осенью. Уже нѣсколько часовъ бродилъ я съ ружьемъ по полямъ и, вѣроятно, прежде вечера не вернулся бы въ постоялый дворъ на большой курской дорогѣ, гдѣ ожидала меня моя тройка, еслибъ чрезвычайно мелкій и холодный дождь, который съ самаго утра, не хуже старой дѣвки, неугомонно и безжалостно приставалъ ко мнѣ, не заставилъ меня, наконецъ, искать гдѣ-нибудь по близости хотя временнаго убѣжища. Пока я еще соображалъ, въ какую сторону пойти, глазамъ моимъ внезапно представился низкій шалашъ возлѣ поля, засѣяннаго горохомъ. Я подошелъ къ шалашу, заглянулъ подъ соломенный наметъ и увидалъ старика до того дряхлаго, что мнѣ тотчасъ-же вспомнился тотъ умирающій козелъ, котораго Робинзонъ нашелъ въ одной изъ пещеръ своего острова. Старикъ сидѣлъ на корточкахъ, жмурилъ свои потемнѣвшіе, маленькіе глаза, и торопливо, но осторожно, на подобіе зайца (у бѣдняка не было ни одного зуба), жевалъ сухую и твердую горошину, безпрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Онъ до того погрузился въ свое занятіе, что не замѣтилъ моего прихода.

— Дѣдушка! а дѣдушка!—проговорилъ я.

Онъ пересталъ жевать, высоко поднялъ брови и съ усиліемъ открылъ глаза.

— Чего?—прошамшилъ онъ сиплымъ голосомъ.

— Гдѣ тутъ деревня близко?—спросилъ я.

Старикъ опять пустился жевать. Онъ меня не разслушалъ. Я повторилъ свой вопросъ громче прежняго.

— Деревня?... да тебѣ что̀ надо?

— А вотъ отъ дождя укрыться.

— Чего?

— Отъ дождя укрыться.

— Да! (Онъ почесалъ свой загорѣлый затылокъ.) Ну, ты, тово, ступай,—заговорилъ онъ вдругъ, безпорядочно размахивая руками: — во.... вотъ, какъ мимо лѣска пойдешь—вотъ какъ пойдешь — тутъ-те и будетъ дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай, все забирай, все забирай, все забирай.... Ну, тамъ-те и будетъ Ананьево. А то и въ Ситовку пройдешь.

Я съ трудомъ понималъ старика. Усы ему мѣшали, да и языкъ плохо повиновался.

— Да ты откуда?—спросилъ я его.

— Чего?

— Откуда ты?

— Изъ Ананьева.

— Что̀-жъ ты тутъ дѣлаешь?

— Чего?

— Что̀ ты дѣлаешь тутъ?

— А сторожемъ сижу.

— Да что̀ ты стережешь?

— А горохъ.

Я не могъ не разсмѣяться.

— Да, помилуй, — сколько тебѣ лѣтъ?

— А Богъ знаетъ.

— Чай, ты плохо видишь?

— Чего?

— Видишь плохо, чай?

— Плохо. Бываетъ такъ, что ничего не слышу.

— Такъ гдѣ-жъ тебѣ сторожемъ-то быть, помилуй?

— А про то старшіе знаютъ.

«Старшіе!» подумалъ я и, не безъ сожалѣнія, поглядѣлъ на бѣднаго старика. Онъ ощупался, досталъ изъ-за пазухи кусокъ чорстваго хлѣба и принялся сосать, какъ дитя, съ усиліемъ втягивая и безъ того впалыя щеки.

Я пошелъ въ направленіи лѣска, повернулъ на-право, забиралъ, все забиралъ, какъ мнѣ совѣтовалъ старикъ, и добрался наконецъ до большого села съ каменной церковью въ новомъ вкусѣ, т.-е. съ колоннами, и обширнымъ господскимъ домомъ, тоже съ колоннами. Еще издали, сквозь частую сѣтку дождя, замѣтилъ я избу съ тесовой крышей и двумя трубами, повыше другихъ, по всей вѣроятности жилище старосты, куда я и направилъ шаги свои, въ надеждѣ найти у него самоваръ, чай, сахаръ и несовершенно кислыя сливки. Въ сопровожденіи моей продрогшей собаки взошелъ я на крылечко, въ сѣни, отворилъ дверь, но, вмѣсто обыкновенныхъ принадлежностей избы, увидалъ нѣсколько столовъ, заваленныхъ бумагами, два красныхъ шкафа, забрызганныя чернильницы, оловянныя песочницы въ пудъ вѣсу, длиннѣйшія перья и прочее. На одномъ изъ столовъ сидѣлъ малый лѣтъ двадцати съ пухлымъ и болѣзненнымъ лицомъ, крошечными глазками, жирнымъ лбомъ и безконечными висками. Одѣтъ онъ былъ, какъ слѣдуетъ, въ сѣрый нанковый кафтанъ съ глянцемъ на воротникѣ и па желудкѣ.

— Чего вамъ надобно? — спросилъ онъ меня, дернувъ кверху головою, какъ лошадь, которая не ожидала, что ее возьмутъ за морду.

— Здѣсь прикащикъ живетъ.... или....

— Здѣсь главная господская контора—перебилъ онъ ме-

ня. — Я вотъ дежурнымъ сижу.... Развѣ вы вывѣску не видали? На то вывѣска прибита.

— А гдѣ-бы тутъ обсушиться? Самоваръ у кого-нибудь на деревнѣ есть?

— Какъ не быть самоваровъ, — съ важностью возразилъ малый въ сѣромъ кафтанѣ:—ступайте къ отцу Тимофею, а не то въ дворовую избу, а не то къ Назару Тарасычу, а не то къ Аграфенѣ-птишницѣ.

— Съ кѣмъ ты это говоришь, болванъ ты этакой? спать не даешь, болванъ!—раздался голосъ изъ сосѣдней комнаты.

— А вотъ, господинъ какой-то зашелъ, спрашиваетъ гдѣ-бы обсушиться.

— Какой тамъ господинъ?

— А не знаю. Съ собакой и ружьемъ.

Въ сосѣдней комнатѣ заскрипѣла кровать. Дверь отворилась, и вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, толстый, низкаго росту, съ бычачьей шеей, глазами на-выкатѣ, необыкновенно круглыми щеками и съ лоскомъ по всему лицу.

— Чего вамъ угодно?—спросилъ онъ меня.

— Обсушиться.

— Здѣсь не мѣсто.

— Я не зналъ, что здѣсь контора; а впрочемъ, я готовъ заплатить....

— Оно, пожалуй, можно и здѣсь, — возразилъ толстякъ:—вотъ, не угодно-ли сюда. (Онъ повелъ меня въ другую комнату, только не въ ту, изъ которой вышелъ.) Хорошо-ли здѣсь вамъ будетъ?

— Хорошо.... А нельзя-ли чаю со сливками?

— Извольте, сейчасъ. Вы пока извольте раздѣться и отдохнуть, а чай сею минутою будетъ готовъ.

— А чье это имѣнье?

— Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны.

Онъ вышелъ. Я оглянулся: вдоль перегородки, отдѣлявшей мою комнату отъ конторы, стоялъ огромный кожаный диванъ; два стула, тоже кожаныхъ, съ высочайшими спинками, торчали по обѣимъ сторонамъ единственнаго окна, выходившаго на улицу. На стѣнахъ, оклеенныхъ зелеными обоями съ розовыми разводами, висѣли три огромныя картины, писанныя масляными красками. На одной изображена была лягавая собака съ голубымъ ошейникомъ и надписью: «Вотъ моя отрада»; у ногъ собаки текла рѣка, а на противоположномъ берегу рѣки подъ сосною сидѣлъ заяцъ непомѣрной величины, съ приподнятымъ ухомъ. На другой картинѣ два старика ѣли арбузъ: изъ-за арбуза виднѣлся въ отдаленіи греческій портикъ съ надписью: «Храмъ Удовлетворенья». На третьей картинѣ представлена была полунагая женщина въ лежачемъ положеніи en raccourci, съ красными колѣнями и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, съ сверхъестественными усиліями залѣзла подъ диванъ и, повидимому, нашла тамъ много пыли, потому-что расчихалась страшно. Я подошелъ къ окну. Черезъ улицу отъ господскаго дома до конторы, въ косвенномъ направленіи лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому-что кругомъ, благодаря нашей черноземной почвѣ и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей къ улицѣ задомъ, происходило, что̀ обыкновенно происходитъ около господскихъ усадебъ: дѣвки въ полинялыхъ ситцевыхъ платьяхъ шныряли взадъ и впередъ; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятскаго лѣниво махала хвостомъ и, высоко задравши морду, глодала заборъ; курицы кудахтали; чахоточныя индѣйки безпрестанно пере-

кликивались. На крылечкѣ темнаго и гнилого строенія, вѣроятно бани, сидѣлъ дюжій парень съ гитарой и не безъ удали напѣвалъ извѣстный романсъ:

«Э — я фа пасатыню удаляюсь
«Ата прекарасаныхъ седѣшенѣха мѣстъ», и проч.

Толстякъ вошелъ ко мнѣ въ комнату.

— Вотъ вамъ чай несутъ, — сказалъ онъ мнѣ съ пріятной улыбкой.

Малый въ сѣромъ кафтанѣ, конторскій дежурный, расположилъ на старомъ ломберномъ столѣ самоваръ, чайникъ, стаканъ съ разбитымъ блюдечкомъ, горшокъ сливокъ и связку болховскихъ котѣлокъ, твердыхъ какъ кремень. Толстякъ вышелъ.

— Что это, спросилъ я дежурнаго:—прикащикъ?

— Никакъ нѣтъ-съ: былъ главнымъ кассиромъ-съ, а теперь въ главные конторщики произведенъ.

— Да развѣ у васъ нѣтъ прикащиковъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Есть бурмистеръ, Михайла Викуловъ, а прикащика нѣту.

— Такъ управляющій есть?

— Какъ же, есть: нѣмецъ, Линдамандолъ, Карло Карлычъ;—только онъ не распоряжается.

— Кто-жъ у васъ распоряжается?

— Сама барыня.

— Вотъ какъ!... Что-жъ, у васъ въ конторѣ много народу сидитъ?

Малый задумался.

— Шесть человѣкъ сидитъ.

— Кто да кто?—спросилъ я.

— А вотъ кто:—сначала будетъ Василій Николаевичъ, главный кассиръ; а то Петръ конторщикъ, Петровъ братъ Иванъ конторщикъ, другой Иванъ конторщикъ; Коскен-

кúнъ Наркизовъ, тоже конторщикъ, я вотъ,—да всѣхъ и не перечтешь.

— Чай, у вашей барыни дворни много?

— Нѣтъ, не то, чтобы много....

— Однако, сколько?

— Человѣкъ, пожалуй, что полтораста набѣжитъ.

Мы оба помолчали.

— Ну что̀-жъ, ты хорошо пишешь?—началъ я опять.

Малый улыбнулся во весь ротъ, кивнулъ головой, сходилъ въ контору и принесъ исписанный листокъ.

— Вотъ мое писанье, промолвилъ онъ, не переставая улыбаться.

Я посмотрѣлъ; на четвертушкѣ сѣроватой бумаги красивымъ и крупнымъ почеркомъ былъ написанъ слѣдующій:

ПРИКАЗЪ.

Отъ главной господской домовой ананьевской конторы бурмистру Михайлѣ Викулову, № 209.

«Приказывается тебѣ немедленно по полученіи сего розыскать: кто въ прошлую ночь, въ пьяномъ видѣ и съ неприличными пѣснями, прошелъ по Аглицкому саду, и гувернантку мадамъ Энжени француженку разбудилъ и обезпокоилъ? и чего сторожа глядѣли, и кто сторожемъ въ саду сидѣлъ и таковые безпорядки допустилъ? О всемъ вышеписанномъ приказывается тебѣ въ подробности развѣдать, и немедленно конторѣ донести.

Главный конторщикъ Николай Хвостовъ».

Къ приказу была приложена огромная гербовая печать съ надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы»; а внизу стояла приписка: «Въ точности исполнить. Елена Лоснякова».

— Это сама барыня приписала, что-ли?—спросилъ я.

— Какъ-же-съ, сами: онѣ всегда сами. А то и приказъ дѣвствовать не можетъ.

— Ну, что-жъ, вы бурмистру пошлете этотъ приказъ?

— Нѣтъ-съ. Самъ придетъ, да прочитаетъ. То-есть, ему прочтутъ; онъ, вѣдь, грамотѣ у насъ не знаетъ. (Дежурный опять номолчалъ.) А что-съ,—прибавилъ онъ, ухмыляясь:—вѣдь хорошо написано-съ?

— Хорошо.

— Сочинялъ-то, признаться, не я. На то Коскенкинъ мастеръ.

— Какъ?... Развѣ у васъ приказы сперва сочиняются?

— А то какъ-же-съ? Не прямо же набѣло писать.

— А сколько ты жалованья получаешь?— спросилъ я.

— Тридцать пять рублевъ и пять рублевъ на сапоги.

— И ты доволенъ?

— Извѣстно, доволенъ.—Въ контору-то у насъ не всякій попадаетъ. Мнѣ-то, признаться, самъ Богъ велѣлъ: у меня дядюшка дворецкимъ служитъ.

— И хорошо тебѣ?

— Хорошо-съ. Правду сказать, продолжалъ онъ со вздохомъ:—у купцовъ, на-примѣръ, то-есть, нашему брату лучше. У купцовъ нашему брату оченно хорошо. Вотъ къ намъ вечоръ пріѣхалъ купецъ изъ Венева,—такъ мнѣ его работникъ сказывалъ.... Хорошо, нѣча сказать, хорошо.

— А что, развѣ купцы жалованья больше назначаютъ?

— Сохрани Богъ! Да онъ тебя въ шею прогонитъ, коли ты у него жалованья запросишь. Нѣтъ, ты у купца живи на вѣру, да на страхъ. Онъ тебя и кормитъ, и поитъ, и одѣваетъ, и все. Угодишь ему, — еще больше дастъ.... Что твое жалованье! не надо его совсѣмъ.... И живетъ-то купецъ по простотѣ, по русскому, по нашинскому: поѣдешь съ нимъ въ дорогу, — онъ пьетъ чай, и

ты пей чай; что́ онъ кушаетъ, то и ты кушай. Купецъ.... какъ можно: купецъ не то́, что́ баринъ. Купецъ не блажитъ; ну, осерчаетъ — побьетъ, да и дѣло съ концомъ. Не можитъ, не шпыняетъ.... А съ бариномъ бѣда! Все не по немъ: и то не хорошо, и тѣмъ не угодилъ. Подашь ему стаканъ съ водой или кушанье — «ахъ, вода воняетъ! ахъ кушанье воняетъ!» Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять — «ну вотъ, теперь хорошо, ну вотъ теперь не воняетъ». А ужъ барыни, скажу вамъ, а ужъ барыни что!... или вотъ еще барышни!...

— Ѳедюшка!—раздался голосъ толстяка въ конторѣ.

Дежурный проворно вышелъ. Я допилъ стаканъ чаю, легъ на диванъ и заснулъ. Я спалъ часа два.

Проснувшись, я хотѣлъ-было подняться, да лѣнь одолѣла; я закрылъ глаза, но не заснулъ опять. За перегородкой въ конторѣ тихонько разговаривали. Я невольно сталъ прислушиваться.

— Тэкъ-съ, тэкъ-съ, Николай Еремѣичъ, — говорилъ одинъ голосъ: — тэкъ-съ. Эвтаго нельзя въ разсчетъ не принять-съ; нельзя-съ, точно.... Гмъ! (Говорящій кашлянулъ.)

— Ужъ повѣрьте мнѣ, Гаврила Антонычъ,—возразилъ голосъ толстяка: — ужъ мнѣ-ли не знать здѣшнихъ порядковъ, сами посудите.

— Кому же и знать, Николай Еремѣичъ: вы здѣсь, можно сказать, первое лицо-съ. Ну, такъ какъ же-съ?—продолжалъ незнакомый мнѣ голосъ:—чѣмъ же мы порѣшимъ, Николай Еремѣичъ?—Позвольте полюбопытствовать.

— Да чѣмъ порѣшимъ, Гаврила Антонычъ? Отъ васъ, такъ сказать, дѣло зависитъ: вы, кажется, не охотствуете.

— Помилуйте, Николай Еремѣичъ, что́ вы-съ? Наше дѣло торговое, купецкое; наше дѣло купить. Мы на томъ стоимъ, Николай Еремѣичъ,—можно сказать.

*

— Восемь рублей,—проговорилъ съ разстановкою толстякъ.

Послышался вздохъ.

— Николай Еремѣичъ, больно много просить изволите.

— Нельзя, Гаврила Антонычъ, иначе поступить; какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, нельзя.

Наступило молчаніе.

Я тихонько приподнялся и посмотрѣлъ сквозь трещину въ перегородкѣ. Толстякъ сидѣлъ ко мнѣ спиной. Къ нему лицомъ сидѣлъ купецъ, лѣтъ сорока, сухощавый и блѣдный, словно вымазанный постнымъ масломъ. Онъ безпрестанно шевелилъ у себя въ бородѣ и очень проворно моргалъ глазами и губами подергивалъ.

— Удивительныя, можно сказать, зеленя въ нынѣшнемъ году-съ, — заговорилъ онъ опять:—я все ѣхалъ да любовался. Отъ самаго Воронежа удивительныя пошли, первый сортъ-съ, можно сказать.

— Точно зеленя недурны,—отвѣчалъ главный конторщикъ: да, вѣдь, вы знаете, Гаврила Антонычъ, осень всклочетъ, а какъ весна захочетъ.

— Дѣйствительно такъ, Николай Еремѣичъ: все въ Божьей волѣ; совершенную истину изволили сказать.... А никакъ вашъ гость-то проснулся-съ.

Толстякъ обернулся.... прислушался....

— Нѣтъ, спитъ. А впрочемъ можно, того....

Онъ подошелъ къ двери.

— Нѣтъ, спитъ, — повторилъ онъ и вернулся на мѣсто.

— Ну, такъ какъ-же, Николай Еремѣичъ? — началъ опять купецъ: — надо дѣльце-то покончить.... Такъ ужъ и быть, Николай Еремѣичъ, такъ ужъ и быть,—продолжалъ онъ, безпрерывно моргая: — двѣ сѣренькихъ и бѣленькую вашей милости, а тамъ (онъ кивнулъ головой

на барскій дворъ) шесть съ полтиною. По рукамъ, что-ли?

— Четыре сѣренькихъ,—отвѣчалъ прикащикъ.

— Ну, три!

— Четыре сѣренькихъ безъ бѣленькой.

— Три, Николай Еремѣичъ.

— Съ половиной три и ужъ ни копѣйки меньше.

— Три, Николай Еремѣичъ.

— И не говорите, Гаврила Антонычъ.

— Экой несговорчивый какой,—пробормоталъ купецъ. Этакъ я лучше самъ съ барыней покончу.

— Какъ хотите, — отвѣчалъ толстякъ: — давно бы такъ. Что, въ самомъ-дѣлѣ, вамъ безпокоиться?... И гораздо лучше!

— Ну полно, полно, Николай Еремѣичъ. Ужъ сейчасъ и разсердился! Я, вѣдь, эфто такъ сказалъ.

— Нѣтъ, что-жъ въ самомъ дѣлѣ....

— Полно-же, говорятъ.... Говорятъ, пошутилъ. Ну, возьми свои три съ половиной, что съ тобой будешь дѣлать.

— Четыре-бы взять слѣдовало, да я, дуракъ, поторопился,—проворчалъ толстякъ.

— Такъ тамъ, въ домѣ-то, шесть съ половиною-съ, Николай Еремѣичъ — за шесть съ половиной хлѣбъ отдается?

— Шесть съ половиной ужъ сказано.

— Ну, такъ по рукамъ, Николай Еремѣичъ (купецъ ударилъ своими растопыренными пальцами по ладони конторщика.) И съ Богомъ! (Купецъ всталъ.) Такъ я, батюшка Николай Еремѣичъ, теперь нойду къ барынѣ-съ и объ себѣ доложить велю-съ, и такъ ужъ я и скажу: Николай Еремѣичъ, дескать, за шесть съ полтиною-съ порѣшили-съ.

— Такъ и скажите, Гаврила Антонычъ.

— А теперь извольте получить.

— Купецъ вручилъ прикащику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнулъ головой, взялъ свою шляпу двумя пальчиками, передернулъ плечами, придалъ своему стану волнообразное движеніе и вышелъ, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремѣичъ подошелъ къ стѣнѣ и, сколько я могъ замѣтить, началъ разбирать бумаги, врученныя купцомъ. Изъ двери высунулась рыжая голова съ густыми бакенбардами.

— Ну, что?—спросила голова:—все какъ слѣдуетъ?

— Все какъ слѣдуетъ.

— Сколько?

Толстякъ съ досадой махнулъ рукой и указалъ на мою комнату.

— А, хорошо!—возразила голова и скрылась.

Толстякъ подошелъ къ столу, сѣлъ, раскрылъ книгу, досталъ щеты и началъ откидывать и прикладывать костяжки, дѣйствуя не указательнымъ, но третьимъ пальцемъ правой руки: оно приличнѣе.

Вошелъ дежурный.

— Что тебѣ?

— Сидоръ пріѣхалъ изъ Голоплекъ.

— А! ну, позови его. Постой, постой.... Поди сперва посмотри, что тутъ, чужой-то баринъ, спитъ все, или проснулся.

Дежурный осторожно вошелъ ко мнѣ въ комнату. Я положилъ голову на ягдташъ, замѣнявшій мнѣ подушку, и закрылъ глаза.

— Спитъ,—прошепталъ дежурный, вернувшись въ контору.

Толстякъ поворчалъ сквозь зубы.

— Ну, позови Сидора,—промолвилъ онъ наконецъ.

Я снова приподнялся. Вошелъ мужикъ огромнаго роста, лѣтъ тридцати, здоровый, краснощекій, съ русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Онъ помолился на образъ, поклонился главному конторщику, взялъ свою шляпу въ обѣ руки и выпрямился.

— Здравствуй, Сидоръ,—проговорилъ толстякъ, постукивая щетами.

— Здравствуйте, Николай Еремѣичъ.

— Ну, что̀, какова дорога?

— Хороша, Николай Еремѣичъ. Грязновата маленько. (Мужикъ говорилъ нескоро и негромко.)

— Жена здорова?

— Что̀ ей дѣется!

Мужикъ вздохнулъ и ногу выставилъ. Николай Еремѣичъ заложилъ перо за ухо и высморкнулся.

— Что̀-жъ, зачѣмъ пріѣхалъ? — продолжалъ онъ спрашивать, укладывая клѣтчатый платокъ въ карманъ.

— Да слышь, Николай Еремѣичъ, съ насъ плотниковъ требуютъ.

— Ну что-жъ, нѣтъ ихъ у васъ, что-ли?

— Какъ имъ не быть у насъ, Николай Еремѣичъ: дача лѣсная—извѣстно. Да пора-то рабочая, Николай Еремѣичъ.

— Рабочая пора! То̀-то, вы охотники на чужихъ работать, а на свою госпожу работать не любите.... Все едино!

— Работа-то все едино, точно, Николай Еремѣичъ.... да что....

— Ну?

— Плата больно.... того....

— Мало чего нѣтъ! Вишь, какъ вы избаловались. Поди ты!

— Да и то сказать, Николай Еремѣичъ, работы-то все-

го на недѣлю будетъ, а продержатъ мѣсяцъ. То матеріалу не хватитъ, а то и въ садъ пошлютъ дорожки чистить.

— Мало-ли чего нѣтъ! Сама барыня приказать изволила, такъ тутъ намъ съ тобой разсуждать нечего.

Сидоръ замолчалъ и началъ переступать съ ноги на ногу.

Николай Еремѣичъ скрутилъ голову на бокъ и усердно застучалъ костяжками.

— Наши.... мужики.... Николай Еремѣичъ.... — заговорилъ наконецъ Сидоръ, запинаясь на каждомъ словѣ:— приказали вашей милости.... вотъ тутъ.... будетъ.... (Онъ запустилъ свою ручищу за пазуху армяка и началъ вытаскивать оттуда свернутое полотенцо съ красными разводами.)

— Что ты, что ты, дуракъ, съ ума сошелъ, что-ли?— поспѣшно перебилъ его толстякъ. — Ступай, ступай ко мнѣ въ избу, — продолжалъ онъ, почти выталкивая изумленнаго мужика: — тамъ спроси жену.... она тебѣ чаю дастъ, я сейчасъ приду, ступай. Да небось, говорятъ, ступай.

Сидоръ вышелъ вонъ.

— Экой.... медвѣдь!—пробормоталъ ему въ слѣдъ главный конторщикъ, покачалъ головой и снова принялся за щеты.

Вдругъ крики: «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!» раздались на улицѣ и на крыльцѣ, и немного спустя вошелъ въ контору человѣкъ низенькаго роста, чахоточный на видъ, съ необыкновенно-длиннымъ носомъ, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одѣтъ онъ былъ въ старенькій, изорванный сюртукъ цвѣта аделаида или, какъ у насъ говорится: оделлоида, съ плисовымъ воротникомъ и крошечными пуговками. Онъ несъ связку дровъ за плечами. Около него толпилось человѣкъ

пять дворовыхъ людей и всѣ кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! Въ истопники Купрю произвели, въ истопники!» Но человѣкъ въ сюртукѣ съ плисовымъ воротникомъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на буйство своихъ товарищей и нисколько не измѣнялся въ лицѣ. Мѣрными шагами дошелъ онъ до печки, сбросилъ свою ношу, приподнялся, досталъ изъ задняго кармана табакерку, вытаращилъ глаза и началъ набивать себѣ въ носъ тертый донникъ, смѣшанный съ золой.

При входѣ шумливой ватаги толстякъ нахмурилъ-было брови и поднялся съ мѣста; но, увидавъ въ чемъ дѣло, улыбнулся и только велѣлъ не кричать: въ сосѣдней, дескать, комнатѣ охотникъ спитъ.—Какой охотникъ?—спросили человѣка два въ одинъ голосъ:

— Помѣщикъ.

— А!

— Пускай шумятъ,—заговорилъ, растопыря руки, человѣкъ съ плисовымъ воротникомъ: — мнѣ что́ за дѣло! лишь бы меня не трогали. Въ истопники меня произвели....

— Въ истопники! въ истопники!—радостно подхватила толпа.

— Барыня приказала,— продолжалъ онъ, пожавъ плечами:—а вы погодите.... васъ еще въ свинопасы произведутъ. А что я портной, и хорошій портной, у первыхъ мастеровъ въ Москвѣ обучался и на енараловъ шилъ.... этого у меня никто не отниметъ. А вы чего храбритесь?... чего? вы дармоѣды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти — я съ голоду не умру, я не пропаду; дай мнѣ пашпортъ — я оброкъ хорошій взнесу и господъ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вотъ и все!

— Вотъ и совралъ, — перебилъ его парень рябой и бѣлобрысый, съ краснымъ галстухомъ и разорванными

локтями; — ты и по пашпорту ходилъ, да отъ тебя копѣйки оброку господа не видали, и себѣ гроша не заработалъ: насилу ноги домой приволокъ, да съ тѣхъ поръ все въ одномъ кафтанишкѣ живешь.

— А что̀ будешь дѣлать, Константинъ Наркизычъ! — возразилъ Купріянъ:—влюбился человѣкъ—и пропалъ, и погибъ человѣкъ. Ты сперва съ мое поживи, Константинъ Наркизычъ, а тогда уже и осуждай меня.

— И въ кого нашелъ влюбиться! въ урода сущаго!

— Нѣтъ, этого ты не говори Константинъ Наркизычъ.

— Да кого ты увѣряешь? Вѣдь я ее видѣлъ; въ прошломъ году, въ Москвѣ, своими глазами видѣлъ.

— Въ прошломъ году она дѣйствительно попортилась маленько,—замѣтилъ Купріянъ.

— Нѣтъ, господа, что̀, — заговорилъ презрительнымъ и небрежнымъ голосомъ человѣкъ высокаго роста, худощавый, съ лицомъ усѣяннымъ прыщами, завитый и намасленный, должно быть каммердинеръ:—вотъ пускай намъ Купріянъ Аѳанасьичъ свою пѣсенку споетъ. Нут-ка, начните, Купріянъ Аѳанасьичъ!

— Да, да! подхватили другіе. — Ай да Александра! подкузьмила Купрю; нѣча сказать.... Пой, Купря!... Молодца, Александра! (Дворовые люди часто, для большей нѣжности, говоря о мужчинѣ, употребляютъ женскія окончанія)—Пой!

— Здѣсь не мѣсто пѣть—съ твердостію возразилъ Купріянъ—здѣсь господская контора.

— Да тебѣ-то что̀ за дѣло? чай въ конторщики самъ мѣтишь!—съ грубымъ смѣхомъ отвѣчалъ Константинъ.—Должно быть!

— Все въ господской власти состоитъ,—замѣтилъ бѣднякъ.

— Вишь, вишь, куда мѣтитъ, вишь, каковъ? у! у! а!

И всѣ расхохотались, иные запрыгали. Громче всѣхъ заливался одинъ мальчишка лѣтъ пятнадцати, вѣроятно, сынъ аристократа между дворней; онъ носилъ жилетъ съ бронзовыми пуговицами, галстухъ лиловаго цвѣта, и брюшко уже успѣлъ отростить.

— А послушай-ка, признайся, Купря, — самодовольно заговорилъ Николай Еремѣичъ, видимо распотѣшенный и разнѣженный: — вѣдь, плохо въ истопникахъ-то? Пустое, чай, дѣло вовсе?

— Да что́, Николай Еремѣичъ, — заговорилъ Купріянъ: — вотъ вы теперь главнымъ у насъ конторщикомъ, точно; спору въ томъ, точно, нѣту; а вѣдь и вы подъ опалой находились, и въ мужицкой избѣ тоже пожили.

— Ты смотри, у меня однако не забывайся, — съ запальчивостью перебилъ его толстякъ: — съ тобой, дуракомъ, шутятъ; тебѣ-бы, дураку, чувствовать слѣдовало и благодарить, что съ тобой, дуракомъ, занимаются.

— Къ слову пришлось, Николай Еремѣичъ, извините....

— То-то-же къ слову.

Дверь растворилась и вбѣжалъ казачокъ.

— Николай Еремѣичъ, барыня васъ къ себѣ требуетъ.

— Кто у барыни?—спросилъ онъ казачка.

— Аксинья Никитишна и купецъ изъ Венева.

— Сею минутою явлюся. А вы, братцы,—продолжалъ онъ убѣдительнымъ голосомъ:—ступайте-ка лучше отсюда вонъ съ новопожалованнымъ истопникомъ-то: неравно нѣмецъ забѣжитъ, какъ разъ нажалуется.

Толстякъ поправилъ у себя на головѣ волосы, кашлянулъ въ руку, почти совершенно закрытую рукавомъ сюртука, застегнулся и отправился къ барынѣ, широко разставляя на ходу ноги. Погодя немного и вся ватага поплелась за нимъ вмѣстѣ съ Купрей. Остался одинъ мой старый знакомый, дежурный. Онъ принялся-было чинить

перья, да сидя и заснулъ. Нѣсколько мухъ тотчасъ воспользовались счастливымъ случаемъ и облѣпили ему ротъ. Комаръ сѣлъ ему на лобъ, правильно разставилъ свои ножки и медленно погрузилъ въ его мягкое тѣло все свое жало. Прежняя рыжая голова съ бакенбардами снова показалась изъ-за двери, поглядѣла, поглядѣла и вошла въ контору вмѣстѣ съ своимъ довольно некрасивымъ туловищемъ.

— Ѳедюшка! а Ѳедюшка! вѣчно спишь!—проговорила голова.

Дежурный открылъ глаза и всталъ со стула.

— Николай Еремѣичъ къ барынѣ пошелъ?

— Къ барынѣ пошелъ, Василій Николаичъ.

— А! а! подумалъ я:—вотъ онъ—главный кассиръ.

Главный кассиръ началъ ходить по комнатѣ. Впрочемъ, онъ болѣе крался, чѣмъ ходилъ, и таки-вообще смахивалъ на кошку. На плечахъ его болтался старый, черный фракъ, съ очень узкими фалдами; одну руку онъ держалъ на груди, а другой безпрестанно брался за свой высокій и тѣсный галстухъ изъ конскаго волоса и съ напряженіемъ вертѣлъ головой. Сапоги онъ носилъ козловые безъ скрыпу и выступалъ очень мягко.

— Сегодня Ягушкинъ помѣщикъ васъ спрашивалъ, — прибавилъ дежурный.

— Гмъ, спрашивалъ? Что-жъ онъ такое говорилъ?

— Говорилъ, что, дескать, къ Тютюреву вечеромъ заѣдетъ и васъ будетъ ждать. Нужно, дескать, мнѣ съ Васильемъ Николаичемъ объ одномъ дѣлѣ переговорить, а о какомъ дѣлѣ—не сказывалъ? ужъ Василій Николаичъ, говоритъ, знаетъ.

— Гмъ! — возразилъ главный кассиръ и подошелъ къ окну.

— Что, Николай Еремѣевъ въ конторѣ?—раздался въ сѣняхъ громкій голосъ, и человѣкъ высокаго роста, ви-

димо разсерженный, съ лицомъ неправильнымъ, но выразительнымъ и смѣлымъ, довольно опрятно одѣтый, шагнулъ черезъ порогъ.

— Нѣтъ его здѣсь? — спросилъ онъ, быстро глянувъ кругомъ.

— Николай Еремѣичъ у барыни,—отвѣчалъ кассиръ.— Что̀ вамъ надобно, скажите мнѣ, Павелъ Андреичъ: вы мнѣ можете сказать.... Вы чего хотите?

— Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассиръ болѣзненно кивнулъ головой.)—Проучить я его хочу, брюхача негоднаго, наушника подлаго.... Я ему дамъ наушничать!

Павелъ бросился на стулъ.

— Что̀ вы, что вы, Павелъ Андреичъ? Успокойтесь.... Какъ вамъ не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павелъ Андреичъ!—залепеталъ кассиръ.

— Про кого? А мнѣ что̀ за дѣло, что его въ главные конторщики пожаловали! Вотъ, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вотъ ужъ точно, можно сказать, пустили козла въ огородъ!

— Полноте, полноте, Павелъ Андреичъ, по̀лноте! бросьте это.... что̀ за пустяки такіе?

— Ну, Лиса Патрикѣвна, пошла хвостомъ вилять!... Я его дождусь, — съ сердцемъ проговорилъ Павелъ и ударилъ рукой по столу. — А, да вотъ онъ и жалуетъ, — прибавилъ опъ, взглянувъ въ окошко:—легокъ на поминѣ. Милости просимъ! (Онъ всталъ.)

Николай Еремѣевъ вошелъ въ контору. Лицо его сіяло удовольствіемъ, но при видѣ Павла онъ нѣсколько смутился.

— Здравствуйте, Николай Еремѣичъ, — значительно проговорилъ Павелъ, медленно подвигаясь къ нему навстрѣчу:—здравствуйте.

Главный конторщикъ не отвѣчалъ ничего. Въ дверяхъ показалось лицо купца.

— Что-жъ вы мнѣ не изволите отвѣчать?—продолжалъ Павелъ.—Впрочемъ, нѣтъ.... нѣтъ,—прибавилъ онъ: — этакъ не дѣло; крикомъ да бранью ничего не возьмешь. Нѣтъ, вы мнѣ лучше добромъ скажите. Николай Еремѣичъ, за что̀ вы меня преслѣдуете? за что̀ вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите.

— Здѣсь не мѣсто съ вами объясняться,—не безъ волненія возразилъ главный конторщикъ: — да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: съ чего вы взяли, что я васъ погубить желаю, или преслѣдую? Да и какъ, наконецъ, могу я васъ преслѣдовать? Вы не у меня въ конторѣ состоите.

— Еще-бы,—отвѣчалъ Павелъ:—этого-бы только недоставало. Но зачѣмъ-же вы притворяетесь, Николай Еремѣичъ?... Вѣдь вы меня понимаете.

— Нѣтъ, не понимаю.

— Нѣтъ, понимаете.

— Нѣтъ, ей-Богу, не понимаю.

— Еще божитесь! Да ужъ коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы Бога! Ну, за что̀ вы бѣдной дѣвкѣ жить не даете? Что̀ вамъ надобно отъ нея?

— Вы о комъ говорите, Павелъ Андреичъ? — съ притворнымъ изумленіемъ спросилъ толстякъ.

— Эка! не знаетъ, небось? я объ Татьянѣ говорю. Побойтесь Бога, — за что̀ мстите? Стыдитесь: вы человѣкъ женатый, дѣти у васъ съ меня уже ростомъ, а я не что другое.... я жениться хочу: я по чести поступаю.

— Чѣмъ-же я тутъ виноватъ, Павелъ Андреичъ? Барыня вамъ жениться не позволяетъ: ея господская воля! Я-то тутъ что?

— Вы что̀? а вы съ этой старой вѣдьмой, съ ключни-

цей, не стакнулись небось? Небось не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную дѣвку всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее изъ прачекъ въ судомойки произвели! И бьютъ-то ее, и въ затрапезѣ держатъ не по вашей милости?... Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человѣкъ! Вѣдь васъ параличъ, того и гляди, разобьетъ.... Богу отвѣчать придется.

— Ругайтесь, Павелъ Андреичъ, ругайтесь.... Долго-ли вамъ придется ругаться-то!

Павелъ вспыхнулъ.

— Что̀? грозить мнѣ вздумалъ?—съ сердцемъ заговорилъ онъ.—Ты думаешь, я тебя боюсь? Нѣтъ, братъ, не на того наткнулся! чего мнѣ бояться?... Я вездѣ себѣ хлѣбъ сыщу. Вотъ ты—другое дѣло! Тебѣ только здѣсь и жить, да наушничать, да воровать....

— Вѣдь вотъ какъ зазнался, — перебилъ его конторщикъ, который тоже начиналъ терять терпѣніе:—фершелъ, просто фершелъ, лекаришка пустой; а послушай-ка его,—фу ты какая важная особа!

— Да, фершелъ, а безъ этого фершала ваша милость теперь бы на кладбищѣ гнила.... И дернула же меня нелегкая его вылечить,—прибавилъ онъ сквозь зубы.

— Ты меня вылечилъ?... Нѣтъ, ты меня отравить хотѣлъ; ты меня сабуромъ опоилъ, — подхватилъ конторщикъ.

— Что̀-жъ, коли на тебя, кромѣ сабура, ничего дѣйствовать не могло?

— Сабуръ врачебной управой запрещенъ,—продолжалъ Николай:—я еще на тебя пожалуюсь.... Ты уморить меня хотѣлъ—вотъ что! Да Господь не попустилъ.

— Полно вамъ, полно, господа,—началъ-было кассиръ....

— Отстань!—крикнулъ конторщикъ.—Онъ меня отравить хотѣлъ! Понимаешь ты эфто?

— Очень нужно мнѣ.... Слушай, Николай Еремѣевъ,— заговорилъ Павелъ съ отчаяніемъ: — въ послѣдній разъ тебя прошу.... вынудилъ ты меня — не въ терпежъ мнѣ становится. Оставь насъ въ покоѣ, понимаешь? а то, ей-Богу, не сдобровать кому-нибудь изъ насъ, я тебѣ говорю.

Толстякъ расходился.

— Я тебя не боюсь, — закричалъ онъ: — слышишь-ли ты, молокососъ! Я и съ отцомъ твоимъ справился, я и ему рога сломилъ,—тебѣ примѣръ, смотри!

— Не напоминай мнѣ про отца, Николай Еремѣевъ, не напоминай!

— Вона! ты что мнѣ за уставщикъ?

— Говорятъ тебѣ, не напоминай!

— А тебѣ говорятъ, не забывайся.... Какъ ты тамъ барынѣ по-твоему ни нуженъ, а коли изъ насъ двухъ ей придется выбирать,—не удержишься ты, голубчикъ! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павелъ дрожалъ отъ бѣшенства.) А дѣвкѣ Татьянѣ по дѣломъ.... Погоди, не то ей еще будетъ!

Павелъ кинулся впередъ съ поднятыми руками, и конторщикъ тяжко покатился на полъ.

— Въ кандалы его, въ кандалы, — застоналъ Николай Еремѣевъ....

Конца этой сцены я не берусь описывать; я и такъ боюсь, не оскорбилъ-ли я чувства читателя.

Въ тотъ же день я вернулся домой. Недѣлю спустя, я узналъ, что госпожа Лоснякова оставила и Павла, и Николая, у себя въ услуженіи, а дѣвку Татьяну сослала: видно, не понадобилась.

БИРЮКЪ.

Я ѢХАЛЪ съ охоты вечеромъ одинъ, на бѣговыхъ дрожкахъ. До дому еще было верстъ восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бѣжала по пыльной дорогѣ, изрѣдка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шагъ не отставала отъ заднихъ колесъ. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась изъ-за лѣса: надо мною и мнѣ на встрѣчу неслись длинныя, сѣрыя облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жаръ внезапно смѣнился влажнымъ холодомъ; тѣни быстро густѣли. Я ударилъ возжой по лошади, спустился въ оврагъ, перебрался черезъ сухой ручей, весь заросшій лозниками, поднялся въ гору и въѣхалъ въ лѣсъ. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орѣшника, уже залитыми мракомъ; я подвигался впередъ съ трудомъ. Дрожки прыгали по твердымъ корнямъ столѣтнихъ дубовъ и липъ, безпрестанно пересѣкавшимъ глубокія продольныя рытвины — слѣды телѣжныхъ колесъ; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный вѣтеръ внезапно загудѣлъ въ вышинѣ, деревья забушевали, крупныя капли дождя рѣзко застучали, зашлепали по листьямъ, сверкнула молнія и гроза разразилась. Дождь полилъ ручьями. Я поѣхалъ шагомъ и скоро принужденъ

былъ остановиться: лошадь моя вязла, я не видѣлъ ни зги. Кое-какъ пріютился я къ широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидалъ я терпѣливо конца ненастья, какъ вдругъ, при блескѣ молніи, на дорогѣ почудилась мнѣ высокая фигура. Я сталъ пристально глядѣть въ ту сторону,—та же фигура словно выросла изъ земли подлѣ моихъ дрожекъ.

— Кто это?—спросилъ звучный голосъ.

— А ты кто самъ?

— Я здѣшній лѣсникъ.

Я назвалъ себя.

— А, знаю! вы домой ѣдете?

— Домой. Да видишь, какая гроза....

— Да, гроза,—отвѣчалъ голосъ.

Бѣлая молнія озарила лѣсника съ головы до ногъ; трескучій и короткій ударъ грома раздался тотчасъ вслѣдъ за нею. Дождикъ хлынулъ съ удвоенной силой.

— Не скоро пройдетъ,—продолжалъ лѣсникъ.

— Что̀ дѣлать!

— Я васъ, пожалуй, въ свою избу проведу,—отрывисто проговорилъ онъ.

— Сдѣлай одолженіе.

— Извольте сидѣть.

Онъ подошелъ къ головѣ лошади, взялъ ее за узду и сдернулъ съ мѣста. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожекъ, которыя колыхались, «какъ въ морѣ челнокъ», и кликалъ собаку. Бѣдная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лѣсникъ покачивался передъ оглоблями направо и налѣво, словно привидѣнье. Мы ѣхали довольно долго; наконецъ мой проводникъ остановился.—«Вотъ мы и дома, баринъ»,—промолвилъ онъ спокойнымъ голосомъ.—Калитка заскрыпѣла, нѣсколько щенковъ дружно залаяло. Я поднялъ голову и, при

свѣтѣ молніи, увидалъ небольшую избушку посреди обширнаго двора, обнесеннаго плетнемъ. Изъ одного окошечка тускло свѣтилъ огонёкъ. Лѣсникъ довелъ лошадь до крыльца и застучалъ въ дверь. — «Сичасъ, сичасъ!» раздался тоненькій голосокъ, послышался топотъ босыхъ ногъ, засовъ заскрыпѣлъ, и дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, въ рубашонкѣ, подпоясанная покромкой, съ фонаремъ въ рукѣ, показалась на дорогѣ.

— Посвѣти барину, — сказалъ онъ ей: — а я ваши дрожки подъ навѣсъ поставлю.

Дѣвочка глянула на меня и пошла въ избу. Я отправился вслѣдъ за ней.

Изба лѣсника состояла изъ одной комнаты, закоптѣлой, низкой и пустой, безъ палатей и перегородокъ. Изорванный тулупъ висѣлъ на стѣнѣ. На лавкѣ лежало одноствольное ружье, въ углу валялась груда тряпокъ; два большихъ горшка стояли возлѣ печки. Лучина горѣла на столѣ, печально вспыхивая и погасая. На самой серединѣ избы висѣла люлька, привязанная къ концу длиннаго шеста. Дѣвочка погасила фонарь, присѣла на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, лѣвой поправлять лучину. Я посмотрѣлъ кругомъ,—сердце во мнѣ заныло: не весело войдти ночью въ мужицкую избу. Ребенокъ въ люлькѣ дышалъ тяжело и скоро.

— Ты развѣ одна здѣсь?—спросилъ я дѣвочку.

— Одна,—произнесла она едва внятно.

— Ты лѣсникова дочь?

— Лѣсникова,—прошептала она.

Дверь заскрыпѣла, и лѣсникъ шагнулъ, нагнувъ голову, черезъ порогъ. Онъ поднялъ фонарь съ полу, подошелъ къ столу и зажегъ свѣтильню.

— Чай, не привыкли къ лучинѣ? проговорилъ онъ и тряхнулъ кудрями.

*

Я посмотрѣлъ на него. Рѣдко мнѣ случалось видѣть такого молодца. Онъ былъ высокаго роста, плечистъ и сложенъ на славу. Изъ-подъ мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучія мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; изъ-подъ сросшихся широкихъ бровей смѣло глядѣли небольшіе каріе глаза. Онъ слегка уперся руками въ бока и остановился передо мною.

Я поблагодарилъ его и спросилъ его имя.

— Меня зовутъ Ѳомой,—отвѣчалъ онъ:—а по прозвищу Бирюкъ *).

— А, ты Бирюкъ?

Я съ удвоеннымъ любопытствомъ посмотрѣлъ на него. Отъ моего Ермолая и отъ другихъ я часто слышалъ разсказы о лѣсникѣ Бирюкѣ, котораго всѣ окрестные мужики боялись, какъ огня. По ихъ словамъ, не бывало еще на свѣтѣ такого мастера своего дѣла: «Вязанки хворосту не дастъ утащить; въ какую-бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться, — силенъ, дескать, и ловокъ какъ бѣсъ.... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ. Ужъ не разъ добрые люди его сжить со свѣту собирались, да нѣтъ — не дается».

Вотъ какъ отзывались сосѣдніе мужики о Бирюкѣ.

— Такъ ты Бирюкъ,—повторилъ я:—я, братъ, слыхалъ про тебя. Говорятъ, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю, — отвѣчалъ онъ угрюмо:—даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится.

---

*) Бирюкомъ называется въ орловской губерніи человѣкъ одинокій и угрюмый.

Онъ досталъ изъ-за пояса топоръ, присѣлъ на полъ и началъ колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нѣтъ?—спросилъ я его.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ и сильно махнулъ топоромъ.

— Умерла, знать?

— Нѣтъ.... да.... умерла, прибавилъ онъ и отвернулся.

Я замолчалъ; онъ поднялъ глаза и посмотрѣлъ на меня.

— Съ прохожимъ мѣщаниномъ сбѣжала, произнесъ онъ съ жестокой улыбкой. Дѣвочка потупилась; ребенокъ проснулся и закричалъ; дѣвочка подошла къ люлькѣ. — На, дай ему, проговорилъ Бирюкъ, сунувъ ей въ руку запачканный рожокъ. — Вотъ и его бросила, продолжалъ онъ вполголоса, указывая на ребенка. Онъ подошелъ къ двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, баринъ, — началъ онъ: — нашего хлѣба ѣсть не станете, а у меня окромя хлѣба....

— Я не голоденъ.

— Ну, какъ знаете. Самоваръ-бы я вамъ поставилъ, да чаю у меня нѣту.... Пойду посмотрю, что̀ ваша лошадь.

Онъ вышелъ и хлопнулъ дверью. Я въ другой разъ осмотрѣлся. Изба показалась мнѣ еще печальнѣе прежняго. Горькій запахъ остывшаго дыма непріятно стѣснялъ мнѣ дыханіе. Дѣвочка не трогалась съ мѣста и не поднимала глазъ; изрѣдка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ея голыя ноги висѣли, не шевелясь.

— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ я.

— Улитой, — проговорила она, еще болѣе понуривъ свое печальное личико.

Лѣсникъ вошелъ и сѣлъ на лавку.

— Гроза проходитъ,—замѣтилъ онъ, послѣ небольшого молчанья:—коли прикажете, я васъ изъ лѣсу провожу.

Я всталъ. Бирюкъ взялъ ружье и осмотрѣлъ полку.

— Это зачѣмъ?—спросилъ я.

— А въ лѣсу шалятъ.... У Кобыльяго-Верху *) дереворубятъ,—прибавилъ онъ въ отвѣтъ на мой вопрошающій взоръ.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вмѣстѣ. Дождикъ пересталъ. Въ отдаленіи еще толпились тяжелыя громады тучъ, изрѣдка вспыхивали длинныя молніи; но надъ нашими головами уже виднѣлось кое-гдѣ темносинее небо, звѣздочки мерцали сквозь жидкія, быстро летѣвшія облака. Очерки деревьевъ, обрызганныхъ дождемъ и взволнованныхъ вѣтромъ, начинали выступать изъ мрака. Мы стали прислушиваться. Лѣсникъ снялъ шапку и потупился.—«Во.... вотъ,— проговорилъ онъ вдругъ и протянулъ руку: — вишь какую ночку выбралъ». — Я ничего не слышалъ, кромѣ шума листьевъ. Бирюкъ вывелъ лошадь изъ-подъ навѣса. «А этакъ я, пожалуй,—прибавилъ онъ вслухъ:—и прозѣваю его».—«Я съ тобой пойду.... хочешь?» — «Ладно,—отвѣчалъ онъ и попятилъ лошадь назадъ: — мы его духомъ поймаемъ, а тамъ я васъ провожу. Пойдемте».

Мы пошли; Бирюкъ впереди, я за нимъ. Богъ его знаетъ, какъ онъ узнавалъ дорогу, но онъ останавливался только изрѣдка, и то для того, чтобы прислушиваться къ стуку топора. — «Вишь,—бормоталъ онъ сквозь зубы:— слышите? слышите?»—«Да гдѣ?»—Бирюкъ пожималъ плечами. Мы спустились въ оврагъ, вѣтеръ затихъ на мгновенье—мѣрные удары ясно достигли до моего слуха. Би-

*) «Верхомъ» называется въ орловской губерніи оврагъ.

рюкъ глянулъ на меня и качнулъ головой. Мы пошли далѣе по мокрому папоротнику и крапивѣ. Глухой и продолжительный гулъ раздался....

— Повалилъ....—пробормоталъ Бирюкъ.

Между тѣмъ небо продолжало расчищаться; въ лѣсу чуть-чуть свѣтлѣло. Мы выбрались, наконецъ, изъ оврага.— «Подождите здѣсь», шепнулъ мнѣ лѣсникъ, нагнулся и поднявъ ружье кверху, исчезъ между кустами. Я сталъ прислушиваться съ напряженіемъ. Сквозь постоянный шумъ вѣтра чудились мнѣ невдалекѣ слабые звуки: топоръ осторожно стучалъ по сучьямъ, колеса скрыпѣли, лошадь фыркала.... «Куда? стой!» загремѣлъ вдругъ желѣзный голосъ Бирюка.—Другой голосъ закричалъ жалобно, позаячьи.... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь—твердилъ, задыхаясь, Бирюкъ:—не уйдешь»... Я бросился въ направленіи шума и прибѣжалъ, спотыкаясь на каждомъ шагу, на мѣсто битвы. У срубленнаго дерева, на землѣ, копошился лѣсникъ; онъ держалъ подъ собою вора и закручивалъ ему кушакомъ руки на спину. Я подошелъ. Бирюкъ поднялся и поставилъ его на ноги. Я увидалъ мужика мокраго, въ лохмотьяхъ, съ длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тутъ же вмѣстѣ съ телѣжнымъ ходомъ. Лѣсникъ не говорилъ ни слова; мужикъ тоже молчалъ и только головой потряхивалъ.

— Отпусти его,—шепнулъ я на ухо Бирюку:—я заплачу за дерево.

Бирюкъ молча взялъ лошадь за чолку лѣвой рукой: правой онъ держалъ вора за поясъ. «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвилъ онъ сурово. — «Топорикъ-то вонъ возьмите»,—пробормоталъ мужикъ. — «Зачѣмъ ему пропадать»!—сказалъ лѣсникъ и поднялъ топоръ. Мы отправились. Я шелъ позади.... Дождикъ началъ опять накра-

пывать и скоро полилъ ручьями. Съ трудомъ добрались мы до избы. Бирюкъ бросилъ пойманную лошаденку посреди двора, ввелъ мужика въ комнату, ослабилъ узелъ кушака и посадилъ его въ уголъ. Дѣвочка, которая заснула-было возлѣ печки, вскочила и съ молчаливымъ испугомъ стала глядѣть на насъ. Я сѣлъ на лавку.

— Экъ его, какой полилъ,—замѣтилъ лѣсникъ:—переждать придется. Не хотите-ли прилечь?

— Спасибо.

— Я-бы его, для вашей милости, въ чуланчикъ заперъ,—продолжалъ онъ, указывая на мужика:—да, вишь, засовъ....

— Оставь его тутъ, не трогай,—перебилъ я Бирюка.

Мужикъ глянулъ на меня изъ-подлобья. Я внутренно далъ себѣ слово, во что̀ бы то ни стало, освободить бѣдняка. Онъ сидѣлъ неподвижно на лавкѣ. При свѣтѣ фонаря я могъ разглядѣть его испитое, морщинистое лицо, нависшія желтыя брови, безпокойные глаза, худые члены.... Дѣвочка улеглась на полу у самыхъ его ногъ и опять заснула. Бирюкъ сидѣлъ возлѣ стола, опершись головою на руки. Кузнечикъ кричалъ въ углу.... дождикъ стучалъ по крышѣ и скользилъ по окнамъ; мы всѣ молчали.

— Ѳома Кузьмичъ,—заговорилъ вдругъ мужикъ голосомъ глухимъ и разбитымъ:—а Ѳома Кузьмичъ.

— Чего тебѣ?

— Отпусти.

Бирюкъ не отвѣчалъ.

— Отпусти.... съ голодухи.... отпусти.

— Знаю я васъ,—угрюмо возразилъ лѣсникъ: — ваша вся слобода такая—воръ на ворѣ.

— Отпусти,—твердилъ мужикъ:—прикащикъ.... разорены, вѐ-какъ.... отпусти!

— Разорены!.... Воровать никому не слѣдъ.

— Отпусти, Ѳома Кузьмичъ.... не погуби. Вашъ-то, самъ знаешь, заѣстъ, вѡ-какъ.

Бирюкъ отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Онъ встряхивалъ головой и дышалъ неровно.

— Отпусти,—повторялъ онъ съ унылымъ отчаяньемъ:— отпусти, ей-Богу, отпусти! я заплачу, вѡ-какъ, ей-Богу. Ей-Богу, съ голодухи.... дѣтки пищатъ, самъ знаешь. Круто, вѡ-какъ, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку,—продолжалъ мужикъ: — лошаденку-то, хоть ее-то.... одинъ животъ и есть.... отпусти!

— Говорятъ, нельзя. Я тоже человѣкъ подневольный: съ меня взыщутъ. Васъ баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Ѳома Кузьмичъ, нужда, какъ есть того.... отпусти!

— Знаю я васъ!

— Да отпусти!

— Э, да что̀ съ тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что̀-ли, барина?

Бѣднякъ потупился.... Бирюкъ зѣвнулъ и положилъ голову на столъ. Дождикъ все не переставалъ. Я ждалъ, что̀ будетъ.

Мужикъ внезапно выпрямился. Глаза у него загорѣлись и на лицѣ выступила краска. «Ну нà, ѣшь, нà, подавись, нà», — началъ онъ, прищуривъ глаза и опустивъ углы губъ:—«нà, душегубецъ окаянный: пей христіанскую кровь, пей»....

Лѣсникъ обернулся.

— Тебѣ говорю, тебѣ, азіатъ, кровопійца, тебѣ!

— Пьянъ ты, что̀-ли, что ругаться вздумалъ?—заговорилъ съ изумленіемъ лѣсникъ.—Съ ума сошелъ, что-ли?

— Пьянъ!.... не на твои-ли деньги, душегубецъ окаянный, звѣрь, звѣрь, звѣрь!

— Ахъ, ты.... да я тебя!...

— А мнѣ что? Все едино—пропадать; куда я безъ лошади пойду? Пришиби — одинъ конецъ; что съ голоду, что такъ—все едино. Пропадай все: жена, дѣти,—околѣвай все.... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюкъ приподнялся.

— Бей, бей, — подхватилъ мужикъ свирѣпымъ голосомъ:—бей, на, на, бей.... (Дѣвочка торопливо вскочила съ полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать!—загремѣлъ лѣсникъ и шагнулъ два раза.

— Полно, полно, Ѳома, закричалъ я: — оставь его.... Богъ съ нимъ.

— Не стану я молчать, — продолжалъ несчастный.— Все едино — околѣвать-то. Душегубецъ ты, звѣрь, погибели на тебя нѣту.... Да постой, не долго тебѣ чваниться! затянутъ тебѣ глотку, постой!

Бирюкъ схватилъ его за плечо.... Я бросился на помощь мужику....

— Не троньте, баринъ!—крикнулъ на меня лѣсникъ.

Я-бы не побоялся его угрозы и уже протянулъ-было руку; но, къ крайнему моему изумленію, онъ однимъ поворотомъ сдернулъ съ локтей мужика кушакъ, схватилъ его за шиворотъ, нахлобучилъ ему шапку на глаза, растворилъ дверь и вытолкнулъ его вонъ.

— Убирайся къ чорту съ своей лошадью!—закричалъ онъ ему вслѣдъ:—да смотри, въ другой разъ у меня....

Онъ вернулся въ избу и сталъ копаться въ углу.

— Ну, Бирюкъ,—промолвилъ я наконецъ: — удивилъ ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, баринъ, перебилъ онъ меня съ досадой: — не извольте только сказывать. Да ужъ я лучше

васъ провожу, прибавилъ онъ: — знать дождика-то вамъ не переждать....

На дворѣ застучали колеса мужицкой телѣги.

— Вишь, поплелся!—пробормоталъ онъ:—да я его!...

Черезъ полчаса онъ простился со мной на опушкѣ лѣса.

ДВА ПОМѢЩИКА.

Я УЖЕ имѣлъ честь представить вамъ, благосклонные читатели, нѣкоторыхъ моихъ господъ сосѣдей; позвольте же мнѣ теперь, кстати (для нашего брата писателя все кстати), познакомить васъ еще съ двумя помѣщиками, у которыхъ я часто охотился, съ людьми весьма почтенными, благонамѣренными и пользующимися всеобщимъ уваженіемъ нѣсколькихъ уѣздовъ.

Сперва опишу вамъ отставного генералъ-майора Вячеслава Иларіоновича Хвалынскаго. Представьте себѣ человѣка высокаго и когда-то стройнаго, теперь же нѣсколько обрюзглаго, но вовсе не дряхлаго, даже не устарѣлаго, человѣка въ зрѣломъ возрастѣ, въ самой, какъ говорится, порѣ. Правда, нѣкогда правильныя и теперь еще пріятныя черты лица его немного измѣнились, щеки повисли, частыя морщины лучеобразно расположились около глазъ, иныхъ зубовъ уже нѣтъ, какъ сказалъ Саади, по увѣренію Пушкина; русые волосы, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые остались въ цѣлости, превратились въ лиловые, благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмаркѣ у жида, выдававшато себя за армянина; но Вячеславъ Иларіоновичъ выступаетъ бойко, смѣется звонко, позвякиваетъ шпорами, крутитъ усы, наконецъ называетъ

себя старымъ кавалеристомъ, между тѣмъ какъ извѣстно, что настоящіе старики сами никогда не называютъ себя стариками. Носитъ онъ обыкновенно сюртукъ, застегнутый до-верху, высокій галстухъ съ накрахмаленными воротничками и панталоны сѣрыя съ искрой, военнаго покроя; шляпу же надѣваетъ прямо на лобъ, оставляя весь затылокъ наружи. Человѣкъ онъ очень добрый, но съ понятіями и привычками довольно странными. Напримѣръ: онъ никакъ не можетъ обращаться съ дворянами небогатыми или нечиновными, какъ съ равными себѣ людьми. Разговаривая съ ними, онъ обыкновенно глядитъ на нихъ съ боку, сильно опираясь щекою въ твердый и бѣлый воротникъ, или вдругъ возьметъ да озаритъ ихъ яснымъ и неподвижнымъ взоромъ, помолчитъ и двинетъ всею кожей подъ волосами на головѣ; даже слова иначе произноситъ и не говоритъ, напримѣръ: «благодарю, Павелъ Васильичъ», или: «пожалуйте сюда, Михайло Иванычъ», а: «боллдарю, Палл' Асиличъ», или: «па-ажалте сюда, Михал' Ванычъ». Съ людьми же, стоящими на низшихъ ступеняхъ общества, онъ обходится еще страннѣе: вовсе на нихъ не глядитъ и прежде чѣмъ объяснитъ имъ свое желаніе, или отдастъ приказъ, нѣсколько разъ сряду, съ озабоченнымъ и мечтательнымъ видомъ, повторитъ: «какъ тебя зовутъ?... какъ тебя зовутъ?», ударяя необыкновенно рѣзко на первомъ словѣ «какъ», а остальныя произнося очень быстро, что̀ придаетъ всей поговоркѣ довольно близкое сходство съ крикомъ самца-перепела. Хлопотунъ онъ и жила страшный, а хозяинъ плохой: взялъ къ себѣ въ управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупаго человѣка. Впрочемъ, въ дѣлѣ хозяйничества никто у насъ еще не перещеголялъ одного петербургскаго важнаго чиновника, который, усмотрѣвъ изъ донесеній своего прикащика, что овины у него въ имѣ-

ніи часто подвергаются пожарамъ, отчего много хлѣба пропадаетъ, — отдалъ строжайшій приказъ: впередъ до тѣхъ поръ не сажать сноповъ въ овинъ, пока огонь совершенно не погаснетъ. Тотъ же самый сановникъ вздумалъ-было засѣять всѣ свои поля макомъ, вслѣдствіе весьма, повидимому, простого разсчета: макъ, дескать, дороже ржи, слѣдовательно сѣять макъ выгоднѣе. Онъ же приказалъ своимъ крѣпостнымъ бабамъ носить кокошники по высланному изъ Петербурга образцу; и дѣйствительно, до сихъ поръ въ имѣніяхъ его бабы носятъ кокошники.... только сверху кичекъ.... Но возвратимся къ Вячеславу Иларіоновичу. Вячеславъ Иларіоновичъ ужасный охотникъ до прекраснаго пола и, какъ только увидитъ у себя въ уѣздномъ городѣ на бульварѣ хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслѣдъ, но тотчасъ же и захромаетъ, — вотъ что замѣчательное обстоятельство. Въ карты играть онъ любитъ, но только съ людьми званія низшаго; они-то ему: «Ваше Превосходительство», а онъ-то ихъ пушитъ и распекаетъ, сколько душѣ его угодно. Когда-жъ ему случится играть съ губернаторомъ, или съ какимъ-нибудь чиновнымъ лицомъ,—удивительная происходитъ въ немъ перемѣна: и улыбается-то онъ, и головой кивается, и въ глаза-то имъ глядитъ — медомъ такъ отъ него и несетъ.... Даже проигрываетъ и не жалуется. Читаетъ Вячеславъ Иларіонычъ мало, при чтеніи безпрестанно поводитъ усами и бровями, словно волну снизу вверхъ по лицу пускаетъ. Особенно замѣчательно это волнообразное движеніе на лицѣ Вячеслава Иларіоныча, когда ему случается (при гостяхъ, разумѣется) пробѣгать столбцы «Journal des Débats». На выборахъ играетъ онъ роль довольно значительную, но отъ почетнаго званія предводителя, по скупости, отказывается. «Господа,—говоритъ онъ обыкновенно приступающимъ къ нему дворянамъ и,

говоритъ голосомъ, исполненнымъ покровительства и самостоятельности: — много благодаренъ за честь; но я рѣшился посвятить свой досугъ уединенію». И, сказавши эти слова, поведетъ головой нѣсколько разъ направо и налѣво, а потомъ съ достоинствомъ наляжетъ подбородкомъ и щеками на галстухъ. Состоялъ онъ въ молодые годы адъютантомъ у какого-то значительнаго лица, котораго иначе и не называетъ какъ по имени и по отчеству; говорятъ, будто-бы онъ принималъ на себя не однѣ адъютантскія обязанности, будто бы, напр., облачившись въ полную парадную форму и даже застегнувъ крючки, парилъ своего начальника въ банѣ—да не всякому слуху можно вѣрить. Впрочемъ, и самъ генералъ Хвалынскій о своемъ служебномъ поприщѣ не любитъ говорить, что вообще довольно странно; на войнѣ онъ тоже кажется не бывалъ. Живетъ генералъ Хвалынскій въ небольшомъ домикѣ, одинъ; супружескаго счастья онъ въ своей жизни не испыталъ и потому до сихъ поръ еще считается женихомъ, и даже выгоднымъ женихомъ. За то ключница у него, женщина лѣтъ тридцати-пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свѣжая и съ усами, по буднишнимъ днямъ ходитъ въ накрахмаленныхъ платьяхъ, а по воскресеньямъ и кисейные рукава надѣваетъ. Хорошъ бываетъ Вячеславъ Иларіоновичъ на большихъ званыхъ обѣдахъ, даваемыхъ помѣщиками въ честь губернаторовъ и другихъ властей: тутъ онъ, можно сказать, совершенно въ своей тарелкѣ. Сидитъ онъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ если не по правую руку губернатора, то и не въ далекомъ отъ него разстояніи; въ началѣ обѣда болѣе придерживается чувства собственнаго достоинства и, закинувшись назадъ, но не оборачивая головы, съ-боку пускаетъ взоръ внизъ по круглымъ затылкамъ и стоячимъ воротникамъ гостей; за то къ концу стола развеселяется, начинаетъ улыбаться во всѣ стороны

(въ направленіи губернатора онъ съ начала обѣда улыбался), а иногда даже предлагаетъ тостъ въ честь прекраснаго пола, украшенія нашей планеты, по его словамъ. Также не дуренъ генералъ Хвалынскій на всѣхъ торжественныхъ и публичныхъ актахъ, экзаменахъ, собраньяхъ и выставкахъ; подъ благословеніе тоже подходитъ мастеръ. На разъѣздахъ, переправахъ и въ другихъ тому подобныхъ мѣстахъ, люди Вячеслава Иларіоныча не шумятъ и не кричатъ; напротивъ, раздвигая народъ или вызывая карету, говорятъ пріятнымъ горловымъ баритономъ: «позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «генерала Хвалынскаго экипажъ».... Экипажъ, правда, у Хвалынскаго формы довольно старинной; на лакеяхъ ливрея довольно потертая (о томъ, что она сѣрая съ красными выпушками, кажется, едвали нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своемъ вѣку, но на щегольство Вячеславъ Иларіонычъ притязаній не имѣетъ и не считаетъ даже званію своему приличнымъ пускать пыль въ глаза. Особеннымъ даромъ слова Хвалынскій не владѣетъ, или, можетъ быть, не имѣетъ случая высказать свое краснорѣчіе, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпитъ, и всякихъ длинныхъ разговоровъ, особенно съ молодыми людьми, тщательно избѣгаетъ. Оно дѣйствительно вѣрнѣе; а то съ нынѣшнимъ народомъ бѣда: какъ разъ изъ повиновенія выйдетъ и уваженіе потеряетъ. Передъ лицами высшими Хвалынскій бо̀льшей частью безмолвствуетъ, а къ лицамъ низшимъ, которыхъ, повидимому, презираетъ, но съ которыми только и знается, держитъ рѣчи отрывистыя и рѣзкія, безпрестанно употребляя выраженья, подобныя слѣдующимъ: «это, однако, вы пус-тя-ки говорите»; или: «я наконецъ вынужденнымъ нахожусь, милосвый сдарь мой, вамъ поставить на видъ»; или: «наконецъ, вы должны

однако-же знать, съ кѣмъ имѣете дѣло», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непремѣнные засѣдатели и станціонные смотрители. Дома онъ у себя никого не принимаетъ и живетъ, какъ слышно, скрягой. Со всѣмъ тѣмъ онъ прекрасный помѣщикъ. «Старый служака, человѣкъ безкорыстный, съ правилами, vieux grognard», говорятъ про него сосѣди. Одинъ прокуроръ губернскій позволяетъ себѣ улыбаться, когда при немъ упоминаютъ объ отличныхъ и солидныхъ качествахъ генерала Хвалынскаго, — да чего не дѣлаетъ зависть!...

А впрочемъ, перейдемъ теперь къ другому помѣщику.

Мардарій Аполлонычъ Стегуновъ ни въ чемъ не походилъ на Хвалынскаго; онъ едва-ли гдѣ-нибудь служилъ и никогда красавцемъ не почитался. Мардарій Аполлонычъ старичокъ низенькій, пухленькій, лысый, съ двойнымъ подбородкомъ, мягкими ручками и порядочнымъ брюшкомъ. Онъ большой хлѣбосолъ и балагуръ; живетъ, какъ говорится, въ свое удовольствіе; зиму и лѣто ходитъ въ полосатомъ шлафрокѣ на ватѣ. Въ одномъ онъ только сошелся съ генераломъ Хвалынскимъ: онъ тоже холостякъ. У него пятьсотъ душъ. Мардарій Аполлонычъ занимается своимъ имѣньемъ довольно поверхностно; купилъ, чтобы не отстать отъ вѣка, лѣтъ десять тому назадъ, у Бутенопа въ Москвѣ молотильную машину, заперъ ее въ сарай, да и успокоился. Развѣ въ хорошій лѣтній день велитъ заложить бѣговыя дрожки и съѣздитъ въ поле на хлѣба посмотрѣть, да васильковъ нарвать. Живетъ Мардарій Аполлонычъ совершенно на старый ладъ. И домъ у него старинной постройки: въ передней, какъ слѣдуетъ, пахнетъ квасомъ, сальными свѣчами и кожей; тутъ же направо буфетъ съ трубками и утиральниками; въ столовой фамильные портреты, мухи, большой горшокъ герани и кислыя фортопьяны; въ гостиной три дивана, три стола,

два зеркала и сильные часы, съ почернѣвшей эмалью и бронзовыми, рѣзными стрѣлками; въ кабинетѣ столъ съ бумагами, ширмы синеватаго цвѣта съ наклеенными картинками, вырѣзанными изъ разныхъ сочиненій прошедшаго столѣтія, шкапы съ вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно, да наглухо заколоченная дверь въ садъ.... Словомъ, все, какъ водится. Людей у Мардарія Аполлоныча множество и всѣ одѣты по-старинному: въ длинные синіе кафтаны съ высокими воротниками, панталоны мутнаго колорита и коротенькіе, желтоватые жилетцы. Гостямъ они говорятъ: «батюшка». Хозяйствомъ у него завѣдываетъ бурмистръ изъ мужиковъ, съ бородой во весь тулупъ; домомъ—старуха, повязанная коричневымъ платкомъ, сморщенная и скупая. На конюшнѣ у Мардарія Аполлоныча стоитъ тридцать разнокалиберныхъ лошадей; выѣзжаетъ онъ въ домадѣланной коляскѣ въ полтораста пудъ. Гостей принимаетъ очень радушно и угощаетъ на славу, то-есть: благодаря одуряющимъ свойствамъ русской кухни, лишаетъ ихъ вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чѣмъ-нибудь, кромѣ преферанса. Самъ-же никогда ничѣмъ не занимается и даже «Сонникъ» пересталъ читать. Но такихъ помѣщиковъ у насъ на Руси еще довольно много; спрашивается: съ какой стати я заговорилъ о немъ и зачѣмъ?... А вотъ, позвольте вмѣсто отвѣта разсказать вамъ одно изъ моихъ посѣщеній у Мардарія Аполлоныча.

Пріѣхалъ я къ нему лѣтомъ, часовъ въ семь вечера. У него только-что отошла всенощная, и священникъ, молодой человѣкъ, повидимому, весьма робкій и недавно вышедшій изъ семинаріи, сидѣлъ въ гостиной возлѣ двери, на самомъ краюшкѣ стула. Мардарій Аполлонычъ, по обыкновенію, чрезвычайно ласково меня принялъ: онъ не-

притворно радовался каждому гостю, да и человѣкъ онъ былъ вообще предобрый. Священникъ всталъ и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка, заговорилъ Мардарій Аполлонычъ, не выпуская моей руки: — не уходи.... Я велѣлъ тебѣ водки принести.

— Я не пью-съ, съ замѣшательствомъ пробормоталъ священникъ и покраснѣлъ до ушей.

— Что́ за пустяки! отвѣчалъ Мардарій Аполлонычъ:— Мишка! Юшка! водки батюшкѣ!

Юшка, высокій и худощавый старикъ лѣтъ восьмидесяти, вошелъ съ рюмкой водки на темномъ крашеномъ подносѣ, испещренномъ пятнами тѣлеснаго цвѣта.

Священникъ началъ отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, замѣтилъ помѣщикъ съ укоризной.

Бѣдный молодой человѣкъ повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священникъ началъ кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай.... Прекрасный человѣкъ, продолжалъ Мардарій Аполлонычъ, глядя ему вслѣдъ:—очень я имъ доволенъ; одно — молодъ еще. Но вы-то какъ, мой батюшка?... Что́ вы, какъ вы? Пойдемте-ка на балконъ—вишь, вечеръ какой славный.

Мы вышли на балконъ, сѣли и начали разговаривать. Мардарій Аполлонычъ взглянулъ внизъ и вдругъ пришелъ въ ужасное волненье.

— Чьи это куры? чьи это куры? закричалъ онъ:—чьи это куры по саду ходятъ?... Юшка! Юшка! поди узнай сейчасъ, чьи это куры по саду ходятъ?... Чьи это куры? Сколько разъ я запрещалъ, сколько разъ говорилъ!

Юшка побѣжалъ.

*

— Что за безпорядки! твердилъ Мардарій Аполлонычъ:— это ужасъ!

Несчастныя куры, какъ теперь помню, двѣ крапчатыя и одна бѣлая съ хохломъ, преспокойно продолжали ходить подъ яблонями, изрѣдка выражая свои чувства продолжительнымъ крехтаньемъ, какъ вдругъ Юшка, безъ шапки, съ палкой въ рукѣ, и трое другихъ совершеннолѣтнихъ дворовыхъ, всѣ вмѣстѣ дружно ринулись на нихъ. Пошла потѣха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бѣгали, спотыкались, падали; баринъ съ балкона кричалъ, какъ изступленный: «лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!... Чьи это куры, чьи это куры?»—Наконецъ, одному дворовому человѣку удалось поймать хохлатую курицу, придавивъ ее грудью къ землѣ, и въ то же самое время черезъ плетень сада, съ улицы, перескочила дѣвочка лѣтъ одиннадцати, вся растрепанная и съ хворостиной въ рукѣ.

— А, вотъ чьи куры! съ торжествомъ воскликнулъ помѣщикъ:—Ермила кучера куры! вонъ онъ свою Наталку загнать ихъ выслалъ.... Небось, Параши не выслалъ, — присовокупилъ помѣщикъ вполголоса, и значительно ухмыльнулся.—Эй, Юшка! брось курицъ-то: поймай-ка мнѣ Наталку.

Но прежде чѣмъ запыхавшійся Юшка успѣлъ добѣжать до перепуганной дѣвчонки, — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и нѣсколько разъ шлепнула ее по спинѣ....

— Вотъ тэкъ, э вотъ тэкъ,—подхватилъ помѣщикъ:— те, те, те! те, те, те!... А куръ-то отбери, Авдотья, — прибавилъ онъ громкимъ голосомъ, и съ свѣтлымъ лицомъ обратился ко мнѣ:—какова, батюшка, травля была, ась?— Вспотѣлъ даже, посмотрите.

И Мардарій Аполлонычъ расхохотался.

Мы остались на балконѣ. Вечеръ былъ, дѣйствительно, необыкновенно хорошъ.

Намъ подали чай.

— Скажите-ка, началъ я:—Мардарій Аполлонычъ, ваши это дворы выселены, вонъ тамъ, на дорогѣ, за оврагомъ?

— Мои.... а что?

— Какъ-же это вы, Мардарій Аполлонычъ? Вѣдь это грѣшно. Избёнки отведены мужикамъ скверныя, тѣсныя, деревца кругомъ не увидишь; сажелки даже нѣту; колодезь одинъ, да и тотъ никуда не годится. Неужели вы другого мѣста найти не могли?... И, говорятъ, вы у нихъ даже старые конопляники отняли?

— А что̀ будешь дѣлать съ размежеваньемъ? отвѣчалъ мнѣ Мардарій Аполлонычъ. У меня это размежеваніе вотъ гдѣ̀ сидитъ. (Онъ указалъ на свой затылокъ.) И никакой пользы я отъ этого размежеванія не предвижу. А что я конопляники у нихъ отнялъ и сажелки, что̀-ли, тамъ у нихъ не выкопалъ,—ужъ про это, батюшка, я самъ знаю. Я человѣкъ простой, — по старому поступаю. По-моему: коли баринъ — такъ баринъ, а коли мужикъ — такъ мужикъ.... Вотъ что̀.

На такой ясный и убѣдительный доводъ отвѣчать, разумѣется, было нечего.

— Да притомъ,—продолжалъ онъ:—и мужики-то плохіе, опальные. Особенно тамъ двѣ семьи; еще батюшка покойный, дай Богъ ему царство небесное, ихъ не жаловалъ, больно не жаловалъ. А у меня, скажу вамъ, такая примѣта: коли отецъ воръ, то и сынъ воръ; ужъ тамъ какъ хотите.... О, кровь, кровь—великое дѣло!

Между тѣмъ воздухъ затихъ совершенно. Лишь изрѣдка вѣтеръ набѣгалъ струями и, въ послѣдній разъ замирая около дома, донесъ до нашего слуха звукъ мѣрныхъ и частыхъ ударовъ, раздававшихся въ направленіи конюш-

ни. Мардарій Аполлонычъ только-что донесъ къ губамъ налитое блюдечко и уже расширилъ-было ноздри, безъ чего, какъ извѣстно, ни одинъ коренной русакъ не втягиваетъ въ себя чая,—но остановился, прислушался, кивнулъ головой, хлебнулъ и, ставя блюдечко на столъ, произнесъ съ добрѣйшей улыбкой и какъ-бы невольно вторя ударамъ: «Чюки-чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ!»

— Это что такое—спросилъ я съ изумленіемъ.

— А тамъ, по моему приказу, шалунишку наказываютъ.... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вотъ, что намедни за обѣдомъ намъ служилъ. Еще съ такими большими бакенбардами ходитъ.

Самое лютое негодованіе не устояло-бы противъ яснаго и кроткаго взора Мардарія Аполлоныча.

— Что вы, молодой человѣкъ, что вы? — заговорилъ онъ, качая головой. Что я злодѣй, что ли, что вы на меня такъ уставились? Любяй да наказуетъ: вы сами знаете.

Черезъ четверть часа я простился съ Мардаріемъ Аполлонычемъ. Проѣзжая черезъ деревню, увидѣлъ я буфетчика Васю. Онъ шелъ по улицѣ и грызъ орѣхи. Я велѣлъ кучеру остановить лошадей и подозвалъ его.

— Что, братъ, тебя сегодня наказали?—спросилъ я его.

— А вы почемъ знаете?—отвѣчалъ Вася.

— Мнѣ твой баринъ сказывалъ.

— Самъ баринъ?

— За что-жъ тебя велѣлъ наказать?

— А по дѣломъ, батюшка, по дѣломъ. У насъ по пустякамъ не наказываютъ; такого заведенья у насъ нѣту—ни, ни. У насъ баринъ не такой; у насъ баринъ.... такого барина въ цѣлой губерніи не сыщешь.

— Пошелъ!—сказалъ я кучеру. «Вотъ она, старая-то Русь»! думалъ я на возвратномъ пути.

ЛЕБЕДЯНЬ.

ОДНА изъ главныхъ выгодъ охоты, любезные мои читатели, состоитъ въ томъ, что она заставляетъ васъ безпрестанно переѣзжать съ мѣста на мѣсто, что̀ для человѣка незанятаго весьма пріятно. Правда, иногда (особенно въ дождливое время) не слишкомъ весело скитаться по проселочнымъ дорогамъ, брать «цѣликомъ», останавливать всякаго встрѣчнаго мужика вопросомъ: «эй, любезный! какъ бы намъ проѣхать въ Мордовку?» а въ Мордовкѣ выпытывать у тупоумной бабы (работники-то всѣ въ полѣ): далеко-ли до постоялыхъ двориковъ на большой дорогѣ, и какъ до нихъ добраться, — и, проѣхавъ верстъ десять, вмѣсто постоялыхъ двориковъ, очутиться въ помѣщичьемъ, сильно разоренномъ сельцѣ Худобубновѣ, къ крайнему изумленію цѣлаго стада свиней, погруженныхъ по уши въ темнобурую грязь на самой серединѣ улицы и нисколько не ожидавшихъ, что ихъ обезпокоятъ. Не весело также переправляться черезъ животрепещущіе мостики, спускаться въ овраги, перебираться въ бродъ черезъ болотистые ручьи; не весело ѣхать, цѣлыя сутки ѣхать по зеленоватому морю большихъ дорогъ, или, чего Боже сохрани, загрязнуть на нѣсколько часовъ передъ пестрымъ верстовымъ столбомъ съ цыфрами: 22

на одной сторонѣ, и 23 на другой; не весело по недѣлямъ питаться яйцами, молокомъ и хваленымъ ржанымъ хлѣбомъ.... Но всѣ эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствіями. Впрочемъ, приступимъ къ самому разсказу.

Вслѣдствіе всего вышесказаннаго, мнѣ не для чего толковать читателю, какимъ образомъ, лѣтъ пять тому назадъ, я попалъ въ Лебедянь въ самый развалъ ярмарки. Нашъ братъ охотникъ можетъ въ одно прекрасное утро выѣхать изъ своего болѣе или менѣе родового помѣстья съ намѣреньемъ вернуться на другой же день вечеромъ, и понемногу, по-немногу, не переставая стрѣлять по бекасамъ, достигнуть наконецъ благословенныхъ береговъ Печоры; притомъ, всякій охотникъ до ружья и до собаки— страстный почитатель благороднѣйшаго животнаго въ мірѣ: лошади. Итакъ, я прибылъ въ Лебедянь, остановился въ гостинницѣ, переодѣлся и отправился на ярмарку. (Половой, длинный и сухопарый малый лѣтъ двадцати, со сладкимъ носовымъ теноромъ, уже успѣлъ мнѣ сообщить, что ихъ сіятельство, князь Н., ремонтеръ ***го полка, остановился у нихъ въ трактирѣ, что много другихъ господъ наѣхало, что по вечерамъ цыгане поютъ и пана Твардовскаго даютъ на театрѣ, что кони, дескать, въ цѣнѣ,— впрочемъ, хорошіе приведены кони.)

На ярмарочной площади безконечными рядами тянулись телѣги, а за телѣгами лошади всѣхъ возможныхъ родовъ: рысистыя, заводскія, битюки, возовыя, ямскія и простыя крестьянскія. Иныя, сытыя и гладкія, подобранныя по мастямъ, покрытыя разноцвѣтными попонами, коротко привязанныя къ высокимъ кряквамъ, боязливо косились назадъ на слишкомъ знакомые имъ кнуты своихъ владѣльцевъ-барышниковъ; помѣщичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двѣсти верстъ, подъ надзоромъ ка-

кого-нибудь дряхлаго кучера и двухъ или трехъ крѣпкоголовыхъ конюховъ, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; саврасыя вятки плотно прижимались другъ къ дружкѣ; величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки съ волнистыми хвостами и косматыми лапами, сѣрые въ яблокахъ, вороные, гнѣдые. Знатоки почтительно останавливались передъ ними. Въ улицахъ, образованныхъ телѣгами, толпились люди всякаго званія, возраста и вида: барышники, въ синихъ кафтанахъ и высокихъ шапкахъ, лукаво высматривали и выжидали покупщиковъ; лупоглазые, кудрявые цыганы метались взадъ и впередъ, какъ угорѣлые, глядѣли лошадямъ въ зубы, поднимали имъ ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребій или увивались около какого-нибудь ремонтера въ фуражкѣ и военной шинели съ бобромъ. Дюжій казакъ торчалъ верхомъ на тощемъ меринѣ съ оленьей шеей и продавалъ его «совсимъ», т.-е. съ сѣдломъ и уздечкой. Мужики, въ изорванныхъ подъ мышками тулупахъ, отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телѣгу, запряженную лошадью, которую слѣдовало «спробовать», или, гдѣ-нибудь въ сторонѣ, при помощи увертливаго цыгана, торговались до изнеможенія, сто разъ сряду хлопали другъ друга по рукамъ, настаивая каждый на своей цѣнѣ, между тѣмъ какъ предметъ ихъ спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, какъ будто дѣло шло не о ней.... И въ самомъ дѣлѣ, не все ли ей равно, кто ее бить будетъ! Широколобые помѣщики съ крашенными усами и выраженіемъ достоинства на лицѣ, въ конфедераткахъ и камлотовыхъ чуйкахъ, надѣтыхъ на одинъ рукавъ, снисходительно заговаривали съ пузатыми купцами въ пуховыхъ шляпахъ и зеленыхъ перчаткахъ.

Офицеры различныхъ полковъ толкались тутъ же; необыкновенно длинный кирасиръ, нѣмецкаго происхожденія, хладнокровно спрашивалъ у хромого барышника: «сколько онъ желаетъ получить за сію рыжую лошадь?» Бѣлокурый гусарчикъ, лѣтъ девятнадцати, подбиралъ пристяжную къ поджарому иноходцу; ямщикъ, въ низкой шляпѣ, обвитой павлиньимъ перомъ, въ буромъ армякѣ и съ кожанными рукавицами, засунутыми за узкій зелененькій кушакъ, искалъ коренника. Кучера заплетали лошадямъ своимъ хвосты, мочили гривы и давали почтительные совѣты господамъ. Окончившіе сдѣлку спѣшили въ трактиръ или въ кабакъ, смотря по состоянію.... И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смѣялось въ грязи по колѣни. Мнѣ хотѣлось купить тройку сносныхъ лошадей для своей брички: мои начинали отказываться. Я нашелъ двухъ, а третью не успѣлъ подобрать. Послѣ обѣда, котораго описывать я не берусь (уже Эней зналъ, какъ непріятно припоминать минувшее горе), отправился въ такъ-называсмую кофейную, куда каждый вечеръ собирались ремонтеры, заводчики и другіе пріѣзжіе. Въ билліардной комнатѣ, затопленной свинцовыми волнами табачнаго дыма, находилось человѣкъ двадцать. Тутъ были развязные молодые помѣщики въ венгеркахъ и сѣрыхъ панталонахъ, съ длинными висками и намасленными усиками, благородно и смѣло взиравшіе кругомъ; другіе дворяне въ казакинахъ, съ необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тутъ же мучительно сопѣли; купчики сидѣли въ сторонѣ, какъ говорится, «на чуку»; офицеры свободно разговаривали другъ съ другомъ. На билліардѣ игралъ князь Н., молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-двухъ, съ веселымъ и нѣсколько презрительнымъ лицомъ, въ сюртукѣ на распашку, красной шелковой рубахѣ и широкихъ бархатныхъ

шароварахъ; игралъ онъ съ отставнымъ поручикомъ Викторомъ Хлопаковымъ.

Отставной поручикъ Викторъ Хлопаковъ, маленькій, смугленькій и худенькій человѣкъ лѣтъ тридцати, съ черными волосиками, карими глазами и тупымъ вздернутымъ носомъ, прилежно посѣщаетъ выборы и ярмарки. Онъ подпрыгиваетъ на ходу, ухорски разводитъ округленными руками, шапку носитъ на бекрень и заворачиваетъ рукава своего военнаго сюртука, подбитаго сизымъ каленкоромъ. Господинъ Хлопаковъ обладаетъ умѣньемъ поддѣлываться къ богатымъ петербургскимъ шалунамъ, куритъ, пьетъ, и въ карты играетъ съ ними, говоритъ имъ «ты». За что́ они его жалуютъ, понять довольно мудрено. Онъ не уменъ, онъ даже не смѣшонъ: въ шуты онъ тоже не годится. Правда, съ нимъ обращаются дружески-небрежно, какъ съ добрымъ, но пустымъ малымъ; якшаются съ нимъ въ теченіи двухъ-трехъ недѣль, а потомъ вдругъ и не кланяются съ нимъ, и онъ самъ ужъ не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоитъ въ томъ, что онъ въ продолженіе года, иногда двухъ, употребляетъ постоянно одно и то же выраженіе, кстати и некстати, выраженіе нисколько не забавное, но которое, Богъ знаетъ почему, всѣхъ смѣшитъ. Лѣтъ восемь тому назадъ, онъ на каждомъ шагу говорилъ: «мое вамъ почитаніе, покорнѣйше благодарствую», и тогдашніе его покровители всякій разъ помирали со смѣху и заставляли его повторять «мое почитаніе»; потомъ онъ сталъ употреблять довольно сложное выраженіе: «нѣтъ, ужъ это вы того, к'скесэ, — это вышло выходитъ», и съ тѣмъ же блистательнымъ успѣхомъ; года два спустя придумалъ новую прибаутку: «не ву горяче па, человѣкъ Божій, обшитъ бараньей кожей» и т. д. И что́ же! эти, какъ видите, вовсе не затѣйливыя словечки его кормятъ, поятъ и одѣваютъ. (Имѣнье.

онъ свое давнымъ-давно промоталъ и живетъ единственно на счетъ пріятелей.) Замѣтьте, что рѣшительно никакихъ другихъ любезностей за нимъ не водится; правда, онъ выкуриваетъ сто трубокъ Жукова въ день, а, играя на билліардѣ, поднимаетъ правую ногу выше головы и, прицѣливаясь, неистово ёрзаетъ кіемъ по рукѣ,—ну, да вѣдь до такихъ достоинствъ не всякій охотникъ. Пьетъ онъ тоже хорошо.... да на Руси этимъ отличиться мудрено.... Словомъ, успѣхъ его—совершенная для меня загадка.... Одно развѣ: остороженъ онъ, сору изъ избы не выноситъ, ни о комъ дурного словечка не скажетъ.

«Ну, подумалъ я при видѣ Хлопакова: — какая-то его нынѣшняя поговорка?»

Князь сдѣлалъ бѣлаго.

— Тридцать и никого, возопилъ чахоточный маркеръ съ темнымъ лицомъ и свинцомъ подъ глазами.

Князь съ трескомъ положилъ желтаго въ крайнюю лузу.

— Экъ! одобрительно крякнулъ всѣмъ животомъ толстенькій купецъ, сидѣвшій въ уголку за шаткимъ столикомъ на одной ножкѣ, крякнулъ и оробѣлъ. Но къ счастью никто его не замѣтилъ. Онъ отдохнулъ и погладилъ бородку.

— Тридцать шесть и очень мало! закричалъ маркеръ въ носъ.

— Что́, каково, братъ? спросилъ князь Хлопакова.

— Что́-жъ? извѣстно, рррракаліооонъ, какъ есть рррракаліооонъ.

Князь прыснулъ со смѣху.

— Какъ, какъ? повтори!

— Рррракаліооонъ! самодовольно повторилъ отставной поручикъ.

«Вотъ оно, слово-то!» подумалъ я.

Князь положилъ краснаго въ лузу.

— Эхъ! не такъ, князь, не такъ, залепеталъ вдругъ бѣлокурый офицерикъ съ покраснѣвшими глазами, крошечнымъ носикомъ и младенчески заспаннымъ лицомъ — Не такъ играете.... надо было.... не такъ!

— Какъ-же? спросилъ его князь черезъ плечо.

— Надо было.... того.... триплетомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? пробормоталъ князь сквозь зубы.

— А что, князь, сегодня вечеромъ къ цыганамъ? поспѣшно подхватилъ сконфуженный молодой человѣкъ. — Стешка пѣть будетъ.... Ильюшка....

Князь не отвѣчалъ ему.

— Рррракаліооонъ, братецъ, проговорилъ Хлопаковъ, лукаво прищуривъ лѣвый глазъ.

И князь расхохотался.

— Тридцать девять и никого, провозгласилъ маркеръ.

— Никого.... посмотри-ка, какъ я вотъ этого желтаго....

Хлопаковъ заёрзалъ кіемъ по рукѣ, прицѣлился и скиксовалъ.

— Э, рракаліоонъ, закричалъ онъ съ досадой.

Князь опять разсмѣялся.

— Какъ, какъ, какъ?

Но Хлопаковъ своего слова повторить не захотѣлъ: надо-же пококетничать.

— Стиксъ изволили дать, замѣтилъ маркеръ.—Позвольте помѣлить.... Сорокъ и очень мало!

— Да, господа, заговорилъ князь, обращаясь ко всему собранію и не глядя, впрочемъ, ни на кого въ особенности: — вы знаете, сегодня въ театрѣ Вержембицкую вызывать.

— Какъ-же, какъ-же, непремѣнно, воскликнуло наперерывъ нѣсколько господъ, удивительно польщенныхъ возможностью отвѣчать на княжескую рѣчь: — Вержембицкую....

— Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сопняковой, пропищалъ изъ угла плюгавенькій человѣкъ съ усиками и въ очкахъ. Несчастный! онъ втайнѣ сильно вздыхалъ по Сопняковой, а князь не удостоилъ его даже взглядомъ.

— Че-о-экъ, э, трубку, произнесъ въ галстухъ какой-то господинъ высокаго роста, съ правильнымъ лицомъ и благороднѣйшей осанкой,—по всѣмъ признакамъ шуперъ.

Человѣкъ побѣжалъ за трубкой и, вернувшись, доложилъ его сіятельству, что, дескать, ямщикъ Баклага ихъ спрашиваютъ-съ.

— А! ну, вели ему подождать, да водки ему поднеси.

— Слушаю-съ.

— Баклагой, какъ мнѣ потомъ сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщикъ; князь его любилъ, дарилъ ему лошадей, гонялся съ нимъ, проводилъ съ нимъ цѣлыя ночи.... Этого самого князя, бывшаго шалуна и мота, вы бы теперь не узнали.... Какъ онъ раздушонъ, затянутъ, гордъ! Какъ занятъ службой,— а, главное, какъ разсудителенъ!

Однако табачный дымъ начиналъ выѣдать мнѣ глаза. Въ послѣдній разъ выслушавъ восклицаніе Хлопакова и хохотъ князя, я отправился въ свой нумеръ, гдѣ на волосяномъ, узкомъ и продавленномъ диванѣ, съ высокой выгнутой спинкой, мой человѣкъ уже постлалъ мнѣ постель.

На другой день пошелъ я смотрѣть лошадей по дворамъ и началъ съ извѣстнаго барышника Ситникова. Черезъ калитку вошелъ я на дворъ, посыпанный песочкомъ. Передъ настежь раскрытою дверью конюшни стоялъ самъ хозяинъ, человѣкъ уже не молодой, высокій и толстый, въ заячьемъ тулупчикѣ, съ поднятымъ и подвернутымъ воротникомъ. Увидавъ меня, онъ медленно двинулся ко мнѣ

на встрѣчу, подержалъ обѣими руками шапку надъ головой и нараспѣвъ произнесъ:

— А, наше вамъ почтеніе. Чай, лошадокъ угодно посмотрѣть?

— Да, пришелъ лошадокъ посмотрѣть.

— А какихъ именно, смѣю спросить?

— Покажите, что̀ у васъ есть.

— Съ нашимъ удовольствіемъ.

Мы вошли въ конюшню. Нѣсколько бѣлыхъ шавокъ поднялось съ сѣна и подбѣжало къ намъ, виляя хвостами; длиннобородый старый козелъ съ неудовольствіемъ отошелъ въ сторону; три конюха, въ крѣпкихъ, но засаленныхъ тулупахъ, молча намъ поклонились. Направо и налѣво, въ искусственно возвышенныхъ стойлахъ, стояло около тридцати лошадей, выхоленныхъ и вычищенныхъ на славу. По перекладинамъ перелетывали и ворковали голуби.

— Вамъ, то-есть, для чего требуется лошадка: для ѣзды или для завода?—спросилъ меня Ситниковъ.

— И для ѣзды, и для завода.

— Понимаемъ-съ, понимаемъ-съ, понимаемъ-съ, съ разстановкою произнесъ барышникъ. — Петя, покажи господину Горностая.

Мы вышли на дворъ.

— Да не прикажете ли лавочку изъ избы вынести?... Не требуется?... Какъ угодно.

Копыта загремѣли по доскамъ, щелкнулъ кнутъ, и Петя, малый лѣтъ сорока, рябой и смуглый, выскочилъ изъ конюшни вмѣстѣ съ сѣрымъ, довольно статнымъ жеребцомъ, далъ ему подняться на дыбы, пробѣжалъ съ нимъ раза два кругомъ двора и ловко осадилъ его на показномъ мѣстѣ. Горностай вытянулся, со свистомъ фыркнулъ, закинулъ хвостъ, повелъ мордой и покосился на насъ.

«Ученая птица!» подумалъ я.

— Дай волю, дай волю, — проговорилъ Ситниковъ и уставился на меня.

— Какъ по-вашему будетъ-съ?—спросилъ онъ наконецъ.

— Лошадь не дурна, — переднія ноги не совсѣмъ надежны.

— Ноги отличныя!—съ убѣжденіемъ возразилъ Ситниковъ:— а задъ-то.... извольте посмотрѣть.... печь печью, хоть выспись.

— Бабки длинны.

— Что за длинны — помилосердуйте! Пробѣги-ка, Петя, пробѣги, да рысью, рысью, рысью.... не давай скакать.

Петя опять пробѣжалъ по двору съ Горностаемъ. Мы всѣ помолчали.

— Ну, поставь его на мѣсто, — проговорилъ Ситниковъ:—да Сокола намъ подай.

Соколъ, вороной, какъ жукъ, жеребецъ голландской породы со свислымъ задомъ и поджарый, оказался немного получше Горностая. Онъ принадлежалъ къ числу лошадей, о которыхъ говорятъ охотники, что «онѣ сѣкутъ и рубятъ и въ полонъ берутъ», т.-е. на ходу вывертываютъ и выкидываютъ передними ногами направо и налѣво, а впередъ мало подвигаются. Купцы среднихъ лѣтъ подлюбливаютъ такихъ лошадей: побѣжка ихъ напоминаетъ ухорскую походку бойкаго полового; онѣ хороши въ одиночку, для гулянья послѣ обѣда: выступая фертомъ и скрутивъ шею, усердно везутъ онѣ аляповатыя дрожки, нагруженныя наѣвшимся до онѣмѣнья кучеромъ, придавленнымъ купцомъ, страдающимъ изжогой, и рыхлой купчихой въ голубомъ шелковомъ салопѣ и лиловомъ платочкѣ на головѣ. Я отказался и отъ Сокола. Ситниковъ показалъ мнѣ еще нѣсколько лошадей.... Одна, наконецъ, сѣрый въ яблокахъ жеребецъ воейковской породы, мнѣ понравилась. Я не могъ удержаться и съ удовольствіемъ

потрепалъ ее по холкѣ. Ситниковъ тотчасъ прикинулся равнодушнымъ.

— А что, онъ ѣдетъ хорошо!—спросилъ я. (О рысакѣ не говорятъ: бѣжитъ.)

— Ѣдетъ,—спокойно отвѣтилъ барышникъ.

— Нельзя-ли посмотрѣть?...

— Отчего-же, можно-съ. Эй, Кузя, Догоняя въ дрожки заложить.

Кузя, наѣздникъ, мастеръ своего дѣла, проѣхалъ раза три мимо насъ по улицѣ. Хорошо бѣжитъ лошадь, не сбивается, задомъ не подбрасываетъ, ногу выноситъ свободно, хвостъ отдѣляетъ и «держитъ», рѣдкомахъ.

— А что вы за него просите?

Ситниковъ заломилъ цѣну небывалую. Мы начали торговаться тутъ же на улицѣ, какъ вдругъ изъ-за угла съ громомъ вылетѣла мастерски-подобранная ямская тройка и лихо остановилась передъ воротами Ситникова дома. На охотницкой, щегольской телѣжкѣ сидѣлъ князь Н.; возлѣ него торчалъ Хлопаковъ. Баклага правилъ лошадьми.... и какъ правилъ! сквозь сережку-бы проѣхалъ, разбойникъ! Гнѣдыя пристяжныя, маленькія, живыя, черноглазыя, черноногія, такъ и горятъ, такъ и поджимаются; свисни только — пропали! Караковая коренная стоитъ себѣ, закинувъ шею, словно лебедь, грудь впередъ, ноги какъ стрѣлы, знай головой помахиваетъ, да гордо щурится.... Хорошо! Хоть-бы кому въ свѣтлый праздникъ прокатиться!

— Ваше сіятельство! милости просимъ! закричалъ Ситниковъ.

Князь соскочилъ съ телѣги. Хлопаковъ медленно слѣзъ съ другой стороны.

— Здравствуй, братъ.... Есть лошади?

— Какъ не быть для вашего сіятельства! Пожалуйте,

войдите.... Петя, Павлина подай! да Похвальнаго чтобъ готовили. А съ вами, батюшка,—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—мы въ другое время покончимъ.... Ѳомка, лавку его сіятельству.

Изъ особенной, мною сперва не замѣченной, конюшни вывели Павлина. Могучій, темно-гнѣдой конь такъ и взвился всѣми ногами на воздухъ. Ситниковъ даже голову отвернулъ и зажмурился.

— У, рракаліонъ!—провозгласилъ Хлопаковъ.—Жэмса.

Князь засмѣялся.

Павлина остановили не безъ труда; онъ таки-повозилъ конюха по двору; наконецъ его прижали къ стѣнѣ. Онъ храпѣлъ, вздрагивалъ и поджимался, а Ситниковъ еще дразнилъ его, замахиваясь на него кнутомъ.

— Куда глядишь? вотъ я-те! у!—говорилъ барышникъ съ ласковой угрозой, самъ невольно любуясь своимъ конемъ.

— Сколько?—спросилъ князь.

— Для вашего сіятельства пять тысячъ.

— Три.

— Нельзя-съ, ваше сіятельство, помилуйте....

— Говорятъ, три, рракаліонъ,—подхватилъ Хлопаковъ.

Я не дождался конца сдѣлки и ушелъ. У крайняго угла улицы замѣтилъ я на воротахъ сѣроватаго домика приклеенный большой листъ бумаги. На верху былъ нарисованъ перомъ конь съ хвостомъ въ видѣ трубы и нескончаемой шеей, а подъ копытами коня стояли слѣдующія слова, написанныя старинным почеркомъ.

«Здѣсь продаются разныхъ мастей лошади, приведен-
«ныя на Лебедянскую ярмарку съ извѣстнаго степного за-
«вода Анастасея Иваныча Чернобая, Тамбовскаго помѣ-
«щика. Лошади сій отличныхъ статей; выѣзжены въ со-
вершенствѣ и кроткаго нрава. Господа покупатели бла-

«говолятъ спросить самого Анастасея Иваныча: буде же «Анастасей Иванычъ въ отсутствіи, то спросить кучера «Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости про«симъ почтить старичка!»

Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей извѣстнаго степного заводчика г-на Чернобая.

Я хотѣлъ-было войти въ калитку, но, противъ обыкновенія, нашелъ ее запертой. Я постучался.

— Кто тамъ?... Покупатель? — пропищалъ женскій голосъ.

— Покупатель.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ.

Калитка растворилась. Я увидалъ бабу лѣтъ пятидесяти, простоволосую, въ сапогахъ и въ тулупѣ на распашку.

— Извольте, кормилецъ, войти, а я сейчасъ пойду Анастасею Иванычу доложу.... Назаръ, а Назаръ!

— Чего? — прошамшилъ изъ конюшни голосъ семидесятилѣтняго старца.

— Лошадокъ приготовь; покупатель пришелъ.

Старуха побѣжала въ домъ.

— Покупатель, покупатель,—проворчалъ ей въ отвѣтъ Назаръ.—Я имъ еще не всѣмъ хвосты подмылъ.

«О, Аркадія!»—подумалъ я.

— Здравствуй, батюшка, милости просимъ,—медленно раздался за моей спиной сочный и пріятный голосъ. Я оглянулся: передо мною, въ синей долгополой шинели, стоялъ старикъ средняго роста, съ бѣлыми волосами, любезной улыбкой и съ прекрасными голубыми глазами.

— Лошадокъ тебѣ? Изволь, батюшка, изволь.... Да не хочешь-ли ко мнѣ сперва чайку зайти напиться?

Я отказался и поблагодарилъ.

— Ну, какъ тебѣ угодно. Ты меня, батюшка, извини:

вѣдь я по старинѣ. (Г-нъ Чернобай говорилъ, не спѣша, и на о.) — У меня все по простотѣ, знаешь.... Назаръ, а Назаръ, — прибавилъ онъ протяжно и не возвышая голоса.

Назаръ, сморщенный старичишка, съ ястребинымъ носикомъ и клиновидной бородкой, показался на порогѣ конюшни.

— Какихъ тебѣ, батюшка, лошадей требуется?—продолжалъ г-нъ Чернобай.

— Не слишкомъ дорогихъ, ѣзжалыхъ, въ кибитку.

— Изволь.... и такія есть, изволь.... Назаръ, Назаръ, покажи барину сѣренькаго меренка, знаешь, что съ краю-то стоитъ, да гнѣдую съ лысиной, а не то—другую гнѣдую, что отъ Красотки, знаешь?

Назаръ вернулся въ конюшню.

— Да ты на недоуздкахъ такъ ихъ и выведи,—закричалъ ему вслѣдъ г-нъ Чернобай. — У меня, батюшка, — продолжалъ онъ, ясно и кротко глядя мнѣ въ лицо:—не то, что у барышниковъ,—чтобъ имъ пусто было! у нихъ тамъ имбири разные пойдутъ, соль, барда *), Богъ съ ними совсѣмъ!.... А у меня, изволишь видѣть, все на ладони, безъ хитростей.

Вывели лошадей. Не понравились онѣ мнѣ.

— Ну, поставь ихъ съ Богомъ на мѣсто, — проговорилъ Анастасей Иванычъ.—Другихъ намъ покажи.

Показали другихъ. Я наконецъ выбралъ одну, подешевле. Начали мы торговаться. Г-нъ Чернобай не горячился, говорилъ такъ разсудительно, съ такою важностью, что я не могъ не «почтить старичка»: далъ задатокъ.

— Ну, теперь, — промолвилъ Анастасей Иванычъ: — позволь мнѣ, по старому обычаю, тебѣ лошадку изъ полы

*) Отъ барды и соли лошадь скоро тучнѣетъ.

въ полу передать.... Будешь за нее меня благодарить.... вѣдь свѣженькая! словно орѣшекъ.... нетронутая.... степнячо-окъ! Во всякую упряжь ходитъ.

Онъ перекрестился, положилъ полу своей шинели себѣ на руку, взялъ недоуздокъ и передалъ мнѣ лошадь.

— Владѣй съ Богомъ теперь.... А чайку все не хочешь?

— Нѣтъ, покорно васъ благодарю: мнѣ домой пора.

— Какъ угодно.... А мой кучерокъ теперь за тобой лошадку поведетъ?

— Да, теперь, если позволите.

— Изволь, голубчикъ, изволь.... Василій, а Василій, ступай съ бариномъ; лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, съ Богомъ.

— Прощайте, Анастасей Иванычъ.

Привели мнѣ лошадь на домъ. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумалъ я было ее заложить: пятится моя лошадь назадъ, а ударишь ее кнутомъ — зартачится, побрыкаетъ да и ляжетъ. Я тотчасъ отправился къ г-ну Чернобаю. Спрашиваю:

— Дома?

— Дома.

— Что-жъ это вы, говорю;—вѣдь вы мнѣ запаленную лошадь продали.

— Запаленную?... Сохрани Богъ!

— Да она еще и хромая, притомъ и съ норовомъ.

— Хромая? Не знаю, видно твой кучерокъ ее какъ-нибудь попортилъ.... а я, какъ передъ Богомъ....

— Вы по настоящему, Анастасей Иванычъ, ее назадъ взять должны.

— Нѣтъ, батюшка, не прогнѣвайся: ужъ коли со двора долой,—кончено. Прежде-бы изволилъ смотрѣть.

Я понялъ въ чемъ дѣло, покорился своей участи, раз-

смѣялся и ушелъ. Къ-счастью, я за урокъ не слишкомъ дорого заплатилъ.

Дня черезъ два я уѣхалъ, а черезъ недѣлю опять завернулъ въ Лебедянь на возвратномъ пути. Въ кофейной я нашелъ почти тѣ-же лица и опять засталъ князя Н. за биллiардомъ. Но въ судьбѣ господина Хлопакова уже успѣла произойти обычная перемѣна. Бѣлокурый офицерикъ смѣнилъ его въ милостяхъ князя. Бѣдный отставной поручикъ попытался еще разъ при мнѣ пустить въ ходъ свое словечко,—авось, дескать, понравится по прежнему,—но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожалъ плечомъ. Господинъ Хлопаковъ потупился, съёжился, пробрался въ уголокъ и началъ въ тихомолку набивать себѣ трубочку....

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

и

ЕЯ ПЛЕМЯННИКЪ.

Дайте мнѣ руку, любезный читатель, и поѣдемте вмѣстѣ со мной. Погода прекрасная; кротко синѣетъ майское небо; гладкіе молодые листья ракитъ блестятъ, словно вымытые; широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой травой съ красноватымъ стебелькомъ, которую такъ охотно щиплютъ овцы; направо и налѣво, по длиннымъ скатамъ пологихъ холмовъ, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами скользятъ по ней тѣни небольшихъ тучекъ. Въ отдаленьи темнѣютъ лѣса, сверкаютъ пруды, желтѣютъ деревни; жаворонки сотнями поднимаются, поютъ, падаютъ стремглавъ, вытянувъ шейки торчатъ на глыбочкахъ; грачи на дорогѣ останавливаются, глядятъ на васъ, приникаютъ къ землѣ, даютъ вамъ проѣхать и, подпрыгнувъ раза два, тяжко отлетаютъ въ сторону; на горѣ за оврагомъ мужикъ пашетъ; пѣгій жеребенокъ, съ куцымъ хвостикомъ и взъерошенной гривкой, бѣжитъ на невѣрныхъ ножкахъ вслѣдъ за матерью: слышится его тонкое ржанье. Мы въѣзжаемъ въ березовую рощу; крѣпкій, свѣжій запахъ пріятно стѣсняетъ дыханіе. Вотъ околица. Кучеръ слѣзаетъ, лошади фыркаютъ, при-

стяжныя оглядываются, коренная помахиваетъ хвостомъ и прислоняетъ голову къ дугѣ.... со скрыпомъ отворяется воротище. Кучеръ садится.... Трогай! передъ нами деревня. Миновавъ дворовъ пять, мы сворачиваемъ вправо, спускаемся въ лощинку, въѣзжаемъ на плотину. За небольшимъ прудомъ, изъ-за круглыхъ вершинъ яблонь и сиреней виднѣется тесовая крыша, нѣкогда красная, съ двумя трубами; кучеръ беретъ вдоль забора налѣво и при визгливомъ и сипломъ лаѣ трехъ престарѣлыхъ шавокъ, въѣзжаетъ въ настежь раскрытыя ворота, лихо мчится кругомъ по широкому двору мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется старухѣ ключницѣ, шагнувшей бокомъ черезъ высокой порогъ въ раскрытую дверь кладовой, и останавливается наконецъ передъ крылечкомъ темнаго домика съ свѣтлыми окнами.... Мы у Татьяны Борисовны. Да вотъ и она сама отворяетъ форточку и киваетъ намъ головой.... Здравствуйте, матушка!

Татьяна Борисовна женщина лѣтъ пятидесяти, съ большими сѣрыми глазами на выкатѣ, нѣсколько тупымъ носомъ, румяными щеками и двойнымъ подбородкомъ. Лицо ея дышетъ привѣтомъ и лаской. Она когда-то была замужемъ, но скоро овдовѣла. Татьяна Борисовна весьма замѣчательная женщина. Живетъ она безвыѣздно въ своемъ маленькомъ помѣстьи, съ сосѣдями мало знается, принимаетъ и любитъ однихъ молодыхъ людей. Родилась она отъ весьма бѣдныхъ помѣщиковъ и не получила никакого воспитанія, т.-е. не говоритъ по-французски; въ Москвѣ даже никогда не бывала,— и, несмотря на всѣ эти недостатки, такъ просто и хорошо себя держитъ, такъ свободно чувствуетъ и мыслитъ, такъ мало заражена обыкновенными недугами мелкопомѣстной барыни, что, поистинѣ, невозможно ей не удивляться.... И въ самомъ дѣлѣ: женщина круглый годъ живетъ въ деревнѣ, въ глу-

ши — и не сплетничаетъ, не пищитъ, не присѣдаетъ, не волнуется, не давится, не дрожитъ отъ любопытства.... чудеса! Ходитъ она обыкновенно въ сѣромъ тафтяномъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ съ висячими лиловыми лентами; любитъ покушать, но безъ излишества; варенье, сушенье и соленье предоставляетъ ключницѣ. Чѣмъ же она занимается цѣлый день? спросите вы.... Читаетъ?—Нѣтъ, не читаетъ; да и правду сказать, книги не для нея печатаются.... Если нѣтъ у ней гостя, сидитъ себѣ моя Татьяна Борисовна подъ окномъ и чулокъ вяжетъ — зимой; лѣтомъ въ садъ ходитъ, цвѣты сажаетъ и поливаетъ, съ котятами играетъ по цѣлымъ часамъ, голубей кормитъ.... Хозяйствомъ она мало занимается. Но если заѣдетъ къ ней гость, молодой какой-нибудь сосѣдъ, котораго она жалуетъ — Татьяна Борисовна вся оживится; усадитъ его, напоитъ чаемъ, слушаетъ его разсказы, смѣется, изрѣдка его по-щекѣ потреплетъ, но сама говоритъ мало; въ бѣдѣ, въ горѣ утѣшитъ, добрый совѣтъ подастъ. Сколько людей повѣрили ей свои домашнія, задушевныя тайны, плакали у ней на рукахъ! Бывало, сядетъ она противъ гостя, обопрется тихонько на локоть и съ такимъ участіемъ смотритъ ему въ глаза, такъ дружелюбно улыбается, что гостю невольно въ голову придетъ мысль: «какая-же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебѣ разскажу, что̀ у меня на сердцѣ». Въ ея небольшихъ, уютныхъ комнаткахъ хорошо, тепло человѣку; у ней всегда въ домѣ прекрасная погода, если можно такъ выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ея здравый смыслъ, твердость и свобода, горячее участіе въ чужихъ бѣдахъ и радостяхъ, словомъ, всѣ ея достоинства точно родились съ ней, никакихъ трудовъ и хлопотъ ей не стоили.... Ее иначе и вообразить невозможно; стало-быть и не за что ее благодарить. Особенно

любитъ она глядѣть на игры и шалости молодежи; сложитъ руки подъ грудью, закинетъ голову, прищуритъ глаза и сидитъ, улыбаясь, да вдругъ вздохнетъ и скажетъ: ахъ, вы, дѣтки мои, дѣтки!... Такъ, бывало, и хочется подойти къ ней, взять ее за руку и сказать: послушайте, Татьяна Борисовна, вы себѣ цѣны не знаете, вѣдь, вы при всей вашей простотѣ и неучености,—необыкновенное существо! Одно имя ея звучитъ чѣмъ-то знакомымъ, привѣтнымъ, охотно произносится, возбуждаетъ дружелюбную улыбку. Сколько разъ мнѣ, напримѣръ, случалось спросить у встрѣчнаго мужика: какъ, братецъ, проѣхать, положимъ, въ Грачевку?—«А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттолѣ на Татьяну Борисовну, а отъ Татьяны Борисовны всякъ вамъ укажетъ». И при имени Татьяны Борисовны мужикъ какъ-то особенно головой тряхнетъ. Прислугу она держитъ небольшую, по состоянью. Домомъ, прачешной, кладовой и кухней завѣдываетъ у нея ключница Агафья, бывшая ея няня, добрѣйшее слезливое и беззубое существо; двѣ здоровыя дѣвки, съ крѣпкими сизыми щеками, въ родѣ антоновскихъ яблокъ, состоятъ подъ ея начальствомъ. Должность камердинера, дворецкаго и буфетчика занимаетъ семидесятилѣтній слуга Поликарпъ, чудакъ необыкновенный, человѣкъ начитанный, отставной скрипачъ и поклонникъ Віотти, личный врагъ Наполеона или, какъ онъ говоритъ, Бонапартишки, и страстный охотникъ до соловьевъ. Онъ ихъ всегда держитъ пять или шесть у себя въ комнатѣ; ранней весной по цѣлымъ днямъ сидитъ возлѣ клѣтокъ, выжидая перваго «рокотанья», и, дождавшись, закроетъ лицо руками и застонетъ: «охъ, жалко, жалко!» — и въ три ручья зарыдаетъ. Къ Поликарпу на подмогу приставленъ его же внукъ, Вася, мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарпъ любитъ его безъ памяти и вор-

читъ на него съ утра до вечера. Онъ же занимается и его воспитаніемъ.—«Вася», говоритъ, «скажи: Бонапартишка разбойникъ».—А что̀ дашь, тятя?—«Что̀ дамъ?... ничего я тебѣ не дамъ.... Вѣдь, ты кто? Русскій ты?»—Я амчанинъ, тятя: въ Амченскѣ *) родился. «О, глупая голова! да Амченскъ-то гдѣ?»—А я почемъ знаю?—«Въ Россіи Амченскъ, глупый». — Такъ что̀-жъ что въ Россіи? — «Какъ что? Бонапартишку-то его свѣтлѣйшество покойный князь Михайло Иларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій, съ Божіею помощью, изъ россійскихъ предѣловъ выгнать изволилъ. По эвтому случаю и пѣсня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерялъ свои подвязки.... Понимаешь: отечество освободилъ твое». — А мнѣ что̀ за дѣло?—«Ахъ, ты глупый мальчикъ, глупый! Вѣдь, если-бы свѣтлѣйшій князь Михайло Иларіоновичъ не выгналъ Бонапартишки, вѣдь, тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковкѣ колотилъ. Подошелъ бы, этакъ, къ тебѣ, сказалъ бы: команъ ву порте ву?—да и стукъ, стукъ».—А я бы его въ пузо кулакомъ.—«А онъ бы тебѣ: бонжуръ, бонжуръ, вене иси,—да за хохолъ, за хохолъ».—А я бы его по ногамъ, по ногамъ, по цыбулястымъ-то. — «Оно точно, ноги у нихъ цыбулястыя.... Ну, а какъ онъ-бы руки тебѣ сталъ вязать?»—А я бы не дался; Михея кучера на помощь бы позвалъ. — «А что̀, Вася, вѣдь, французу съ Михеемъ не сладить?—Гдѣ сладить! Михей-то во́-какъ здоровъ!—«Ну, и что-жъ бы вы его?»—Мы бы его по спинѣ, да по спинѣ.—«А онъ бы пардонъ закричалъ: пардонъ, пардонъ, севуплэй!»—А мы бы ему: нѣтъ тебѣ севуплея, французъ ты этакой!... —

*) Въ простонародьи городъ Мценскъ называется Амченскомъ, а жители амчанами. Амчане ребята бойкіе; недаромъ у насъ недругу сулятъ „амчанина на дворъ“.

«Молодецъ Вася!... Ну, такъ кричи-же: разбойникъ Бонапартишка!»—А ты мнѣ сахару дай!—«Экой!»...

Съ помѣщицами Татьяна Борисовна мало водится; онѣ неохотно къ ней ѣздятъ, и она не умѣетъ ихъ занимать, засыпаетъ подъ шумокъ ихъ рѣчей, вздрагиваетъ, силится раскрыть глаза и снова засыпаетъ. Татьяна Борисовна вообще не любитъ женщинъ. У одного изъ ея пріятелей, хорошаго и смирнаго молодого человѣка, была сестра, старая дѣвица лѣтъ тридцати-восьми съ половиной, существо добрѣйшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Братъ ей часто разсказывалъ о своей сосѣдкѣ. Въ одно прекрасное утро, моя старая дѣвица, не говоря худого слова, велѣла осѣдлать себѣ лошадь и отправилась къ Татьянѣ Борисовнѣ. Въ длинномъ своемъ платьѣ, со шляпой на головѣ, зеленымъ вуалемъ и распущенными кудрями вошла она въ переднюю и, минуя оторопѣлаго Васю, принявшаго ее за русалку, вбѣжала въ гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотѣла-было приподняться, да ноги подкосились. —«Татьяна Борисовна», заговорила умоляющимъ голосомъ гостья, «извините мою смѣлость; я сестра вашего пріятеля Алексѣя Николаевича К***, и столько наслышалась отъ него объ васъ, что рѣшилась познакомиться съ вами». —«Много чести», пробормотала изумленная хозяйка. Гостья сбросила съ себя шляпу, тряхнула кудрями, усѣлась подлѣ Татьяны Борисовны, взяла ее за руку....—«Итакъ, вотъ она», начала она голосомъ задумчивымъ и тронутымъ: — «вотъ это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вотъ она, эта простая и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокая женщина! Какъ я рада, какъ я рада! Какъ мы будемъ любить другъ друга! Я отдохну наконецъ.... Я ее себѣ именно такою воображала»,—прибавила она шопотомъ, упираясь глазами въ глаза Татьяны Борисовны. «Неправда-ли, вы не сердитесь на

меня, добрая моя, хорошая моя?»—«Помилуйте, я очень рада.... Не хотите ли вы чаю?»—Гостья снисходительно улыбнулась.—«Wie wahr, wie unreflectirt», прошептала она, словно про себя. «Позвольте обнять васъ, моя милая!»

Старая дѣвица высидѣла у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновенье. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ея значенье. Тотчасъ послѣ ухода нежданной гостьи, бѣдная помѣщица отправилась въ баню, напилась липоваго чаю и легла въ постель. Но на другой же день старая дѣвица вернулась, просидѣла четыре часа и удалилась съ обѣщаньемъ посѣщать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видѣть, вздумала окончательно развить, довоспитать такую, какъ она выражалась, богатую природу, и, вѣроятно, уходила бы ее наконецъ совершенно, если бы, во-первыхъ, недѣли черезъ двѣ не разочаровалась «вполнѣ» на счетъ пріятельницы своего брата; а во-вторыхъ, если бы не влюбилась въ молодого проѣзжаго студента, съ которымъ тотчасъ же вступила въ дѣятельную и жаркую переписку; въ посланіяхъ своихъ она, какъ водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» въ жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась въ описанія природы, упоминала о Гёте, Шиллерѣ, Беттинѣ и нѣмецкой философіи,—и довела, наконецъ, бѣднаго юношу до мрачнаго отчаянія. Но молодость взяла свое: въ одно прекрасное утро проснулся онъ съ такой остервенѣлой ненавистью къ своей «сестрѣ и лучшему другу», что едва, сгоряча, не прибилъ своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малѣйшемъ намекѣ на возвышенную и безкорыстную любовь.... Но съ тѣхъ поръ Татьяна Борисовна стала еще болѣе прежняго избѣгать сближенія съ своими сосѣдками.

Увы! ничто не прочно на землѣ. Все, что̀ я вамъ раз-

сказалъ о житьѣ-бытьѣ моей доброй помѣщицы—дѣло прошедшее; тишина, господствовавшая въ ея домѣ, нарушена на вѣки. У ней теперь, вотъ ужъ болѣе года, живетъ племянникъ, художникъ изъ Петербурга. Вотъ какъ это случилось.

Лѣтъ восемь тому назадъ, проживалъ у Татьяны Борисовны мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, круглый сирота, сынъ ея покойнаго брата, Андрюша. У Андрюши были большіе свѣтлые, влажные глаза, маленькій ротикъ, правильный носъ и прекрасный возвышенный лобъ. Онъ говорилъ тихимъ и сладкимъ голосомъ, держалъ себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался къ гостямъ, съ сиротливой чувствительностію цѣловалъ ручку у тётушки. Бывало, не успѣете вы показаться, — глядь, ужъ онъ несетъ вамъ кресла. Шалостей за нимъ не водилось никакихъ: не стукнетъ, бывало; сидитъ себѣ въ уголку за книжечкой, и такъ скромно и смирно, даже къ спинкѣ стула не прислоняется. Гость войдетъ, — мой Андрюша приподнимется, прилично улыбнется и покраснѣетъ; гость выйдетъ, — онъ сядетъ опять, достанетъ изъ кармашика щеточку съ зеркальцемъ и волосики себѣ причешетъ. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ почувствовалъ онъ охоту къ рисованью. Попадался-ли ему клочокъ бумаги, онъ тотчасъ выпрашивалъ у Агафьи ключницы ножницы, тщательно выкраивалъ изъ бумажки правильный четвероугольникъ, проводилъ кругомъ каемочку и принимался за работу: нарисуетъ глазъ съ огромнымъ зрачкомъ, или греческій носъ, или домъ съ трубой и дымомъ въ видѣ винта, собаку «en face», похожую на скамью, деревцо съ двумя голубками и подпишетъ: «рисовалъ Андрей Бѣловзоровъ, такого-то числа, такого-то года, село Малыя-Брыки». Съ особеннымъ усердіемъ трудился онъ недѣли за двѣ до имянинъ Татьяны Борисовны: являлся первый съ поздравленіемъ и

подносилъ свитокъ, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна цѣловала племянника въ лобъ и распутывала узелокъ: свитокъ раскрывался и представлялъ любопытному взору зрителя круглый, бойко оттушованный храмъ съ колоннами и алтаремъ по серединѣ; на алтарѣ пылало сердце и лежалъ вѣнокъ, а вверху, на извилистой бандеролѣ, четкими буквами стояло: «Тетушкѣ и благодѣтельницѣ Татьянѣ Борисовнѣ Богдановой отъ почтительнаго и любящаго племянника, въ знакъ глубочайшей привязанности». Татьяна Борисовна снова его цѣловала и дарила ему цѣлковый. Большой, однако, привязанности она къ нему не чувствовала: подобострастіе Андрюши ей не совсѣмъ нравилось. Между тѣмъ Андрюша подросталъ; Татьяна Борисовна начинала безпокоиться о его будущности. Неожиданный случай вывелъ ее изъ затрудненія....

А именно: однажды, лѣтъ восемь тому назадъ заѣхалъ къ ней нѣкто г. Беневоленскій, Петръ Михайлычъ, коллежскій совѣтникъ и кавалеръ. Г-нъ Беневоленскій нѣкогда состоялъ на службѣ въ ближайшемъ уѣздномъ городѣ и прилежно посѣщалъ Татьяну Борисовну; потомъ переѣхалъ въ Петербургъ, вступилъ въ министерство, достигъ довольно важнаго мѣста, и въ одну изъ частыхъ своихъ поѣздокъ по казенной надобности, вспомнилъ о своей старинной знакомой и завернулъ къ ней, съ намѣреніемъ отдохнуть дня два отъ заботъ служебныхъ «на лонѣ сельской тишины». Татьяна Борисовна приняла его съ обыкновеннымъ своимъ радушіемъ, и г. Беневоленскій.... Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ продолженію разсказа, позвольте, любезный читатель, познакомить васъ съ этимъ новымъ лицомъ.

Г-нъ Беневоленскій былъ человѣкъ толстоватый, средняго роста, мягкій на видъ, съ коротенькими ножками и

пухленькими ручками; носилъ онъ просторный и чрезвычайно опрятный фракъ, высокій и широкій галстухъ, бѣлое, какъ снѣгъ, бѣлье, золотую цѣпочку на шелковомъ жилетѣ, перстень съ камнемъ на указательномъ пальцѣ и бѣлокурый парикъ; говорилъ убѣдительно и кротко, выступалъ безъ шума, пріятно улыбался, пріятно поводилъ глазами, пріятно погружалъ подбородокъ въ галстухъ: вообще, пріятный былъ человѣкъ. Сердцемъ его тоже Господь надѣлилъ добрѣйшимъ: плакалъ онъ и восторгался легко; сверхъ того, пылалъ безкорыстной страстью къ искусству, и ужъ подлинно безкорыстной, потому что именно въ искусствѣ г. Беневоленскій, коли правду сказать, рѣшительно ничего не смыслилъ. Даже удивительно, откуда, въ силу какихъ таинственныхъ и непонятныхъ законовъ, взялась у него эта страсть? Кажется, человѣкъ онъ былъ положительный, даже дюжинный.... впрочемъ, у насъ на Руси такихъ людей довольно много.

Любовь къ художеству и художникамъ придаетъ этимъ людямъ приторность неизъяснимую; знаться съ ними, съ ними разговаривать—мучительно: настоящія дубины, вымазанныя медомъ. Они, напримѣръ, никогда не называютъ Рафаэля — Рафаэлемъ, Корреджіо — Корреджіемъ: «божественный Санціо, неподражаемый де-Аллегрисъ», говорятъ они, и говорятъ непремѣнно на о. Всякій доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный талантъ величаютъ они геніемъ или, правильнѣе, «хэніемъ»; синее небо Италіи, южный лимонъ, душистые пары береговъ Бренты не сходятъ у нихъ съ языка. «Эхъ, Ваня, Ваня», или: «эхъ, Саша, Саша», съ чувствомъ говорятъ они другъ другу, «на югъ бы намъ, на югъ.... вѣдь мы съ тобою греки душою, древніе греки!» Наблюдать ихъ можно на выставкахъ, передъ иными произведеніями иныхъ россійскихъ живописцевъ. (Должно замѣтить, что по бо̀льшей

части всѣ эти господа патріоты страшные.) То отступятъ они шага на два и закинутъ голову, то снова придвинутся къ картинѣ; глазки ихъ покрываются маслянистою влагой.... «Фу, ты Боже мой», — говорятъ они наконецъ разбитымъ отъ волненія голосомъ,—«души-то, души-то что! эка, сердца-то, сердца! эка души-то напустилъ! тьма души!... А задумано-то какъ! мастерски задумано!»—А что у нихъ самихъ въ гостиныхъ за картины! Что за художники ходятъ къ нимъ по вечерамъ, пьютъ у нихъ чай, слушаютъ ихъ разговоры! Какіе они имъ подносятъ перспективные виды собственныхъ комнатъ съ щеткой на правомъ планѣ, грядкой сору на вылощенномъ полу, желтымъ самоваромъ на столѣ возлѣ окна и самимъ хозяиномъ въ халатѣ и ермолкѣ, съ яркимъ бликомъ свѣта на щекѣ! Что за длинноволосые питомцы музъ, съ лихорадочно-презрительной улыбкой, ихъ посѣщаютъ! Что за блѣдно-зеленыя барышни взвизгиваютъ у нихъ за фортопьянами! Ибо у насъ уже такъ на Руси заведено: одному искусству человѣкъ предаваться не можетъ—подавай ему всѣ. И потому нисколько не удивительно, что эти господа-любители также оказываютъ сильное покровительство русской литературѣ, особенно драматической.... «Джакóбы Саназары» писаны для нихъ: тысячи разъ изображенная борьба непризнаннаго таланта съ людьми, съ цѣлымъ міромъ потрясаетъ ихъ до дна души....

На другой же день послѣ пріѣзда г. Беневоленскаго, Татьяна Борисовна, за чаемъ, велѣла племяннику показать гостю свои рисунки. «А онъ у васъ рисуетъ?» не безъ удивленія произнесъ г. Беневоленскій и съ участіемъ обратился къ Андрюшѣ. «Какъ же, рисуетъ», — сказала Татьяна Борисовна:—«такой охотникъ! и, вѣдь, одинъ, безъ учителя». — «Ахъ, покажите, покажите», — подхватилъ г. Беневоленскій. Андрюша, краснѣя и улыбаясь,

поднесъ гостю свою тетрадку. Г-нъ Беневоленскій началъ, съ видомъ знатока, ее перелистывать. «Хорошо, молодой человѣкъ»,—промолвилъ онъ наконецъ:—«хорошо, очень хорошо». И онъ погладилъ Андрюшу по головкѣ. Андрюша на-лету поцѣловалъ его руку. «Скажите, какой талантъ!... Поздравляю васъ, Татьяна Борисовна, поздравляю». — «Да что, Петръ Михайлычъ, здѣсь учителя не могу ему сыскать. Изъ города—дорогъ; у сосѣдей у Артамоновыхъ есть живописецъ и, говорятъ, отличный, да барыня ему запрещаетъ чужимъ людямъ уроки давать. Говоритъ, вкусъ себѣ испортитъ».—«Гмъ»,—произнесъ г. Беневоленскій, задумался и поглядѣлъ изъ-подлобья на Андрюшу. «Ну, мы объ этомъ потолкуемъ»,—прибавилъ онъ вдругъ и потеръ себѣ руки. Въ тотъ же день онъ попросилъ у Татьяны Борисовны позволенія поговорить съ ней наединѣ. Они заперлись. Черезъ полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вошелъ. Г-нъ Беневоленскій стоялъ у окна съ легкой краской на лицѣ и сіяющими глазами. Татьяна Борисовна сидѣла въ углу и утирала слезы. «Ну, Андрюша», — заговорила она наконецъ: — «благодари Петра Михайлыча; онъ беретъ тебя на свое попеченіе, увозитъ тебя въ Петербургъ». Андрюша такъ и замеръ на мѣстѣ. «Вы мнѣ скажите откровенно»,—началъ г. Беневоленскій голосомъ, исполненнымъ достоинства и снисходительности:—«желаете ли вы быть художникомъ, молодой человѣкъ, чувствуете-ли вы священное призваніе къ искусству?»—«Я желаю быть художникомъ, Петръ Михайлычъ»,—трепетно подтвердилъ Андрюша.—«Въ такомъ случаѣ я очень радъ. Вамъ, конечно,—продолжалъ г. Беневоленскій:—«тяжко будетъ разстаться съ вашей почтенной тётушкой; вы должны чувствовать къ ней живѣйшую благодарность».—«Я обожаю мою тетушку»,—прервалъ его Андрюша и заморгалъ глазами. «Ко-

нечно, конечно, это весьма понятно и дѣлаетъ вамъ много чести; но за-то, вообразите, какую радость со временемъ... ваши успѣхи....»—«Обними меня, Андрюша»,—пробормотала добрая помѣщица. Андрюша бросился ей на шею. «Ну, а теперь поблагодари своего благодѣтеля....» Андрюша обнялъ животъ г. Беневоленскаго, поднялся на цыпочки и досталъ-таки его руку, которую благодѣтель, правда, принималъ, но не слишкомъ спѣшилъ принять.... Надо-жъ потѣшить, удовлетворить ребенка, ну, и себя можно побаловать. Дня черезъ два г. Беневоленскій уѣхалъ и увезъ своего новаго питомца.

Въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ разлуки Андрюша писалъ довольно часто, прилагалъ иногда къ письмамъ рисунки. Г. Беневоленскій изрѣдка прибавлялъ также нѣсколько словъ отъ себя, бо̀льшей частью одобрительныхъ; потомъ письма рѣже стали, рѣже, наконецъ совсѣмъ прекратились. Цѣлый годъ безмолвствовалъ племянникъ; Татьяна Борисовна начинала уже безпокоиться, какъ вдругъ получила записочку слѣдующаго содержанія:

«Любезная тетушка!

«Четвертаго дня, Петра Михаиловича, моего покровителя, не стало. Жестокій ударъ паралича лишилъ меня сей послѣдней опоры. Конечно, мнѣ уже теперь двадцатый годъ пошелъ; въ теченіи семи лѣтъ я сдѣлалъ значительные успѣхи; я сильно надѣюсь на свой талантъ и могу посредствомъ его жить; я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мнѣ, на первый случай, 250 рублей ассигнаціями. Цѣлую ваши ручки и остаюсь» и т. д.

Татьяна Борисовна отправила къ племяннику 250 рублей. Черезъ два мѣсяца онъ потребовалъ еще; она собрала послѣднее и выслала еще. Не прошло шести недѣль послѣ вторичной присылки, онъ попросилъ въ тре-

*

тій разъ, будто на краски для портрета, заказаннаго ему княгиней Тертерешеневой. Татьяна Борисовна отказала. Въ такомъ случаѣ, написалъ онъ ей, я намѣренъ пріѣхать къ вамъ въ деревню для поправленія моего здоровья. И дѣйствительно, въ маѣ мѣсяцѣ того же года, Андрюша вернулся въ Малыя-Брыки.

Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человѣка болѣзненнаго и худого, а увидѣла малаго плечистаго, толстаго, съ лицомъ широкимъ и краснымъ, съ курчавыми и жирными волосами. Тоненькій и блѣдненькій Андрюша превратился въ дюжаго Андрея Иванова Бѣловзорова. Не одна наружность въ немъ измѣнилась. Щепетильную застѣнчивость, осторожность и опрятность прежнихъ лѣтъ замѣнило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; онъ на ходу качался вправо и влѣво, бросался въ кресла, обрушался на столъ, разваливался, зѣвалъ во все горло; съ тёткой, съ людьми обращался дерзко. Я, дескать, художникъ, вольный казакъ! Знай нашихъ! Бывало, по цѣлымъ днямъ кисти въ руки не беретъ; найдетъ на него такъ называемое вдохновенье—ломается, словно съ похмѣлья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловѣютъ; пустится толковать о своемъ талантѣ, о своихъ успѣхахъ, о томъ, какъ онъ развивается, идетъ впередъ.... На дѣлѣ же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невѣжда онъ былъ круглый, ничего не читалъ, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзія—вотъ его стихіи. Знай потряхивай кудрями да заливайся соловьемъ, да затягивайся Жуковымъ въ засосъ! Хороша русская удаль, да немногимъ она къ лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился нашъ Андрей Иванычъ у тётушки: даровой хлѣбъ видно по вкусу пришелся. На гостей наго-

нялъ онъ тоску смертельную. Сядетъ, бывало, за фортопьяны (у Татьяны Борисовны и фортопьяны водились) и начнетъ однимъ пальцемъ отыскивать «Тройку удалую»; аккорды беретъ, стучитъ по клавишамъ; по цѣлымъ часамъ мучительно завываетъ романсы Варламова: «У-единенная сосна», или: «Нѣтъ, докторъ, нѣтъ, не приходи», а у самого глаза заплыли жиромъ и щеки лоснятся, какъ барабанъ.... А то вдругъ грянетъ: «Уймитесь, волненія страсти».... Татьяна Борисовна такъ и вздрогнетъ.

— Удивительное дѣло,—замѣтила она мнѣ однажды:— какія нынѣче все пѣсни сочиняютъ, отчаянныя какія-то; въ мое время иначе сочиняли: и печальныя пѣсни были, а все пріятно было слушать.... Напримѣръ:

Прійди, прійди ко мнѣ на лугъ,
Гдѣ жду тебя напрасно;
Прійди, прійди ко мнѣ на лугъ,
Гдѣ слезы лью всечасно....
Увы, прійдешь ко мнѣ на лугъ,
Но будетъ поздно, милый другъ!

Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась.

— «Я стра-ажду, я стра-ажду», завылъ въ сосѣдней комнатѣ племянникъ.

— Полно тебѣ, Андрюша.

— «Душа изнываетъ въ разлу-укѣ», продолжалъ неугомонный пѣвецъ.

Татьяна Борисовна покачала головой.

— Охъ, ужъ эти мнѣ художники!...

Съ того времени прошелъ годъ. Бѣловзоровъ до сихъ поръ живетъ у тётушки и все собирается въ Петербургъ. Онъ въ деревнѣ сталъ поперекъ себя толще. Тётка—кто бы могъ это подумать — въ немъ души не чаетъ, а окрестныя дѣвицы въ него влюбляются....

Много прежнихъ знакомыхъ перестало ѣздить къ Татьянѣ Борисовнѣ.

СМЕРТЬ.

У МЕНЯ есть сосѣдъ, молодой хозяинъ и молодой охотникъ. Въ одно прекрасное іюльское утро заѣхалъ я къ нему верхомъ съ предложеніемъ отправиться вмѣстѣ на тетеревовъ. Онъ согласился. «Только», говоритъ, «поѣдемте по моимъ мелочамъ, къ Зушѣ; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лѣсъ? у меня его рубятъ».—«Поѣдемте». Онъ велѣлъ осѣдлать лошадь, надѣлъ зеленый сюртучокъ съ бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусомъ ягдташъ, серебряную флягу, накинулъ на плечо новенькое французское ружье, не безъ удовольствія повертѣлся передъ зеркаломъ и кликнулъ свою собаку Эсперансъ, подаренную ему кузиной, старой дѣвицей съ отличнымъ сердцемъ, но безъ волосъ. Мы отправились. Мой сосѣдъ взялъ съ собою десятскаго Архипа, толстаго и приземистаго мужика съ четвероугольнымъ лицомъ и допотопно-развитыми скулами, да недавно нанятаго управителя изъ остзейскихъ губерній, юношу лѣтъ девятнадцати, худого, бѣлокураго, подслѣповатаго, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фонъ-деръ-Кока. Мой сосѣдъ самъ недавно вступилъ во владѣніе имѣніемъ. Оно досталось ему въ наслѣдство отъ тётки, статской совѣтницы Кардонъ-Катаевой, необыкно-

венно-толстой женщины, которая, лежа въ постелѣ, продолжительно и жалобно кряхтѣла. Мы въѣхали въ «мелочá».— «Вы меня здѣсь подождите на полянкѣ», промолвилъ Ардаліонъ Михайлычъ (мой сосѣдъ), обратившись къ своимъ спутникамъ. Нѣмецъ поклонился, слѣзъ съ лошади, досталъ изъ кармана книжку, кажется, романъ Іоганны Шопенгауеръ, и присѣлъ подъ кустикъ; Архипъ остался на солнцѣ и въ теченіи часа не шевельнулся. Мы покружили по кустамъ и не нашли ни одного выводка. Ардаліонъ Михайлычъ объявилъ, что онъ намѣренъ отправиться въ лѣсъ. Мнѣ самому въ тотъ день что-то не вѣрилось въ успѣхъ охоты: я тоже поплелся вслѣдъ за нимъ. Мы вернулись на полянку. Нѣмецъ замѣтилъ страницу, всталъ, положилъ книгу въ карманъ и сѣлъ, не безъ труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала отъ малѣйшаго прикосновенія; Архипъ встрепенулся, задергалъ разомъ обоими поводьями, заболталъ ногами и сдвинулъ наконецъ съ мѣста свою ошеломленную и придавленную лошадёнку. Мы поѣхали.

Лѣсъ Ардаліона Михайлыча съ дѣтства былъ мнѣ знакóмъ. Вмѣстѣ съ моимъ французскимъ гувернеромъ m-r Désiré Fleury, добрѣйшимъ человѣкомъ (который, впрочемъ, чуть-было навсегда не испортилъ моего здоровья, заставляя меня по вечерамъ пить лекарство Леруа), часто хаживалъ я въ Чаплыгино. Весь этотъ лѣсъ состоялъ изъ какихъ-нибудь двухъ или трехъ-сотъ огромныхъ дубовъ и ясеней. Ихъ статные, могучіе стволы великолѣпно чернѣли на золотисто-прозрачной зелени орѣшниковъ и рябинъ; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и тамъ уже раскидывали шатромъ свои широкіе узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистомъ носились подъ неподвижными верхушками, пестрые дятлы крѣпко стучали по толстой корѣ; звучный напѣвъ чер-

наго дрозда внезапно раздавался въ густой листвѣ вслѣдъ за переливчатымъ крикомъ иволги; внизу, въ кустахъ, чирикали и пѣли малиновки, чижи и пѣночки; зяблики проворно бѣгали по дорожкамъ; бѣлякъ прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; краснобурая бѣлка рѣзво прыгала отъ дерева къ дереву и вдругъ садилась, поднявши хвостъ надъ головой. Въ травѣ, около высокихъ муравейниковъ, подъ легкой тѣнью вырѣзныхъ, красивыхъ листьевъ папоротника, цвѣли фіалки и ландыши, росли сыроѣшки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайкахъ, между широкими кустами, алѣла земляника.... А что въ лѣсу за тѣнь была! Въ самый жаръ, въ полдень—ночь настоящая: тишина, запахъ, свѣжесть.... Весело проводилъ я время въ Чаплыгинѣ, и отъ того, признаюсь, не безъ грустнаго чувства въѣхалъ я теперь въ слишкомъ знакомый мнѣ лѣсъ. Губительная, безснѣжная зима 40-го года не пощадила старыхъ моихъ друзей—дубовъ и ясеней; засохшіе, обнаженные, кое-гдѣ покрытые чахоточной зеленью, печально высились они надъ молодой рощей, которая «смѣнила ихъ, не замѣнивъ» *). Иные, еще обросшіе листьями внизу, словно съ упрекомъ и отчаяніемъ поднимали кверху свои безжизненныя, обломанныя вѣтви; у другихъ изъ листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по прежнему, торчали толстые, сухіе, мертвые сучья; съ иныхъ уже кора долой спадала; иные наконецъ вовсе повалились и гнили,

*) Въ 40-мъ году, при жесточайшихъ морозахъ, до самаго конца декабря не выпало снѣгу; зелень всѣ вымерзли, и много прекрасныхъ дубовыхъ лѣсовъ погубила эта безжалостная зима. Замѣнить ихъ трудно: производительная сила земли видимо скудѣетъ; на «заказанныхъ» (съ образами обойденныхъ) пустыряхъ, вмѣсто прежнихъ благородныхъ деревьевъ, сами-собою выростаютъ березы да осины; а иначе разводить рощи у насъ не умѣютъ.

словно трупы, на землѣ. Кто-бы могъ это предвидѣть—тѣни, въ Чаплыгинѣ, тѣни нигдѣ нельзя было найти! Что, думалъ я, глядя на умирающія деревья: чай, стыдно и горько вамъ?... Вспомнился мнѣ Кольцовъ:

Гдѣ-жъ дѣвалася
Рѣчь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Гдѣ-жъ теперь твоя
Мочь зеленая?...

— Какъ-же это, Ардаліонъ Михайлычъ,—началъ я:—отчего-жъ эти деревья на другой же годъ не срубили? Вѣдь, за нихъ теперь противъ прежняго десятой доли не дадутъ.

Онъ только плечами пожалъ.

— Спросили-бы тетушку;—а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

— Mein Gott! Mein Gott! — восклицалъ на каждомъ шагу фонъ-деръ-Кокъ.—Што са шалость! што са шалость.

— Какая шалость?—съ улыбкой замѣтилъ мой сосѣдъ.

— То-истъ, какъ шалко, я скасать хотѣлъ. (Извѣстно, что всѣ нѣмцы, одолѣвшіе наконецъ нашу букву «люди», удивительно на нее напираютъ.)

Особенно возбуждали его сожалѣніе лежавшіе на землѣ дубы,—и дѣйствительно: иной-бы мельникъ дорого за нихъ заплатилъ. За то десятскій Архипъ сохранялъ спокойствіе невозмутимое и не горевалъ нисколько; напротивъ, онъ даже не безъ удовольствія черезъ нихъ перескакивалъ и кнутикомъ по нимъ постегивалъ.

Мы пробирались на мѣсто рубки, какъ вдругъ, вслѣдъ за шумомъ упавшаго дерева, раздался крикъ и говоръ, и черезъ нѣсколько мгновеній намъ на-встрѣчу изъ чащи выскочилъ молодой мужикъ, блѣдный и растрепанный.

— Что такое!—куда ты бѣжишь? — спросилъ его Ардаліонъ Михайлычъ.

Онъ тотчасъ остановился.

— Ахъ, батюшка, Ардаліонъ Михайлычъ, бѣда.

— Что̀ такое?

— Максима, батюшка, деревомъ пришибло.

— Какимъ это образомъ?... Подрядчика Максима?

— Подрядчика, батюшка. Стали мы ясень рубить, а онъ стоитъ да смотритъ.... Стоялъ, стоялъ да и пойди за водой къ колодцу: слышь, пить захотѣлось. Какъ вдругъ ясень затрещитъ, да прямо на него. Мы ему кричимъ: бѣги, бѣги, бѣги... Ему-бы въ сторону броситься, а онъ возьми да прямо и побѣги.... заробѣлъ знать. Ясень-то его верхними сучьями и накрылъ. И отчего такъ скоро повалился,—Господь его знаетъ.... Развѣ сердцевина гнила была.

— Ну, и убило Максима?

— Убило, батюшка.

— До смерти?

— Нѣтъ, батюшка, еще живъ, — да что: ноги и руки ему перешибло. Я вотъ за Селиверстычемъ бѣжалъ, за лекаремъ.

Ардаліонъ Михайлычъ приказалъ десятскому скакать въ деревню за Селиверстычемъ, а самъ крупной рысью поѣхалъ впередъ на ссѣчки.... Я за нимъ.

Мы нашли бѣднаго Максима на землѣ. Человѣкъ десять мужиковъ стояло около него. Мы слѣзли съ лошадей. Онъ почти не стоналъ, изрѣдка раскрывалъ и расширялъ глаза, словно съ удивленіемъ глядѣлъ кругомъ и покусывалъ посинѣвшія губы.... Подбородокъ у него дрожалъ, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: онъ умиралъ. Легкая тѣнь молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись къ нему. Онъ узналъ Ардаліона Михайлыча.

— Батюшка, — заговорилъ онъ едва внятно: — за по-

помъ.... послать.... прикажите.... Господь.... меня наказалъ.... ноги, руки, все перебито.... сегодня.... воскресенье.... а я.... а я.... вотъ.... ребятъ-то не распустилъ.

Онъ молчалъ. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои.... женѣ.... женѣ дайте.... за вычетомъ.... вотъ Онисимъ знаетъ.... кому я.... что̀ долженъ....

— Мы за лекаремъ послали, Максимъ, — заговорилъ мой сосѣдъ:—можетъ быть, ты еще и не умрешь.

Онъ раскрылъ-было глаза и съ усиліемъ поднялъ брови и вѣки.

— Нѣтъ, умру. Вотъ.... вотъ подступаетъ, вотъ она, вотъ.... Простите мнѣ, ребята, коли въ чемъ....

— Богъ тебя проститъ, Максимъ Андреичъ, — глухо заговорили мужики въ одинъ голосъ и шапки сняли: — прости ты насъ.

Онъ вдругъ отчаянно потрясъ головой, тоскливо выпятилъ грудь и опустился опять.

— Нельзя же ему однако тутъ умирать,—воскликнулъ Ардаліонъ Михайлычъ:—ребята, давайте-ка вонъ съ телѣги рогожку, снесемте его въ больницу.

Человѣка два бросились къ телѣгѣ.

— Я у Ефима.... Сычовскаго....—залепеталъ умирающій:—лошадь вчера купилъ.... задатокъ далъ.... такъ лошадь-то моя.... женѣ ее.... тоже....

Стали его класть на рогожу.... онъ затрепеталъ весь, какъ застрѣленная птица, и выпрямился....

— Умеръ,—пробормотали мужики.

Мы молча сѣли на лошадей и отъѣхали.

Смерть бѣднаго Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умираетъ русскій мужикъ! Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ, ни тупо-

стью; онъ умираетъ словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ у другого моего сосѣда въ деревнѣ мужикъ въ овинѣ обгорѣлъ. (Онъ такъ-бы и остался въ овинѣ, да заѣзжій мѣщанинъ его полуживого вытащилъ: окунулся въ кадку съ водой, да съ разбѣга и вышибъ дверь подъ пылавшимъ навѣсомъ.) Я зашелъ къ нему въ избу. Темно въ избѣ, душно, дымно. Спрашиваю, гдѣ больной?—«А вонъ, батюшка, на лежанкѣ»,—отвѣчаетъ мнѣ нараспѣвъ подгорюнившаяся баба. Подхожу—лежитъ мужикъ, тулупомъ покрылся, дышетъ тяжко. «Что, какъ ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочетъ, а весь въ ранахъ, при смерти. «Лежи, лежи, лежи.... Ну, что? какъ?»—«Вѣстимо, плохо»,—говоритъ.—«Больно тебѣ?»—Молчитъ.—«Не нужно-ли чего?» — Молчитъ. — «Не прислать-ли тебѣ чаю, что-ли?»—«Не надо».—Я отошелъ отъ него, присѣлъ на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса,—гробовое молчаніе въ избѣ. Въ углу, за столомъ подъ образами, прячется дѣвочка лѣтъ пяти, хлѣбъ ѣстъ. Мать изрѣдка грозится на нее. Въ сѣняхъ ходятъ, стучатъ, разговариваютъ: братнина жена капусту рубитъ. — «А, Аксинья!» —проговорилъ наконецъ больной. — «Чего?»—«Квасу дай».—Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шопотомъ: причастили его?—«Причастили».—Ну, стало быть, и все въ порядкѣ: ждетъ смерти, да и только. Я не вытерпѣлъ и вышелъ....

А то, помнится, завернулъ я однажды въ больницу села Красногорья, къ знакомому мнѣ фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница эта состояла изъ бывшаго господскаго флигеля; устроила ее сама помѣщица, то-есть велѣла прибить надъ дверью голубую доску съ надписью бѣлыми буквами:

«Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбомъ для записыванія именъ больныхъ. На первомъ листкѣ этого альбома одинъ изъ лизоблюдовъ и прислужниковъ благодѣтельной помѣщицы начерталъ слѣдующіе стишки:

«Dans ces beaux lieux, où règne l'allégresse,
«Ce temple fut ouvert par la Beauté;
«De vos seigneurs admirez la tendresse,
«Bons habitants de Krasnogoriè»!

— а другой господинъ внизу приписалъ:

«Et moi aussi j'aime la nature!»

«Jean Kobyliatnikoff».

Фельдшеръ купилъ на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народъ Божій. Кромѣ его, при больницѣ состояло два человѣка: подверженный сумасшествію рѣщикъ Павелъ и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечныхъ больныхъ. Сумасшедшій рѣщикъ былъ на видъ угрюмъ и скупъ на слова; по ночамъ пѣлъ пѣсню «о прекрасной Венерѣ», и къ каждому проѣзжему подходилъ съ просьбой позволить ему жениться на какой-то дѣвкѣ Маланьѣ, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшекъ. Вотъ, сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было-разговаривать о послѣдней нашей охотѣ, какъ вдругъ на дворъ въѣхала телѣга, запряженная необыкновенно-толстой сивой лошадью, какія только бываютъ у мельниковъ. Въ телѣгѣ сидѣлъ плотный мужикъ въ новомъ армякѣ, съ разноцвѣтной бородой.—«А, Василій Дмитричъ»,—закричалъ изъ окна Капитонъ:—«милости просимъ.... Лыбовшинскій мельникъ», — шепнулъ онъ мнѣ. Мужикъ, покряхтывая, слѣзъ съ телѣги, вошелъ въ фельдшерову ком-

нату, поискалъ глазами образа и перекрестился. — «Ну, что̀, Василій Дмитричъ, что̀ новенькаго?.... Да вы, должно быть, не здоровы: лицо у васъ нехорошо».—«Да, Капитонъ Тимоѳеичъ, не ладно что̀-то.»—«Что̀ съ вами?»—«Да вотъ что, Капитонъ Тимоѳеичъ. Недавно купилъ я въ городѣ жернова; ну, привезъ ихъ домой, да какъ сталъ ихъ съ телѣги-то выкладывать, понатужился знать, что̀ли, въ черевѣ-то у меня такъ йокнуло, словно оборвалось что̀.... да вотъ съ тѣхъ поръ все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно».—«Гмъ», — промолвилъ Капитонъ и понюхалъ табаку: «значитъ, грыжа. А давно съ вами это приключилось?» — «Да десятый денёкъ пошелъ».—«Десятый?» (Фельдшеръ нотянулъ въ себя сквозь зубы воздухъ и головой покачалъ.) «Позволь-ка себя пощупать».—«Ну, Василій Дмитричъ», — проговорилъ онъ наконецъ: «жаль мнѣ тебя сердечнаго, а вѣдь дѣло-то твое неладно; ты боленъ не на шутку; оставайся-ка здѣсь у меня; я съ своей стороны все стараніе приложу, а, впрочемъ, ни за что не ручаюсь». — «Будто такъ худо?» — пробормоталъ изумленный мельникъ.—«Да, Василій Дмитричъ, худо; пришли-бы вы ко мнѣ деньками двумя пораньше,—и ничего-бы, какъ рукой-бы снялъ; а теперь у васъ воспаленіе, вонъ что; того и гляди, антоновъ-огонь сдѣлается».—«Да быть не можетъ, Капитонъ Тимоѳеичъ».—«Ужъ я вамъ говорю». — «Да какъ-же это!»—(Фельдшеръ плечами пожалъ.)—«И умирать мнѣ изъ-за этакой дряни?» — «Этого я не говорю.... а только оставайтесь здѣсь». Мужикъ подумалъ, подумалъ, посмотрѣлъ на полъ, потомъ на насъ взглянулъ, почесалъ въ затылкѣ, да за шапку. «Куда-же вы, Василій Дмитричъ?»—«Куда? вѣстимо куда, — домой, коли такъ плохо. Распорядиться слѣдуетъ, коли такъ». — «Да вы себѣ бѣды надѣлаете, Василій Дмитричъ, помилуйте; я и такъ удивляюсь, какъ

вы доѣхали? останьтесь».—«Нѣтъ, братъ, Капитонъ Тимоѳеичъ, ужъ умирать, такъ дома умирать; а то что-жъ я здѣсь умру,—у меня дома и Господь знаетъ что приключится».—«Еще неизвѣстно, Василій Дмитричъ, какъ дѣло-то пойдетъ.... Конечно, опасно, очень опасно, спору нѣтъ.... да отъ того-то и слѣдуетъ вамъ остаться». (Мужикъ головой покачалъ.)—«Нѣтъ, Капитонъ Тимоѳеичъ, не останусь.... а лекарствецо развѣ пропишите».—«Лекарство одно не поможетъ».—«Не останусь, говорятъ».—«Ну, какъ хочешь.... чуръ потомъ не пенять!»

Фельдшеръ вырвалъ страничку изъ альбома и, прописавъ рецептъ, посовѣтовалъ, что̀ еще дѣлать. Мужикъ взялъ бумажку, далъ Капитону полтинникъ, вышелъ изъ комнаты и сѣлъ на телѣгу.—«Ну, прощайте, Капитонъ Тимоѳеичъ, не поминайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте, коли что̀»....—«Эй, останься, Василій!»—Мужикъ только головой тряхнулъ, ударилъ возжой по лошади и съѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ слѣдъ. Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадью и со встрѣчными раскланивался.... На четвертый день онъ умеръ.

Вообще, удивительно умираютъ русскіе люди. Много покойниковъ приходитъ мнѣ теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой пріятель, недоучившійся студентъ Авениръ Сорокоумовъ, прекрасный, благороднѣйшій человѣкъ! Вижу снова твое чахоточное, зеленоватое лицо, твои жидкіе русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взглядъ, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голосъ. Жилъ ты у великороссійскаго помѣщика Гура Крупяникова, училъ его дѣтей Фофу и Зёзю русской грамотѣ, географіи и исторіи, терпѣливо сносилъ тяжелыя шутки самого Гура, грубыя любезности

дворецкаго, пошлыя шалости злыхъ мальчишекъ, не безъ горькой улыбки, но и безъ ропота исполнялъ прихотливыя требованія скучающей барыни; за то, бывало, какъ ты отдыхалъ, какъ ты блаженствовалъ вечеромъ, послѣ ужина, когда, отдѣлавшись наконецъ отъ всѣхъ обязанностей и занятій, ты садился передъ окномъ, задумчиво закуривалъ трубку, или съ жадностью перелистывалъ изуродованный и засаленный нумеръ толстаго журнала, занесенный изъ города землемѣромъ, такимъ же бездомнымъ горемыкою, какъ ты! Какъ нравились тебѣ тогда всякіе стихи и всякія повѣсти, какъ легко навертывались слезы на твои глаза, съ какимъ удовольствіемъ ты смѣялся, какою искреннею любовью къ людямъ, какимъ благороднымъ сочувствіемъ ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески-чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишнимъ остроуміемъ; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежаніемъ; въ университетѣ считался ты однимъ изъ самыхъ плохихъ студентовъ; на лекціяхъ ты спалъ, на экзаменахъ—молчалъ торжественно; но у кого сіяли радостью глаза, у кого захватывало дыханіе отъ успѣха, отъ удачи товарища?—У Авенира.... Кто слѣпо вѣровалъ въ высокое призваніе друзей своихъ, кто превозносилъ ихъ съ гордостью, защищалъ ихъ съ ожесточеніемъ? Кто не зналъ ни зависти, ни самолюбія, кто безкорыстно жертвовалъ собою, кто охотно подчинялся людямъ, не стоившимъ подмѣтокъ его.... Все ты, все ты, нашъ добрый Авениръ! Помню: съ сокрушеннымъ сердцемъ разставался ты съ товарищами, уѣзжая на «кондицію»; злыя предчувствія тебя мучили.... И точно: въ деревнѣ плохо тебѣ пришлось; въ деревнѣ тебѣ некого было благоговѣйно выслушивать, некому удивляться, некого любить.... И степняки, и образованные помѣщики обходились съ тобою, какъ съ учителемъ: одни—

грубо, другіе — небрежно. Притомъ же ты и фигурой не бралъ; робѣлъ, краснѣлъ, потѣлъ, заикался.... Даже здоровья твоего не поправилъ сельскій воздухъ: истаялъ ты какъ свѣчка, бѣднякъ! Правда: комнатка твоя выходила въ садъ; черемухи, яблони, липы сыпали тебѣ на столъ, на чернильницу, на книги свои легкіе цвѣтки; на стѣнѣ висѣла голубая шелковая подушечка для часовъ, подаренная тебѣ въ прощальный часъ добренькой, чувствительной нѣмочкой, гувернанткой съ бѣлокурыми кудрями и синими глазками; иногда заѣзжалъ къ тебѣ старый другъ изъ Москвы и приводилъ тебя въ восторгъ чужими или даже своими стихами; но одиночество, но невыносимое рабство учительскаго званія, невозможность освобожденія, но безконечныя осени и зимы, но болѣзнь неотступная.... Бѣдный, бѣдный Авениръ!

Я посѣтилъ Сорокоумова не задолго до его смерти. Онъ уже почти ходить не могъ. Помѣщикъ Гуръ Крупяниковъ не выгонялъ его изъ дому, но жалованье нересталъ ему выдавать и другого учителя нанялъ Зёзѣ.... Фофу отдали въ кадетскій корпусъ. Авениръ сидѣлъ возлѣ окна въ старыхъ вольтеровскихъ креслахъ. Погода была чудная. Свѣтлое осеннее небо весело синѣло надъ темно-бурою грядой обнаженныхъ липъ; кое-гдѣ шевелились и лепетали на нихъ послѣдніе, ярко-золотые листья. Прохваченная морозомъ земля потѣла и оттаявала на солнцѣ; его косые, румяные лучи били вскользь по блѣдной травѣ; въ воздухѣ чудился легкій трескъ; ясно и внятно звучали въ саду голоса работниковъ. На Авенирѣ былъ ветхій бухарскій халатъ; зеленый шейный платокъ бросалъ мертвенный оттѣнокъ на его страшно-исхудавшее лицо. Онъ весьма мнѣ обрадовался, протянулъ руку, заговорилъ и закашлялся. Я далъ ему успокоиться, подсѣлъ къ нему.... На колѣняхъ у Авенира лежала тетрадка стихотвореній Коль-

дарь мой, что пріятель вашъ, у меня въ домѣ проживавшій студентъ, г. Авениръ Сорокоумовъ, четвертаго дня въ два часа пополудни скончался, и сегодня на мой счетъ въ приходской моей церкви похороненъ. Просилъ онъ меня переслать къ вамъ приложенныя при семъ книги и тетради. Денегъ у него оказалось 22 рубля съ полтиной, которые, вмѣстѣ съ прочими его вещами, доставятся по принадлежности родственникамъ. Скончался вашъ другъ въ совершенной памяти и можно сказать съ таковою же безчувственностію, не изъявляя никакихъ знаковъ сожалѣнія, даже когда мы цѣлымъ семействомъ съ нимъ прощались. Супруга моя, Клеопатра Александровна, вамъ кланяется. Смерть вашего пріятеля не могла не подѣйствовать на ея нервы; что́ же до меня касается, то я, слава Богу, здоровъ и честь имѣю пребыть

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою
Г. Крупяниковъ».

Много другихъ еще примѣровъ въ голову приходитъ,— да всего не перескажешь. Ограничусь однимъ.

Старушка-помѣщица при мнѣ умирала. Священникъ сталъ читать надъ ней отходную, да вдругъ замѣтилъ, что больная-то дѣйствительно отходитъ и поскорѣе подалъ ей крестъ. Помѣщица съ неудовольствіемъ отодвинулась. «Куда спѣшишь, батюшка, — проговорила она коснѣющимъ языкомъ:—«успѣешь».... Она приложилась, засунула-было руку подъ подушку и испустила послѣдній вздохъ. Подъ подушкой лежалъ цѣлковый: она хотѣла заплатить священнику за свою собственную отходную....

Да, удивительно умираютъ русскіе люди!

ПѢВЦЫ.

НЕБОЛЬШОЕ сельцо Колотовка, принадлежавшее нѣкогда помѣщицѣ, за лихой и бойкій нравъ прозванной въ околоткѣ Стрыганихой (настоящее имя ея осталось неизвѣстнымъ), а нынѣ состоящее за какимъ-то петербургскимъ нѣмцемъ, лежитъ на скатѣ голаго холма, съ верху до низу разсѣченнаго страшнымъ оврагомъ, который, зіяя какъ бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой серединѣ улицы, и пуще рѣки,—черезъ рѣку можмо по крайней мѣрѣ навести мостъ,—раздѣляетъ обѣ стороны бѣдной деревушки. Нѣсколько тощихъ ракитъ боязливо спускаются по песчанымъ его бокамъ; на самомъ днѣ, сухомъ и желтомъ, какъ мѣдь, лежатъ огромныя плиты глинистаго камня. Невеселый видъ, нечего сказать,—а между тѣмъ всѣмъ окрестнымъ жителямъ хорошо извѣстна дорога въ Колотовку: они ѣздятъ туда охотно и часто.

У самой головы оврага, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ той точки, гдѣ онъ начинается узкой трещиной, стоитъ небольшая четвероугольная избушка, стоитъ одна, отдѣльно отъ другихъ. Она крыта соломой, съ трубой; одно окно, словно зоркій глазъ, обращено къ оврагу и въ зимніе вечера, освѣщенное изнутри, далеко виднѣется въ туск-

ломъ туманѣ мороза и не одному проѣзжему мужичку мерцаетъ путеводной звѣздою. Надъ дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка—кабакъ, прозванный «Притыннымъ» *). Въ этомъ кабакѣ вино продается, вѣроятно, не дешевле положенной цѣны, но посѣщается онъ гораздо прилежнѣе, чѣмъ всѣ окрестныя заведенія такого же рода. Причиной этому цѣловальникъ Николай Иванычъ.

Николай Иванычъ—нѣкогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже посѣдѣвшій мужчина съ заплывшимъ лицомъ, хитро-добродушными глазками и жирнымъ лбомъ, перетянутымъ морщинами, словно нитками,—уже болѣе двадцати лѣтъ проживаетъ въ Колотовкѣ. Николай Иванычъ человѣкъ расторопный и смѣтливый, какъ бо̀льшая часть цѣловальниковъ. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, онъ обладаетъ даромъ привлекать и удерживать у себя гостей, которымъ какъ-то весело сидѣть передъ его стойкой, подъ спокойнымъ и привѣтливымъ, хотя зоркимъ взглядомъ флегматическаго хозяина. У него много здраваго смысла; ему хорошо знако̀мъ и помѣщичій бытъ, и крестьянскій, и мѣщанскій; въ трудныхъ случаяхъ онъ могъ бы подать неглупый совѣтъ, но, какъ человѣкъ осторожный и эгоистъ, предпочитаетъ оставаться въ сторонѣ, и развѣ только отдаленными, словно безъ всякаго намѣренія произнесенными намеками наводитъ своихъ посѣтителей—и то́ любимыхъ имъ посѣтителей—на путь истины. Онъ знаетъ толкъ во всемъ, что̀ важно или занимательно для русскаго человѣка: въ лошадахъ и въ скотинѣ, въ лѣсѣ, въ кирпичахъ, въ посудѣ, въ красномъ товарѣ и въ кожевенномъ, въ пѣсняхъ и пляскахъ. Когда у него нѣтъ посѣщенія, онъ обыкновенно сидитъ, какъ

*) Притыннымъ называется всякое мѣсто, куда охотно сходятся, всякое пріятное мѣсто.

мѣшокъ, на землѣ передъ дверью своей избы, подвернувъ подъ себя свои тонкія ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всѣми прохожими. Много видалъ онъ на своемъ вѣку, пережилъ не одинъ десятокъ мелкихъ дворянъ, заѣзжавшихъ къ нему за «очищеннымъ», знаетъ все, что̀ дѣлается на сто верстъ кругомъ, и никогда не пробалтывается, не показываетъ даже виду, что ему и то извѣстно, чего не подозрѣваетъ самый проницательный становой. Знай-себѣ помалчиваетъ, да посмѣивается, да стаканчиками пошевеливаетъ. Его сосѣди уважаютъ: штатскій генералъ Щерепетенко, первый по чину владѣлецъ въ уѣздѣ, всякій разъ снисходительно ему кланяется, когда проѣзжаетъ мимо его домика. Николай Иванычъ человѣкъ со вліяніемъ: онъ извѣстнаго конокрада заставилъ возвратить лошадь, которую тотъ свелъ со двора у одного изъ его знакомыхъ, образумилъ мужиковъ сосѣдней деревни, не хотѣвшихъ принять новаго управляющаго, и т. д. Впрочемъ, не должно думать, чтобы онъ это дѣлалъ изъ любви къ справедливости, изъ усердія къ ближнимъ — нѣтъ! онъ просто старается предупредить все то, что̀ можетъ какъ-нибудь нарушить его спокойствіе. Николай Иванычъ женатъ, и дѣти у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мѣщанка, въ послѣднее время тоже нѣсколько отяжелѣла тѣломъ, подобно своему мужу. Онъ во всемъ на нее полагается, и деньги у ней подъ ключемъ. Пьяницы крикуны ея боятся; она ихъ не любитъ: выгоды отъ нихъ мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорѣе по сердцу. Дѣти Николая Иваныча еще малы; первыя всѣ перемерли, но оставшіяся пошли въ родителей: весело глядѣть на умныя личики этихъ здоровыхъ ребятъ.

Былъ невыносимо-жаркій іюльскій день, когда я, медленно передвигая ноги, вмѣстѣ съ моей собакой подни-

мался вдоль Колотовскаго оврага въ направленіи Притынаго-Кабачка. Солнце разгоралось на небѣ, какъ-бы свирѣпѣя; парило и пекло неотступно; воздухъ былъ весь пропитанъ душной пылью. Покрытые лоскомъ грачи и вороны, разинувъ носы, жалобно глядѣли па проходящихъ, словно прося ихъ участья; одни воробьи не горевали и, распуша перушки, еще яростнѣе прежняго чирикали и дрались по заборамъ, дружно взлетали съ пыльной дороги, сѣрыми тучами носились надъ зелеными коноплянниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: въ Колотовкѣ, какъ и во многихъ другихъ степныхъ деревняхъ, мужики, за неимѣньемъ ключей и колодцовъ, пьютъ какую-то жидкую грязцу изъ пруда.... Но кто-же назоветъ это отвратительное пойло водою? Я хотѣлъ спросить у Николая Иваныча стаканъ пива или квасу.

Признаться сказать, ни въ какое время года Колотовка не представляетъ отраднаго зрѣлища; но особенно грустное чувство возбуждаетъ она, когда іюльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляетъ и бурыя, полуразметанныя крыши домовъ, и этотъ глубокій оврагъ, и выжженный запыленный выгонъ, по которому безнадежно скитаются худыя, длинноногія курицы, и сѣрый осиновый срубъ съ дырами вмѣсто оконъ, остатокъ прежняго барскаго дома, кругомъ заросшій крапивой, бурьяномъ и полынью, и покрытый гусинымъ пухомъ, черный, словно раскаленный прудъ, съ каймой изъ полувысохшей грязи и сбитой на бокъ плотиной, возлѣ которой, на мелко истоптанной, пепеловидной землѣ, овцы, едва дыша и чихая отъ жара, печально тѣснятся другъ къ дружкѣ и съ унылымъ терпѣньемъ наклоняютъ головы какъ можно ниже, какъ будто выжидая, когда-жъ пройдетъ, наконецъ, этотъ невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я къ жилищу Николая Иваныча, воз-

буждая, какъ водится, въ ребятишкахъ изумленіе, доходившее до напряженно-безсмысленнаго созерцанія, въ собакахъ негодованіе, выражавшееся лаемъ, до того хриплымъ и злобнымъ, что, казалось, у нихъ отрывалась вся внутренность, и онѣ сами потомъ кашляли и задыхались,—какъ вдругъ на порогѣ кабачка показался мужчина высокаго роста, безъ шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубымъ кушачкомъ. На видъ онъ казался дворовымъ; густые сѣдые волосы въ безпорядкѣ вздымались надъ сухимъ и сморщеннымъ его лицомъ. Онъ звалъ кого-то, торопливо дѣйствуя руками, которыя очевидно размахивались гораздо далѣе, чѣмъ онъ самъ того желалъ. Замѣтно было, что онъ уже успѣлъ выпить.

— Иди, иди-же!—залепеталъ онъ, съ усиліемъ поднимая густыя брови: — иди, Моргачъ, иди! экой ты, братецъ, ползешь, право слово. Это не хорошо, братецъ. Тутъ ждутъ тебя, а ты вотъ ползешь.... Иди.

— Ну, иду, иду,—раздался дребезжащій голосъ, и изъза избы на-право показался человѣкъ низенькій, толстый и хромой. На немъ была довольно опрятная, суконная чуйка, вдѣтая на одинъ рукавъ; высокая, остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выраженіе лукавое и насмѣшливое. Его маленькіе, жолтые глазки такъ и бѣгали, съ тонкихъ губъ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а носъ, острый и длинный, нахально выдвигался впередъ, какъ руль. — Иду, любезный, — продолжалъ онъ, ковыляя въ направленіи питейнаго заведенья: — зачѣмъ ты меня зовешь?... Кто меня ждетъ?

— Зачѣмъ я тебя зову? — сказалъ съ укоризной человѣкъ во фризовой шинели.—Экой ты, Моргачъ, чудной, братецъ: тебя зовутъ въ кабакъ, а ты еще спрашиваешь: зачѣмъ? А ждутъ тебя все люди добрые: Турокъ-Яшка,

да Дикій-Баринъ, да рядчикъ съ Жиздры. Яшка-то съ рядчикомъ объ закладъ побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолѣетъ, лучше споетъ, то-есть.... понимаешь?

— Яшка пѣть будетъ? съ живостью проговорилъ человѣкъ, прозванный Моргачомъ. — И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру,—съ достоинствомъ отвѣчалъ Обалдуй:— а ты брешешь. Стало быть, будетъ пѣть, коли объ закладъ побился, божья-коровка ты этакая, плутъ ты этакой, Моргачъ!

— Ну, пойдемъ, простота,—возразилъ Моргачъ.

— Ну, поцѣлуй-же меня, по крайней мѣрѣ, душа ты моя,—залепеталъ Обалдуй, широко раскрывъ объятія.

— Вишь Езопъ изнѣженный,—презрительно отвѣтилъ Моргачъ, отталкивая его локтемъ, и оба, нагнувшись, вошли въ низенькую дверь.

Слышанный мною разговоръ сильно возбудилъ мое любопытство. Ужъ не разъ доходили до меня слухи объ Яшкѣ-Туркѣ, какъ о лучшемъ пѣвцѣ въ околоткѣ, и вдругъ мнѣ представился случай услышать его въ состязаніи съ другимъ мастеромъ. Я удвоилъ шаги и вошелъ въ заведеніе.

Вѣроятно, не многіе изъ моихъ читателей имѣли случай заглядывать въ деревенскіе кабаки; но нашъ братъ, охотникъ, куда не заходитъ. Устройство ихъ чрезвычайно просто. Они состоятъ обыкновенно изъ темныхъ сѣней и бѣлой избы, раздѣленной на-двое перегородкой, за которую никто изъ посѣтителей не имѣетъ права заходить. Въ этой перегородкѣ, надъ широкимъ дубовымъ столомъ, продѣлано большое, продольное отверстіе. На этомъ столѣ или стойкѣ продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядкомъ стоятъ на полкахъ, прямо про-

тивъ отверстія. Въ передней части избы, предоставленной посѣтителямъ, находятся лавки, двѣ, три пустыя бочки, угловой столъ. Деревенскіе кабаки бо́льшей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на ихъ бревенчатыхъ стѣнахъ какихъ-нибудь ярко раскрашенныхъ лубочныхъ картинъ, безъ которыхъ рѣдкая изба обходится.

Когда я вошелъ въ Притынный-Кабачокъ, въ немъ уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, какъ водится, почти во всю ширину отверстія, стоялъ Николай Иванычъ, въ пестрой ситцевой рубахѣ, и, съ лѣнивой усмѣшкой на пухлыхъ щекахъ, наливалъ своей полной и бѣлой рукой два стакана вина вошедшимъ пріятелямъ, Моргачу и Обалдую; а за нимъ въ углу, возлѣ окна, виднѣлась его востроглазая жена. По серединѣ комнаты стоялъ Яшка-Турокъ, худой и стройный человѣкъ лѣтъ двадцати-трехъ, одѣтый въ долгополый нанковый кафтанъ голубого цвѣта. Онъ смотрѣлъ удалымъ фабричнымъ малымъ и, казалось, не могъ похвастаться отличнымъ здоровьемъ. Его впалыя щеки, большіе, безпокойные сѣрые глаза, прямой носъ съ тонкими, подвижными ноздрями, бѣлый покатый лобъ съ закинутыми назадъ свѣтло-русыми кудрями, крупныя, но красивыя, выразительныя губы — все его лицо изобличало человѣка впечатлительнаго и страстнаго. Онъ былъ въ большомъ волненьи: мигалъ глазами, неровно дышалъ, руки его дрожали какъ въ лихорадкѣ, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая такъ знакома всѣмъ людямъ, говорящимъ или поющимъ передъ собраніемъ. Подлѣ него стоялъ мужчина лѣтъ сорока, широкоплечій, широкоскулый, съ низкимъ лбомъ, узкими татарскими глазами, короткимъ и плоскимъ носомъ, четвероугольнымъ подбородкомъ и черными, блестящими

волосами, жосткими какъ щетина. Выраженіе его смуглаго съ свинцовымъ отливомъ лица, особенно его блѣдныхъ губъ, можно было бы назвать почти свирѣпымъ, еслибъ оно не было такъ спокойно-задумчиво. Онъ почти не шевелился и только медленно поглядывалъ кругомъ, какъ быкъ изъ-подъ ярма. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то поношенный сюртукъ съ мѣдными, гладкими пуговицами; старый черный шелковый платокъ окутывалъ его огромную шею. Звали его Дикимъ-Бариномъ. Прямо противъ него, на лавкѣ подъ образами, сидѣлъ соперникъ Яшки — рядчикъ изъ Жиздры: это былъ невысокаго роста, плотный мужчина лѣтъ тридцати, рябой и курчавый, съ тупымъ вздернутымъ носомъ, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Онъ бойко поглядывалъ кругомъ, подсунувъ подъ себя руки, безпечно болталъ и постукивалъ ногами, обутыми въ щегольскіе сапоги съ оторочкой. На немъ былъ новый, тонкій армякъ изъ сѣраго сукна съ плисовымъ воротникомъ, отъ котораго рѣзко отдѣлялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокругъ горла. Въ противоположномъ углу, направо отъ двери, сидѣлъ за столомъ какой-то мужичокъ въ узкой, изношенной свитѣ, съ огромной дырой на плечѣ. Солнечный свѣтъ струился жидкимъ желтоватымъ потокомъ сквозь запыленныя стекла двухъ небольшихъ окошекъ и, казалось, не могъ побѣдить обычной темноты комнаты: всѣ предметы были освѣщены скупо, словно пятнами. За то въ ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня съ плечъ, какъ только я переступилъ порогъ.

Мой приходъ—я это могъ замѣтить—сначала нѣсколько смутилъ гостей Николая Иваныча; но, увидѣвъ, что онъ поклонился мнѣ, какъ знакомому человѣку, они успокоились и уже болѣе не обращали на меня вниманія. Я спро-

силъ себѣ пива и сѣлъ въ уголокъ, возлѣ мужичка въ изорванной свитѣ.

— Ну, что-жъ! — возопилъ вдругъ Обалдуй, выпивъ духомъ стаканъ вина и сопровождая свое восклицаніе тѣми странными размахиваніями рукъ, безъ которыхъ онъ, повидимому, не произносилъ ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать такъ начинать. А? Яша?...

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватилъ Николай Иванычъ.

— Начнемъ, пожалуй,—хладнокровно и съ самоувѣренной улыбкой промолвилъ рядчикъ:—я готовъ.

— И я готовъ,—съ волненіемъ произнесъ Яковъ.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищалъ Моргачъ.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желаніе, никто не начиналъ; рядчикъ даже не приподнялся съ лавки,— всѣ словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и рѣзко проговорилъ Дикій-Баринъ.

Яковъ вздрогнулъ. Рядчикъ всталъ, осунулъ кушакъ и откашлялся.

— А кому начать?—спросилъ онъ слегка измѣнившимся голосомъ у Дикаго-Барина, который все продолжалъ стоять неподвижно по серединѣ комнаты, широко разставивъ толстыя ноги и почти по локоть засунувъ могучія руки въ карманы шароваръ.

— Тебѣ, тебѣ, рядчикъ,—залепеталъ Обалдуй;—тебѣ, братецъ.

Дикій-Баринъ посмотрѣлъ на него изъ-подлобья. Обалдуй слабо пискнулъ, замялся, глянулъ куда-то въ потолокъ, повелъ плечами и умолкъ.

— Жеребій кинуть,—съ разстановкой произнесъ Дикій-Баринъ:—да осьмуху на стойку.

Николай Иванычъ нагнулся, досталъ, кряхтя, съ полу осьмуху и поставилъ ее на столъ.

Дикій-Баринъ глянулъ на Якова и промолвилъ: «ну!»

Яковъ зарылся у себя въ карманахъ, досталъ грошъ и намѣтилъ его зубомъ. Рядчикъ вынулъ изъ-подъ полы кафтана новый кожаный кошелекъ, не торопясь распуталъ шнурокъ и, насыпавъ множество мелочи на руку, выбралъ новенькій грошъ. Обалдуй подставилъ свой затасканный картузъ съ обломаннымъ и отставшимъ козырькомъ; Яковъ кинулъ въ него свой грошъ, рядчикъ—свой.

— Тебѣ выбирать,—проговорилъ Дикій-Баринъ, обратившись къ Моргачу.

Моргачъ самодовольно усмѣхнулся, взялъ картузъ въ обѣ руки и началъ его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь другъ о друга. Я внимательно поглядѣлъ кругомъ: всѣ лица выражали напряженное ожиданіе; самъ Дикій-Баринъ прищурился; мой сосѣдъ, мужичокъ въ изорванной свиткѣ, и тотъ даже съ любопытствомъ вытянулъ шею. Моргачъ запустилъ руку въ картузъ и досталъ рядчиковъ грошъ: всѣ вздохнули. Яковъ покраснѣлъ, а рядчикъ провелъ рукой по волосамъ.

— Вѣдь я-же говорилъ, что тебѣ,—воскликнулъ Обалдуй:—я вѣдь говорилъ.

— Ну, ну, не «цыркай» *)!—презрительно замѣтилъ Дикій-Баринъ.—Начинай,—продолжалъ онъ, качнувъ головой на рядчика.

— Какую же мнѣ пѣсню пѣть? — спросилъ рядчикъ, приходя въ волненье.

— Какую хочешь,—отвѣчалъ Моргачъ.—Какую вздумается, ту и пой.

---

*) Цыркаютъ ястреба, когда они чего-нибудь испугаются.

— Конечно, какую хочешь,—прибавилъ Николай Иванычъ, медленно складывая руки на груди. — Въ этомъ тебѣ указу нѣту. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы ужъ потомъ рѣшимъ по совѣсти.

— Разумѣется, по совѣсти, — подхватилъ Обалдуй и полизалъ край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько,—заговорилъ рядчикъ, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся—начинай!—рѣшилъ Дикій-Баринъ и потупился.

Рядчикъ подумалъ немного, встряхнулъ головой и выступилъ впередъ. Яковъ впился въ него глазами....

Но прежде чѣмъ я приступлю къ описанію самаго состязанія, считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о каждомъ изъ дѣйствующихъ лицъ моего разсказа. Жизнь нѣкоторыхъ изъ нихъ была уже мнѣ извѣстна, когда я встрѣтился съ ними въ Притынномъ-Кабачкѣ; о другихъ я собралъ свѣдѣнія впослѣдствіи.

Начнемъ съ Обалдуя. Настоящее имя этого человѣка было Евграфъ Ивановъ; но никто во всемъ околоткѣ не звалъ его иначе какъ Обалдуемъ, и онъ самъ величалъ себя тѣмъ же прозвищемъ: такъ хорошо оно къ нему пристало. И дѣйствительно, оно какъ нельзя лучше шло къ его незначительнымъ, вѣчно встревоженнымъ чертамъ. Это былъ загулявшій, холостой дворовый человѣкъ, отъ котораго собственные господа давнымъ-давно отступились, и который, не имѣя никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находилъ однако средство каждый день покутить на чужой счетъ. У него было множество знакомыхъ, которые поили его виномъ и чаемъ, сами не зная зачѣмъ, потому что онъ не только не былъ въ обществѣ забавенъ, но даже, напротивъ, надоѣдалъ всѣмъ своей безсмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными тѣлодвиже-

ніями и безпрестаннымъ, неестественнымъ хохотомъ. Онъ не умѣлъ ни пѣть, ни плясать; отроду не сказалъ не только умнаго, даже путнаго слова: все «лотошилъ» да вралъ что ни попало—прямой Обалдуй! И между тѣмъ ни одной попойки на сорокъ верстъ кругомъ не обходилось безъ того, чтобы его долговязая фигура не вертѣлась тутъ же между гостями,—такъ ужъ къ нему привыкли и переносили его присутствіе, какъ неизбѣжное зло. Правда, обходились съ нимъ презрительно, но укрощать его нелѣпые порывы умѣлъ одинъ Дикій-Баринъ.

Моргачъ нисколько не походилъ на Обалдуя. Къ нему тоже шло названье Моргача, хотя онъ глазами не моргалъ болѣе другихъ людей; извѣстное дѣло: русскій народъ на прозвища мастеръ. Несмотря на мое старанье вывѣдать пообстоятельнѣе прошедшее этого человѣка, въ жизни его остались для меня—и, вѣроятно, для многихъ другихъ — темныя пятна, мѣста, какъ выражаются книжники, покрытыя глубокимъ мракомъ неизвѣстности. Я узналъ только, что онъ нѣкогда былъ кучеромъ у старой бездѣтной барыни, бѣжалъ со ввѣренной ему тройкой лошадей, пропадалъ цѣлый годъ и, должно быть, убѣдившись на дѣлѣ въ невыгодахъ и бѣдствіяхъ бродячей жизни, вернулся самъ, но уже хромой, бросился въ ноги своей госпожѣ и, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, примѣрнымъ поведеньемъ загладивъ свое преступленье, понемногу вошелъ къ ней въ милость, заслужилъ наконецъ ея полную довѣренность, попалъ въ прикащики, а по смерти барыни, неизвѣстно какимъ образомъ, оказался отпущеннымъ на волю, приписался въ мѣщане, началъ снимать у сосѣдей бакши, разбогатѣлъ и живетъ теперь припѣваючи. Это человѣкъ опытный, себѣ на умѣ, не злой и не добрый, а болѣе разсчетливый; это тертый калачъ, который знаетъ людей и умѣетъ ими пользоваться. Онъ остороженъ и въ

то же время предпріимчивъ, какъ лисица; болтливъ, какъ старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякаго другого заставитъ высказаться; впрочемъ, не прикидывается простачкомъ, какъ это дѣлаютъ иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывалъ болѣе проницательныхъ и умныхъ глазъ, какъ его крошечныя, лукавыя «глядѣлки» *). Они никогда не смотрятъ просто—все высматриваютъ да подсматриваютъ. Моргачъ иногда по цѣлымъ недѣлямъ обдумываетъ какое-нибудь, повидимому, простое предпріятіе, а то вдругъ рѣшится на отчаянно-смѣлое дѣло, кажется тутъ ему и голову сломить.... смотришь — все удалось, все какъ по маслу пошло. Онъ счастливъ и вѣритъ въ свое счастье, вѣритъ примѣтамъ. Онъ вообще очень суевѣренъ. Его не любятъ, потому что ему самому ни до кого дѣла нѣтъ, но уважаютъ. Все его семейство состоитъ изъ одного сынишки, въ которомъ онъ души не чаетъ, и который, воспитанный такимъ отцомъ, вѣроятно, пойдетъ далеко. «А Моргачонокъ въ отца вышелъ», уже и теперь говорятъ о немъ вполголоса старики, сидя на завалинкахъ и толкуя межъ собой въ лѣтніе вечера: и всѣ понимаютъ, что́ это значитъ, и уже не прибавляютъ ни слова.

Объ Яковѣ-Туркѣ и рядчикѣ нечего долго распространяться. Яковъ, прозванный Туркомъ, потому что дѣйствительно происходилъ отъ плѣнной турчанки, былъ по душѣ — художникъ во всѣхъ смыслахъ этого слова, а по званію—черпальщикъ на бумажной фабрикѣ у купца; что же касается до рядчика, судьба котораго, признаюсь, мнѣ осталась неизвѣстной, то онъ показался мнѣ изворотли-

*) Орловцы называютъ глаза глядѣлками, такъ же какъ ротъ ѣдаломъ.

вымъ и бойкимъ городскимъ мѣщаниномъ. Но о Дикомъ-Баринѣ стоитъ поговорить нѣсколько подробнѣе.

Первое впечатлѣніе, которое производилъ на васъ видъ этого человѣка, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложенъ онъ былъ неуклюже, «сбитнемъ», какъ говорятъ у насъ, но отъ него такъ и несло несокрушимымъ здоровьемъ, и—странное дѣло—его медвѣжеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной граціи, происходившей, можетъ быть, отъ совершенно спокойной увѣренности въ собственномъ могуществѣ. Трудно было рѣшить съ перваго разу, къ какому сословію принадлежалъ этотъ Геркулесъ; онъ не походилъ ни на дворового, ни на мѣщанина, ни на обѣднявшаго подьячаго въ отставкѣ, ни на мелкопомѣстнаго разорившагося дворянина—псаря и драчуна: онъ былъ ужъ точно самъ по себѣ. Никто не зналъ, откуда онъ свалился къ намъ въ уѣздъ; поговаривали, что происходилъ онъ отъ однодворцевъ и состоялъ будто гдѣ-то прежде на службѣ, но ничего положительнаго объ этомъ не знали; да и отъ кого было и узнавать,—не отъ него же самого: не было человѣка болѣе молчаливаго и угрюмаго. Также никто не могъ положительно сказать, чѣмъ онъ живетъ; онъ никакимъ ремесломъ не занимался, ни къ кому не ѣздилъ, не знался почти ни съ кѣмъ, а деньги у него водились; правда, небольшія, но водились. Велъ онъ себя не то что скромно, — въ немъ вообще не было ничего скромнаго, но тихо; онъ жилъ, словно никого вокругъ себя не замѣчалъ и рѣшительно ни въ комъ не нуждался. Дикій-Баринъ (такъ его прозвали; настоящее же его имя было Перевлѣсовъ) пользовался огромнымъ вліяніемъ во всемъ округѣ; ему повиновались тотчасъ и съ охотой, хотя онъ не только не имѣлъ никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже самъ не изъявлялъ малѣйшаго при-

тязанія на послушаніе людей, съ которыми случайно сталкивался. Онъ говорилъ—ему покорялись; сила всегда свое возьметъ. Онъ почти не пилъ вина, не зналъ съ женщинами и страстно любилъ пѣніе. Въ этомъ человѣкѣ было много загадочнаго; казалось, какія-то громадныя силы угрюмо покоились въ немъ, какъ-бы зная, что разъ поднявшись, что сорвавшись разъ на волю, онѣ должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если въ жизни этого человѣка не случилось уже подобнаго взрыва, если онъ, наученный опытомъ и едва спасшись отъ гибели, неумолимо не держалъ теперь самого себя въ ежовыхъ рукавицахъ. Особенно поражала меня въ немъ смѣсь какой-то врожденной, природной свирѣпости и такого же врожденнаго благородства, — смѣсь, которой я не встрѣчалъ ни въ комъ другомъ.

И такъ, рядчикъ выступилъ впередъ, закрылъ до половины глаза и запѣлъ высочайшимъ фальцетомъ. Голосъ у него былъ довольно пріятный и сладкій, хотя нѣсколько сиплый; онъ игралъ и вилялъ этимъ голосомъ, какъ юлою, безпрестанно заливался и переливался сверху внизъ и безпрестанно возвращался къ верхнимъ нотамъ, которыя выдерживалъ и вытягивалъ съ особеннымъ стараньемъ, умолкалъ, и потомъ вдругъ подхватывалъ прежній напѣвъ съ какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смѣлы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствія; нѣмецъ пришелъ бы отъ нихъ въ негодованіе. Это былъ русскій tenore di grazia, ténor léger. Пѣлъ онъ веселую, плясовую пѣсню, слова которой, сколько я могъ уловить сквозь безконечныя украшенія, прибавленныя согласныя и восклицанія, были слѣдующія:

*

Распашу я молода-молоденька
Землицы маленько:
Я посѣю молода-молоденька
Цвѣтика аленька.

Онъ пѣлъ; всѣ слушали его съ большимъ вниманьемъ. Онъ видимо чувствовалъ, что имѣетъ дѣло съ людьми свѣдущими, и потому, какъ говорится, просто лѣзъ изъ кожи. Дѣйствительно, въ нашихъ краяхъ знаютъ толкъ въ пѣніи, и не даромъ село Сергіевское, на большой орловской дорогѣ, славится во всей Россіи своимъ особенно пріятнымъ и согласнымъ напѣвомъ. Долго рядчикъ пѣлъ, не возбуждая слишкомъ сильнаго сочувствія въ своихъ слушателяхъ; ему не доставало поддержки хора; наконецъ при одномъ особенно удачномъ переходѣ, заставившемъ улыбнуться самого Дикаго-Барина, Обалдуй не выдержалъ и вскрикнулъ отъ удовольствія. Всѣ встрепенулись. Обалдуй съ Моргачомъ начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмецъ!.. Забирай, вытягивай, аспидъ! Вытягивай еще! Накалывай еще, собака ты этакая, пёсъ!... Погуби Иродъ твою душу!» и пр. Николай Иванычъ изъ-за стойки одобрительно закачалъ головой направо и налѣво. Обалдуй, наконецъ, затопалъ, засѣменилъ ногами и задергалъ плечикомъ,—а у Якова глаза такъ и разгорѣлись какъ уголья, и онъ весь дрожалъ, какъ листъ, и безпорядочно улыбался. Одинъ Дикій-Баринъ не измѣнился въ лицѣ и попрежнему не двигался съ мѣста; но взглядъ его, устремленный на рядчика, нѣсколько смягчился, хотя выраженіе губъ оставалось презрительнымъ. Одобренный знаками всеобщаго удовольствія, рядчикъ совсѣмъ завихрился, и ужъ такія началъ отдѣлывать завитушки, такъ защелкалъ и забарабанилъ языкомъ, такъ неистово заигралъ горломъ, что, когда, наконецъ, утомленный, блѣдный и облитый

горячимъ пòтомъ, онъ пустилъ, перекинувшись назадъ всѣмъ тѣломъ, послѣдній замирающій возгласъ,—общій, слитный крикъ отвѣтилъ ему неистовымъ взрывомъ. Обалдуй бросился ему на шею и началъ душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирномъ лицѣ Николая Иваныча выступила краска, и онъ словно помолодѣлъ; Яковъ, какъ сумасшедшій, закричалъ: «молодецъ, молодецъ!»—даже мой сосѣдъ, мужикъ въ изорванной свитѣ, не вытерпѣлъ и, ударивъ кулакомъ по столу, воскликнулъ: «А-га! хорошо, чортъ побери—хорошо!» и съ рѣшительностью плюнулъ въ сторону.

— Ну, братъ, потѣшилъ! кричалъ Обалдуй, не выпуская изнеможеннаго рядчика изъ своихъ объятій,—потѣшилъ, нечего сказать! Выигралъ, братъ, выигралъ! Поздравляю—осьмуха твоя! Яшкѣ до тебя далеко.... Ужъ я тебѣ говорю: далеко.... А ты мнѣ вѣрь! (И онъ снова прижалъ рядчика къ своей груди.)

— Да пусти-же его; пусти, неотвязная....—съ досадой заговорилъ Моргачъ: — дай ему присѣсть на лавку-тò; вишь, онъ усталъ.... Экой ты, фофанъ, братецъ, право, фофанъ! Что присталъ, словно банный листъ?

— Ну, чтò-жъ, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказалъ Обалдуй, и подошелъ къ стойкѣ. — На твой счетъ, братъ, — прибавилъ онъ, обращаясь къ рядчику.

Тотъ кивнулъ головой, сѣлъ на лавку, досталъ изъ шапки полотенце и началъ утирать лицо; а Обалдуй съ торопливой жадностью выпилъ стаканъ и, по привычкѣ горькихъ пьяницъ, крякая, принялъ грустно-озабоченный видъ.

— Хорошо поешь, братъ, хорошо,—ласково замѣтилъ Николай Иванычъ. — А теперь за тобой очередь, Яша:

смотри, не сробѣй. Посмотримъ кто кого, посмотримъ.... А хорошо поетъ рядчикъ, ей-Богу, хорошо.

— Очинна хорошо,—замѣтила Николай-Иванычева жена и съ улыбкой поглядѣла на Якова.

— Хорошо-га!—повторилъ вполголоса мой сосѣдъ.

— А, заворотень-полѣха! *) завопилъ вдругъ Обалдуй и, подойдя къ мужичку съ дырой на плечѣ, уставилъ на него пальцемъ, запрыгалъ и залился дребезжащимъ хохотомъ. — Полѣха! полѣха! Га, бадѣ-паняй **), заворотень! Зачѣмъ пожаловалъ заворотень? кричалъ онъ сквозь смѣхъ.

Бѣдный мужикъ смутился и уже собрался-было встать да уйдти поскорѣй, какъ вдругъ раздался мѣдный голосъ Дикаго-Барина:

— Да что-жъ это за несносное животное такое? произнесъ онъ, скрыпнувъ зубами.

— Я ничего, забормоталъ Обалдуй: — я ничего.... я такъ....

— Ну, хорошо, молчать-же! возразилъ Дикій-Баринъ.— Яковъ, начинай!

Яковъ взялся рукой за горло.

— Что, братъ, того.... что-то.... Гмъ.... Не знаю, право, что-то того....

— Ну, полно, не робѣй. Стыдись!... чего вертишься?... Пой, какъ Богъ тебѣ велитъ.

И Дикій-Баринъ потупился, выжидая.

Яковъ помолчалъ, взглянулъ кругомъ и закрылся ру-

---

*) Полѣхами называются обитатели южнаго Полѣсья, длинной лѣсной полосы, начинающейся на границѣ болховскаго и жиздринскаго уѣздовъ. Они отличаются многими особенностями въ образѣ жизни, нравахъ и языкѣ. Заворотнями же ихъ зовутъ за подозрительный и тугой нравъ.

**) Полѣхи прибавляютъ почти къ каждому слову восклицанія: «га!» и «бадѣ».—«Паняй» вмѣсто погоняй.

кой. Всѣ такъ и впились въ него глазами, особенно рядчикъ, у котораго на лицѣ, сквозь обычную самоувѣренность и торжество успѣха, проступило невольное, легкое безпокойство. Онъ прислонился къ стѣнѣ и опять положилъ подъ себя обѣ руки, но уже не болталъ ногами. Когда-же, наконецъ, Яковъ открылъ свое лицо—оно было блѣдно, какъ у мертваго; глаза едва мерцали сквозь опущенныя рѣсницы. Онъ глубоко вздохнулъ и запѣлъ.... Первый звукъ его голоса былъ слабъ и неровенъ и, казалось, не выходилъ изъ его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетѣлъ случайно въ комнату. Странно подѣйствовалъ этотъ трепещущій, звенящій звукъ на всѣхъ насъ; мы взглянули другъ на друга, а жена Николая Иваныча такъ и выпрямилась. За этимъ первымъ звукомъ послѣдовалъ другой, болѣе твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащій какъ струна, когда, внезапно прозвенѣвъ подъ сильнымъ пальцемъ, она колеблется послѣднимъ, быстро замирающимъ колебаньемъ, за вторымъ — третій, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. «Не одна во полѣ дороженька пролегала»—пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, рѣдко слыхивалъ подобный голосъ: онъ былъ слегка разбитъ и звенѣлъ какъ надтреснутый; онъ даже сначала отзывался чѣмъ-то болѣзненнымъ; но въ немъ была и неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-безпечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо овладѣвало упоеніе: онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе — онъ дрожалъ, но той едва замѣтной внутренней дрожью страсти, кото-

рая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся. Помнится, я видѣлъ однажды, вечеромъ, во время отлива, на плоскомъ песчаномъ берегу моря, грозно и тяжко шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья на-встрѣчу знакомому морю, на-встрѣчу низкому, багровому солнцу: я вспомнилъ о ней, слушая Якова. Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участьемъ. Онъ пѣлъ, и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ вами, уходя въ безконечную даль. У меня, я чувствовалъ, закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы; глухія, сдержанныя рыданья внезапно поразили меня.... я оглянулся—жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну. Яковъ бросилъ на нее быстрый взглядъ и залился еще звонче, еще слаще прежняго, Николай Иванычъ потупился, Моргачъ отвернулся; Обалдуй, весь разнѣженный, стоялъ, глупо разинувъ ротъ; сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой; и по желѣзному лицу Дикаго-Барина, изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчикъ поднесъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился.... Не знаю, чѣмъ-бы разрѣшилось всеобщее томленье, еслибъ Яковъ вдругъ не кончилъ на высокомъ, необыкновенно тонкомъ звукѣ—словно голосъ у него оборвался. Никто не крикнулъ, даже не шевельнулся; всѣ какъ-будто ждали, не будетъ-ли онъ еще пѣть; но онъ раскрылъ глаза, словно удивленный нашимъ молчаньемъ, вопрошающимъ

взоромъ обвелъ всѣхъ кругомъ и увидалъ, что побѣда была его....

— Яша, — проговорилъ Дикій-Баринъ, положилъ ему руку на плечо, и — смолкъ.

Мы всѣ стояли, какъ оцѣпенѣлые. Рядчикъ тихо всталъ и подошелъ къ Якову. — «Ты.... твоя.... ты выигралъ», произнесъ онъ наконецъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Его быстрое, рѣшительное движеніе какъ-будто нарушило очарованье: всѣ вдругъ заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнулъ кверху, залепеталъ, замахалъ руками, какъ мельница крыльями; Моргачъ, ковыляя, подошелъ къ Якову и сталъ съ нимъ цѣловаться; Николай Иванычъ приподнялся и торжественно объявилъ, что прибавляетъ отъ себя еще осьмуху пива; Дикій-Баринъ посмѣивался какимъ-то добрымъ смѣхомъ, котораго я никакъ не ожидалъ встрѣтить на его лицѣ; сѣрый мужичокъ то-и-дѣло твердилъ въ своемъ уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, носъ и бороду: «а хорошо, ей-Богу, хорошо, ну, вотъ будь я собачій сынъ, хорошо!» а жена Николая Иваныча, вся разскраснѣвшаяся, быстро встала и удалилась. Яковъ наслаждался своей побѣдой, какъ дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза такъ и засіяли счастьемъ. Его потащили къ стойкѣ; онъ подозвалъ къ ней расплакавшагося сѣраго мужичка, послалъ цѣловальникова сынишку за рядчикомъ, котораго однако тотъ не сыскалъ, и начался пиръ.—«Ты еще намъ споешь, ты до вечера намъ пѣть будешь», твердилъ Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще разъ взглянулъ на Якова и вышелъ. Я не хотѣлъ остаться—я боялся испортить свое впечатлѣніе. Но зной былъ нестерпимъ по-прежнему. Онъ какъ-будто висѣлъ надъ самой землей густымъ тяжелымъ слоемъ: на

темносинемъ небѣ, казалось, крутились какіе-то мелкіе, свѣтлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное въ этомъ глубокомъ молчаніи обезсиленной природы. Я добрался до сѣновала и легъ на только-что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не могъ задремать; долго звучалъ у меня въ ушахъ неотразимый голосъ Якова.... наконецъ, жара и усталость взяли однакожъ свое, и я заснулъ мертвымъ сномъ. Когда я проснулся,— все уже потемнѣло; вокругъ разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырѣла; сквозь тонкія жерди полураскрытой крыши слабо мигали блѣдныя звѣздочки. Я вышелъ. Заря уже давно погасла и едва бѣлѣлъ на небосклонѣ ея послѣдній слѣдъ; но въ недавно раскаленномъ воздухѣ сквозь ночную свѣжесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холоднаго дуновенья. Вѣтра не было, не было и тучъ; небо стояло кругомъ все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая безчисленными, но чуть видными звѣздами. По деревнѣ мелькали огоньки; изъ недалекаго, ярко освѣщеннаго кабака несся нестройный, смутный гамъ, среди котораго, мнѣ казалось, я узнавалъ голосъ Якова. Ярый смѣхъ, по временамъ, поднимался оттуда взрывомъ. Я подошелъ къ окошку и приложился лицомъ къ стеклу. Я увидѣлъ невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — все, начиная съ Якова. Съ обнаженной грудью сидѣлъ онъ на лавкѣ и, напѣвая осиплымъ голосомъ какую-то плясовую, уличную пѣсню, лѣниво перебиралъ и щипалъ струны гитары. Мокрые волосы клочьями висѣли надъ его страшнопоблѣднѣвшимъ лицомъ. По серединѣ кабака, Обалдуй, совершенно «развинченный» и безъ кафтана, выплясывалъ въ перепрыжку передъ мужикомъ въ сѣроватомъ армякѣ; мужичокъ, въ свою очередь, съ трудомъ топоталъ

и шаркалъ ослабѣвшими ногами и, безсмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изрѣдка помахивалъ одной рукой, какъ-бы желая сказать: «куда ни шло!» Ничего не могло быть смѣшнѣй его лица; какъ онъ ни вздергивалъ кверху свои брови, отяжелѣвшія вѣки не хотѣли подняться, а такъ и лежали на едва замѣтныхъ, посоловѣлыхъ, но сладчайшихъ глазкахъ. Онъ находился въ томъ миломъ состояніи окончательно подгулявшаго человѣка, когда всякій прохожій, взглянувъ ему въ лицо, непремѣнно скажетъ: «хорошъ братъ, хорошъ!» Моргачъ, весь красный, какъ ракъ, и широко раздувъ ноздри, язвительно посмѣивался изъ угла; одинъ Николай Иванычъ, какъ и слѣдуетъ истинному цѣловальнику, сохранялъ свое неизмѣнное хладнокровіе. Въ комнату набралось много новыхъ лицъ; но Дикаго-Барина я въ ней не видалъ.

Я отвернулся, и быстрыми шагами сталъ спускаться съ холма, на которомъ лежитъ Колотовка. У подошвы этого холма разстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечерняго тумана, она казалась еще необъятнѣй и какъ-будто сливалась съ потемнѣвшимъ небомъ. Я сходилъ большими шагами по дорогѣ вдоль оврага, какъ вдругъ гдѣ-то далеко въ равнинѣ раздался звонкій голосъ мальчика. — «Антропка! Антропка-а-а!...» — кричалъ онъ съ упорнымъ и слезливымъ отчаяніемъ, долго, долго вытягивая послѣдній слогъ.

Онъ умолкалъ на нѣсколько мгновеній и снова принимался кричать. Голосъ его звонко разносился въ неподвижномъ, чутко-дремлющемъ воздухѣ. Тридцать разъ, по крайней-мѣрѣ, прокричалъ онъ имя Антропки, какъ вдругъ, съ противоположнаго конца поляны, словно съ другого свѣта принесся едва слышный отвѣтъ:

— Чего-о-о-о-о?

Голосъ мальчика тотчасъ съ радостнымъ озлобленіемъ закричалъ:

— Иди сюда, чортъ, лѣші-і-і-ій!

— Зачѣ-ѣ-ѣ-ѣмъ?—отвѣтилъ тотъ, спустя долгое время.

— А за тѣмъ, что тебя тятя высѣчь хочи-и-и-тъ, — поспѣшно прокричалъ первый голосъ.

Второй голосъ болѣе не откликнулся, и мальчикъ снова принялся взывать къ Антропкѣ. Возгласы его, болѣе и болѣе рѣдкіе и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсѣмъ темно, и я обгибалъ край лѣса, окружающаго мою деревеньку и лежащаго въ четырехъ верстахъ отъ Колотовки....

«Антропка-а-а!» все еще чудилось въ воздухѣ, наполненномъ тѣнями ночи.

ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ КАРАТАЕВЪ.

Лѣтъ пять тому назадъ, осенью, на дорогѣ изъ Москвы въ Тулу, пришлось мнѣ просидѣть почти цѣлый день въ почтовомъ домѣ, за недостаткомъ лошадей. Я возвращался съ охоты и имѣлъ неосторожность отправить свою тройку впередъ. Смотритель, человѣкъ уже старый, угрюмый, съ волосами, нависшими надъ самымъ носомъ, съ маленькими заспанными глазами, на всѣ мои жалобы и просьбы отвѣчалъ отрывистымъ ворчаньемъ, въ сердцахъ хлопалъ дверью, какъ-будто самъ проклиналъ свою должность, и, выходя на крыльцо, бранилъ ямщиковъ, которые медленно брели по грязи съ пудовыми дугами на рукахъ, или сидѣли на лавкѣ, позѣвывая и почесываясь, и не обращали особеннаго вниманія на гнѣвныя восклицанія своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай, нѣсколько разъ напрасно пытался заснуть, прочелъ всѣ надписи на окнахъ и на стѣнахъ: скука меня томила страшная. Съ холоднымъ и безнадежнымъ отчаяніемъ глядѣлъ я на приподнятыя оглобли своего тарантаса, какъ вдругъ зазвенѣлъ колокольчикъ, и небольшая телѣга, запряженная тройкой измученныхъ лошадей, остановилась передъ крыльцомъ. Пріѣзжій соскочилъ съ телѣги и съ крикомъ: «живѣе лошадей!» вошелъ въ

комнату. Пока онъ, съ обычнымъ, страннымъ изумленіемъ, выслушивалъ отвѣтъ смотрителя, что лошадей-де нѣту, я успѣлъ, со всѣмъ жаднымъ любопытствомъ скучающаго человѣка, окинуть взоромъ съ ногъ до головы моего новаго товарища. На видъ ему было лѣтъ подъ тридцать. Оспа оставила неизгладимые слѣды на его лицѣ, сухомъ и желтоватомъ, съ непріятнымъ мѣднымъ отблескомъ; изсиня-черные, длинные волосы лежали сзади кольцами на воротникѣ, спереди закручивались въ ухорскіе виски; небольшіе опухшіе глазки глядѣли,—и только; на верхней губѣ торчало нѣсколько волосковъ. Одѣтъ онъ былъ забубеннымъ помѣщикомъ, посѣтителемъ конныхъ ярмарокъ, въ пестрый, довольно засаленный архалукъ, полинявшій шелковый галстукъ лиловаго цвѣта, жилетъ съ мѣдными пуговками и сѣрыя панталоны съ огромными раструбами, изъ-подъ которыхъ едва выглядывали кончики нечищенныхъ сапогъ. Отъ него сильно несло табакомъ и водкой; на красныхъ и толстыхъ его пальцахъ, почти закрытыхъ рукавами архалука, виднѣлись серебряныя и тульскія кольца. Такія фигуры встрѣчаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство съ ними, надобно правду сказать, не доставляетъ никакого удовольствія; но, несмотря на предубѣжденіе, съ которымъ я глядѣлъ на пріѣзжаго, я не могъ не замѣтить безпечно-добраго и страстнаго выраженья его лица.

— Вотъ и они ждутъ здѣсь болѣе часу-съ, — промолвилъ смотритель, указывая на меня.

Болѣе часу!—Злодѣй смѣялся надо мной.

— Да имъ, можетъ быть, не такъ нужно, — отвѣчалъ пріѣзжій.

— Ужъ этого-съ мы не можемъ знать-съ,—угрюмо сказалъ смотритель.

— Такъ неужели нельзя никакъ? Нѣтъ лошадей рѣшительно?

— Нельзя-съ. Ни одной лошади не имѣется.

— Ну, такъ велите-же мнѣ самоваръ поставить. Подождемъ, дѣлать нечего.

Пріѣзжій сѣлъ на лавку, бросилъ картузъ на столъ и провелъ рукой по волосамъ.

— А вы ужъ пили чай?—спросилъ онъ меня.

— Пилъ.

— А еще разъ для компаніи не угодно?

Я согласился. Толстый рыжій самоваръ въ четвертый разъ появился на столѣ. Я досталъ бутылку рому. Я не ошибся, принявъ моего собесѣдника за мелкопомѣстнаго дворянина. Звали его Петромъ Петровичемъ Каратаевымъ.

Мы разговорились. Не прошло и получаса съ его пріѣзда, какъ ужъ онъ съ самой добродушной откровенностью разсказывалъ мнѣ свою жизнь.

— Теперь я ѣду въ Москву,—говорилъ онъ мнѣ, допивая четвертый стаканъ: — въ деревнѣ мнѣ ужъ теперь нечего дѣлать.

— Отчего-же нечего?

— Да такъ-таки — нечего. Хозяйство поразстроилось, мужиковъ поразорилъ, признаться; подошли годы плохіе: неурожаи, разныя, знаете, несчастія.... Да впрочемъ,— прибавилъ онъ, уныло глянувъ въ сторону:—какой я хозяинъ!

— Почему же?

— Да нѣтъ,—перебилъ онъ меня:—такіе-ли бываютъ хозяева! Вотъ видите-ли, продолжалъ онъ, скрутивъ голову на бокъ и прилежно насасывая трубку:—вы, такъ, глядя на меня, можете подумать, что я и того.... а вѣдь я, долженъ вамъ признаться, воспитанье получилъ средственное; достатковъ не было. Вы меня извините, я человѣкъ откровенный, да и наконецъ....

Онъ не договорилъ своей рѣчи и махнулъ рукой. Я на-

чалъ увѣрять его, что онъ ошибается, что я очень радъ нашей встрѣчѣ и проч., а потомъ замѣтилъ, что для управленія имѣньемъ, кажется, не нужно слишкомъ сильнаго образованія.

— Согласенъ,—отвѣчалъ онъ:—я съ вами согласенъ. Да все-же нужно такое, особенное расположеніе! Иной Богъ знаетъ что дѣластъ, и ничего! а я.... Позвольте узнать, вы сами изъ Питера, или изъ Москвы?

— Я изъ Петербурга.

Онъ пустилъ ноздрями долгую струю дыма.

— А я въ Москву ѣду служить.

— Куда-же вы намѣрены опредѣлиться?

— А не знаю; какъ тамъ придется. Признаться вамъ, боюсь я службы: какъ разъ подъ отвѣтственность попадешь. Жилъ все въ деревнѣ; привыкъ знаете.... да ужъ дѣлать нечего.... нужда! Охъ, ужъ эта мнѣ нужда!

— За то вы будете жить въ столицѣ.

— Въ столицѣ.... ну, я не знаю, что̀ тамъ въ столицѣ хорошаго. Посмотримъ, можетъ быть, оно и хорошо.... А ужъ лучше деревни, кажется, и быть ничего не можетъ.

— Да развѣ вамъ уже невозможно болѣе жить въ деревнѣ?

Онъ вздохнулъ.

— Невозможно. Она ужъ теперь, почитай-что̀, и не моя.

— А что̀?

— Да тамъ добрый человѣкъ — сосѣдъ завелся... вексель... Бѣдный Петръ Петровичъ провелъ рукой по лицу, подумалъ и тряхнулъ головою.

— Ну, да ужъ что̀!... Да признаться,—прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанья: — мнѣ не на кого пенять, самъ виноватъ. Любилъ покуражиться!... Люблю, чортъ возьми, покуражиться!

— Вы весело жили въ деревнѣ?—спросилъ я его.

— У меня сударь,—отвѣчалъ онъ съ разстановкой и глядя мнѣ прямо въ глаза: — было двѣнадцать смычковъ гончихъ, такихъ гончихъ, какихъ, скажу вамъ, немного. (Онъ это послѣднее слово произнесъ на-распѣвъ.) Русака какъ разъ замотаютъ, а ужъ на краснаго звѣря — змѣи, просто аспиды. И борзыми похвастаться я могъ. Теперь же дѣло прошлое, лгать не-для-чего. Охотился я и съ ружьемъ. Была у меня собака Контеска; стойка необыкновенная, верхнимъ чутьемъ все брала. Бывало, подойду къ болоту, скажу: шаршъ! какъ искать не станетъ, такъ хоть съ дюжиной собакъ пройди, — шалишь, ничего не найдешь! а какъ станетъ,—просто рада умереть на мѣстѣ!... И въ комнатѣ такая вѣжливая. Дашь ей хлѣбъ изъ лѣвой руки да скажешь:—жидъ ѣлъ,—вѣдь не возьметъ, а дашь изъ правой, да скажешь: барышня кушала,— тотчасъ возьметъ и съѣстъ. Былъ у меня щенокъ отъ нея, отличный щенокъ, и въ Москву везти хотѣлъ, да пріятель выпросилъ вмѣстѣ съ ружьемъ; говоритъ: въ Москвѣ тебѣ, братъ, будетъ не до того; тамъ ужъ пойдетъ совсѣмъ, братъ, другое. Я и отдалъ ему щенка, да ужъ и ружье; ужъ оно все тамъ, знаете, осталось.

— Да вы и въ Москвѣ могли-бы охотиться.

— Нѣтъ ужъ, къ чему? не съумѣлъ держаться, такъ и терпи теперь. А вотъ лучше позвольте узнать, что̀ жизнь въ Москвѣ—дорога̀?

— Нѣтъ, не слишкомъ.

— Не слишкомъ?... А скажите, пожалуйста, вѣдь цыгане въ Москвѣ живутъ?

— Какіе цыгане?

— А вотъ, что̀ по ярмаркамъ ѣздятъ?

— Да, въ Москвѣ....

— Ну, это хорошо. Люблю цыганъ, чортъ возьми, люблю....

И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдругъ онъ завертѣлся на лавкѣ, потомъ задумался, потупилъ голову и протянулъ ко мнѣ пустой стаканъ.

— Дайте-ка мнѣ вашего рому,—проговорилъ онъ.

— Да чай весь вышелъ.

— Ничего, такъ, безъ чаю.... Эхъ!

Каратаевъ положилъ голову на руки и оперся руками на столъ. Я молча глядѣлъ на него и ожидалъ уже тѣхъ чувствительныхъ восклицаній, пожалуй даже тѣхъ слезъ, на которыя такъ щедръ подгулявшій человѣкъ, но когда онъ поднялъ голову, меня, признаюсь, поразило глубокогрустное выраженіе его лица.

— Что съ вами?

— Ничего-съ.... старину вспомнилъ. Такой анекдотъ-съ.... Разсказалъ-бы вамъ, да мнѣ совѣстно васъ безпокоить....

— Помилуйте!

— Да,—продолжалъ онъ со вздохомъ:—бываютъ случаи.... хотя, напримѣръ, и со мной. Вотъ, если хотите, я вамъ разскажу. Впрочемъ, не знаю....

— Разсказывайте, любезный Петръ Петровичъ.

— Пожалуй, хоша оно того.... Вотъ, видите-ли,—началъ онъ:—но я, право, не знаю....

— Ну, полноте, любезный Петръ Петровичъ.

— Ну, пожалуй. Такъ вотъ что со мной, такъ-сказать, случилось. Жилъ я-съ въ деревнѣ.... Вдругъ, приглянись мнѣ дѣвушка, ахъ, да какая же дѣвушка была.... красавица, умница, а ужъ добрая какая! Звали ее Матреной-съ. А дѣвка она была простая, т.-е., вы понимаете, крѣпостная, просто холопка-съ. Да не моя дѣвка, а чужая, — вотъ въ чемъ бѣда. Ну, вотъ я ее полюбилъ,—такой, право, анекдотъ-съ, — ну, и она. Вотъ и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, отъ

госпожи; да и я самъ уже объ эфтомъ подумывалъ.... А госпожа-то у ней была богатая, старушенція страшная; жила отъ меня верстахъ въ пятнадцати. Ну, вотъ, въ одинъ, какъ говорится, прекрасный день, я и велѣлъ заложить себѣ дрожки тройкой,—въ корню ходилъ у меня иноходецъ, азіятецъ необыкновенный, за то и назывался Лампурдосъ,—одѣлся получше и поѣхалъ къ Матрениной барынѣ. Пріѣзжаю: домъ большой, съ флигелями, съ садомъ.... У повертка Матрена меня ждала, хотѣла-было заговорить со мной, да только руку поцѣловала и отошла въ сторону. Вотъ, вхожу я въ переднюю, спрашиваю: дома?... А мнѣ высокой такой лакей говоритъ: какъ объ васъ доложить прикажете? Я говорю: доложи, братецъ, дескать, помѣщикъ Каратаевъ пріѣхалъ о дѣлѣ переговорить. Лакей ушелъ; я жду себѣ и думаю: что-то будетъ? чай, заломитъ, бестія, цѣну страшную, даромъ, что богата. Рублей пятьсотъ, пожалуй, запроситъ. Вотъ, наконецъ, вернулся лакей, говоритъ: пожалуйте. Я вхожу за нимъ въ гостиную. Сидитъ на креслахъ маленькая, желтенькая старушонка и глазами моргаетъ.—«Что вамъ угодно?» — Я сперва, знаете-ли, почелъ за нужное объявить, что, дескать, радъ знакомству. — «Вы ошибаетесь, я не здѣшняя хозяйка, а ея родственница.... Что вамъ угодно?»—Я замѣтилъ ей тутъ-же, что мнѣ съ хозяйкой-то и нужно переговорить. — «Марья Ильинична не принимаетъ сегодня: она нездорова.... Что вамъ угодно?» Дѣлать нечего, подумалъ я про себя, объясню ей мое обстоятельство. Старуха меня выслушала.—«Матрена? какая Матрена?—Матрена Ѳедорова, Куликова дочь.—«Ѳедора Кулика дочь.... да какъ вы ее знаете?» — Случайнымъ манеромъ.—«А извѣстно ей ваше намѣреніе?»—Извѣстно. — Старуха замолчала. — «Да я ее, негодную»!...—Я, признаюсь, удивился.—За что-же, помилуй-

те!... Я за нее готовъ внести сумму, только извольте назначить. — Старая хрычовка такъ и зашипѣла. — «Вотъ вздумали чѣмъ удивить: нужны намъ очень ваши деньги!... а вотъ я ее ужо, вотъ я ее.... Дурь-то изъ нея выбью».—Раскашлялась старуха со злости.—Не хорошо ей у насъ, что́-ли?... Ахъ, она чертовка, прости, Господи, мое согрѣшенье!» Я, признаюсь, вспыхнулъ.—За что́-же вы грозите бѣдной дѣвкѣ? чѣмъ она, то-есть, виновата?—Старуха перекрестилась.—«Ахъ, ты мой Господи, да развѣ я»...—Да вѣдь она не ваша!—«Ну, ужъ про это Марья Ильинична знаетъ; не ваше, батюшка, дѣло; а вотъ я ужо Матрешкѣ-то покажу, чья она холопка».—Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнилъ о Матренѣ, и руки опустились. Заробѣлъ такъ, что пересказать невозможно: началъ упрашивать старуху: возьмите, дескать, что̀ хотите.—«Да на что она вамъ?» — Понравилась, матушка; войдите въ мое положенье.... Позвольте поцѣловать у васъ ручку. — И таки поцѣловалъ у шельмы руку!—«Ну», прошамшила вѣдьма: — «я скажу Марьѣ Ильиничнѣ; какъ она прикажетъ; а вы заѣзжайте дня черезъ два». — Я уѣхалъ домой въ большомъ безпокойствѣ. Начиналъ я догадываться, что дѣло неладно повелъ, напрасно далъ свое расположенье замѣтить, да хватился-то я поздно. Дня черезъ два отправился я къ барынѣ. Привели меня въ кабинетъ. Цвѣтовъ пропасть, убранство отличное, сама сидитъ въ такихъ мудреныхъ креслахъ и голову назадъ завалила на подушки; и родственница прежняя тутъ сидитъ, да еще какая-то барышня бѣлобрысая, въ зеленомъ платьѣ, криворотая, компаньонка, должно быть. Старуха загнусила: «прошу садиться». Я сѣлъ. Стала меня разспрашивать о томъ, сколько мнѣ лѣтъ, да гдѣ я служилъ, да что̀ намѣренъ дѣлать, и такъ все свысока, важно. Я отвѣчалъ

подробно. Старуха взяла со стола платокъ, помахала, помахала на себя.... «Мнѣ», говоритъ, «докладывала Катерина Карповна объ вашемъ намѣреніи, докладывала», говоритъ; «но я себѣ», говоритъ, «положила за правило: людей въ услуженіе не отпускать. Оно и неприлично, да и негодится въ порядочномъ домѣ: это не порядокъ. Я уже распорядилась», говоритъ, «вамъ уже болѣе безпокоиться», говоритъ, «нечего».—Какое безпокойство, помилуйте.... А можетъ, вамъ Матрена Ѳедоровна нужна?—«Нѣтъ, говоритъ, «не нужна».—Такъ отчего-же вы мнѣ ее уступить не хотите? — «Оттого, что мнѣ не угодно: не угодно, да и все тутъ. Я ужъ», говоритъ, «распорядилась: она въ степную деревню посылается». Меня какъ громомъ хлопнуло. Старуха сказала слóва два по-французски зеленой барышнѣ: та вышла. «Я», говоритъ, «женщина правилъ строгихъ, да и здоровье мое слабое: безпокойства переносить не могу. Вы еще молодой человѣкъ, а я ужъ старая женщина и въ правѣ вамъ давать совѣты. Не лучше-ли вамъ пристроиться, жениться, поискать хорошей партіи; богатыя невѣсты рѣдки, но дѣвицу бѣдную, за то хорошей нравственности найти можно». Я, знаете, гляжу на старуху и ничего не понимаю, что̀ она тамъ такое мелетъ; слышу, что толкуетъ о женитьбѣ, а у меня степная деревня все въ ушахъ звенитъ. Жениться!... какой чортъ....

Тутъ разсказчикъ внезапно остановился и поглядѣлъ на меня.

— Вѣдь, вы не женаты?

— Нѣтъ.

— Ну, конечно, дѣло извѣстное. Я не вытерпѣлъ: — Да помилуйте, матушка, что̀ вы за ахинею порете? Какая тутъ женитьба? я просто желаю узнать отъ васъ, уступаете вы вашу дѣвку Матрену, или нѣтъ?—Старуха

заохала.—«Ахъ, онъ меня обезпокоилъ! ахъ, велите ему уйдти! ахъ!»... Родственница къ ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха все стонетъ: «Чѣмъ это я заслужила?... Стало быть, я ужъ въ своемъ домѣ не госпожа? ахъ, ахъ!» Я схватилъ шляпу и, какъ сумасшедшій, выбѣжалъ вонъ.

— Можетъ быть,—продолжалъ разсказчикъ:—вы осудите меня за то, что я такъ сильно привязался къ дѣвушкѣ изъ низкаго сословія: я и не намѣренъ себя, то-есть, оправдывать.... такъ ужъ оно пришлось!... Вѣрители, ни днемъ, ни ночью покоя мнѣ не было.... Мучусь! за что, думалъ я, погубилъ несчастную дѣвку! Какъ только, бывало, вспомню, что она въ зипунѣ гусей гоняетъ, да въ черномъ тѣлѣ, по барскому приказу, содержится, да староста, мужикъ въ дехтярныхъ сапогахъ, ее ругательски-ругаетъ — холодный потъ такъ съ меня и закапаетъ. Ну, не вытерпѣлъ, провѣдалъ, въ какую деревню ее сослали, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ туда. На другой день подъ-вечеръ только пріѣхалъ. Видно, отъ меня такого пассажа не ожидали и никакого на мой счетъ приказанія не дали. Я прямо къ старостѣ, будто сосѣдъ; вхожу на дворъ, гляжу: Матрена сидитъ на крылечкѣ и рукой подперлась. Она было-вскрикнула, да я ей погрозилъ и показалъ на задворье, въ поле. Вошелъ въ избу; со старостой покалякалъ, навралъ ему чортову тьму, улучилъ минутку и вышелъ къ Матренѣ. Она, бѣдняжка, такъ у меня на шеѣ и повисла. Поблѣднѣла, похудѣла, моя голубушка. Я, знаете-ли, говорю ей: ничего, Матрена; ничего, не плачь,—а у самого слезы такъ и бѣгутъ и бѣгутъ... Ну, однакожъ, наконецъ, и мнѣ стыдно стало; говорю ей:—Матрена, слезами горю не пособить, а вотъ что: надобно дѣйствовать, какъ говорится, рѣшительно; надобно тебѣ бѣжать со мной; вотъ какъ надобно

дѣйствовать.—Матрена такъ и обмерла.... «Какъ можно! да я пропаду, да они меня заѣдятъ совсѣмъ!» — Глупая ты, кто тебя сыщетъ? — Сыщутъ, непремѣнно сыщутъ. Спасибо вамъ, Петръ Петровичъ, — вѣкъ не забуду вашей ласки, но ужъ вы меня теперь предоставьте; ужъ, видно, такова моя судьба».—Эхъ, Матрена, Матрена, а я тебя считалъ за дѣвку съ карахтеромъ.—И точно, карахтеру у ней было много.... душа была, золотая душа!—Что-жъ тебѣ здѣсь оставаться! все равно; хуже не будетъ. Ну, вотъ сказывай: старостиныхъ кулаковъ отвѣдывала, а?—Матрена такъ и вспыхнула, и губы у ней задрожали. «Да изъ-за меня семьѣ моей житья не будетъ».—Ну ее, твою семью... Сошлютъ ее, что-ли? — «Сошлютъ; брата-то навѣрное сошлютъ». — А отца? — «Ну, отца не сошлютъ; онъ у насъ одинъ хорошій портной и есть».—Ну, вотъ, видишь; а братъ твой отъ этого не пропадетъ.—Повѣрите-ли, на-силу уломалъ ее; вздумала еще толковать о томъ, что, дескать, вы за это отвѣчать будете.... Да ужъ это, говорю я, не твое дѣло.... Однако, я-таки ее увезъ.... не въ этотъ разъ, а въ другой: ночью, на телѣгѣ пріѣхалъ—и увезъ.

— Увезли?

— Увезъ.... Ну, вотъ, она и поселилась у меня. Домикъ у меня былъ небольшой, прислуги мало. Люди мои, безъ обиняковъ скажу, меня уважали; не выдали бы ни за какія благополучія. Сталъ я поживать припѣваючи. Матренушка отдохнула, поправилась; вотъ я къ ней и привязался.... Да и что за дѣвка была! Откуда что бралось? и пѣть-то она умѣла, и плясать, и на гитарѣ играть.... Сосѣдямъ я ее не показывалъ, чего добраго, разболтаютъ! А былъ у меня пріятель, другъ закадычный, Горностаевъ Пантелей — вы не изволите знать? Тотъ въ ней, просто, души не чаялъ; какъ у барыни, руки у ней

цѣловалъ, право. И скажу вамъ, Горностаевъ не мнѣ чета: человѣкъ онъ образованный, всего Пушкина прочелъ; станетъ, бывало, съ Матреной да со мной разговаривать, такъ мы и уши развѣсимъ. Писать ее выучилъ, такой чудакъ! А ужъ какъ я одѣвалъ ее, — просто лучше губернаторши; сшилъ ей шубку изъ малиноваго бархата съ мѣховой опушкой.... Ужъ какъ эта шубка на ней сидѣла! Шубку-то эту московская мадамъ шила по новому манеру, съ перехватомъ. И ужъ какая чудная эта Матрена была! Бывало, задумается да и сидитъ по часамъ, на полъ глядитъ, бровью не шевельнетъ: и я тоже сижу, да на нее смотрю, да насмотрѣться не могу, словно никогда не видалъ.... Она улыбнется, а у меня сердце такъ и дрогнетъ, словно кто пощекотитъ. А то вдругъ примется смѣяться, шутить, плясать; обниметъ меня такъ жарко, такъ крѣпко, что голова кругомъ пойдетъ. Съ утра до вечера, бывало, только и думаю: чѣмъ бы мнѣ ее порадовать? И вѣрите ли, вѣдь только для того ее дарилъ, чтобы посмотрѣть, какъ она, душа моя, обрадуется, вся покраснѣетъ отъ радости, какъ станетъ мой подарокъ примѣрять, какъ ко мнѣ въ обновкѣ подойдетъ и поцѣлуетъ. Неизвѣстно, какимъ образомъ отецъ ея Куликъ пронюхалъ дѣло; пришелъ старикъ поглядѣть на насъ, да какъ заплачетъ.... Такимъ-то мы образомъ мѣсяцевъ пять прожили; а я бы не прочь и весь вѣкъ съ ней такъ прожить, да судьба моя такая окаянная!

Петръ Петровичъ остановился.

— Что-жъ такое сдѣлалось?—спросилъ я его съ участьемъ.

Онъ махнулъ рукой.

— Все къ чорту пошло. Я-же ее и погубилъ. Матренушка у меня смерть любила кататься въ санкахъ, и сама, бывало, правитъ; надѣнетъ свою шубку, шитыя ру-

кавицы торжковскія, да только покрикиваетъ. Катались-то мы всегда вечеромъ, чтобы, знаете, кого-нибудь не встрѣтить. Вотъ какъ-то разъ выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, вѣтра нѣту.... мы и поѣхали. Матрена взяла возжи. Вотъ я и смотрю, куда это она ѣдетъ? Неужели въ Кукуевку, въ деревню своей барыни? Точно, въ Кукуевку. Я ей и говорю: сумасшедшая, куда ты ѣдешь? Она глянула ко мнѣ черезъ плечо, да усмѣхнулася. Дай, дескать, покуражиться. А! подумалъ я: — была не была!... Мимо господскаго дома прокатиться вѣдь хорошо? вѣдь хорошо — скажите сами? Вотъ мы и ѣдемъ. Иноходецъ мой такъ и плыветъ, пристяжныя совершенно, скажу вамъ, завихрились, — вотъ ужъ и Кукуевскую церковь видно; глядь, ползетъ по дорогѣ старый зеленый возокъ и лакей на запяткахъ торчитъ.... Барыня, барыня ѣдетъ! Я было-струсилъ, а Матрена-то какъ ударитъ возжами по лошадямъ, да какъ помчится прямо на возокъ! Кучеръ, тотъ-то, вы понимаете, видитъ: летитъ на-встрѣчу—Алхимерэсъ какой-то,—хотѣлъ, знаете, посторониться, да круто взялъ, да въ сугробъ возокъ-то и опрокинулъ. Стекло разбилось — барыня кричитъ: ай, ай, ай! ай, ай, ай! компаньонка пищитъ: держи, держи! а мы, давай Богъ ноги, мимо. Скачемъ мы, а я думаю: худо будетъ, напрасно я ей позволилъ ѣхать въ Кукуевку. Что-жъ вы думаете? вѣдь, узнала барыня Матрену и меня узнала, старая, да жалобу на меня и подай: бѣглая, дескать, моя дѣвка у дворянина Каратаева проживаетъ; да тутъ же и благодарность, какъ слѣдуетъ, предъявила. Смотрю, ѣдетъ ко мнѣ исправникъ; а исправникъ-то былъ мнѣ человѣкъ знакомый, Степанъ Сергѣичъ Кузовкинъ, хорошій человѣкъ, то-есть, въ сущности человѣкъ не хорошій. Вотъ, пріѣзжаетъ и говоритъ: такъ и такъ, Петръ Петровичъ, — какъ же вы это

такъ?... Отвѣтственность сильная, и законы на этотъ счетъ ясные. Я ему говорю: ну, объ этомъ мы, разумѣется, съ вами побесѣдуемъ, а вотъ, не хотите ли перекусить съ дороги? Перекусить-то онъ согласился, но говоритъ: правосудіе требуетъ, Петръ Петровичъ, сами посудите.—Оно конечно, правосудіе, говорю я: оно, конечно.... а вотъ, я слышалъ, у васъ лошадка есть вороненькая, такъ не хотите-ли помѣняться на моего Лампурдоса?... А дѣвки Матрены Ѳедоровой у меня не имѣется. — Ну, говоритъ онъ: Петръ Петровичъ, дѣвка-то у васъ, мы вѣдь не въ Швейцаріи живемъ.... а на Лампурдоса помѣняться лошадкой можно; можно, пожалуй, его и такъ взять. Однако, на этотъ разъ я его кое-какъ спровадилъ. Но старая барыня завозилась пуще прежняго; десяти тысячъ, говоритъ, не пожалѣю. Видите-ли, ей, глядя на меня, вдругъ въ голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонкѣ, — это я послѣ узналъ: оттого-то она такъ и разозлилась. Чего только эти барыни не придумаютъ!... Со скуки, должно быть. Плохо мнѣ пришлось: и денегъ-то я не жалѣлъ, и Матрену-то пряталъ, — нѣтъ! Затормошили меня, завертѣли совсѣмъ. Въ долги влѣзъ, здоровья лишился.... Вотъ лежу однажды ночью у себя на постелѣ и думаю: Господи Боже мой, за что̀ терплю? Что̀-жъ мнѣ дѣлать, коли я ее разлюбить не могу?... Ну, не могу, да и только!—шасть ко мнѣ въ комнату Матрена. Я на это время спряталъ ее было у себя на хуторѣ, верстахъ въ двухъ отъ своего дома. Я испугался. — Что? аль и тамъ тебя открыли? — «Нѣтъ, Петръ Петровичъ», — говоритъ она: «никто меня не безпокоитъ въ Бубновѣ; да долго ли это продолжится? Сердце мое», говоритъ, «надрывается, Петръ Петровичъ; васъ мнѣ жаль, моего голубчика; вѣкъ не забуду ласки вашей, Петръ Петровичъ, а теперь пришла съ вами проститься». — Что̀ ты, что̀ ты, сумасшед-

шая?... Какъ проститься? какъ проститься?—«А такъ.... пойду да себя и выдамъ».—Да я тебя, сумасшедшую, на чердакъ запру.... Иль ты погубить меня вздумала? уморить меня желаешь, что-ли? — Молчитъ себѣ дѣвка, да глядитъ на полъ. — Ну, да говори-же, говори! — «Не хочу вамъ больше безпокойства причинять, Петръ Петровичъ».—Ну, поди, толкуй съ ней....—Да ты знаешь-ли, дура, ты знаешь-ли сума.... сумасшедшая....

И Петръ Петровичъ горько зарыдалъ.

— Вѣдь, что́ вы думаете?—продолжалъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу и стараясь нахмурить брови, межъ тѣмъ, какъ слезы все еще бѣжали по его разгоряченнымъ щекамъ:—вѣдь, выдала себя дѣвка,—пошла да и выдала себя....

— Лошади готовы-съ!—торжественно воскликнулъ смотритель, входя въ комнату.

Мы оба встали.

— Что́ же сдѣлалось съ Матреной?—спросилъ я.

Каратаевъ махнулъ рукой.

Спустя годъ послѣ моей встрѣчи съ Каратаевымъ, случилось мнѣ заѣхать въ Москву. Разъ какъ-то, передъ обѣдомъ, зашелъ я въ кофейную, находящуюся за Охотнымъ рядомъ — оригинальную московскую кофейную. Въ бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскраснѣвшіяся лица, усы, хохлы, старомодныя венгерки и новѣйшія святославки. Худые старички въ скромныхъ сюртукахъ читали русскія газеты. Прислуга рѣзво мелькала съ подносами, мягко ступая по зеленымъ коврикамъ. Купцы съ мучительнымъ напряженіемъ пили чай. Вдругъ изъ бильярдной вышелъ человѣкъ, нѣсколько растрепанный и не совсѣмъ твердый на ногахъ. Онъ положилъ руки въ

карманы, опустилъ голову и безсмысленно посмотрѣлъ кругомъ.

— Ба, ба, ба! Петръ Петровичъ!... Какъ поживаете?

Петръ Петровичъ чуть не бросился ко мнѣ на шею и потащилъ меня, слегка качаясь, въ маленькую особенную комнату.

— Вотъ здѣсь, — говорилъ онъ, заботливо усаживая меня въ кресла:—здѣсь вамъ будетъ хорошо. Человѣкъ, пива! нѣтъ, то-есть шампанскаго! Ну, признаюсь, не ожидалъ, не ожидалъ.... Давно-ли? надолго-ли? Вотъ, привелъ Богъ, какъ говорится, того....

— Да, помните....

— Какъ не помнить, какъ не помнить, — торопливо перервалъ онъ меня:—дѣло прошлое.... дѣло прошлое....

— Ну, что вы здѣсь подѣлываете, любезный Петръ Петровичъ?

— Живу, какъ изволите видѣть. Здѣсь житье хорошее, народъ здѣсь радушный. Здѣсь я успокоился.

И онъ вздохнулъ и поднялъ глаза къ небу.

— Служите?

— Нѣтъ-съ, еще не служу, а думаю скоро опредѣлиться. Да что служба?... Люди — вотъ главное. Съ какими я здѣсь людьми познакомился!...

Мальчикъ вошелъ съ бутылкой шампанскаго на черномъ подносѣ.

— Вотъ и это хорошій человѣкъ.... Не правда-ли, Вася, ты хорошій человѣкъ? На твое здоровье!

Мальчикъ постоялъ, прилично тряхнулъ головкой, улыбнулся и вышелъ.

— Да, хорошіе здѣсь люди, — продолжалъ Петръ Петровичъ: — съ чувствомъ, съ душой... Хотите, я васъ познакомлю? Такіе славные ребята... Они всѣ вамъ будутъ ради. Я скажу.... Бобровъ умеръ, вотъ горе.

— Какой Бобровъ?

— Сергѣй Бобровъ. Славный былъ человѣкъ; призрѣлъ-было меня, невѣжу, степняка. И Горностаевъ Пантелей умеръ. Всѣ умерли, всѣ!

— Вы все время въ Москвѣ прожили? Не съѣздили въ деревню?

— Въ деревню.... мою деревню продали.

— Продали?

— Сукціона.... Вотъ, напрасно вы не купили!

— Чѣмъ же вы жить будете, Петръ Петровичъ?

— А не умру съ голоду, Богъ дастъ! денегъ не будетъ, друзья будутъ. Да что̀ деньги? — прахъ! Золото— прахъ!

Онъ зажмурился, пошарилъ рукой въ карманѣ и поднесъ ко мнѣ на ладони два пятиалтынныхъ и гривенникъ.

— Что̀ это? Вѣдь, прахъ? (И деньги полетѣли на полъ.) А вы лучше скажите мнѣ, читали-ли вы Полежаева?

— Читалъ.

— Видали-ли Мочалова въ Гамлетѣ?

— Нѣтъ; не видалъ.

— Не видали, не видали.... (И лицо Каратаева поблѣднѣло, глаза безпокойно забѣгали; онъ отвернулся; легкія судороги пробѣжали по его губамъ.) — Ахъ, Мочаловъ, Мочаловъ! «Окончить жизнь—уснуть», — проговорилъ онъ глухимъ голосомъ:

Не болѣе! и знать, что этотъ сонъ
Окончитъ грусть и тысячи ударовъ,
Удѣлъ живыхъ.... Такой конецъ достоинъ
Желаній жаркихъ! Умереть.... уснуть....

— Уснуть, уснуть! — пробормоталъ онъ нѣсколько разъ.

— Скажите, пожалуйста,—началъ-было я; но онъ продолжалъ съ жаромъ:

Кто снесъ-бы бичъ и посмѣянье вѣка,
Безсилье правъ, тирановъ притѣсненье,
Обиды гордаго, забытую любовь,
Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,
Когда бы могъ насъ подарить покоемъ
Одинъ ударъ.... О, помяни
Мои грѣхи въ твоей святой молитвѣ!

И онъ уронилъ голову на столъ. Онъ начиналъ заикаться и завираться.

— «И черезъ мѣсяцъ!» произнесъ онъ съ новой силой:

Одинъ короткій, быстротечный мѣсяцъ!
И башмаковъ еще не износила
Въ которыхъ шла, въ слезахъ,
За бѣднымъ прахомъ моего отца!
О, небо! Звѣрь, безъ разума, безъ слова,
Грустилъ-бы долѣе....

Онъ поднесъ рюмку шампанскаго къ губамъ, но не выпилъ вина и продолжалъ:

Изъ-за Гекубы?
Что онъ Гекубѣ, что она ему,
Что плачетъ онъ объ ней?...
А я.... презрѣнный, малодушный рабъ,—
Я трусъ! Кто назоветъ меня негоднымъ?
Кто скажетъ мнѣ: ты лжешь?
А я обиду перенесъ-бы.... Да!
Я голубь мужествомъ:—во мнѣ нѣтъ желчи,
И мнѣ обида не горька....

Каратаевъ уронилъ рюмку и схватилъ себя за голову. Мнѣ показалось, что я его понялъ.

— Ну, да что, — проговорилъ онъ, наконецъ: — кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ.... Не правда-ли? (И онъ засмѣялся.)—На ваше здоровье!

— Вы останетесь въ Москвѣ?—спросилъ я его.

— Умру въ Москвѣ!

— Каратаевъ! — раздалось въ сосѣдней комнатѣ—Каратаевъ, гдѣ ты? поди сюда, любезный че-а-экъ!

— Меня зовутъ,—проговорилъ онъ, тяжело поднимаясь съ мѣста. — Прощайте; зайдите ко мнѣ, если можете, я живу въ ***.

Но на другой же день, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, я долженъ былъ выѣхать изъ Москвы и не видался болѣе съ Петромъ Петровичемъ Каратаевымъ.

СВИДАНІЕ.

Я СИДѢЛЪ въ березовой рощѣ осенью, около половины сентября. Съ самаго утра перепадалъ мелкій дождикъ, смѣняемый по временамъ теплымъ солнечнымъ сіяніемъ; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми бѣлыми облаками, то вдругъ мѣстами расчищалось на мгновенье, и тогда изъ-за раздвинутыхъ тучъ показывалась лазурь ясная и ласковая, какъ прекрасный глазъ. Я сидѣлъ и глядѣлъ кругомъ и слушалъ. Листья чуть шумѣли надъ моей головой; по одному ихъ шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То былъ не веселый, смѣющійся трепетъ весны, не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый вѣтеръ чуть-чуть тянулъ по верхушкамъ. Внутренность рощи, влажной отъ дождя, безпрестанно измѣнялась, смотря по тому, свѣтило-ли солнце или закрывалось облакомъ; она то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось: тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ березъ внезапно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червоннымъ золотомъ, а красивые стебли высокихъ, кудрявыхъ папоротниковъ,

уже окрашенныхъ въ свой осенній цвѣтъ, подобный цвѣту переспѣлаго винограда, такъ и сквозили, безконечно путаясь и пересѣкаясь передъ глазами; то вдругъ опять все кругомъ слегка синѣло: яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, безъ блеску, бѣлыя какъ только-что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играющій лучъ зимняго солнца;—и украдкой, лукаво, начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь. Листва на березахъ была еще почти вся зелена, хотя замѣтно поблѣднѣла; лишь кое-гдѣ стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видѣть, какъ она ярко вспыхивала на солнцѣ, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрѣя, сквозь частую сѣтку тонкихъ вѣтокъ, только-что смытыхъ сверкающимъ дождемъ. Ни одной птицы не было слышно: всѣ пріютились и замолкли; лишь изрѣдка звенѣлъ стальнымъ колокольчикомъ насмѣшливый голосокъ синицы. Прежде чѣмъ я остановился въ этомъ березовомъ лѣску, я съ своей собакой прошелъ черезъ высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишкомъ люблю это дерево — осину—съ ея блѣдно-лиловымъ стволомъ и сѣро-зеленой, металлической листвой, которую она вздымаетъ какъ можно выше и дрожащимъ вѣеромъ раскидываетъ на воздухѣ; не люблю я вѣчное качанье .ея круглыхъ неопрятныхъ листьевъ, неловко прицѣпленныхъ къ длиннымъ стебелькамъ. Она бываетъ хороша только въ иные лѣтніе вечера, когда, возвышаясь отдѣльно среди низкаго кустарника, приходится въ упоръ рдѣющимъ лучамъ заходящаго солнца и блеститъ и дрожитъ, съ корней до верхушки облитая одинаковымъ желтымъ багрянцемъ,—или, когда, въ ясный вѣтренный день, она вся шумно струится и лепечетъ на синемъ небѣ, и каждый листъ ея, подхваченный стремленьемъ, какъ-будто хочетъ сорваться, слетѣть

и умчаться въ даль. Но вообще я не люблю этого дерева, и потому, не остановясь въ осиновой рощѣ для отдыха, добрался до березоваго лѣска, угнѣздился подъ однимъ деревцомъ, у котораго сучья начинались низко надъ землей и, слѣдовательно, могли защитить меня отъ дождя, и полюбовавшись окрестнымъ видомъ, заснулъ тѣмъ безмятежнымъ и кроткимъ сномъ, который знакомъ однимъ охотникамъ.

Не могу сказать, сколько я времени проспалъ, но, когда я открылъ глаза,—вся внутренность лѣса была наполнена солнцемъ, и во всѣ направленья, сквозь радостно шумѣвшую листву, сквозило и какъ-бы искрилось яркоголубое небо; облака скрылись, разогнанныя взыгравшимъ вѣтромъ; погода расчистилась, и въ воздухѣ чувствовалась та особенная, сухая свѣжесть, которая, наполняя сердце какимъ-то бодрымъ ощущеньемъ, почти всегда предсказываетъ мирный и ясный вечеръ послѣ ненастнаго дня. Я собрался-было встать и снова попытать счастья, какъ вдругъ глаза мои остановились на неподвижномъ человѣческомъ образѣ. Я вглядѣлся: то была молодая крестьянская дѣвушка. Она сидѣла въ двадцати шагахъ отъ меня, задумчиво потупивъ голову и уронивъ обѣ руки на колѣни; на одной изъ нихъ, до половины раскрытой, лежалъ густой пучокъ полевыхъ цвѣтовъ и при каждомъ ея дыханьи тихо скользилъ на клѣтчатую юбку. Чистая бѣлая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими, мягкими складками около ея стана; крупныя желтыя бусы въ два ряда спускались съ шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые бѣлокурые волосы, прекраснаго пепельнаго цвѣта, расходились двумя, тщательно причесанными полукругами изъ-подъ узкой, алой повязки, надвинутой почти на самый лобъ, бѣлый какъ слоновая кость; остальная часть ея лица едва загорѣла

тѣмъ золотымъ загаромъ, который принимаетъ одна тонкая кожа. Я не могъ видѣть ея глазъ—она ихъ не поднимала; но я ясно видѣлъ ея тонкія, высокія брови, ея длинныя рѣсницы: онѣ были влажны, и на одной изъ ея щекъ блисталъ на солнцѣ высохшій слѣдъ слезы, остановившейся у самыхъ губъ, слегка поблѣднѣвшихъ. Вся ея головка была очень мила; даже немного толстый и круглый носъ ее не портилъ. Мнѣ особенно нравилось выраженіе ея лица: такъ оно было просто и кротко, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнья передъ собственной грустью. Она видимо ждала кого-то; въ лѣсу что-то слабо хрустнуло: она тотчасъ подняла голову и оглянулась; въ прозрачной тѣни быстро блеснули передо мной ея глаза, большіе, свѣтлые и пугливые, какъ у лани. Нѣсколько мгновеній прислушивалась она, не сводя широко раскрытыхъ глазъ съ мѣста, гдѣ раздался слабый звукъ, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цвѣты. Вѣки ея покраснѣли, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась изъ-подъ густыхъ рѣсницъ, останавливаясь и лучисто сверкая на щекѣ. Такъ прошло довольно много времени; бѣдная дѣвушка не шевелилась, — лишь изрѣдка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала.... Снова что-то зашумѣло по лѣсу, — она встрепенулась. Шумъ не переставалъ, становился явственнѣй, приближался, послышались наконецъ рѣшительные, проворные шаги. Она выпрямилась и какъ-будто оробѣла; ея внимательный взоръ задрожалъ, зажегся ожиданьемъ. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вглядѣлась, вспыхнула вдругъ, радостно и счастливо улыбнулась, хотѣла-было встать и тотчасъ опять поникла вся, поблѣднѣла, смутилась — и только тогда подняла трепещущій,

*

почти молящій взглядъ на пришедшаго человѣка, когда тотъ остановился рядомъ съ ней.

Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на него изъ своей засады. Признаюсь, онъ не произвелъ на меня пріятнаго впечатлѣнія. Это былъ, по всѣмъ признакамъ, избалованный камердинеръ молодого, богатаго барина. Его одежда изобличала притязаніе на вкусъ и щегольскую небрежность: на немъ было коротенькое пальто бронзоваго цвѣта, вѣроятно, съ барскаго плеча, застегнутый до верху, розовый галстучекъ съ лиловыми кончиками и бархатный, черный картузъ съ золотымъ галуномъ, надвинутый на самыя брови. Круглые воротнички его бѣлой рубашки немилосердно подпирали ему уши и рѣзали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красныхъ и кривыхъ пальцевъ, украшенныхъ серебряными и золотыми кольцами съ незабудками изъ бирюзы. Лицо его, румяное, свѣжее, нахальное, принадлежало къ числу лицъ, которыя, сколько я могъ замѣтить, почти всегда возмущаютъ мужчинъ и, къ сожалѣнію, очень часто нравятся женщинамъ. Онъ видимо старался придать своимъ грубоватымъ чертамъ выраженіе презрительное и скучающее; безпрестанно щурилъ свои и безъ того крошечные, молочно-сѣрые глазки, морщился, опускалъ углы губъ, принужденно зѣвалъ и съ небрежной, хотя не совсѣмъ ловкой развязностью то поправлялъ рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипалъ желтые волосики, торчавшіе на толстой верхней губѣ, — словомъ, ломался нестерпимо. Началъ онъ ломаться, какъ только увидалъ молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистымъ шагомъ подошелъ онъ къ ней, постоялъ, подернулъ плечами, засунулъ обѣ руки въ карманы пальто и, едва удостоивъ бѣдную дѣвушку бѣглымъ и равнодушнымъ взглядомъ, опустился на землю.

— А что̀,—началъ онъ, продолжая глядѣть куда-то въ сторону, качая ногою и зѣвая:—давно ты здѣсь?

Дѣвушка не могла тотчасъ ему отвѣчать.

— Давно-съ, Викторъ Александрычъ,—проговорила она, наконецъ, едва слышнымъ голосомъ.

— А! (Онъ снялъ картузъ, величественно провелъ рукою по густымъ, туго завитымъ волосамъ, начинавшимся почти у самыхъ бровей и, съ достоинствомъ посмотрѣвъ кругомъ, бережно прикрылъ опять свою драгоцѣнную голову). А я было-совсѣмъ и позабылъ. Притомъ, вишь, дождикъ! (Онъ опять зѣвнулъ).—Дѣла пропасть: за всѣмъ не усмотришь, а тотъ еще бранится. Мы завтра ѣдемъ....

— Завтра?—произнесла дѣвушка и устремила на него испуганный взоръ.

— Завтра.... Ну, ну, ну, пожалуйста, — подхватилъ онъ поспѣшно и съ досадой, увидѣвъ, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову:—пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпѣть не могу (И онъ наморщилъ свой тупой носъ). А то я сейчасъ уйду.... Что̀ за глупости—хныкать!

— Ну, не буду, не буду,—торопливо произнесла Акулина, съ усиліемъ глотая слезы.—Такъ вы завтра ѣдете?—прибавила она послѣ небольшого молчанья: — когда-то Богъ приведетъ опять увидѣться съ вами, Викторъ Александрычъ?

— Увидимся, увидимся. Не въ будущемъ году—такъ послѣ. Баринъ-то, кажется, въ Петербургъ на службу поступить желаетъ,—продолжалъ онъ, выговаривая слова небрежно и нѣсколько въ носъ:—а можетъ быть и за границу уѣдемъ.

— Вы меня забудете, Викторъ Александрычъ, — печально промолвила Акулина.

— Нѣтъ, отчего же? Я тебя не забуду: только ты будь

умна, не дурачься, слушайся отца.... А я тебя не забуду — нѣ-ѣтъ. (И онъ спокойно потянулся и опять зѣвнулъ.)

— Не забывайте меня, Викторъ Александрычъ,—продолжала она умоляющимъ голосомъ. — Ужъ, кажется, я на что васъ любила, все, кажется, для васъ.... Вы говорите, отца мнѣ слушаться, Викторъ Александрычъ.... Да какъ же мнѣ отца-то слушаться....

— А что? (Онъ произнесъ эти слова какъ-бы изъ желудка, лежа на спинѣ и подложивъ руки подъ голову).

— Да какъ же, Викторъ Александровичъ, — вы сами знаете....

Она умолкла. Викторъ поигралъ стальной цѣпочкой своихъ часовъ.

— Ты, Акулина дѣвка не глупая,—заговорилъ онъ наконецъ: — потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсѣмъ мужичка, такъ сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты безъ образованья,—стало быть, должна слушаться, когда тебѣ говорятъ.

— Да страшно, Викторъ Александрычъ.

— И-и, какой вздоръ, моя любезная: въ чемъ нашла страхъ! Что это у тебя,—прибавилъ онъ, подвинувшись къ ней:—цвѣты?

— Цвѣты,—уныло отвѣчала Акулина.—Это я полевой рябинки нарвала, — продолжала она, нѣсколько оживившись: — это для телятъ хорошо. А это вотъ череда — противъ золотухи. Вотъ поглядите-ка какой чудный цвѣтикъ; такого чуднаго цвѣтика я еще отродясь не видала. Вотъ незабудки, а вотъ маткина-душка.... А вотъ это я для васъ,—прибавила она, доставая изъ-подъ желтой рябинки небольшой пучокъ голубенькихъ васильковъ, перевязанныхъ тоненькой травкой:—хотите?

Викторъ лѣниво протянулъ руку, взялъ, небрежно понюхалъ цвѣты и началъ вертѣть ихъ въ пальцахъ, съ задумчивой важностью посматривая вверхъ. Акулина глядѣла на него.... Въ ея грустномъ взорѣ было столько нѣжной преданности, благоговѣйной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смѣла плакать, и прощалась съ нимъ, и любовалась имъ въ послѣдній разъ; а онъ лежалъ, развалясь, какъ султанъ, и съ великодушнымъ терпѣньемъ и снисходительностію сносилъ ея обожанье. Я, признаюсь, съ негодованьемъ разсматривалъ его красное лицо́, на которомъ сквозь притворно-презрительное равнодушіе проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбіе. Акулина была такъ хороша въ это мгновеніе: вся душа ея довѣрчиво, страстно раскрывалась передъ нимъ, тянулась, ластилась къ нему, а онъ... онъ уронилъ васильки на траву, досталъ изъ бокового кармана пальто круглое стеклышко въ бронзовой оправѣ и принялся втискивать его въ глазъ; но, какъ онъ ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носомъ— стеклышко все вываливалось и падало ему въ руку.

— Что́ это? — спросила, наконецъ, изумленная Акулина.

— Лорнетъ,—отвѣчалъ онъ съ важностью.

— Для чего?

— А чтобъ лучше видѣть.

— Покажите-ка.

Викторъ поморщился, но далъ ей стеклышко.

— Не разбей, смотри.

— Небось, не разобью. (Она робко поднесла его къ глазу.) Я ничего не вижу,—невинно проговорила она.

— Да ты глазъ-то зажмурь,—возразилъ онъ голосомъ недовольнаго наставника. (Она зажмурила глазъ, передъ которымъ держала стеклышко.) — Да не тотъ, не тотъ,

глупая! Другой! — воскликнулъ Викторъ и, не давши ей исправить свою ошибку, отнялъ у ней лорнетъ.

Акулина покраснѣла, чуть-чуть засмѣялась и отвернулась.

— Видно, намъ негодится,—промолвила она.

— Еще бы!

Бѣдняжка помолчала и глубоко вздохнула.

— Ахъ, Викторъ Александрычъ, какъ это будетъ намъ быть безъ васъ!—сказала она вдругъ.

Викторъ вытеръ лорнетъ полой и положилъ его обратно въ карманъ.

— Да, да,—заговорилъ онъ наконецъ:—тебѣ сначала будетъ тяжело, точно. (Онъ снисходительно потрепалъ ее по плечу; она тихонько достала съ своего плеча его руку и робко ее поцѣловала).—Ну, да, да, ты точно дѣвка добрая, — продолжалъ онъ, самодовольно улыбнувшись;—но что же дѣлать? Ты сама посуди! намъ съ бариномъ нельзя же здѣсь остаться; теперь скоро зима, а въ деревнѣ зимой—ты сама знаешь—просто скверность. То-ли дѣло въ Петербургѣ! Тамъ, просто, такія чудеса, какихъ ты, глупая, и во снѣ себѣ представить не можешь. Дома какіе, улицы, а обчество, образованье—просто удивленье!... (Акулина слушала его съ пожирающимъ вниманьемъ, слегка раскрывъ губы, какъ ребенокъ). Впрочемъ, —прибавилъ онъ, заворочавшись на землѣ:—къ чему я тебѣ это все говорю? Вѣдь ты этого понять не можешь.

— Отчего же, Викторъ Александрычъ? Я поняла; я все поняла.

— Вишь, какая!

Акулина потупилась.

— Прежде вы со мной не такъ говаривали, Викторъ Александрычъ,—проговорила она, не поднимая глазъ.

— Прежде?... прежде! Вишь ты!... Прежде! — замѣтилъ онъ, какъ-бы негодуя.

Они оба помолчали.

— Однако, мнѣ пора идти, — проговорилъ Викторъ и уже оперся-было на локоть....

— Подождите еще немножко, умоляющимъ голосомъ произнесла Акулина.

— Чего ждать?... Вѣдь ужъ я простился съ тобой.

— Подождите, повторила Акулина.

Викторъ опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала съ него глазъ. Я могъ замѣтить, что она понемногу приходила въ волненье: ея губы подергивало, блѣдныя ея щеки слабо заалѣлись....

— Викторъ Александрычъ, заговорила она наконецъ прерывающимся голосомъ:—вамъ грѣшно.... вамъ грѣшно, Викторъ Александрычъ: ей-Богу!

— Что̀ такое грѣшно? спросилъ онъ, нахмуривъ брови, и слегка приподнялъ и повернулъ къ ней голову.

— Грѣшно, Викторъ Александрычъ. Хоть-бы доброе словечко мнѣ сказали на прощанье; хоть-бы словечко мнѣ сказали, горемычной сиротинушкѣ....

— Да что̀ я тебѣ скажу?

— Я не знаю; вы это лучше знаете, Викторъ Александрычъ. Вотъ вы ѣдете, и хоть-бы словечко.... Чѣмъ я заслужила?

— Какая-же ты странная! что̀-жъ я могу?

— Хоть-бы словечко....

— Ну, зарядила одно и то же, промолвилъ онъ съ досадой и всталъ.

— Не сердитесь, Викторъ Александрычъ, поспѣшно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа.... Чего ты хочешь? Вѣдь я на тебѣ жениться не могу? вѣдь не могу?

Ну, такъ чего-жъ ты хочешь? чего? (Онъ уткнулся лицомъ, какъ-бы ожидая отвѣта, и растопырилъ пальцы.)

— Я ничего.... ничего не хочу, отвѣчала она, заикаясь и едва осмѣливаясь простирать къ нему трепещущія руки:—а такъ хоть-бы словечко, на прощанье....

И слезы полились у ней ручьемъ.

— Ну, такъ и есть, пошла плакать, хладнокровно промолвилъ Викторъ, надвигая сзади картузъ на глаза.

— Я ничего не хочу, продолжала она, всхлипивая и закрывъ лицо обѣими руками:—но каково-же мнѣ теперь въ семьѣ, каково-же мнѣ? и что-же со мной будетъ, что̀ станется со мной, горемычной? За немилаго выдадутъ сиротиночку.... Бѣдная моя головушка!

— Припѣвай, припѣвай, въ-полголоса пробормоталъ Викторъ, переминаясь на мѣстѣ.

— А онъ хоть-бы словечко, хоть-бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я....

Внезапныя, надрывающія грудь рыданья не дали ей докончить рѣчи—она повалилась лицомъ на траву и горько, горько заплакала.... Все ея тѣло судорожно волновалось, затылокъ такъ и поднимался у ней.... Долго сдержанное горе хлынуло наконецъ потокомъ. Викторъ постоялъ надъ нею, постоялъ, пожалъ плечами, повернулся и ушелъ большими шагами.

Прошло нѣсколько мгновеній.... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хо́тѣла-было бѣжать за нимъ, но ноги у ней подкосились—она упала на колѣни.... Я не выдержалъ и бросился къ ней; но едва успѣла она вглядѣться въ меня, какъ откуда взялись силы—она съ слабымъ крикомъ поднялась и исчезла за деревьями, оставивъ разбросанные цвѣты на землѣ.

Я постоялъ, поднялъ пучокъ васильковъ и вышелъ изъ

рощи, въ поле. Солнце стояло низко на блѣдно-ясномъ небѣ, лучи его тоже какъ-будто поблекли и похолодѣли: они не сіяли, они разливались ровнымъ, почти водянистымъ свѣтомъ. До вечера оставалось не болѣе получаса, а заря едва, едва зажигалась. Порывистый вѣтеръ быстро мчался мнѣ навстрѣчу черезъ желтое, высохшее жнивьё; торопливо вздымаясь передъ нимъ, стремились мимо, черезъ дорогу, вдоль опушки, маленькіе, покоробленныя листья; сторона рощи, обращенная стѣною въ поле, вся дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ, четко, но не ярко; на красноватой травѣ, на былинкахъ, на соломенкахъ, всюду блестѣли и волновались безчисленныя нити осеннихъ паутинъ. Я остановился.... Мнѣ стало грустно; сквозь веселую, хотя свѣжую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страхъ недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и рѣзко разсѣкая воздухъ крылами, пролетѣлъ осторожный воронъ, повернулъ голову, посмотрѣлъ на меня съ боку, взмылъ и, отрывисто каркая, скрылся за лѣсомъ; большое стадо голубей рѣзво пронеслось съ гумна и, внезапно закружившись столбомъ, хлопотливо разсѣлось по полю — признакъ осени! Кто-то проѣхалъ за обнаженнымъ холмомъ, громко стуча пустой телѣгой....

Я вернулся домой; но образъ бѣдной Акулины долго не выходилъ изъ моей головы, и васильки ея, давно увядшіе, до сихъ поръ хранятся у меня....

ГАМЛЕТЪ ЩИГРОВСКАГО УѢЗДА.

На одной изъ моихъ поѣздокъ получилъ я приглашеніе отобѣдать у богатаго помѣщика и охотника, Александра Михайлыча Г***. Его село находилось верстахъ въ пяти отъ небольшой деревеньки, гдѣ я на ту пору поселился. Я надѣлъ фракъ, безъ котораго не совѣтую никому выѣзжать даже на охоту, и отправился къ Александру Михайлычу. Обѣдъ былъ назначенъ къ шести часамъ; я пріѣхалъ въ пять и засталъ уже великое множество дворянъ въ мундирахъ, въ партикулярныхъ платьяхъ и другихъ, менѣе опредѣлительныхъ одеждахъ. Хозяинъ встрѣтилъ меня ласково, но тотчасъ же побѣжалъ въ офиціянтскую. Онъ ожидалъ важнаго сановника и чувствовалъ нѣкоторое волненіе, вовсе несообразное съ его независимымъ положеніемъ въ свѣтѣ и богатствомъ. Александръ Михайлычъ никогда женатымъ не былъ и не любилъ женщинъ; общество у него собиралось холостое. Онъ жилъ на большую ногу, увеличилъ и отдѣлалъ дѣдовскія хоромы великолѣпно, выписывалъ ежегодно изъ Москвы тысячъ на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшимъ уваженіемъ. Александръ Михайлычъ давнымъ-давно вышелъ въ отставку и никакихъ почестей не добивался.... Что же заставляло его напрашиваться на посѣ-

щеніе сановнаго гостя и волноваться съ самаго утра въ день торжественнаго обѣда? Это остается покрыто мракомъ неизвѣстности, какъ говаривалъ одинъ мой знакомый стряпчій, когда его спрашивали: беретъ-ли онъ взятки съ доброхотныхъ дателей?

Разставшись съ хозяиномъ, я началъ расхаживать по комнатамъ. Почти всѣ гости были мнѣ совершенно незнакомы; человѣкъ двадцать уже сидѣло за карточными столами. Въ числѣ этихъ любителей преферанса было: два военныхъ съ благородными, но слегка изношенными лицами, нѣсколько штатскихъ особъ, въ тѣсныхъ, высокихъ галстухахъ и съ висячими, крашенными усами, какіе только бываютъ у людей рѣшительныхъ, но благонамѣренныхъ (эти благонамѣренные люди съ важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали съ боку глазами на подходившихъ); пять или шесть уѣздныхъ чиновниковъ съ круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягкимъ голосомъ, кротко улыбались на всѣ стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротивъ, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкій, весьма учтивый и приличный скрыпъ.) Прочіе дворяне сидѣли на диванахъ, кучками жались къ дверямъ и подлѣ оконъ; одинъ, уже не молодой, но женоподобный по наружности помѣщикъ, стоялъ въ уголку, вздрагивалъ, краснѣлъ и съ замѣшательствомъ вертѣлъ у себя на желудкѣ печаткою своихъ часовъ, хотя никто не обращалъ на него вниманія; иные господа, въ круглыхъ фракахъ и клѣтчатыхъ панталонахъ работы московскаго портнаго, вѣчно-цеховаго мастера Ѳирса Клюхина, разсуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой

человѣкъ лѣтъ двадцати, подслѣповатый и бѣлокурый, съ ногъ до головы одѣтый въ черную одежду, видимо робѣлъ, но язвительно улыбался....

Однако я начиналъ нѣсколько скучать, какъ вдругъ ко мнѣ присоединился нѣкто Войницынъ, недоучившійся молодой человѣкъ, проживавшій въ домѣ Александра Михайлыча въ качествѣ.... мудрено сказать, въ какомъ именно качествѣ. Онъ стрѣлялъ отлично и умѣлъ дрессировать собакъ. Я его знавалъ еще въ Москвѣ. Онъ принадлежалъ къ числу молодыхъ людей, которые, бывало, на всякомъ экзаменѣ «играли столбняка», то-есть не отвѣчали ни слова на вопросы профессора. Этихъ господъ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дѣла давно минувшихъ дней, какъ изволите видѣть.) Вотъ какъ это дѣлалось: вызывали, напримѣръ, Войницына. Войницынъ, который до того времени неподвижно и прямо сидѣлъ на своей лавкѣ, съ ногъ до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но безсмысленно поводя кругомъ глазами,—вставалъ, торопливо застегивалъ свой вицмундиръ до верху и пробирался бокомъ къ экзаменаторскому столу. — «Извольте взять билетъ», съ пріятностью говорилъ ему профессоръ. Войницынъ протягивалъ руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетовъ. — «Да не извольте выбирать», замѣчалъ дребезжащимъ голосомъ какой-нибудь посторонній, но раздражительный старичокъ, профессоръ изъ другого факультета, внезапно возненавидѣвшій несчастнаго бакенбардиста. Войницынъ покорялся своей участи, бралъ билетъ, показывалъ нумеръ и шелъ садиться къ окну, пока предшественникъ его отвѣчалъ на свой вопросъ. У окна Войницынъ не спускалъ глазъ съ билета, развѣ только для того, чтобы по прежнему медленно посмотрѣть кругомъ, а впрочемъ не шевелился ни однимъ членомъ. Вотъ однако предшественникъ его кон-

чилъ, говорятъ ему: «хорошо, ступайте» или даже: «хорошо-съ, очень хорошо-съ», смотря по его способностямъ. Вотъ вызываютъ Войницына;—Войницынъ встаетъ и твердымъ шагомъ приближается къ столу. — «Прочтите билетъ», говорятъ ему. Войницынъ подноситъ обѣими руками билетъ къ самому своему носу, медленно читаетъ и медленно опускаетъ руки. — «Ну-съ, извольте отвѣчать», лѣниво произноситъ тотъ же профессоръ, закидывая туловище назадъ и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчаніе. — «Что-же вы?» Войницынъ молчитъ. Посторонняго старичка начинаетъ дергать.—«Да скажите-же что-нибудь!» Молчитъ мой Войницынъ, словно замеръ. Стриженный его затылокъ круто и неподвижно торчитъ на-встрѣчу любопытнымъ взорамъ всѣхъ товарищей. У посторонняго старичка глаза готовы выскочить: онъ окончательно ненавидитъ Войницына.—«Однакожъ это странно», замѣчаетъ другой экзаменаторъ: — что̀ же вы, какъ нѣмой стоите? ну, не знаете что̀-ли? такъ та̀къ и скажите».— «Позвольте другой билетъ взять», глухо произноситъ несчастный. Профессора̀ переглядываются.—«Ну, извольте», махнувъ рукой, отвѣчаетъ главный экзаменаторъ. Войницы̀нъ снова беретъ билетъ, снова идетъ къ окну, снова возвращается къ столу и снова молчитъ, какъ убитый. Посторонній старичокъ въ состояніи съѣсть его живого. Наконецъ его прогоняютъ и ставятъ нуль. Вы думаете: теперь онъ, по крайней мѣрѣ, уйдетъ? какъ-бы не такъ! Онъ возвращается на свое мѣсто, также неподвижно сидитъ до конца экзамена, а уходя восклицаетъ: «ну, баня! экая задача!»—И ходитъ онъ цѣлый тотъ день по Москвѣ, изрѣдка хватаясь за голову и горько проклиная свою безталанную участь. За книгу онъ, разумѣется, не берется, и на другое утро та же повторяется исторія.

Вотъ этотъ-то Войницынъ присосѣдился ко мнѣ. Мы съ нимъ говорили о Москвѣ, объ охотѣ.

— Не хотите-ли,—шепнулъ онъ мнѣ вдругъ:—я познакомлю васъ съ первымъ здѣшнимъ острякомъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

Войницынъ подвелъ меня къ человѣку маленькаго роста, съ высокимъ хохломъ и усами, въ коричневомъ фракѣ и пестромъ галстухѣ. Его желчныя, подвижныя черты дѣйствительно дышали умомъ и злостью. Бѣглая, ѣдкая улыбка безпрестанно кривила его губы; черные, прищуренные глазки дерзко выглядывали изъ-подъ неровныхъ рѣсницъ. Подлѣ него стоялъ помѣщикъ, широкій, мягкій, сладкій—настоящій Сахаръ-Медовичъ—и кривой. Онъ заранѣе смѣялся остротамъ маленькаго человѣка и словно таялъ отъ удовольствія. Войницынъ представилъ меня остряку, котораго звали Петромъ Петровичемъ Лупихинымъ. Мы познакомились, обмѣнялись первыми привѣтствіями.

— А позвольте представить вамъ моего лучшаго пріятеля, — заговорилъ вдругъ Лупихинъ рѣзкимъ голосомъ, схвативъ сладкаго помѣщика за руку. — Да не упирайтесь же, Кирила Селифанычъ,—прибавилъ онъ:—васъ не укусятъ. Вотъ-съ, — продолжалъ онъ, между тѣмъ какъ смущенный Кирила Селифанычъ такъ неловко раскланивался, какъ будто у него отваливался животъ: — вотъ-съ; рекомендую-съ, превосходный дворянинъ. Пользовался отличнымъ здоровьемъ до пятидесяти-лѣтняго возраста, да вдругъ вздумалъ лечить себѣ глаза, вслѣдствіе чего и окривѣлъ. Съ тѣхъ поръ лечитъ своихъ крестьянъ съ таковымъ же успѣхомъ.... Ну, а они, разумѣется, съ таковою же преданностію....

— Вѣдь этакой,—пробормоталъ Кирила Селифанычъ— и засмѣялся.

— Договаривайте, другъ мой, эхъ, договаривайте, — подхватилъ Лупихинъ.—Вѣдь васъ, чего добраго, въ судьи могутъ избрать, и изберутъ, посмотрите. Ну, за васъ, конечно, будутъ думать засѣдатели, положимъ; да вѣдь надобно-жъ, на всякій случай, хоть чужую-то мысль умѣть выговорить. Неравно заѣдетъ губернаторъ:—спроситъ: отъ чего судья заикается? Ну, положимъ, скажутъ: параличъ приключился; такъ бросьте ему, скажетъ, кровь. А оно въ вашемъ положеніи, согласитесь сами, неприлично.

Сладкій помѣщикъ такъ и покатился.

— Вѣдь вишь смѣется,—продолжалъ Лупихинъ, злобно глядя на колыхающійся животъ Кирилы Селифаныча.—И отъ чего ему не смѣяться? — прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — сытъ, здоровъ, дѣтей нѣтъ, мужики не заложены—онъ-же ихъ лечитъ—жена съ придурью. (Кирила Селифанычъ немножко отвернулся въ сторону, будто не разслыхалъ, и все продолжалъ хохотать.) Смѣюсь же я, а у меня жена съ землемѣромъ убѣжала. (Онъ оскалился.) А вы этого не знали? Какъ же! Такъ-таки взяла да и убѣжала и письмо мнѣ оставила: любезный, дескать, Петръ Петровичъ, извини; увлеченная страстью, удаляюсь съ другомъ моего сердца.... А землемѣръ только тѣмъ и взялъ, что не стригъ ногтей да панталоны носилъ въ обтяжку. Вы удивляетесь? Вотъ, дескать, откровенный человѣкъ.... И, Боже мой! нашъ братъ-степнякъ такъ правдуматку и рѣжетъ. Однако отойдемте-ка въ сторону.... Что намъ подлѣ будущаго судьи стоять-то....

Онъ взялъ меня подъ руку, и мы отошли къ окну.

— Я слыву здѣсь за остряка, — сказалъ онъ мнѣ въ теченіи разговора:—вы этому не вѣрьте. Я просто озлобленный человѣкъ и ругаюсь вслухъ: отъ того я такъ и развязенъ. И зачѣмъ мнѣ церемониться, въ самомъ дѣ-

лѣ? Я ничье мнѣніе въ грошъ не ставлю и нечего не добиваюсь; я золъ, — что-жъ такое? Злому человѣку, по крайней мѣрѣ, ума не нужно. А какъ оно освѣжительно, вы не повѣрите.... Ну, вотъ, напримѣръ, ну, вотъ посмотрите на нашего хозяина! Ну, изъ чего онъ бѣгаетъ, помилуйте,—то-и-дѣло на часы смотритъ, улыбается, потѣетъ, важный видъ принимаетъ, насъ съ голоду моритъ? Эка невидаль — сановное лицо! Вотъ, вотъ, опять побѣжалъ—заковылялъ даже, посмотрите.

И Лупихинъ визгливо засмѣялся.

— Одна бѣда, барынь нѣту,—продолжалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ:—холостой обѣдъ,—а то, вотъ гдѣ нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите,—воскликнулъ онъ вдругъ:—идетъ князь Козельскій — вонъ этотъ высокій мужчина, съ бородой, въ желтыхъ перчаткахъ. Сейчасъ видно, что за границей побывалъ.... и всегда такъ поздно пріѣзжаетъ. Глупъ, скажу я вамъ, одинъ, какъ пара купеческихъ лошадей, а изволили-бы вы поглядѣть, какъ снисходительно онъ съ нашимъ братомъ заговариваетъ, какъ великодушно изволитъ улыбаться на любезности нашихъ голодныхъ матушекъ и дочекъ!... И самъ иногда остритъ, даромъ что проѣздомъ здѣсь живетъ;—за то какъ и остритъ! Ни дать, ни взять тупымъ ножомъ бичовку пилитъ. Онъ меня терпѣть не можетъ.... Пойду поклонюсь ему.

И Лупихинъ побѣжалъ навстрѣчу князю.

— А вотъ мой личный врагъ идетъ,—промолвилъ онъ, вдругъ вернувшись ко мнѣ:—видите этого толстаго человѣка, съ бурымъ лицомъ и щетиной на головѣ, — вонъ, что шапку сгребъ въ руку, да по стѣнкѣ пробирается и на всѣ стороны озирается какъ волкъ? Я ему продалъ за 400 рублей лошадь, которая стоила 1000, и это безсловесное существо имѣетъ теперь полное право презирать

меня; а между тѣмъ самъ до того лишенъ способности соображенья, особенно утромъ, до чаю, или тотчасъ послѣ обѣда, что ему скажешь: здравствуйте, а онъ отвѣчаетъ: чего-съ? А вотъ генералъ идетъ,—продолжалъ Лупихинъ:—штатскій генералъ въ отставкѣ, разоренный генералъ. У него дочь изъ свекловичнаго сахару, и заводъ въ золотухѣ.... Виноватъ, не такъ сказалъ.... ну, да вы понимаете. А! и архитекторъ сюда попалъ! Нѣмецъ, а съ усами и дѣла своего не знаетъ,—чудеса!... А впрочемъ на что̀ ему и знать свое дѣло-то; лишь-бы взятки бралъ, да колоннъ, столбовъ—то-есть, побольше ставилъ для нашихъ столбовыхъ дворянъ!

Лупихинъ опять захохоталъ.... Но вдругъ тревожное волненіе распространилось по всему дому. Сановникъ пріѣхалъ. Хозяинъ такъ и хлынулъ въ переднюю. За нимъ устремились нѣсколько приверженныхъ домочадцевъ и усердныхъ гостей.... Шумный разговоръ превратился въ мягкій, пріятный говоръ, подобный весеннему жужжанью пчелъ въ родимыхъ ульяхъ. Одна неугомонная оса—Лупихинъ и великолѣпный трутень—Козельскій не понизили голоса.... И вотъ, вошла наконецъ матка—вошелъ сановникъ. Сердца̀ понеслись къ нему на встрѣчу, сидящія туловища приподнялись; даже помѣщикъ, дешево купившій у Лупихина лошадь, даже тотъ помѣщикъ уткнулъ себѣ подбородокъ въ грудь. Сановникъ поддержалъ свое достоинство, какъ нельзя лучше: покачивая головой назадъ, будто кланяясь, онъ выговорилъ нѣсколько одобрительныхъ словъ, изъ которыхъ каждое начиналось буквою: *а*, произнесенною протяжно и въ носъ; — съ негодованіемъ, доходившимъ до голода, посмотрѣлъ на бороду князя Козельскаго, и подалъ разоренному штатскому генералу съ заводомъ и дочерью указательный палецъ лѣвой руки. Черезъ нѣсколько минутъ, въ теченіи кото-

рыхъ сановникъ успѣлъ замѣтить два раза, что онъ очень радъ, что не опоздалъ къ обѣду, все общество отправилось въ столовую, тузами впередъ.

Нужно-ли разсказывать читателю, какъ посадили сановника на первомъ мѣстѣ между штатскимъ генераломъ и губернскимъ предводителемъ, человѣкомъ съ свободнымъ и достойнымъ выраженіемъ лица, совершенно соотвѣтствовавшимъ его накрахмаленной манишкѣ, необъятному жилету и круглой табакеркѣ съ французскимъ табакомъ,—какъ хозяинъ хлопоталъ, бѣгалъ, суетился, потчивалъ гостей, мимоходомъ улыбался спинѣ сановника и, стоя въ углу, какъ школьникъ, наскоро перехватывалъ тарелочку супу, или кусочекъ говядины,—какъ дворецкій подалъ рыбу въ полтора аршина длины и съ букетомъ во рту,—какъ слуги, въ ливреяхъ, суровые на видъ, угрюмо приставали къ каждому дворянину то съ малагой, то съ дрей-мадерой, и какъ почти всѣ дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой,—какъ, наконецъ, захлопали бутылки шампанскаго, и начали провозглашаться заздравные тосты: все это, вѣроятно, слишкомъ извѣстно читателю. Но особенно замѣчательнымъ показался мнѣ анекдотъ, разсказанный самимъ сановникомъ среди всеобщаго, радостнаго молчанья. Кто-то, кажется разоренный генералъ, человѣкъ ознакомленный съ новѣйшей словесностью, упомянулъ о вліяніи женщинъ вообще и на молодыхъ людей въ особенности.—«Да, да», подхватилъ сановникъ, «это правда; но молодыхъ людей должно въ строгомъ повиновеніи держать, а то они, пожалуй, отъ всякой юбки съ ума сходятъ». (Дѣтски-веселая улыбка промчалась по лицамъ всѣхъ гостей; у одного помѣщика даже благодарность заиграла во взорѣ.) «Ибо молодые люди глупы». (Сановникъ, вѣроятно, ради важности, иногда измѣнялъ общепринятыя

ударенія словъ.) «Вотъ хоть-бы у меня, сынъ Иванъ», продолжалъ онъ, «двадцатый годъ всего дураку пошелъ, а онъ вдругъ мнѣ и говоритъ: позвольте, батюшка жениться. Я ему говорю: дуракъ, послужи сперва... Ну, отчаянье, слезы.... но у меня.... того....» (Слово «того» сановникъ произнесъ болѣе животомъ, чѣмъ губами; помолчалъ и величаво взглянулъ на своего сосѣда, генерала, причемъ гораздо болѣе поднялъ брови, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Штатскій генералъ пріятно наклонилъ голову нѣсколько на бокъ и чрезвычайно быстро заморгалъ глазомъ, обращеннымъ къ сановнику.) «И что-жъ», заговорилъ сановникъ опять, «теперь онъ самъ мнѣ пишетъ, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научилъ.... Такъ вотъ какъ надобно поступать».—Всѣ гости, разумѣется, вполнѣ согласились съ разсказчикомъ, и какъ будто оживились отъ полученнаго удовольствія и наставленія.... Послѣ обѣда все общество поднялось и двинулось въ гостинную съ бо́льшимъ, но все-же приличнымъ и словно на этотъ случай разрѣшеннымъ шумомъ.... Сѣли за карты.

Кое-какъ дождался я вечера, и, поручивъ своему кучеру заложить мою коляску на другой день въ пять часовъ утра, отправился на покой. Но мнѣ предстояло еще въ теченіи того же самаго дня познакомиться съ однимъ замѣчательнымъ человѣкомъ.

Вслѣдствіе множества наѣхавшихъ гостей, никто не спалъ въ одиночку. Въ небольшой, зеленоватой и сероватой комнатѣ, куда привелъ меня дворецкій Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздѣтый. Увидѣвъ меня, онъ проворно нырнулъ подъ одѣяло, закрылся имъ до самаго носа, повозился немного на рыхломъ пуховикѣ и притихъ, зорко выглядывая изъ-подъ круглой каймы своего бумажнаго колпака. Я подошелъ къ

другой кровати (ихъ всего было двѣ въ комнатѣ), раздѣлся и легъ въ сырыя простыни. Мой сосѣдъ заворочался на своей постели.... Я пожелалъ ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на всѣ мои старанія, я никакъ не могъ заснуть: безконечной вереницей тянулись другъ за другомъ ненужныя и неясныя мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите?—проговорилъ мой сосѣдъ.

— Какъ видите,—отвѣчалъ я.—Да и вамъ не спится?

— Мнѣ никогда не спится.

— Какъ же такъ?

— Да такъ. Я засыпаю самъ не знаю отъ чего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачѣмъ же вы ложитесь въ постель, прежде чѣмъ вамъ спать захочется?

— А что-жъ прикажете дѣлать?

Я не отвѣчалъ на вопросъ моего сосѣда.

— Удивляюсь я, продолжалъ онъ послѣ небольшого молчанія: — отчего здѣсь блохъ нѣту. Кажется, гдѣ-бы имъ и быть?

— Вы словно о нихъ сожалѣете,—замѣтилъ я.

— Нѣтъ, не сожалѣю; но я во всемъ люблю послѣдовательность.

«Вотъ какъ», подумалъ я: «какія слова употребляетъ».

Сосѣдъ опять помолчалъ.

— Хотите со мной объ закладъ побиться? заговорилъ онъ вдругъ довольно громко.

— О чемъ?

Меня мой сосѣдъ начиналъ забавлять.

— Гмъ.... о чемъ? А вотъ о чемъ: я увѣренъ, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте, пробормоталъ я съ изумленіемъ.

— За степняка, за невѣжу.... Сознайтесь:...

— Я васъ не имѣю удовольствія знать, возразилъ я.— Почему вы могли заключить....

— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы такъ небрежно мнѣ отвѣчаете.... А я совсѣмъ не то, что̀ вы думаете....

— Позвольте....

— Нѣтъ, *вы* позвольте. Во-первыхъ, я говорю по-французски не хуже васъ, а по-нѣмецки даже лучше; во-вторыхъ, я три года провелъ за-границей: въ одномъ Берлинѣ прожилъ восемь мѣсяцевъ. Я Гегеля изучилъ, милостивый государь, знаю Гёте наизусть; сверхъ того, я долго былъ влюбленъ въ дочь германскаго профессора, и женился дома на чахоточной барышнѣ, лысой, но весьма замѣчательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степнякъ, какъ вы полагаете.... Я тоже заѣденъ рефлексіей, и непосредственнаго нѣтъ во мнѣ ничего.

— Я поднялъ голову и съ удвоеннымъ вниманіемъ посмотрѣлъ на чудака. При тускломъ свѣтѣ ночника я едва могъ разглядѣть его черты.

— Вотъ, вы теперь смотрите на меня, — продолжалъ онъ, поправивъ свой колпакъ,—и, вѣроятно, самихъ себя спрашиваете: какъ-же это я не замѣтилъ его сегодня? Я вамъ скажу, отчего вы меня не замѣтили:—оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за другихъ, стою за дверьми, ни съ кѣмъ не разговариваю; оттого, что дворецкій съ подносомъ, проходя мимо меня, заранѣе возвышаетъ свой локоть въ уровень моей груди.... А отчего все это происходитъ? Отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, я бѣденъ, а во-вторыхъ, я смирился.... Скажите правду, вѣдь вы меня не замѣтили?

— Я дѣйствительно не имѣлъ удовольствія....

— Ну да, ну да,—перебилъ онъ меня:—я это зналъ.

Онъ приподнялся и скрестилъ руки; длинная тѣнь его колпака перегнулась со стѣны на потолокъ.

— А признайтесь-ка, прибавилъ онъ, вдругъ взглянувъ на меня съ боку: — я долженъ вамъ казаться большимъ чудакомъ, какъ говорится, оригиналомъ, или, можетъ быть, пожалуй, еще чѣмъ-нибудь похуже: можетъ быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудакомъ?

— Я вамъ опять-таки долженъ повторить, что я васъ не знаю....

Онъ на мгновеніе потупился.

— Почему я съ вами, съ вовсе мнѣ незнакомымъ человѣкомъ, такъ неожиданно разговорился—Господь, Господь одинъ вѣдаетъ! (Онъ вздохнулъ.) Не вслѣдствіе же родства нашихъ душъ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то-есть эгоисты: ни вамъ до меня, ни мнѣ до васъ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла; не такъ-ли? Но намъ обоимъ не спится.... Отчего-жъ не поболтать? Я-же въ ударѣ, а это со мной рѣдко случается. Я, видите-ли, робокъ и робокъ не въ ту силу, что я провинціалъ, нечиновный, бѣднякъ, а въ ту силу, что я страшно самолюбивый человѣкъ. Но иногда, подъ вліяніемъ благодатныхъ обстоятельствъ, случайностей, которыхъ я, впрочемъ, ни опредѣлить, ни предвидѣть не въ состояніи, робость моя исчезаетъ совершенно, какъ вотъ теперь, напримѣръ. Теперь поставьте меня лицомъ къ лицу хоть съ самимъ Далай-Ламой,—я и у него табачку попрошу понюхать. Но, можетъ быть, вамъ спать хочется?

— Напротивъ, — поспѣшно возразилъ я: — мнѣ очень пріятно съ вами разговаривать.

— То-есть я васъ потѣшаю, хотите вы сказать.... Тѣмъ лучше.... Итакъ-съ, доложу вамъ, меня здѣсь величаютъ оригиналомъ, т. е., величаютъ тѣ, которымъ, случайнымъ образомъ, между прочей дребеденью, придетъ и мое имя

на языкъ. «Моей судьбою очень никто не озабоченъ»... Они думаютъ уязвить меня.... О, Боже мой! еслибъ они знали.... да я именно и гибну оттого, что во мнѣ рѣшительно нѣтъ ничего оригинальнаго, ничего кромѣ такихъ выходокъ, какъ, напримѣръ, мой теперешній разговоръ съ вами: но вѣдь эти выходки гроша мѣднаго не стоятъ. Это самый дешевый и самый низменный родъ оригинальности.

Онъ повернулся ко мнѣ лицомъ и взмахнулъ руками.

— Милостивый государь!—воскликнулъ онъ: — я того мнѣнія, что вообще однимъ оригиналамъ житье на землѣ; они одни имѣютъ право жить. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, сказалъ кто-то.—Видите ли,— прибавилъ онъ вполголоса: — какъ я чисто выговариваю французскій языкъ. Что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь, — да своего-то, особеннаго, собственнаго, у тебя ничего нѣту! Однимъ складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ на свѣтѣ больше,—да какое кому отъ этого удовольствіе? Нѣтъ, ты будь хоть глупъ, да по своему! Запахъ свой имѣй, свой собственный запахъ, вотъ что!—И не думайте, чтобы требованія мои насчетъ этого запаха были велики.... Сохрани Богъ! Такихъ оригиналовъ пропасть: куда ни погляди — оригиналъ; всякій живой человѣкъ оригиналъ, да я-то въ ихъ число не попалъ!

— А между тѣмъ,—продолжалъ онъ послѣ небольшого молчанія: — въ молодости моей какія возбуждалъ я ожиданія! какое высокое мнѣніе я самъ питалъ о своей особѣ передъ отъѣздомъ за границу, да и въ первое время послѣ возвращенія! Ну, за границей я держалъ ухо востро, все особнячкомъ пробирался, какъ оно и слѣдуетъ нашему брату, который все смекаетъ себѣ, смекаетъ, а подъ конецъ, смотришь—ни аза не смекнулъ!

— Оригиналъ, оригиналъ! — подхватилъ онъ, съ укоризной качая головой.... — Зовутъ меня оригиналомъ.... на дѣлѣ-то оказывается, что нѣтъ на свѣтѣ человѣка менѣе оригинальнаго, чѣмъ вашъ покорнѣйшій слуга. Я, должно быть, и родился-то въ подражаніе другому.... Ей-Богу! Живу я тоже словно въ подражаніе разнымъ мною изученнымъ сочинителямъ, въ потѣ лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по собственной охотѣ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ,—кто его разберетъ!

Онъ сорвалъ колпакъ съ головы и бросилъ его на постель.

— Хотите, я вамъ разскажу жизнь мою, — спросилъ онъ меня отрывистымъ голосомъ:—или, лучше, нѣсколько чертъ изъ моей жизни?

— Сдѣлайте одолженіе.

— Или нѣтъ, разскажу-ка я вамъ лучше, какъ я женился. Вѣдь женитьба дѣло важное, пробный камень всего человѣка; въ ней какъ въ зеркалѣ отражается... Да это сравненіе слишкомъ избито.... Позвольте, я понюхаю табачку.

Онъ досталъ изъ-подъ подушки табакерку, раскрылъ ее и заговорилъ опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите въ мое положеніе.... Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что̀ общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью? И какъ прикажете примѣнить ее къ нашему быту, да не ее одну, энциклопедію, а вообще нѣмецкую философію.... скажу болѣе—науку?

Онъ подпрыгнулъ на постели и забормоталъ вполголоса, злобно стиснувъ зубы:

— А, вотъ какъ, вотъ какъ!... Такъ зачѣмъ-же ты

таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома, да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ? Ты-бы и потребности ея узналъ и будущность, и насчетъ своего, такъ сказать, призванія тоже въ ясность-бы пришелъ.... Да помилуйте,—продолжалъ онъ, опять перемѣнивъ голосъ, словно оправдываясь и робѣя: — гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я-бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ; а мнѣ это не подъ силу: мнѣ вы подайте выводъ, заключенье мнѣ представьте.... Заключенье?—вотъ тебѣ, говорятъ, и заключенье: послушайка нашихъ московскихъ — не соловьи, что-ли? — Да въ томъ-то и бѣда, что они курскими соловьями свищутъ, а не по людскому говорятъ.... Вотъ я подумалъ, подумалъ—вѣдь наука-то, кажись, вездѣ одна, и истина одна—взялъ да и пустился, съ Богомъ, въ чужую сторону, къ нехристямъ.... Что̀ прикажете!—молодость, гордость обуяла. Не хотѣлось, знаете, до времени заплыть жиромъ, хоть оно, говорятъ, и здорово. Да, впрочемъ, кому природа не дала мяса, — не видать тому у себя на тѣлѣ и жиру!

— Однако,—прибавилъ онъ, подумавъ немного, — я, кажется, обѣщалъ вамъ разсказать, какимъ образомъ я женился. Слушайте же. Во-первыхъ, доложу вамъ, что жены моей уже болѣе на свѣтѣ не имѣется, во-вторыхъ.... а во-вторыхъ, я вижу, что мнѣ придется разсказать вамъ мою молодость, а то вы ничего не поймете.... Вѣдь вамъ не хочется спать?

— Нѣтъ, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка.... вотъ въ сосѣдней комнатѣ господинъ Кантагрюхинъ храпитъ какъ неблагородно! Родился я отъ небогатыхъ родителей—гово-

рю, родителей, потому-что, по преданію, кромѣ матери, былъ у меня и отецъ. Я его не помню; сказываютъ, недалекій былъ человѣкъ, съ большимъ носомъ и веснушками, рыжій и въ одну ноздрю табакъ нюхалъ; въ спальнѣ у матушки висѣлъ его портретъ, въ красномъ мундирѣ съ чернымъ воротникомъ по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сѣчь водили, и матушка моя мнѣ, въ такихъ случаяхъ, всегда на него показывала, приговаривая: онъ-бы еще тебя не такъ. Можете себѣ представить, какъ это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то-есть, по правдѣ сказать, былъ какой-то братишка завалящій, съ англійской болѣзнью на затылкѣ, да что-то скоро больно умеръ.... И зачѣмъ, кажись, англійской болѣзни забраться курской губерніи въ щигровскій уѣздъ? Но дѣло не въ томъ. Воспитаніемъ моимъ занималась матушка со всѣмъ стремительнымъ рвеніемъ степной помѣщицы: занималась она имъ съ самаго великолѣпнаго дня моего рожденія до тѣхъ поръ, пока мнѣ стукнуло шестнадцать лѣтъ.... Вы слѣдите за ходомъ моего разсказа?

— Какъ же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вотъ, какъ стукнуло мнѣ шестнадцать лѣтъ, матушка моя, ни мало не медля, взяла да прогнала моего французскаго гувернера, нѣмца Филипповича изъ нѣжинскихъ грековъ; свезла меня въ Москву, записала въ университетъ, да и отдала Всемогущему свою душу, оставивъ меня на руки родному дядѣ моему, стряпчему Колтуну-Бабурѣ, птицѣ, не одному щигровскому уѣзду извѣстной. Родной дядя мой, стряпчій Колтунъ-Бабура, ограбилъ меня, какъ водится, до-чиста.... Но дѣло опять-таки не въ томъ. Въ университетъ вступилъ я — должно отдать справедливость моей родительницѣ—довольно хорошо подготовленный; но недостатокъ

оригинальности уже тогда во мнѣ замѣчался. Дѣтство мое нисколько не отличалось отъ дѣтства другихъ юношей: я такъ же глупо и вяло росъ, словно подъ периной, такъ же рано началъ твердить стихи наизусть и киснуть, подъ предлогомъ мечтательной наклонности.... къ чему бишь?— да, къ прекрасному.... и прочая. Въ университетѣ я не пошелъ другой дорогой: я тотчасъ попалъ въ кружокъ. Тогда времена были другія.... Но вы, можетъ быть, не знаете, что̀ такое кружокъ?—Помнится, Шиллеръ сказалъ гдѣ-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,
Und schrecklich ist des Tigers Zahn,
Doch das schrecklichste der Schrecken —
Das ist der Mensch in seinem Wahn!

Онъ, увѣряю васъ, онъ не то̀ хотѣлъ сказать; онъ хотѣлъ сказать: Das ist ein «кружокъ».... in der Stadt Moskau!

— Да что-жъ вы находите ужаснаго въ кружкѣ?—спросилъ я.

Мой сосѣдъ схватилъ свой колпакъ и надвинулъ его себѣ на носъ.

— Что̀ я нахожу ужаснаго? — вскрикнулъ онъ. — А вотъ что̀: кружокъ — да это гибель всякаго самобытнаго развитія; кружокъ — это безобразная замѣна общества, женщины, жизни; кружокъ.... о, да постойте; я вамъ скажу, что̀ такое кружокъ! Кружокъ—это лѣнивое и вялое житье вмѣстѣ и рядомъ, которому придаютъ значеніе и видъ разумнаго дѣла; кружокъ замѣняетъ разговоръ разсужденіями, пріучаетъ къ безплодной болтовнѣ, отвлекаетъ васъ отъ уединенной, благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку; лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души. Кружокъ—да это пошлость и скука подъ именемъ братства и дружбы, сцѣпленіе недоразумѣній и притязаній подъ предлогомъ от-

кровенности и участія; въ кружкѣ, благодаря праву каждаго пріятеля — во всякое время и во всякій часъ, запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нѣтъ чистаго, нетронутаго мѣста на душѣ; въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носятъ на рукахъ стихотворца бездарнаго, но съ «затаенными» мыслями; въ кружкѣ молодые, семнадцатилѣтніе малые хитро и мудрено толкуютъ о женщинахъ и любви, а передъ женщинами молчатъ, или говорятъ съ ними словно съ книгой,—да и о чемъ говорятъ! Въ кружкѣ процвѣтаетъ хитростное краснорѣчіе; въ кружкѣ наблюдаютъ другъ за другомъ не хуже полицейскихъ чиновниковъ.... О, кружокъ! ты не кружокъ: ты заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вамъ замѣтить,—прервалъ я его.

Мой сосѣдъ молча посмотрѣлъ на меня.

— Можетъ быть, Господь меня знаетъ, можетъ быть. Да вѣдь нашему брату только одно удовольствіе и осталось—преувеличивать. Вотъ-съ, такимъ-то образомъ прожилъ я четыре года въ Москвѣ. Не въ состояніи я описать вамъ, милостивый государь, какъ скоро, какъ страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно съ горы на салазкахъ покатишься.... Смотришь, ужъ и примчался къ концу; вотъ ужъ и вечеръ; вотъ ужъ заспанный слуга и натягиваетъ на тебя сюртукъ—одѣнешься и поплетешься къ пріятелю, и давай трубочку курить, пить жидкій чай стаканами да толковать о нѣмецкой философіи, любви, вѣчномъ солнцѣ духа и прочихъ отдаленныхъ предметахъ. Но и тутъ я встрѣчалъ оригинальныхъ, самобытныхъ людей: иной, какъ себя ни ломалъ, какъ ни гнулъ

себя въ дугу, а все природа брала свое; одинъ я, несчастный, лѣпилъ самого себя словно мягкій воскъ, и жалкая моя природа ни малѣйшаго не оказывала сопротивленія! Между тѣмъ мнѣ стукнуло двадцать-одинъ годъ. Я вступилъ во владѣніе своимъ наслѣдствомъ, или, правильнѣе, тою частью своего наслѣдства, которую мой опекунъ заблагоразсудилъ мнѣ оставить, далъ довѣренность на управленіе всѣми вотчинами вольноотпущенному дворовому человѣку Василью Кудряшеву и уѣхалъ за границу, въ Берлинъ. За границей пробылъ я, какъ я уже имѣлъ удовольствіе вамъ донести, три года. И что-жъ? И тамъ, и за границей, я остался тѣмъ же неоригинальнымъ существомъ. Во-первыхъ, нечего и говорить, что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волосъ; я слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ.... вотъ въ чемъ состояла вся разница. Жизнь велъ я уединенную, словно монахъ какой; снюхивался съ отставными поручиками, удрученными, подобно мнѣ, жаждой знанья, весьма, впрочемъ, тугими на пониманіе и не одаренными даромъ слова; якшался съ тупоумными семействами изъ Пензы и другихъ хлѣбородныхъ губерній; таскался по кофейнымъ, читалъ журналы, по вечерамъ ходилъ въ театръ. Съ туземцами знался я мало, разговаривалъ съ ними какъ-то напряженно и никого изъ нихъ у себя не видалъ, исключая двухъ или трехъ навязчивыхъ молодчиковъ еврейскаго происхожденія, которые то-и-дѣло забѣгали ко мнѣ да занимали у меня деньги,—благо, der Russe вѣритъ. Странная игра случая занесла меня наконецъ въ домъ одного изъ моихъ профессоровъ; а именно, вотъ какъ: я пришелъ къ нему записаться на курсъ, а онъ вдругъ возьми да и пригласи меня къ себѣ на вечеръ. У этого профессора было двѣ дочери, лѣтъ двадцати-семи, коренастыя такія—

Богъ съ ними — носы такіе великолѣпные, кудри въ завиткахъ и глаза блѣдно-голубые, а руки красныя съ бѣлыми ногтями. Одну звали Линхенъ, другую Минхенъ. Началъ я ходить къ профессору. Надобно вамъ сказать, что этотъ профессоръ былъ не то, что глупъ, а словно ушибенъ: съ каѳедры говорилъ довольно связно, а дома картавилъ и очки все на лбу держалъ; притомъ ученѣйшій былъ человѣкъ.... И что-же? Вдругъ мнѣ показалось, что я влюбился въ Линхенъ,—да цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ этакъ все казалось. Разговаривалъ я съ ней, правда, мало,—больше такъ на нее смотрѣлъ: но читалъ ей вслухъ разныя трогательныя сочиненія, пожималъ ей украдкой руки, а по вечерамъ мечталъ съ ней рядомъ, упорно глядя на луну, а не то просто вверхъ. Притомъ она такъ отлично варила кофе!... Кажется,—чего-бы еще? Одно меня смущало: въ самыя, какъ говорится, мгновенія неизъяснимаго блаженства у меня отчего-то все подъ ложечкой сосало, и тоскливая, холодная дрожь пробѣгала по желудку. Я наконецъ не выдержалъ такого счастья и убѣжалъ. Цѣлыхъ два года я провелъ еще послѣ того за границей: былъ въ Италіи, постоялъ въ Римѣ передъ Преображеніемъ, и передъ Венерой во Флоренціи постоялъ; внезапно повергáлся въ преувеличенный восторгъ, словно злость на меня находила; по вечерамъ пописывалъ стишки, начиналъ дневникъ; словомъ, и тутъ велъ себя какъ всѣ. А между тѣмъ, посмотрите, какъ легко быть оригинáльнымъ. Я, на-примѣръ, ничего не смыслю въ живописи и ваяніи.... Сказать-бы мнѣ это просто вслухъ.... нѣтъ, какъ можно! Бери чичерона, бѣги смотрѣть фрески....

Онъ опять потупился и опять скинулъ колпакъ.

— Вотъ вернулся я, наконецъ, на родину, — продолжалъ онъ усталымъ голосомъ:—пріѣхалъ въ Москву. Въ Москвѣ удивительная произошла со мною перемѣна. За

границей я больше молчалъ, а тутъ вдругъ заговорилъ неожиданно бойко и въ то же самое время возмечталъ о себѣ Богъ вѣдаетъ что́. Нашлись снисходительные люди, которымъ я показался чуть не геніемъ; дамы съ участіемъ выслушивали мои разглагольствованія; но я не съумѣлъ удержаться на высотѣ своей славы. Въ одно прекрасное утро родилась на мой счетъ сплетня (кто ее произвелъ на свѣтъ Божій, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дѣва мужескаго пола,—такихъ старыхъ дѣвъ въ Москвѣ пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотѣлъ выскочить, разорвать прилипчивыя нити,—не тутъ-то было.... Я уѣхалъ. Вотъ и тутъ я оказался вздорнымъ человѣкомъ; мнѣ-бы преспокойно переждать эту напасть, вотъ какъ выжидаютъ конца крапивной лихорадки, и тѣ же снисходительные люди снова раскрыли бы мнѣ свои объятія, тѣ же дамы снова улыбнулись бы на мои рѣчи.... Да вотъ въ чемъ бѣда: не оригинальный человѣкъ. Добросовѣстность вдругъ, изволите видѣть, во мнѣ проснулась: мнѣ что-то стыдно стало болтать, болтать безъ умолку, болтать — вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ-Вражкѣ, и все о томъ-же.... Да коли этого требуютъ? Посмотрите-ка на настоящихъ ратоборцевъ на этомъ поприщѣ: имъ это ни почемъ; напротивъ, только этого имъ и нужно; иной двадцатый годъ работаетъ языкомъ и все въ одномъ направленіи.... Что значитъ увѣренность въ самомъ себѣ и самолюбіе! И у меня оно было, самолюбіе, да и теперь еще не совсѣмъ угомонилось.... Да тѣмъ-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человѣкъ, на серединкѣ остановился: природѣ слѣдовало-бы гораздо больше самолюбія мнѣ отпустить, либо вовсе его не дать. Но на первыхъ порахъ мнѣ дѣйствительно круто пришлось: притомъ и поѣздка

за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихѣ съ молодымъ, но ужъ дряблымъ тѣломъ, въ родѣ желе́, я жениться не хотѣлъ, — и удалился къ себѣ въ деревню. Кажется,—прибавилъ мой сосѣдъ, опять взглянувъ на меня съ боку:—я могу пройти молчаніемъ первыя впечатлѣнія деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее....

— Можете, можете,—возразилъ я.

— Тѣмъ болѣе, — продолжалъ разсказчикъ, — что это все вздоръ, по крайней мѣрѣ что до меня касается. Я въ деревнѣ скучалъ, какъ щенокъ взаперти, хотя, признаюсь, проѣзжая на возвратномъ пути въ первый разъ весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце отъ смутнаго, сладкаго ожиданія. Но эти смутныя ожиданія, вы сами знаете, никогда не сбываются, а, напротивъ, сбываются другія вещи, которыхъ вовсе не ожидаешь, какъ-то: падежи, недоимки, продажи съ публичнаго торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-какъ со дня на день, при помощи бурмистра Якова, замѣнившаго прежняго управляющаго и оказавшагося впослѣдствіи времени такимъ-же, если не бо́льшимъ грабителемъ, да сверхъ того отравлявшаго мое существованіе запахомъ своихъ дегтярныхъ сапоговъ, вспомнилъ я однажды объ одномъ знакомомъ сосѣднемъ семействѣ, состоявшемъ изъ отставной полковницы и двухъ дочерей, велѣлъ заложить дрожки и поѣхалъ къ сосѣдямъ. Этотъ день долженъ навсегда остаться мнѣ памятнымъ: шесть мѣсяцевъ спустя, женился я на второй дочери полковницы!...

Разсказчикъ опустилъ голову и поднялъ руки къ небу.

— И между тѣмъ, — продолжалъ онъ съ жаромъ: — я бы не желалъ внушить вамъ дурное мнѣніе о покойницѣ. Сохрани Богъ! Это было существо благороднѣйшее, до-

брѣйшее, существо любящее и способное на всякія жертвы, хотя я долженъ, между нами, сознаться, что, если-бы я не имѣлъ несчастія ея лишиться, я-бы, вѣроятно, не былъ въ состояніи разговаривать сегодня съ вами, ибо еще до сихъ поръ цѣла балка въ грунтовомъ моемъ сараѣ, на которой я неоднократно собирался повѣситься!

— Инымъ грушамъ,—началъ онъ опять послѣ небольшого молчанія — нужно нѣкоторое время полежать подъ землей въ подвалѣ, для того, чтобы войти, какъ говорится, въ настоящій свой вкусъ; моя покойница видно тоже принадлежала къ подобнымъ произведеніямъ природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, напримѣръ, воспоминанія объ иныхъ вечерахъ, проведенныхъ мною съ ней до свадьбы, не только не возбуждаютъ во мнѣ ни малѣйшей горечи, но, напротивъ, трогаютъ меня чуть не до слезъ. Люди они были небогатые; домъ ихъ, весьма старинный, деревянный, но удобный, стоялъ на горѣ, между заглохшимъ садомъ и заросшимъ дворомъ. Подъ горой текла рѣка и едва виднѣлась сквозь густую листву. Большая терраса вела изъ дому въ садъ, передъ террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждомъ концѣ клумбы росли двѣ акаціи, еще въ молодости переплетенныя въ видѣ винта покойнымъ хозяиномъ. Немного подальше, въ самой глуши заброшеннаго и одичалаго малинника, стояла бесѣдка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. Съ террасы стеклянная дверь вела въ гостиную; а въ гостиной вотъ что̀ представлялось любопытному взору наблюдателя: по угламъ изразцовыя печи, кисленькое фортопьяно направо, заваленное рукописными нотами, диванъ, обитый полинялымъ голубымъ штофомъ съ бѣловатыми разводами, круглый столъ, двѣ горки съ фарфоровыми и

*

бисерными игрушками екатерининскаго времени, на стѣнѣ извѣстный портретъ бѣлокурой дѣвицы съ голубкомъ на груди и закатившимися глазами, на столѣ ваза съ свѣжими розами.... Видите, какъ я подробно описываю. Въ этой-то гостиной, на этой-то террасѣ и разыгралась вся траги-комедія моей любви. Сама сосѣдка была злая баба, съ постоянной хрипотой злобы въ горлѣ, придирчивое и сварливое существо; изъ дочерей одна—Вѣра, ничѣмъ не отличалась отъ обыкновенныхъ уѣздныхъ барышень, другая — Софья, — я въ Софью влюбился. У обѣихъ сестеръ была еще другая комнатка, общая ихъ спальня, съ двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, съ портретами пріятелей и пріятельницъ, рисованныхъ карандашомъ довольно плохо (между ними отличался одинъ господинъ съ необыкновенно-энергическимъ выраженіемъ лица и еще болѣе энергическою подписью, въ юности своей возбудившій несоразмѣрныя ожиданія, а кончившій, какъ всѣ мы—ничѣмъ), съ бюстами Гёте и Шиллера, нѣмецкими книгами, высохшими вѣнками и другими предметами, оставленными на память. Но въ эту комнату я ходилъ рѣдко и неохотно: мнѣ тамъ отчего-то дыханіе сдавливало. Притомъ—странное дѣло! Софья мнѣ болѣе всего правилась, когда я сидѣлъ къ ней спиной, или еще, пожалуй, когда я думалъ или болѣе мечталъ о ней, особенно вечеромъ, на террасѣ. Я глядѣлъ тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкіе листья, уже потемнѣвшіе, но еще рѣзко отдѣлявшіеся отъ розоваго неба; въ гостиной, за фортопьянами, сидѣла Софья и безпрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу изъ Бетховена; злая старуха мирно похрапывала, сидя на диванѣ; въ столовой, залитой потокомъ алаго свѣта, Вѣра хлопотала за чаемъ; самоваръ затѣйливо шипѣлъ, словно

чему-то радовался; съ веселымъ трескомъ ломались кренделькн, ложечки звонко стучали по чашкамъ; канарейка, немилосердо трещавшая цѣлый день, внезапно утихала и только изрѣдка чирикала, какъ-будто о чемъ-то спрашивала; изъ прозрачнаго, легкаго облачка мимоходомъ падали рѣдкія капли.... А я сидѣлъ, сидѣлъ, слушалъ, слушалъ, глядѣлъ, сердце у меня расширялось, и мнѣ опять казалось, что я любилъ. Вотъ, подъ вліяніемъ такого-то вечера я однажды спросилъ у старухи руку ея дочери, и мѣсяца черезъ два женился. Мнѣ казалось, что я ее любилъ.... Да и теперь, пора-бы знать, а я, ей-Богу, и теперь не знаю, любилъ-ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, съ теплымъ сердцемъ; но, Богъ знаетъ отчего, отъ долгаго-ли житья въ деревнѣ, отъ другихъ-ли какихъ причинъ, у ней на днѣ души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничѣмъ не можно было излечить, да и назвать ее ни она не умѣла, ни я не могъ. О существованіи этой раны я, разумѣется, догадался только послѣ брака. Ужъ я-ли не бился надъ ней: — ничто не помогало! У меня въ дѣтствѣ былъ чижъ, котораго кошка разъ подержала въ лапахъ: его спасли, вылечили, но не исправился мой бѣдный чижъ; дулся, чахъ, пересталъ пѣть.... Кончилось тѣмъ, что однажды ночью въ открытую клѣтку забралась къ нему крыса и откусила ему носъ, вслѣдствіе чего онъ, наконецъ, рѣшился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою въ своихъ лапахъ, только и она такъ-же дулась и чахла, какъ мой несчастный чижъ. Иногда ей самой видимо хотѣлось встрепенуться, взыграть на свѣжемъ воздухѣ, на солнцѣ да на волѣ; попробуетъ—и свернется въ клубочекъ. И вѣдь она меня любила: сколько разъ увѣряла меня, что ничего болѣе ей не остается желать, — тьфу, чортъ возьми! а у самой

глаза такъ и меркнутъ. Думалъ я, нѣтъ-ли чего въ прошедшемъ? Собралъ справки: ничего не оказалось. Ну, вотъ, теперь посудите сами: оригинальный человѣкъ пожалъ-бы плечомъ, можетъ быть вздохнулъ-бы раза два, да и принялся-бы жить по-своему; а я, не оригинальное существо, началъ заглядываться на балки. Въ жену мою до того въѣлись всѣ привычки старой дѣвицы — Бетховенъ, ночныя прогулки, резеда, переписка съ друзьями, альбомы и прочее,—что ко всякому другому образу жизни, особенно къ жизни хозяйки дома, она никакъ привыкнуть не могла; а между тѣмъ смѣшно же замужней женщинѣ томиться безъименной тоской и пѣть по вечерамъ: «не буди ты ее на зарѣ».

— Вотъ-съ, такимъ-то образомъ-съ мы блаженствовали три года; на четвертый Софья умерла отъ первыхъ родовъ, и—странное дѣло—мнѣ словно заранѣе сдавалось, что она не будетъ въ состояніи подарить меня дочерью или сыномъ, землю—новымъ обитателемъ. Помню я, какъ ее хоронили. Дѣло было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостасъ почернѣлъ, стѣны голыя, кирпичный полъ мѣстами выбитъ; на каждомъ клиросѣ большой старинный образъ. Внесли гробъ, помѣстили на самой серединѣ, предъ царскими дверями, одѣли полинялымъ покровомъ, поставили кругомъ три подсвѣчника. Служба началась. Дряхлый дьячокъ, съ маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленымъ кушакомъ, печально шамшилъ передъ налоемъ; священникъ, тоже старый, съ добренькимъ и слѣпенькимъ лицомъ, въ лиловой рясѣ съ желтыми разводами, служилъ за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытыхъ оконъ шевелились и лепетали молодые, свѣжіе листья плакучихъ березъ; со двора несло травянымъ запахомъ; красное пламя восковыхъ свѣчей блѣднѣло въ веселомъ свѣтѣ весенняго дня;

воробьи такъ и чирикали на всю церковь, и изрѣдка раздавалось подъ куполомъ звонкое восклицаніе влетѣвшей ласточки. Въ золотой пыли солнечнаго луча проворно опускались и поднимались русыя головы немногочисленныхъ мужиковъ, усердно молившихся за покойницу; тонкой, голубоватой струйкой бѣжалъ дымъ изъ отверстій кадила. Я глядѣлъ на мертвое лицо моей жены.... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ея, не излечила ея раны: то же болѣзненное, робкое, нѣмое выраженіе,—ей словно и въ гробу неловко... Горько во мнѣ шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сдѣлала, что умерла!

У разсказчика раскраснѣлись щеки и потускнѣли глаза.

— Отдѣлавшись наконецъ, — заговорилъ онъ опять,— отъ тяжелаго унынья, которое овладѣло мною послѣ смерти моей жены, я вздумалъ-было приняться, какъ говорится, за дѣло. Вступилъ въ службу въ губернскомъ городѣ; но въ большихъ комнатахъ казеннаго заведенія у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо дѣйствовали; другія кстати подошли причины.... я вышелъ въ отставку. Хотѣлъ-было съѣздить въ Москву, да, во-первыхъ, денегъ не достало, а во-вторыхъ.... я вамъ уже сказывалъ, что я смирился. Смиреніе это нашло на меня и вдругъ, и не вдругъ. Духомъ-то я уже давно смирился, да головѣ моей все еще не хотѣлось нагнуться. Я приписывалъ скромное настроеніе моихъ чувствъ и мыслей вліянію деревенской жизни, несчастья.... Съ другой стороны, я уже давно замѣчалъ, что почти всѣ мои сосѣди, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостію, заграничной поѣздкой и прочими удобствами моего воспитанія, не только успѣли совершенно ко мнѣ привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то съ-кондачка, не дослушивали моихъ разсужденій и, говоря со мной, уже «слово-

ерика» болѣе не употребляли. Я вамъ также забылъ сказать, что въ теченіи перваго года послѣ моего брака я отъ скуки попытался-было нуститься въ литературу, и даже послалъ статейку въ журналъ, если не ошибаюсь, повѣсть; но черезъ нѣсколько времени получилъ отъ редактора учтивое письмо, въ которомъ, между прочимъ, было сказано, что мнѣ въ умѣ невозможно отказать, но въ талантѣ должно, а что въ литературѣ только талантъ и нуженъ. Сверхъ того, дошло до моего свѣдѣнія, что одинъ проѣзжій москвичъ, добрѣйшій, впрочемъ, юноша, мимоходомъ отозвался обо мнѣ на вечерѣ у губернатора, какъ о человѣкѣ выдохшемся и пустомъ. Но мое полудобровольное ослѣпленіе все еще продолжалось: не хотѣлось, знаете, самого себя «заушить»; наконецъ въ одно прекрасное утро я открылъ глаза. Вотъ какъ это случилось. Ко мнѣ заѣхалъ исправникъ съ намѣреніемъ обратить мое вниманіе на провалившійся мостъ въ моихъ владѣніяхъ, который мнѣ рѣшительно не на что было починить. Заѣдая рюмку водки кускомъ балыка, этотъ снисходительный блюститель порядка отечески попенялъ мнѣ за мою неосмотрительность, впрочемъ, вошелъ въ мое положеніе и посовѣтовалъ только велѣть мужичкамъ понакидать навозцу, закурилъ трубочку и принялся говорить о предстоящихъ выборахъ. Почетнаго званія губернскаго предводителя въ то время добивался нѣкто Орбассановъ, пустой крикунъ, да еще и взяточникъ въ придачу. Притомъ же онъ не отличался ни богатствомъ, ни знатностію. Я высказалъ свое мнѣніе на его счетъ, и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядѣлъ на г. Орбассанова свысока. Исправникъ посмотрѣлъ на меня, ласково потрепалъ меня по плечу и добродушно промолвилъ:—«эхъ, Василій Васильевичъ, не намъ-бы съ вами о такихъ людяхъ разсуждать:—гдѣ намъ?... Знай сверчокъ свой шестокъ».—

Да помилуйте, — возразилъ я съ досадой, какая-же разница между мною и г. Орбассановымъ?—Исправникъ вынулъ трубку изо рта, вытаращилъ глаза—и такъ и прыснулъ.—«Ну, потѣшникъ», — проговорилъ онъ наконецъ, сквозь слезы: «вѣдь экую штуку выкинулъ... а! каковъ?» — и до самаго отъѣзда онъ не переставалъ глумиться надо мною, изрѣдка поталкивая меня локтемъ подъ бокъ и говоря мнѣ уже: «ты». Онъ уѣхалъ наконецъ. Этой капли только не доставало; чаша перелилась. Я прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, остановился передъ зеркаломъ, долго, долго смотрѣлъ на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунувъ языкъ, съ горькой насмѣшкой покачалъ головой. Завѣса спала съ глазъ моихъ: я увидѣлъ ясно, яснѣе чѣмъ лицо свое въ зеркалѣ, какой я былъ пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человѣкъ!

Разсказчикъ помолчалъ.

— Въ одной трагедіи Вольтера, — уныло продолжалъ онъ: — какой-то баринъ радуется тому, что дошелъ до крайней границы несчастья. Хотя въ судьбѣ моей нѣтъ ничего трагическаго, но я, признаюсь, извѣдалъ нѣчто въ этомъ родѣ. Я узналъ ядовитые восторги холоднаго отчаянія; я испыталъ, какъ сладко, въ теченіи цѣлаго утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и часъ своего рожденія;—я не могъ смириться разомъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, вы посудите: безденежье меня приковывало къ ненавистной мнѣ деревнѣ; ни хозяйство, ни служба, ни литература—ничтò ко мнѣ не пристало; помѣщиковъ я чуждался, книги мнѣ опротивѣли; для водянисто-пухлыхъ и болѣзненно-чувствительныхъ барышень, встряхивающихъ кудрями и лихорадочно твердящихъ слово: жизнь,—я не представлялъ ничего занимательнаго съ тѣхъ поръ, какъ пересталъ болтать и во-

сторгаться; уединиться совершенно я не умѣлъ и не могъ... Я сталъ, что̀ вы думаете? я сталъ таскаться по сосѣдямъ. Словно опьяненный презрѣньемъ къ самому себѣ, я нарочно подвергался всякимъ мелочнымъ униженіямъ. Меня обносили за столомъ, холодно и надменно встрѣчали, наконецъ не замѣчали вовсе; мнѣ не давали даже вмѣшиваться въ общій разговоръ, и я самъ, бывало, нарочно поддакивалъ изъ-за угла какому-нибудь глупѣйшему говоруну, который, во время о̀но, въ Москвѣ, съ восхищеніемъ облобызалъ-бы прахъ ногъ моихъ, край моей шинели.... Я даже не позволялъ самому себѣ думать, что я предаюсь горькому удовольствію иронiи... Помилуйте, что̀ за иронія въ одиночку! Вотъ-съ, какъ я поступалъ нѣсколько лѣтъ сряду и какъ поступаю еще до сихъ поръ...

— Однако это ни на что не похоже,—проворчалъ изъ сосѣдней комнаты заспанный голосъ г. Кантагрюхина:— какой тамъ дуракъ вздумалъ ночью разговаривать?

Разсказчикъ проворно нырнулъ подъ одѣяло и, робко выглядывая, погрозилъ мнѣ пальцемъ.

— Тс... тс...—прошепталъ онъ—и, словно извиняясь и кланяясь въ направленіи Кантагрюхинскаго голоса, почтительно промолвилъ: —слушаю-съ, слушаю-съ, извините-съ.... Ему позволительно спать, ему слѣдуетъ спать,— продолжалъ онъ снова шопотомъ: ему должно набраться новыхъ силъ, ну, хоть-бы для того, чтобъ съ тѣмъ же удовольствіемъ покушать завтра. Мы не имѣемъ права его безпокоить. Притомъ же я, кажется, вамъ все сказалъ, что̀ хо́тѣлъ; вѣроятно и вамъ хочется спать. Желаю вамъ доброй ночи.

Разсказчикъ съ лихорадочной быстротой отвернулся и зарылъ голову въ подушки.

— Позвольте по крайней мѣрѣ узнать,—спросилъ я:— съ кѣмъ я имѣлъ удовольствіе...

Онъ проворно поднялъ голову.

— Нѣтъ, ради Бога,—прервалъ онъ меня:—не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у другихъ. Пусть я останусь для васъ неизвѣстнымъ существомъ, пришибленнымъ судьбою Васильемъ Васильевичемъ. Притомъ же я, какъ человѣкъ неоригинальный, и не заслуживаю особеннаго имени.... А ужъ если вы непремѣнно хотите мнѣ дать какую-нибудь кличку, такъ назовите.... назовите меня Гамлетомъ Щигровскаго уѣзда. Такихъ Гамлетовъ во всякомъ уѣздѣ много, но, можетъ быть, вы съ другими не сталкивались.... За симъ прощайте.

Онъ опять зарылся въ свой пуховикъ, а на другое утро, когда пришли будить меня, его ужъ не было въ комнатѣ. Онъ уѣхалъ до зари.

ЧЕРТОПХАНОВЪ и НЕДОПЮСКИНЪ.

ВЪ ЖАРКІЙ лѣтній день возвращался я однажды съ охоты на телѣгѣ; Ермолай дремалъ, сидя возлѣ меня, и клевалъ носомъ. Заснувшія собаки подпрыгивали, словно мертвыя, у насъ подъ ногами. Кучеръ то-и-дѣло сгонялъ кнутомъ оводовъ съ лошадей. Бѣлая пыль легкимъ облакомъ неслась вслѣдъ за телѣгой. Мы въѣхали въ кусты. Дорога стала ухабистѣе, колеса начали задѣвать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянулъ кругомъ.... «Э!»—заговорилъ онъ:—«да здѣсь должны быть тетерева. Слѣземте-ка». Мы остановились и вошли въ «площадь». Собака моя наткнулась на выводокъ. Я выстрѣлилъ, и началъ-было заряжать ружье, какъ вдругъ, позади меня, поднялся громкій трескъ и, раздвигая кусты руками, подъѣхалъ ко мнѣ верховой. А «па-азвольте узнать», заговорилъ онъ надменнымъ голосомъ:—«по какому праву вы здѣсь а-ахотитесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомецъ говорилъ необыкновенно быстро, отрывочно и въ носъ. Я посмотрѣлъ ему въ лицо: отъ роду не видалъ я ничего подобнаго. Вообразите себѣ, любезные читатели, маленькаго человѣка, бѣлокураго, съ краснымъ вздернутымъ носикомъ и длиннѣйшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка съ малиновымъ суконнымъ верхомъ за-

крывала ему лобъ по самыя брови. Одѣтъ онъ былъ въ желтый, истасканный архалукъ съ черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всѣмъ швамъ; черезъ плечо висѣлъ у него рогъ, за поясомъ торчалъ кинжалъ. Чахлая, горбоносая, рыжая лошадь шаталась подъ нимъ, какъ угорѣлая; двѣ борзыя собаки, худыя и криволапыя, тутъ же вертѣлись у ней подъ ногами. Лицо, взглядъ, голосъ, каждое движенье, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомѣрной, небывалой; его блѣдно-голубые, стеклянные глаза разбѣгались и косились какъ у пьянаго; онъ закидывалъ голову назадъ, надувалъ щеки, фыркалъ и вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, словно отъ избытка достоинства — ни дать ни взять, какъ индѣйскій пѣтухъ. Онъ повторилъ свой вопросъ.

— Я не зналъ, что здѣсь запрещено стрѣлять,—отвѣчалъ я.

— Вы здѣсь, милостивый государь,—продолжалъ онъ:— на моей землѣ.

— Извольте, я уйду.

— А па-извольте узнать,—возразилъ онъ: я съ дворянином имѣю честь объясняться?

Я назвалъ себя.

— Въ такомъ случаѣ, извольте охотиться. Я самъ дворянинъ и очень радъ услужить дворянину.... А зовутъ меня Чертоп-хановымъ, Пантелеемъ.

Онъ пагнулся, гикнулъ, вытянулъ лошадь по шеѣ; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась въ сторону и отдавила одной собакѣ лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопхановъ закипѣлъ, зашипѣлъ, ударилъ лошадь кулакомъ по головѣ между ушами, быстрѣе молніи соскочилъ на земь, осмотрѣлъ лапу у собаки, поплевалъ на рану, пихнулъ ее ногою въ бокъ,

чтобы она не пищала, уцѣпился за холку и вдѣлъ ногу въ стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвостъ и бросилась бокомъ въ кусты; онъ за ней на одной ногѣ въ припрыжку, однако наконецъ-таки попалъ въ сѣдло; какъ изступленный завертѣлъ нагайкой, затрубилъ въ рогъ и поскакалъ. Не успѣлъ я еще придти въ себя отъ неожиданнаго появленія Чертопханова, какъ вдругъ, почти безо всякаго шуму, выѣхалъ изъ кустовъ толстенькій человѣкъ лѣтъ сорока, на маленькой вороненькой лошаденкѣ. Онъ остановился, снялъ съ головы зеленый, кожаный картузъ, и тоненькимъ мягкимъ голосомъ спросилъ меня, не видалъ-ли я верхового на рыжей лошади? Я отвѣчалъ, что видѣлъ.

— Въ какую сторону они изволили поѣхать?—продолжалъ онъ тѣмъ же голосомъ и не надѣвая картуза.

— Туда-съ.

— Покорнѣйше васъ благодарю-съ.

Онъ чмокнулъ губами, заболталъ ногами по бокамъ лошаденки и поплелся рысцой—трюхи, трюхи, по указанному направленію. Я посмотрѣлъ ему вслѣдъ, пока его рогатый картузъ не скрылся за вѣтвями. Этотъ новый незнакомецъ наружностью нисколько не походилъ на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, какъ шаръ, выражало застѣнчивость, добродушіе и кроткое смиреніе; носъ, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличалъ сластолюбца. На головѣ его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькія русыя косицы; глазки, словно осокой прорѣзанные, ласково мигали; сладко улыбались красныя и сочныя губки. На немъ былъ сюртукъ съ стоячимъ воротникомъ и мѣдными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконныя его панталончики высоко вздернулись; надъ желтыми оторочками сапоговъ виднѣлись жирненькія икры.

— Кто это?—спросилъ я Ермолая.

— Это? Недопюскинъ, Тихонъ Иванычъ. У Чертопханова живетъ.

— Что онъ, бѣдный человѣкъ?

— Не богатый; да вѣдь и у Чертопханова-то гроша нѣтъ мѣднаго.

— Такъ зачѣмъ-же онъ у него поселился?

— А, вишь, подружились. Другъ безъ дружки никуда... Вотъ ужъ подлинно: куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней...

Мы вышли изъ кустовъ; вдругъ подлѣ насъ «затявкали» двѣ гончія, и матерой бѣлякъ покатилъ по овсамъ, уже довольно высокимъ. Вслѣдъ за нимъ выскочили изъ опушки собаки, гончія и борзыя, а вслѣдъ за собаками вылетѣлъ самъ Чертопхановъ. Онъ не кричалъ, не травилъ, не атукалъ: онъ задыхался, захлебывался; изъ разинутаго рта изрѣдка вырывались отрывистые, безсмысленные звуки; онъ мчался выпуча глаза и бѣшено сѣкъ ногайкой несчастную лошадь. Борзыя «приспѣли».... бѣлякъ присѣлъ, круто повернулъ назадъ и ринулся, мимо Ермолая, въ кусты.... Борзыя пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги»! съ усиліемъ словно косноязычный, залепеталъ замиравшій охотникъ:—«родимый, береги»! Ермолай выстрѣлилъ.... раненый бѣлякъ покатился кубаремъ по гладкой и сухой травѣ, подпрыгнулъ кверху и жалобно закричалъ въ зубахъ разсовавшагося пса. Гончія тотчасъ подвалились.

Турманомъ слетѣлъ Чертопхановъ съ коня, выхватилъ кинжалъ, подбѣжалъ, растопыря ноги, къ собакамъ, съ яростными заклинаніями вырвалъ у нихъ истерзаннаго зайца и, перекосясь всѣмъ лицомъ, погрузилъ ему въ горло кинжалъ по самую рукоятку.... погрузилъ и загоготалъ. Тихонъ Иванычъ показался въ опушкѣ. «Го-го-

го-го-го-го-го-го!» завопилъ вторично Чертопхановъ.... «Го-го-го-го», спокойно повторилъ его товарищъ.

— А вѣдь по-настоящему лѣтомъ охотиться не слѣдуетъ,—замѣтилъ я, указывая Чертопханову на измятый овесъ.

— Мое поле,—отвѣчалъ, едва дыша, Чертопхановъ.

Онъ отпазончилъ, второчилъ зайца и роздалъ собакамъ лапки.

— За мною зарядъ, любезный,—по охотничьимъ правиламъ проговорилъ онъ, обращаясь къ Ермолаю.—А васъ, милостивый государь,—прибавилъ онъ тѣмъ-же отрывистымъ и рѣзкимъ голосомъ:—благодарю.

Онъ сѣлъ на лошадь.

— Па-азвольте узнать.... забылъ.... имя и фамилію?

Я опять назвалъ себя.

— Очень радъ съ вами познакомиться. Коли случится, милости просимъ ко мнѣ.... Да гдѣ-же этотъ Ѳомка, Тихонъ Иванычъ? — съ сердцемъ продолжалъ онъ: — безъ него бѣляка затравили.

— А подъ нимъ лошадь пала,—съ улыбкой отвѣчалъ Тихонъ Иванычъ.

— Какъ пала? Орбассанъ палъ? Пфу, пфить!... Гдѣ онъ, гдѣ?

— Тамъ, за лѣсомъ.

Чертопхановъ ударилъ лошадь ногайкой по мордѣ и поскакалъ сломя-голову. Тихонъ Иванычъ поклонился мнѣ два раза—за себя и за товарища, и опять поплелся рысцой въ кусты.

Эти два господина сильно возбудили мое любопытство.... Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородныя? Я началъ наводить справки. Вотъ что я узналъ.

Чертопхановъ, Пантелей Еремѣичъ, слылъ во всемъ

околоткѣ человѣкомъ опаснымъ и сумасброднымъ, гордецомъ и забіякой первой руки. Служилъ онъ весьма недолгое время въ арміи и вышелъ въ отставку «по непріятности», тѣмъ чиномъ, по поводу котораго распространилось мнѣніе, будто курица не птица. Происходилъ онъ отъ стариннаго дома, нѣкогда богатаго; дѣды его жили пышно, по степному; то-есть, принимали званыхъ и незваныхъ, кормили ихъ на убой, отпускали по четверти овса чужимъ кучерамъ на тройку, держали музыкантовъ, пѣсенниковъ, гаеровъ и собакъ, въ торжественные дни поили народъ виномъ и брагой, по зимамъ ѣздили въ Москву на своихъ, въ тяжелыхъ колымагахъ, а иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ сидѣли безъ гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремѣича досталось имѣніе уже разоренное; онъ въ свою очередь тоже сильно «пожуировалъ» и, умирая, оставилъ единственному своему наслѣднику, Пантелею, заложенное сельцо Безсоново, съ тридцатью-пятью душами мужеска и семидесятью шестью женска пола, да четырнадцать десятинъ съ осьминникомъ неудобной земли въ пустоши Колобродовой, на которыя, впрочемъ, никакихъ крѣпостей въ бумагахъ покойника не оказалось. Покойникъ, должно сознаться, престраннымъ образомъ разорился: «хозяйственный разсчетъ» его сгубилъ. По его понятіямъ, дворянину не слѣдовало зависѣть отъ кущовъ, горожанъ и тому подобныхъ «разбойниковъ», какъ онъ выражался; онъ завелъ у себя всѣ возможныя ремесла и мастерскія: «и приличнѣе и дешевле», говаривалъ онъ: «хозяйственный разсчетъ»! Съ этой пагубной мыслью онъ до конца жизни не разстался; она-то его и разорила. За то потѣшился! Ни въ одной прихоти себѣ не отказывалъ. Между прочими выдумками соорудилъ онъ однажды, по собственнымъ соображеніямъ, такую огромную, семейственную карету, что, несмотря на дружныя

усилія согнанныхъ со всего села крестьянскихъ лошадей, вмѣстѣ съ ихъ владѣльцами, она на первомъ же косогорѣ завалилась и разсыпалась. Еремѣй Лукичъ (Пантелеева отца звали Еремѣемъ Лукичемъ) приказалъ памятникъ поставить на косогорѣ, а впрочемъ нисколько не смутился. Вздумалъ онъ также построить церковь, разумѣется, самъ, безъ помощи архитектора. Сжегъ цѣлый лѣсъ на кирпичи, заложилъ фундаментъ огромный, хоть-бы подъ губернскій соборъ, вывелъ стѣны, началъ сводить куполъ: куполъ упалъ. Онъ опять,—куполъ опять обрушился; онъ третій разъ—куполъ рухнулъ въ третій разъ. Призадумался мой Еремѣй Лукичъ: дѣло, думаетъ, не ладно.... колдовство проклятое замѣшалось.... да вдругъ и прикажи перепороть всѣхъ старыхъ бабъ на деревнѣ. Бабъ перепороли—а куполъ все-таки не свели. Избы крестьянамъ по новому плану перестраивать началъ, и все изъ хозяйственнаго разсчета; по три двора вмѣстѣ ставилъ треугольникомъ, а на серединѣ воздвигалъ шестъ съ раскрашенной скворешницей и флагомъ. Каждый день, бывало, новую затѣю придумывалъ: то изъ лопуха супъ варилъ, то лошадямъ хвосты стригъ на картузы дворовымъ людямъ, то ленъ собирался крапивой замѣнить, свиней кормить грибами.... Вычиталъ онъ однажды въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» статейку харьковскаго помѣщика Хряка-Хрупёрскаго о пользѣ нравственности въ крестьянскомъ быту, и на другой-же день отдалъ приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью харьковскаго помѣщика наизусть. Крестьяне выучили статью; баринъ спросилъ ихъ: понимаютъ-ли они, что̀ тамъ написано? Прикащикъ отвѣчалъ, что какъ, молъ, не понять! Около того-же времени повелѣлъ онъ всѣхъ подданныхъ своихъ, для порядка и хозяйственнаго разсчета, перенумеровать, и каждому на воротникѣ нашить его нумеръ. При встрѣчѣ съ бариномъ всякъ, бывало, такъ

ужъ и кричитъ: такой-то нумеръ идетъ! а баринъ отвѣчаетъ ласково: ступай съ Богомъ!

Однако, несмотря на порядокъ и хозяйственный разсчетъ, Еремѣй Лукичъ понемногу пришелъ въ весьма затруднительное положеніе: началъ сперва закладывать свои деревеньки, а тамъ и къ продажѣ приступилъ; послѣднее прадѣдовское гнѣздо, село съ недостроенною церковью, продала уже казна, къ счастью, не при жизни Еремѣя Лукича,—онъ бы не вынесъ этого удара,—а двѣ недѣли послѣ его кончины. Онъ успѣлъ умереть у себя въ домѣ, на своей постели, окруженный своими людьми и подъ надзоромъ своего лекаря; но бѣдному Пантелею досталось одно Безсоново.

Пантелей узналъ о болѣзни отца уже на службѣ, въ самомъ разгарѣ вышеупомянутой «непріятности». Ему только-что пошелъ девятнадцатый годъ. Съ самаго дѣтства не покидалъ онъ родительскаго дома, и подъ руководствомъ своей матери, добрѣйшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, выросъ баловнемъ и барчукомъ. Она одна занималась его воспитаніемъ; Еремѣю Лукичу, погруженному въ свои хозяйственныя соображенія, было не до того. Правда, онъ однажды собственноручно наказалъ своего сына за то, что онъ букву: рцы—выговаривалъ: арцы, но въ тотъ день Еремѣй Лукичъ скорбѣлъ глубоко и тайно: лучшая его собака убилась объ дерево. Впрочемъ, хлопоты Василисы Васильевны на счетъ воспитанія Пантюши ограничились однимъ мучительнымъ усиліемъ: въ потѣ лица наняла она ему въ гувернеры отставного солдата изъ эльзасцевъ, нѣкоего Биркопфа и до самой смерти трепетала какъ листъ передъ нимъ: ну, думала она, коли откажется—пропала я! куда я дѣнусь? гдѣ другого учителя найду? Ужъ и этого насилу-насилу у сосѣдки сманила! И Биркопфъ, какъ чело-

*

вѣкъ смѣтливый, тотчасъ воспользовался исключительностью своего положенія: пилъ мертвую и спалъ съ утра до вечера. По окончаніи «курса наукъ», Пантелей поступилъ на службу. Василисы Васильевны уже не было на свѣтѣ. Она скончалась за полгода до этого важнаго событія, отъ испуга: ей во снѣ привидѣлся бѣлый человѣкъ верхомъ на медвѣдѣ. Еремѣй Лукичъ вскорѣ послѣдовалъ за своей половиной.

Пантелей, при первомъ извѣстіи о его нездоровьи, прискакалъ сломя-голову, однако не засталъ уже родителя въ живыхъ. Но каково было удивленіе почтительнаго сына, когда онъ совершенно неожиданно изъ богатаго наслѣдника превратился въ бѣдняка! Немногіе въ состояніи вынести такой крутой переломъ. Пантелей одичалъ, ожесточился. Изъ человѣка честнаго, щедраго и добраго, хотя взбалмошнаго и горячаго, онъ превратился въ гордеца и забіяку, пересталъ знаться съ сосѣдями, — богатыхъ онъ стыдился, бѣдныхъ гнушался,—и неслыханно-дерзко обращался со всѣми, даже съ установленными властями: я, молъ, столбовой дворянинъ. Разъ чуть-чуть не застрѣлилъ станового, вошедшаго къ нему въ комнату съ картузомъ на головѣ. Разумѣется, власти, съ своей стороны, ему тоже не спускали и при случаѣ давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка онъ былъ страшная, и со второго слова предлагалъ рѣзаться на ножахъ. Отъ малѣйшаго возраженія глаза Чертопханова разбѣгались, голосъ прерывался.... «А, ва-ва-ва-ва-ва», лепеталъ онъ, «пропадай моя голова!».... и хоть на стѣну! Да и сверхъ того, человѣкъ онъ былъ чистый, не замѣшанный ни въ чемъ. Никто къ нему, разумѣется, не ѣздилъ.... И при всемъ томъ душа въ немъ была добрая, даже великая, по-своему: несправедливости, притѣсненія онъ вчужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горой.

«Какъ?» — говорилъ онъ, неистово стуча по собственной головѣ: — «моихъ трогать, моихъ? Да не будь я Чертопхановъ....»

Тихонъ Иванычъ Недопюскинъ не могъ, подобно Пантелею Еремѣичу, гордиться своимъ происхожденіемъ. Родитель его вышелъ изъ однодворцевъ, и только сорокалѣтней службой добился дворянства. Г-нъ Недопюскинъ-отецъ принадлежалъ къ числу людей, которыхъ несчастіе преслѣдуетъ съ ожесточеніемъ, похожимъ на личную ненависть. Въ теченіи цѣлыхъ шестидесяти лѣтъ, съ самаго рожденія до самой кончины, бѣднякъ боролся со всѣми нуждами, недугами и бѣдствіями, свойственными маленькимъ людямъ; бился какъ рыба объ ледъ, не доѣдалъ, не досыпалъ, кланялся, хлопоталъ, унывалъ и томился, дрожалъ надъ каждой копѣйкой, дѣйствительно «невинно» пострадалъ по службѣ и умеръ наконецъ не то на чердакѣ, не то въ погребѣ, не успѣвъ заработать ни себѣ, ни дѣтямъ куска насущнаго хлѣба. Судьба замотала его, словно зайца на угонкахъ. Человѣкъ онъ былъ добрый и честный, а бралъ взятки—отъ гривенника до двухъ цѣлковыхъ включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная: были и дѣти; къ счастію, они всѣ скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванію: «купецкая щеголиха», вышедшей, послѣ многихъ печальныхъ и смѣшныхъ приключеній, за отставного стряпчаго. Г-нъ Недопюскинъ-отецъ успѣлъ-было еще при жизни помѣстить Тихона заштатнымъ чиновникомъ въ канцелярію; но, тотчасъ послѣ смерти родителя, Тихонъ вышелъ въ отставку. Вѣчныя тревоги, мучительная борьба съ холодомъ и голодомъ, тоскливое уныніе матери, хлопотливое отчаяніе отца, грубыя притѣсненія хозяевъ и лавочника, все это ежедневное, непрерывное горе развило въ Тихонѣ робость неизъяснимую: при одномъ видѣ на-

чальника онъ трепеталъ и замиралъ, какъ пойманная птичка. Онъ бросилъ службу. Равнодушная, а можетъ быть и насмѣшливая природа влагаетъ въ людей разныя способности и наклонности, нисколько не соображаясь съ ихъ положеніемъ въ обществѣ и средствами; съ свойственною ей заботливостію и любовію вылѣпила она изъ Тихона, сына бѣднаго чиновника, существо чувствительное, лѣнивое, мягкое, воспріимчивое — существо, исключительно обращенное къ наслажденію, одаренное чрезвычайно-тонкимъ обоняніемъ и вкусомъ.... вылѣпила, тщательно отдѣлала и — предоставила своему произведенію выростать на кислой капустѣ и тухлой рыбѣ. И вотъ оно выросло, это произведеніе, начало, какъ говорится, «жить». Пошла потѣха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно разлакомилась. Но съ Тихономъ она поступила иначе; она не мучила его—она имъ забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаянія, не заставляла испытать постыдныхъ мукъ голода, но мыкала имъ по всей Россіи, изъ Великаго-Устюга въ Царево-Кокшайскъ, изъ одной унизительной и смѣшной должности въ другую: то жаловала его въ «мажордомы» къ сварливой и желчной барынѣ-благодѣтельницѣ, то помѣщала въ нахлѣбники къ богатому скрягѣ-кущу, то опредѣляла въ начальники домашней канцеляріи лупоглазаго барина, стриженнаго на англійскій манеръ, то производила въ полу-дворецкіе, полу-шуты къ псовому охотнику.... Словомъ, судьба заставила бѣднаго Тихона выпить по каплѣ и до капли весь горькій и ядовитый напитокъ подчиненнаго существованія. Послужилъ онъ на своемъ вѣку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скукѣ празднаго барства.... Сколько разъ, наединѣ, въ своей комнатѣ, отпущенный наконецъ «съ Богомъ» натѣшившейся въ сласть ватагою гостей, клялся онъ, весь пылая

стыдомъ, съ холодными слезами отчаянія на глазахъ, на другой же день убѣжать тайкомъ, попытать своего счастія въ городѣ, сыскать себѣ хоть писарское мѣстечко, или ужъ за одинъ разъ умереть съ голоду на улицѣ. Да, во-первыхъ, силы Богъ не далъ; во-вторыхъ, робость разбирала, а въ-третьихъ, наконецъ, какъ себѣ мѣсто выхлопотать, кого просить? «Не дадутъ», шепталъ, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели: «не дадутъ!» И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тѣмъ мучительнѣе было его положеніе, что даже заботливая природа не потрудилась надѣлить его хоть малой толикой тѣхъ способностей и дарованій, безъ которыхъ ремесло забавника почти невозможно. Онъ, напримѣръ, не умѣлъ ни плясать до упаду въ медвѣжьей шубѣ навыворотъ, ни балагурить и любезничать въ непосредственномъ сосѣдствѣ расходившихся арапниковъ; выставленный нагишомъ на двадцати-градусный морозъ, онъ иногда простужался; желудокъ его не варилъ ни винa, смѣшаннаго съ чернилами и прочей дрянью, ни крошенныхъ мухоморовъ и сыроѣшекъ съ уксусомъ. Господь вѣдаетъ, что́ бы сталось съ Тихономъ, если-бы послѣдній изъ его благодѣтелей, разбогатѣвшій откупщикъ, не вздумалъ въ веселый часъ приписать въ своемъ завѣщаніи: а Зёзѣ (Тихону тожъ) Недопюскину предоставляю въ вѣчное и потомственное владѣніе благопріобрѣтенную мною деревню Безселендѣевку со всѣми угодьями. Нѣсколько дней спустя, благодѣтеля, за стерляжьей ухой, прихлопнулъ параличъ. Поднялся гвалтъ, судъ нагрянулъ, опечаталъ имущество, какъ слѣдуетъ. Съѣхались родные; раскрыли завѣщаніе; прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскинъ. Большая часть собранья знала, какую должность Тихонъ Иванычъ занималъ при благодѣтелѣ: оглушительныя восклицанія, насмѣшливыя поздравленія посыпались ему на встрѣчу.

«Помѣщикъ, вотъ онъ, новый помѣщикъ!» кричали прочіе наслѣдники. — «Вотъ ужъ того», подхватилъ одинъ, извѣстный шутникъ и острякъ, «вотъ ужъ точно можно сказать.... вотъ ужъ дѣйствительно.... того.... что называется.... того.... наслѣдникъ». И всѣ такъ и прыснули. Недопюскинъ долго не хотѣлъ вѣрить своему счастію. Ему показали завѣщаніе,—онъ покраснѣлъ, зажмурился, началъ отмахиваться руками и зарыдалъ въ три ручья. Хохотъ собранья превратился въ густой и слитный ревъ. Деревня Безселендѣевка состояла всего изъ двадцати-двухъ душъ крестьянъ; никто о ней не сожалѣлъ сильно, такъ почему-же, при случаѣ, не потѣшиться? Одинъ только наслѣдникъ изъ Петербурга, важный мужчина съ греческимъ носомъ и благороднѣйшимъ выраженіемъ лица, Ростиславъ Адамычъ Штоппель, не вытерпѣлъ, пододвинулся бокомъ къ Недопюскину и надменно глянулъ на него черезъ плечо. «Вы, сколько я могу замѣтить, милостивый государь»,— заговорилъ онъ презрительно-небрежно, «состояли у почтеннаго Ѳедора Ѳедоровича въ должности потѣшнаго, такъ-сказать, прислужника?» Господинъ изъ Петербурга выражался языкомъ нестерпимо чистымъ, бойкимъ и правильнымъ. Разстроенный, взволнованный Недопюскинъ не разслышалъ словъ незнакомаго ему господина, но прочіе тотчасъ всѣ замолкли: острякъ снисходительно улыбнулся. Г-нъ Штоппель потеръ себѣ руки и повторилъ свой вопросъ. Недопюскинъ съ изумленіемъ поднялъ глаза и раскрылъ ротъ. Ростиславъ Адамычъ язвительно прищурился.

— Поздравляю васъ, милостивый государь, поздравляю, продолжалъ онъ: — правда, не всякій, можно сказать, согласился бы такимъ образомъ зарррработывать себѣ насущный хлѣбъ; но de gustibus non est disputandum, то-есть, у всякаго свой вкусъ.... Не правда-ли?

— Кто-то въ заднихъ рядахъ быстро, но прилично взвизгнулъ отъ удивленія и восторга.

— Скажите, подхватилъ г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собранія: — какому таланту въ особенности вы обязаны своимъ счастіемъ? Нѣтъ, не стыдитесь, скажите; мы всѣ здѣсь, такъ сказать, свои, en famille. Не правда-ли, господа, мы здѣсь en famille?

Наслѣдникъ, къ которому Ростиславъ Адамычъ случайно обратился съ этимъ вопросомъ, къ сожалѣнію, не зналъ по-французски и потому ограничился однимъ одобрительнымъ легкимъ кряхтѣніемъ. За то другой наслѣдникъ, молодой человѣкъ съ желтоватыми пятнами на лбу, поспѣшно подхватилъ, «вуй, вуй, разумѣется».

— Можетъ быть, снова заговорилъ г. Штоппель:—вы умѣете ходить на рукахъ, поднявши ноги, такъ сказать, кверху?

Недопюскинъ съ тоской поглядѣлъ кругомъ — всѣ лица злобно усмѣхались, всѣ глаза покрылись влагой удовольствія.

— Или, можетъ быть, вы умѣете пѣть какъ пѣтухъ?

Взрывъ хохота раздался кругомъ и стихъ тотчасъ, заглушенный ожиданіемъ.

— Или можетъ быть, вы на носу....

— Перестаньте!—перебилъ вдругъ Ростислава Адамыча рѣзкій и громкій голосъ: — какъ вамъ не стыдно мучить бѣднаго человѣка!

Всѣ оглянулись. Въ дверяхъ стоялъ Чертопхановъ. Въ качествѣ четверокороднаго племянника покойнаго откупщика, онъ тоже получилъ пригласительное письмо на родственный съѣздъ. Во все время чтенія, онъ — какъ всегда, держался въ гордомъ отдаленіи отъ прочихъ.

— Перестаньте, повторилъ онъ, гордо закинувъ голову.

Г-нъ Штоппель быстро обернулся и, увидавъ человѣка бѣдно одѣтаго, неказистаго, вполголоса спросилъ у сосѣда (осторожность никогда не мѣшаетъ):

— Кто это?

— Чертопхановъ, не важная птица, отвѣчалъ ему тотъ на ухо.

Ростиславъ Адамычъ принялъ надменный видъ.

— А вы что̀ за командиръ?—проговорилъ онъ въ носъ и прищурилъ глаза.—Вы что́ за птица, позвольте спросить?

Чертопхановъ вспыхнулъ, какъ порохъ отъ искры. Бѣшенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз, — зашипѣлъ онъ словно удавленный, и вдругъ загремѣлъ:—кто я? кто я? Я Пантелей Чертопхановъ, столбовой дворянинъ, мой прапращуръ царю служилъ, а ты кто?

Ростиславъ Адамычъ поблѣднѣлъ и шагнулъ назадъ. Онъ не ожидалъ такого отпора.

— Я птица, я, я птица....

Чертопхановъ ринулся впередъ; Штоппель отскочилъ въ большомъ волненіи, гости бросились на-встрѣчу раздраженному помѣщику.

— Стрѣляться, стрѣляться, сейчасъ стрѣляться черезъ платокъ!—кричалъ разсвирѣпѣвшій Пантелей:—или проси извиненія у меня, да и у него....

— Просите, просите извиненія, — бормотали вокругъ Штоппеля встревоженные наслѣдники: — онъ вѣдь такой сумасшедшій,—готовъ зарѣзать.

— Извините, извините, я не зналъ,—залепеталъ Штоппель;—я не зналъ....

— И у него проси!—возопилъ неугомонный Пантелей.

— Извините и вы,— прибавилъ Ростиславъ Адамычъ, обращаясь къ Недопюскину, который самъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

Чертопхановъ успокоился, подошелъ къ Тихону Иванычу, взялъ его за руку, дерзко глянулъ кругомъ и, не встрѣчая ни одного взора, торжественно, среди глубокаго молчанія вышелъ изъ комнаты вмѣстѣ съ новымъ владѣльцемъ благопріобрѣтенной деревни Безселендѣевки.

Съ того самаго дня они уже болѣе не разставались. (Деревня Безселендѣевка отстояла всего на восемь верстъ отъ Безсонова.) Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла въ подобострастное благоговѣніе. Слабый, мягкій и не совсѣмъ чистый Тихонъ склонялся во прахъ передъ безбоязненнымъ и безкорыстнымъ Пантелеемъ. «Легкое-ли дѣло!» думалъ онъ иногда про себя: «съ губернаторомъ говоритъ, прямо въ глаза ему смотритъ.... вотъ-те Христосъ,—такъ и смотритъ!»

Онъ удивлялся ему до недоумѣнія, до изнеможенія душевныхъ силъ, почиталъ его человѣкомъ необыкновеннымъ, умнымъ, ученымъ. И то сказать, какъ ни было худо воспитаніе Чертопханова, все-же, въ сравненіи съ воспитаніемъ Тихона, оно могло показаться блестящимъ. Чертопхановъ, правда, по-русски читалъ мало, по-французски понималъ плохо, до того плохо, что однажды на вопросъ гувернера изъ швейцарцевъ: «Vous parlez français, Monsieur?» отвѣчалъ: жэ не разумѣю, и, подумавъ немного, прибавилъ: пà; — но все-таки онъ помнилъ, что былъ на свѣтѣ Вольтеръ, преострый сочинитель, и что Фридрихъ Великій, прусскій король, на военномъ поприщѣ тоже отличался. Изъ русскихъ писателей уважалъ онъ Державина, а любилъ Марлинскаго и лучшаго кобеля прозвалъ Аммалатъ-Бекомъ....

Нѣсколько дней спустя послѣ первой моей встрѣчи съ обоими пріятелями, отправился я въ сельцо Безсоново къ Пантелею Еремѣичу. Издали виднѣлся небольшой его домикъ; онъ торчалъ на голомъ мѣстѣ, въ полуверстѣ отъ

деревни, какъ говорится, «на-юру», словно ястребъ на пашнѣ. Вся усадьба Чертопханова состояла изъ четырехъ ветхихъ срубовъ разной величины, а именно: изъ флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый срубъ сидѣлъ отдѣльно, самъ по себѣ: ни забора кругомъ, ни воротъ не замѣчалось. Кучеръ мой остановился въ недоумѣніи у полусгнившаго и засореннаго колодца. Возлѣ сарая нѣсколько худыхъ и взъерошенныхъ борзыхъ щенковъ терзали дохлую лошадь, вѣроятно Орбассана; одинъ изъ нихъ поднялъ-было окровавленную морду, полаялъ торопливо и снова принялся глодать обнаженныя ребра. Подлѣ лошади стоялъ малый лѣтъ семнадцати, съ пухлымъ и желтымъ лицомъ, одѣтый казачкомъ и босоногій: онъ съ важностью посматривалъ на собакъ, порученныхъ его надзору, и изрѣдка постегивалъ арапникомъ самыхъ алчныхъ.

— Дома баринъ?—спросилъ я.

— А Господь его знаетъ!—отвѣчалъ малый.—Постучитесь.

Я соскочилъ съ дрожекъ и подошелъ къ крыльцу флигеля.

Жилище господина Чертопханова являло видъ весьма печальный: бревна почернѣли и высунулись впередъ «брюхомъ», труба обвалилась, углы подопрѣли и покачнулись, небольшія тускло-сизыя окошечки невыразимо кисло поглядывали изъ-подъ косматой, нахлобученной крыши: у иныхъ старухъ-потаскушекъ бываютъ такіе глаза. Я постучался; никто не откликнулся. Однако мнѣ за дверью слышались рѣзко произносимыя слова:

— Азъ, буки, вѣди; да ну-же, дуракъ,—говорилъ сиплый голосъ:—азъ, буки, вѣди, глаголь.... да нѣтъ! глаголь, добро, есть! есть!... Ну-же, дуракъ!

Я постучался въ другой разъ.

Тотъ же голосъ закричалъ:—Войди,—кто тамъ....

Я вошелъ въ пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидалъ самого Чертопханова. Въ засаленномъ бухарскомъ халатѣ, широкихъ шароварахъ и красной ермолкѣ сидѣлъ онъ на стулѣ, одной рукой стискивалъ онъ молодому пуделю морду, а въ другой держалъ кусокъ хлѣба надъ самымъ его носомъ.

— А! — проговорилъ онъ съ достоинствомъ и не трогаясь съ мѣста:—очень радъ вашему посѣщенью. Милости прошу садиться. А я вотъ съ Вензоромъ вожусь.... Тихонъ Иванычъ,—прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ: — пожалуй-ка сюда. Гость пріѣхалъ.

— Сейчасъ, сейчасъ,—отвѣчалъ изъ сосѣдней комнаты Тихонъ Иванычъ.—Маша, подай галстукъ.

Чертопхановъ снова обратился къ Вензору и положилъ ему кусокъ хлѣба на носъ. Я посмотрѣлъ кругомъ. Въ комнатѣ, кромѣ раздвижного, покороблennаго стола на тринадцати ножкахъ неровной длины, да четырехъ продавленныхъ соломенныхъ стульевъ, не было никакой мебели; давнымъ-данно выбѣленныя стѣны, съ синими пятнами въ видѣ звѣздъ, во многихъ мѣстахъ облупились; между окнами висѣло разбитое и тусклое зеркальцо въ огромной рамѣ подъ красное дерево. По угламъ стояли чубуки да ружья; съ потолка спускались толстыя и черныя нити паутинъ.

— Азъ, буки, вѣди, глаголь, добро,—медленно произносилъ Чертопхановъ и вдругъ неистово воскликнулъ:— есть! есть! есть!... Экое глупое животное!... есть!

Но злополучный пудель только вздрагивалъ и не рѣшался разинуть ротъ; онъ продолжалъ сидѣть поджавши болѣзненно хвостъ, и, скрививъ морду, уныло моргалъ и щурился, словно говорилъ про себя: извѣстно, воля ваша!

— Да ѣшь, на! пиль! — повторялъ неугомонный помѣщикъ.

— Вы его запугали,—замѣтилъ я.

— Ну, такъ прочь его!

Онъ пихнулъ его ногой. Бѣднякъ поднялся тихо, сронилъ хлѣбъ долой съ носа и пошелъ словно на цыпочкахъ, въ переднюю, глубоко оскорбленный. И дѣйствительно: чужой человѣкъ въ первый разъ пріѣхалъ, а съ нимъ вотъ какъ поступаютъ.

Дверь изъ другой комнаты осторожно скрипнула, и г. Недопюскинъ вошелъ, пріятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я всталъ и поклонился.

— Не безпокойтесь, не безпокойтесь,—залепеталъ онъ.

Мы усѣлись. Чертопхановъ вышелъ въ сосѣднюю комнату.

— Давно вы пожаловали въ наши палестины, — заговорилъ Недопюскинъ мягкимъ голосомъ, осторожно кашлянувъ въ руку и, для приличья, подержавъ пальцы передъ губами.

— Другой мѣсяцъ пошелъ.

— Вотъ какъ-съ.

Мы помолчали.

— Пріятная нонеча стоитъ погода,—продолжалъ Недопюскинъ и съ благодарностію посмотрѣлъ на меня, какъ будто бы погода отъ меня зависѣла:—хлѣба, можно сказать, удивительные.

Я наклонилъ голову въ знакъ согласія. Мы опять помолчали.

— Пантелей Еремѣичъ вчера двухъ русаковъ изволили затравить,—не безъ усилія заговорилъ Недопюскинъ, явно желавшій оживить разговоръ:—да-съ, пребольшихъ-съ русаковъ-съ.

— Хорошія у г. Чертопханова собаки?

— Преудивительныя-съ!—съ удовольствіемъ возразилъ Недопюскинъ:—можно сказать первыя по губерніи. (Онъ подвинулся ко мнѣ.) Да что-съ! Пантелей Еремѣичъ такой человѣкъ! Что только пожелаетъ, вотъ что только вздумаетъ — глядишь, ужъ и готово, все ужъ такъ и кипитъ-съ. Пантелей Еремѣичъ, скажу вамъ...

Чертопхановъ вошелъ въ комнату. Недопюскинъ усмѣхнулся, умолкъ и показалъ мнѣ на него глазами, какъ-бы желая сказать: вотъ вы сами убѣдитесь. Мы пустились толковать объ охотѣ.

— Хотите, я вамъ покажу свою свору? — спросилъ меня Чертопхановъ и, не дождавшись отвѣта, позвалъ Карпа.

Вошелъ дюжій парень въ нанковомъ кафтанѣ зеленаго цвѣта съ голубымъ воротникомъ и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Ѳомкѣ,—отрывисто проговорилъ Чертопхановъ:—привести Аммалата и Сайгу, да въ порядкѣ, понимаешь?

Карпъ улыбнулся во весь ротъ, издалъ неопредѣленный звукъ и вышелъ. Явился Ѳомка, причесанный, затянутый, въ сапогахъ и съ собаками. Я, ради приличія, полюбовался глупыми животными (борзыя всѣ чрезвычайно глупы). Чертопхановъ поплевалъ Аммалату въ самыя ноздри, что, впрочемъ, повидимому, не доставило этому псу ни малѣйшаго удовольствія. Недопюскинъ также сзади поласкалъ Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопхановъ понемногу смягчился совершенно, пересталъ пѣтушиться и фыркать; выраженье лица его измѣнилось. Онъ глянулъ на меня и на Недопюскина....

— Э!—воскликнулъ онъ вдругъ:—что ей тамъ сидѣть одной? Маша! а, Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился въ сосѣдней комнатѣ, но отвѣта не было.

— Ма-а-ша, — ласково повторилъ Чертопхановъ: — поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидалъ женщину лѣтъ двадцати, высокую и стройную, съ цыганскимъ смуглымъ лицомъ, изжелта-карими глазами и черною какъ смоль косою; большіе бѣлые зубы такъ и сверкали изъ-подъ полныхъ и красныхъ губъ. На ней было бѣлое платье; голубая шаль, заколотая у самаго горла золотой булавкой, прикрывала до половины ея тонкія, породистыя руки. Она шагнула раза два съ застѣнчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вотъ, рекомендую, — промолвилъ Паптелей Еремѣичъ:—жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и съ замѣшательствомъ улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мнѣ нравилась. Тоненькій орлиный носъ, съ открытыми полупрозрачными ноздрями, смѣлый очеркъ высокихъ бровей, блѣдныя, чуть-чуть впалыя щеки,—всѣ черты ея лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Изъ-подъ закрученной косы внизъ по широкой шеѣ шли двѣ прядки блестящихъ волосиковъ—признакъ крови и силы.

Она подошла къ окну и сѣла. Я не хотѣлъ увеличить ея смущенья и заговорилъ съ Чертопхановымъ. Маша легонько повернула голову и начала изъ-подлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взоръ ея такъ и мелькалъ, словно змѣиное жало. Недопюскинъ подсѣлъ къ ней и шепнулъ ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила носъ и приподнимала верхнюю губу, что̀ придавало ея лицу не то кошачье, не то львиное выраженіе....

О, да ты «не тронь меня», — подумалъ я, въ свою

очередь украдкой посматривая на ея гибкій станъ, впалую грудь и угловатыя, проворныя движенія.

— А что̀, Маша,—спросилъ Чертопхановъ:—надобно-бы гостя чѣмъ-нибудь и попотчивать, а?

— У насъ есть варенье,—отвѣчала она.

— Ну, подай сюда варенье, да ужъ и водку кстати. Да послушай, Маша,—закричалъ онъ ей вслѣдъ:—принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? я пѣть не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли....

— Что̀?—спросила Маша, быстро наморщивъ брови.

— Коли попросятъ, договорилъ Чертопхановъ не безъ смущенія.

— А!

Она вышла, скоро вернулась съ вареньемъ и водкой, и опять сѣла у окна. На лбу ея еще виднѣлась морщинка; обѣ брови поднимались и опускались, какъ усики у осы.... Замѣтили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумалъ я, быть грозѣ. Разговоръ не клеился. Недопюскинъ притихъ совершенно и напряженно улыбался; Чертопхановъ пыхтѣлъ, краснѣлъ и выпучивалъ глаза: я уже собирался уѣхать.... Маша вдругъ приподнялась, разомъ отворила окно, высунула голову и съ сердцемъ закричала проходившей бабѣ: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотѣла-было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась на̀-землю. Маша опрокинулась назадъ и звонко захохотала; Чертопхановъ тоже засмѣялся, Недопюскинъ запищалъ отъ восторга. Мы всѣ встрепенулись. Гроза разразилась одной молніей.... воздухъ очистился.

Полчаса спустя, насъ-бы никто не узналъ: мы болтали и шалили, какъ дѣти. Маша рѣзвилась пуще всѣхъ, —

Чертопхановъ такъ и пожиралъ ее глазами. Лицо у ней побѣднѣло, ноздри расширились, взоръ запылалъ и потемнѣлъ въ одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскинъ ковылялъ за ней на своихъ толстыхъ и короткихъ ножкахъ, какъ селезень за уткой. Даже Вензоръ выползъ изъ-подъ прилавка въ передней, постоялъ на порогѣ, поглядѣлъ на насъ и вдругъ принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула въ другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль съ плечъ долой, проворно сѣла, подняла голову и запѣла цыганскую пѣсню. Ея голосъ звенѣлъ и дрожалъ какъ надтреснутый стеклянный колокольчикъ, вспыхивалъ и замиралъ.... Любо и жутко становилось на сердцѣ.—«Ай жги говори»!... Чертопхановъ пустился въ плясъ. Недопюскинъ затопалъ и засѣменилъ ногами. Машу всю поводило, какъ бересту на огнѣ: тонкіе пальцы рѣзво бѣгали по гитарѣ, смуглое горло медленно приподнималось подъ двойнымъ янтарнымъ ожерельемъ. То вдругъ она умолкала, опускалась въ изнеможеньи, словно неохотно щипала струны, и Чертопхановъ останавливался, только плечикомъ подергивалъ да на мѣстѣ переминался, а Недопюскинъ покачивалъ головой, какъ фарфоровый китаецъ;—то снова заливалась она какъ безумная, выпрямливала станъ и выставляла грудь, и Чертопхановъ опять присѣдалъ до земли, подскакивалъ подъ самый потолокъ, вертѣлся юлой, вскрикивалъ: «живо!»....

— Живо, живо, живо, живо!—скороговоркой подхватывалъ Недопюскинъ.

Поздно вечеромъ уѣхалъ я изъ Безсонова....

КОНЕЦЪ ЧЕРТОПХАНОВА.

I.

Года два спустя послѣ моего посѣщенія, у Пантелея Еремѣича начались его бѣдствія—именно бѣдствія. Неудовольствія, неудачи и даже несчастія случались съ нимъ и до того времени, но онъ не обращалъ на нихъ вниманія и «царствовалъ» попрежнему. Первое бѣдствіе, поразившее его, было для него самое чувствительное: Маша разсталась съ нимъ.

Что̀ заставило ее покинуть его кровъ, съ которымъ она, казалось, такъ хорошо свыклась — сказать трудно. Чертопхановъ до конца дней своихъ держался того убѣжденія, что виною Машиной измѣны былъ нѣкій молодой сосѣдъ, отставной уланскій ротмистръ, по прозвищу Яффъ, который, по словамъ Пантелея Еремѣича, только тѣмъ и бралъ, что безпрерывно крутилъ усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкалъ, но, полагать надо, тутъ скорѣе воздѣйствовала бродячая цыганская кровь, которая текла въ жилахъ Маши. Какъ бы то ни было, только, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, Маша, завязавъ кое-какія тряпки въ небольшой узелокъ, отправилась вонъ изъ Чертопхановскаго дома.

*

Она передъ тѣмъ просидѣла дня три въ уголку, скорчившись и прижавшись къ стѣнкѣ, какъ раненая лисица— и хоть бы слово кому промолвила — все только глазами поводила да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой «стихъ» и прежде на нее находилъ, но никогда долго не продолжался; Чертопхановъ это зналъ— а потому и самъ не безпокоился и ее не безпокоилъ. Но когда, вернувшись съ псарнаго двора, гдѣ, по словамъ его доѣзжачаго, послѣднія двѣ гончія «окачурились»—онъ встрѣтилъ служанку, которая трепетнымъ голосомъ доложила ему, что Марія, молъ, Акиндіевна велѣли имъ кланяться, велѣли сказать, что желаютъ имъ всего хорошаго, а ужъ больше къ нимъ не вернутся,—Чертопхановъ, покружившись раза два на мѣстѣ и издавъ хриплое рычаніе, тотчасъ бросился вслѣдъ за бѣглянкой — да кстати захватилъ съ собой пистолетъ.

Онъ нагналъ ее въ двухъ верстахъ отъ своего дома, возлѣ березовой рощицы, на большой дорогѣ въ уѣздный городъ. Солнце стояло низко надъ небосклономъ — и все кругомъ внезапно побагровѣло: деревья, травы и земля.

— Къ Яффу! къ Яффу! — простоналъ Чертопхановъ, какъ только завидѣлъ Машу:—къ Яффу!—повторилъ онъ, подбѣгая къ ней и чуть не спотыкаясь на каждомъ шагѣ.

Маша остановилась и обернулась къ нему лицомъ. Она стояла спиною къ свѣту—и казалась вся черная, словно изъ темнаго дерева вырѣзанная. Одни бѣлки глазъ выдѣлялись серебряными миндалинами, а сами глаза—зрачки— еще болѣе потемнѣли.

Она бросила свой узелокъ въ сторону и скрестила руки.

— Къ Яффу отправилась, негодница!—повторилъ Чертопхановъ и хотѣлъ-было схватить ее за плечо — но, встрѣченный ея взглядомъ, опѣшилъ и замялся на мѣстѣ.

— Не къ г. Яффу я пошла, Пантелей Еремѣичъ, — отвѣтила Маша ровно и тихо, а только съ вами я уже больше жить не могу.

— Какъ не можешь жить? Это отчего? Я развѣ чѣмъ тебя обидѣлъ?

Маша покачала головою.—Не обидѣли вы меня ничѣмъ, Пантелей Еремѣичъ, а только стосковалась я у васъ.... За прошлое спасибо, а остаться не могу—нѣтъ!

Чертопхановъ изумился; онъ даже руками себя по ляшкамъ хлопнулъ и подпрыгнулъ.

— Какъ же это такъ? Жила, жила, кромѣ удовольствія и спокойствія ничего не видала—и вдругъ: стосковалась! Семъ-молъ, брошу я его! Взяла, платокъ на голову накинула—да и пошла. Всякое уваженіе получала не хуже барыни....

— Этого мнѣ хоть бы и не надо—перебила Маша.

— Какъ не надо? Изъ цыганки-проходимицы въ барыни попала — да: не надо? Какъ не надо, Хамово ты отродье? Развѣ этому можно повѣрить? Тутъ измѣна кроется, измѣна!

Онъ опять зашипѣлъ.

— Никакой измѣны у меня въ мысляхъ нѣту и не было,—проговорила Маша своимъ пѣвучимъ и чѣткимъ голосомъ:—а я ужъ вамъ сказывала: тоска меня взяла.

— Маша!—воскликнулъ Чертопхановъ и ударилъ себя въ грудь кулакомъ:—ну, перестань, полно, помучила.... ну, довольно! Ей-Богу же! подумай только, что̀ Тиша скажетъ; ты бы хоть его пожалѣла!

— Тихону Ивановичу поклонитесь отъ меня и скажите ему....

Чертопхановъ взмахнулъ руками.—Да нѣтъ, врешь же— не уйдешь! Не дождется твой Яффъ!

— Господинъ Яффъ,—начала-было Маша....

— Какой онъ *гас-па-динъ* Яффъ, — передразнилъ её Чертопхановъ. — Онъ самый, какъ есть, выжига, пройдоха—и рожа у него какъ у обезьяны!

Цѣлыхъ полчаса бился Чертопхановъ съ Машей. Онъ то подходилъ къ ней близко, то отскакивалъ, то замахивался на неё, то кланялся ей въ поясъ, плакалъ, бранился.... Не могу,—твердила Маша:—грустно мнѣ таково.... Тоска замучитъ. Понемногу ея лицо приняло такое равнодушіе, почти сонливое выраженіе, что Чертопхановъ спросилъ ее, ужъ не опоили ли ее дурманомъ?

— Тоска,—проговорила она въ десятый разъ.

— А ну какъ я тебя убью? — крикнулъ онъ вдругъ и выхватилъ пистолетъ изъ кармана.

Маша улыбнулась; ея лицо оживилось.

— Что-жъ? убейте, Пантелей Еремѣичъ: въ вашей волѣ; а вернуться я не вернусь.

— Не вернешься? Чертопхановъ взвелъ курокъ.

— Не вернусь, голубчикъ. Ни въ жизнь не вернусь. Слово мое крѣпко.

Чертопхановъ внезапно сунулъ ей пистолетъ въ руку и присѣлъ на землю.

— Ну, такъ убей *ты* меня! безъ тебя я жить не желаю. Опостылѣлъ я тебѣ—и все мнѣ стало постыло.

Маша нагнулась, подняла свой узелокъ, положила пистолетъ на траву, дуломъ прочь отъ Чертопханова и пододвинулась къ нему.

— Эхъ, голубчикъ, чего ты убиваешься? Али нашихъ сестеръ цыганокъ не вѣдаешь? Нравъ нашъ таковъ, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзываетъ душеньку во чужу-дальню сторонушку — гдѣ ужъ тутъ оставаться? Ты Машу свою помни — другой такой подруги тебѣ не найти—и я тебя не забуду, скола моего;—а жизнь наша съ тобой кончена!

— Я тебя любилъ, Маша,—пробормоталъ Чертопхановъ въ пальцы, которыми онъ охватилъ лицо....

— И я васъ любила, дружочекъ Пантелей Еремѣичъ!

— Я тебя любилъ, я люблю тебя безъ ума, безъ памяти—и какъ подумаю я теперь, что ты этакъ, ни съ того ни съ сего, здорово-живешь, меня покидаешь да по свѣту скитаться станешь—ну, и представляется мнѣ, что не будь я голякъ горемычный, не бросила ты бы меня!

На эти слова Маша только усмѣхнулась.

— А еще безсеребренницей меня звалъ! — промолвила она и съ размаху ударила Чертопханова по плечу.

Онъ вскочилъ на ноги.

— Ну, хоть депегъ у меня возьми—а то какъ же такъ безъ гроша? Но лучше всего: убей ты меня! Сказываю я тебѣ толкомъ: убей ты меня за-разъ!

Маша опять головою покачала.—Убить тебя? А въ Сибирь-то, голубчикъ, за что ссылаютъ?

Чертопхановъ дрогнулъ.—Такъ ты только изъ-за этого, изъ-за страха каторги....

Онъ опять повалился на траву.

Маша молча постояла надъ нимъ. Жаль мнѣ тебя, Пантелей Еремѣичъ, — сказала она со вздохомъ: — человѣкъ ты хорошій.... а дѣлать нечего: прощай!

Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила и отовсюду наплывали тусклыя тѣни. Чертопхановъ проворно поднялся и схватилъ Машу сзади за оба локтя.

— Такъ ты уходишь, змѣя? Къ Яффу!

— Прощай!— выразительно и рѣзко повторила Маша, вырвалась и пошла.

Чертопхановъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ, побѣжалъ къ мѣсту, гдѣ лежалъ пистолетъ, схватилъ его, прицѣлился, выстрѣлилъ.... Но прежде чѣмъ пожать пружинку курка,

онъ дернулъ рукою кверху: пуля прожужжала надъ головою Маши. Она на ходу посмотрѣла на него черезъ плечо — и отправилась дальше, въ развалочку, словно дразня его.

Онъ закрылъ лицо—и бросился бѣжать...

Но онъ не отбѣжалъ еще пятидесяти шаговъ, какъ вдругъ остановился словно вкопанный. Знакомый, слишкомъ знакомый голосъ долетѣлъ до него. Маша пѣла. «Вѣкъ юной, прелестный»—пѣла она; каждый звукъ такъ и разстилался въ вечернемъ воздухѣ—жалобно и знойно. Чертопхановъ приникъ ухомъ. Голосъ уходилъ да уходилъ; то замиралъ, то опять набѣгалъ чуть слышной, но все еще жгучей струйкой....

«Это мнѣ она въ пику», подумалъ Чертопхановъ; но тутъ же простоналъ: «охъ, нѣтъ! это она со мною прощается навѣки»—и залился слезами.

На слѣдующій день онъ явился въ квартиру г-на Яффа, который, какъ истый свѣтскій человѣкъ, не жалуя деревенскаго одиночества, поселился въ уѣздномъ городѣ, «по ближе къ барышнямъ», какъ онъ выражался. Чертопхановъ не засталъ Яффа: онъ, по словамъ каммердинера, наканунѣ уѣхалъ въ Москву.

— Такъ и есть!—яростно воскликнулъ Чертопхановъ;— у нихъ стачка была; она съ нимъ бѣжала.... но постой!

Онъ ворвался въ кабинетъ молодого ротмистра, несмотря на сопротивленіе каммердинера. Въ кабинетѣ надъ диваномъ висѣлъ портретъ хозяина въ уланскомъ мундирѣ, писанный масляными красками. — А, вотъ гдѣ ты, обезьяна безхвостая!—прогремѣлъ Чертопхановъ, вскочилъ на диванъ—и, ударивъ кулакомъ по натянутому холсту, пробилъ въ немъ большую дыру.

— Скажи твоему бездѣльнику-барину,—обратился онъ къ каммердинеру, — что за неимѣньемъ его собственной гнусной рожи, дворянинъ Чертопхановъ изуродовалъ его писанную; и коли онъ желаетъ отъ меня удовлетворенья, онъ знаетъ, гдѣ найти дворянина Чертопханова!—А то я самъ его найду! На днѣ моря сыщу подлую обезьяну!

Сказавъ эти слова, Чертопхановъ соскочилъ съ дивана и торжественно удалился.

Но ротмистръ Яффъ никакого удовлетворенія отъ него не потребовалъ—онъ даже не встрѣтился нигдѣ съ нимъ—и Чертопхановъ не думалъ отыскивать своего врага, и никакой исторіи у нихъ не вышло. Сама Маша скоро послѣ того пропала безъ вѣсти. Чертопхановъ запилъ было; однако «очувствовался». Но тутъ постигло его второе бѣдствіе.

II.

А именно: закадычный его пріятель Тихонъ Ивановичъ Недопюскинъ скончался. Года за два до кончины, здоровье стало измѣнять ему: онъ началъ страдать одышкой, безпрестанно засыпалъ, и, проснувшись, не скоро могъ придти въ себя: уѣздный врачъ увѣрялъ, что это съ нимъ происходили «ударчики». Въ теченіи трехъ дней, предшествовавшихъ удаленію Маши, этихъ трехъ дней, когда она «затосковала», Недопюскинъ пролежалъ у себя въ Безселендѣевкѣ: онъ сильно простудился. Тѣмъ неожиданнѣе поразилъ его поступокъ Маши: онъ поразилъ его едва ли не глубже, чѣмъ самого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава, онъ, кромѣ самаго нѣжнаго сожалѣнія о своемъ пріятелѣ, да болѣзненнаго недоумѣнія, ничего не выказалъ.... но все въ немъ лопнуло и опустилось. «Вынула она изъ меня душу», шепталъ онъ самому

себѣ, сидя на своемъ любимомъ клеёнчатомъ диванчикѣ и вертя пальцемъ около пальца. Даже когда Чертопхановъ оправился, онъ, Недопюскинъ, не оправился — и продолжалъ чувствовать, что «пусто у него внутри». — «Вотъ тутъ», говаривалъ онъ, показывая на середину груди, повыше желудка. Такимъ образомъ протянулъ онъ до зимы. Отъ первыхъ морозовъ его одышкѣ полегчило, но за то посѣтилъ его уже не ударчикъ, а ударъ настоящій. Онъ не тотчасъ лишился памяти; онъ могъ еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицаніе своего друга: «что, молъ, какъ это ты, Тиша, безъ моего разрѣшенія оставляешь меня, не хуже Маши?»—отвѣтилъ коснѣющимъ языкомъ: «А я П...а...сей Е...е...ѣичъ, се... да адъ васъ су...ша..ся». Это однако не помѣшало ему умереть въ тотъ же день, не дождавшись уѣзднаго врача, которому, при видѣ его едва остывшаго тѣла, осталось только, съ грустнымъ сознаньемъ бренности всего земного, потребовать «водочки съ балычкомъ». Имѣніе свое Тихонъ Ивановичъ завѣщалъ, какъ и слѣдовало ожидать, своему почтеннѣйшему благодѣтелю и великодушному покровителю, «Пантелею Еремѣичу Чертопханову»; но почтеннѣйшему благодѣтелю оно большой пользы не принесло, ибо въ скорости было продано съ публичнаго торга—частью для того, чтобы покрыть издержки надгробнаго монумента, статуи, которую Чертопхановъ—(а въ немъ, видно, отозвалась отцовская жилка!) — вздумалъ воздвигнуть надъ прахомъ своего пріятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящагося ангела, онъ выписалъ изъ Москвы; но отрекомендованный ему коммиссіонеръ, сообразивъ, что въ провинціи знатоки скульптуры встрѣчаются рѣдко, вмѣсто ангела прислалъ ему богиню Флору, много лѣтъ украшавшую одинъ изъ заброшенныхъ подмосковныхъ садовъ Екатерининскаго времени — благо эта статуя,

весьма, впрочемъ, изящная, во вкусѣ рококò, съ пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой розъ на обнаженной груди и изогнутымъ станомъ, досталась ему, коммиссіонеру, даромъ. Такъ и до сихъ поръ стоитъ миѳологическая богиня, граціозно приподнявъ одну ножку, надъ могилой Тихона Ивановича, и съ истинно-помпадурской ужимкой посматриваетъ на разгуливающихъ вокругъ нея телятъ и овецъ, этихъ неизмѣнныхъ посѣтителей нашихъ сельскихъ кладбищъ.

III.

Лишившись своего вѣрнаго друга, Чертопхановъ опять запилъ, и на этотъ разъ уже гораздо посерьёзнѣе. Дѣла его вовсе подъ-гору пошли. Охотиться стало не на что, послѣднія денежки перевелись, послѣдніе людишки поразбѣжались. Одиночество для Пантелея Еремѣича наступило совершенное: не съ кѣмъ было слово перемолвить, не то, что душу отвести. Одна лишь гордость въ немъ не умалилась. Напротивъ: чѣмъ хуже становились его обстоятельства, тѣмъ надменнѣе и высокомѣрнѣе и неприступнѣе становился онъ самъ. Онъ совсѣмъ одичалъ подъ-конецъ. Одна утѣха, одна радость осталась у него: удивительный верховой конь, сѣрой масти, донской породы, прозванный имъ Малекъ-Аделемъ, дѣйствительно замѣчательное животное.

Достался ему этотъ конь слѣдующимъ образомъ:

Проѣзжая однажды верхомъ по сосѣдней деревнѣ, Чертопхановъ услыхалъ мужичій гамъ и крикъ толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одномъ и томъ же мѣстѣ, безпрестанно поднимались и опускались дюжія руки.

— Что тамъ такое происходитъ?—спросилъ онъ свой-

ственнымъ ему начальственнымъ тономъ у старой бабы, стоявшей у порога своей избы.

Опершись о притолку и какъ-бы дремля, посматривала баба въ направленіи кабака. Бѣлоголовый мальчишка въ ситцевой рубашкѣ, съ кипарисным крестикомъ на голой грудкѣ, сидѣлъ, растопыря ножки и сжавъ кулачонки, между ея лаптями: цыпленокъ тутъ же долбилъ задеревенѣлую корку ржаного хлѣба.

— А Господь вѣдаетъ, батюшка,—отвѣчала старуха—и, наклонившись впередъ, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки: — слышно, наши ребята жида бьютъ.

— Какъ жида? какого жида?

— А Господь его вѣдаетъ, батюшка. Проявился у насъ жидъ какой-то; и отколѣ его принесло — кто его знаетъ? Вася, иди, сударикъ, къ мамѣ: кшъ, кшъ, поскудный!

Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ея паневу.

— Такъ вотъ его и бьютъ, сударь ты мой.

— Какъ бьютъ? за что?

— А не знаю, батюшка. Стало, за дѣло. Да и какъ не бить? Вѣдь онъ, батюшка, Христа распялъ!

Чертопхановъ гикнулъ, вытянулъ лошадь ногайкой по шеѣ, помчался прямо на толпу — и ворвавшись въ нее, началъ той же самой ногайкой безъ разбору лупить мужиковъ направо и налѣво, приговаривая прерывистымъ голосомъ:—Само...управство! Само...у...правство! Законъ долженъ наказывать—а не част...ны...я ли...ца! Законъ! Законъ!! За...ко...онъ!!!

Двухъ минутъ не прошло, какъ уже вся толпа отхлынула въ разныя стороны — и на землѣ, передъ дверью кабака, оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо въ нанковомъ кафтанѣ, растрепанное и истерзан-

ное... Блѣдное лицо, закатившіеся глаза, раскрытый ротъ... Что это? замираніе ужаса или уже самая смерть?

— Это вы зачѣмъ жида убили?—громогласно воскликнулъ Чертопхановъ, грозно потрясая ногайкой.

Толпа слабо загудѣла въ отвѣтъ. Иной мужикъ держался за плечо, другой за бокъ, третій за носъ.

«Здоровъ драться-то!» послышалось въ заднихъ рядахъ.

«Съ ногайкой-то! этакъ-то всякій!» промолвилъ другой голосъ.

— Жида зачѣмъ убили? спрашиваю я васъ, азіаты оглашенные!—повторилъ Чертопхановъ.

Но тутъ лежавшее на землѣ существо проворно вскочило на ноги, и, забѣжавъ за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его сѣдла.

Дружный хохотъ грянулъ среди толпы.

«Живучъ!» послышалось опять въ заднихъ рядахъ.—«Та же кошка!»

— Васе высокоблагоуродіе, заступитесь, спасите!—лепеталъ между тѣмъ несчастный жидъ, всею грудью прижимаясь къ ногѣ Чертопханова:—а то они убьютъ, убьютъ меня, васе высокоблагоуродіе!

— За что они тебя?—спросилъ Чертопхановъ.

— Да ей зе Богу не могу сказать!—Тутъ вотъ у нихъ скотинка помирать стала... такъ они и подозрѣваютъ... а я зе...

— Ну, это мы разберемъ послѣ! — перебилъ Чертопхановъ — а теперь ты держись за сѣдло да ступай за мною.—А вы! прибавилъ онъ, обернувшись къ толпѣ—вы знаете меня?—Я помѣщикъ Пантелей Чертопхановъ, живу въ сельцѣ Безсоновѣ, — ну, и, значитъ, жалуйтесь на меня, когда заблагоразсудится—да и на жида кстати!

— Зачѣмъ жаловаться? — проговорилъ съ низкимъ поклономъ сѣдобородый, степенный мужикъ, ни дать ни взять

древній патріархъ.—(Жида онъ, впрочемъ, тузилъ не хуже другихъ). — Мы, батюшка Пантелей Еремѣичъ, твою милость знаемъ хорошо; много твоей милостью довольны, что поучилъ насъ!

— Зачѣмъ жаловаться!—подхватили другіе:—а съ нехриста того мы свое возьмемъ! Онъ отъ насъ не уйдетъ!— Мы его, значитъ, какъ зайца въ полѣ...

Чертопхановъ повелъ усами, фыркнулъ — и поѣхалъ шагомъ къ себѣ въ деревню, сопровождаемый жидомъ, котораго онъ освободилъ такимъ же образомъ отъ его притѣснителей, какъ нѣкогда освободилъ Тихона Недопюскина.

IV.

Нѣсколько дней спустя, единственный уцѣлѣвшій у Чертопханова казачокъ доложилъ ему, что къ нему прибылъ какой-то верховой и желаетъ поговорить съ нимъ. Чертопхановъ вышелъ на крыльцо и увидалъ своего знакомаго жидка, верхомъ на прекрасномъ донскомъ конѣ, неподвижно и гордо стоявшемъ посреди двора.—На жидкѣ не было шапки: онъ держалъ ее подъ мышкой, ноги онъ вдѣлъ не въ самыя стремена, а въ ремни стремянъ; разорванныя полы его кафтана висѣли съ обѣихъ сторонъ сѣдла. Увидавъ Чертопханова, онъ зачмокалъ губами, и локтями задергалъ, и ногами заболталъ. Но Чертопхановъ не только не отвѣчалъ на его привѣтъ, а даже разсердился; такъ весь и вспыхнулъ вдругъ: паршивый жидъ смѣетъ сидѣть на такой прекрасной лошади... какое неприличіе!

— Эй ты, эѳіопская рожа!—закричалъ онъ:—сейчасъ слѣзай, если не хочешь, чтобы тебя стащили въ грязь!

Жидъ немедленно повиновался, свалился мѣшкомъ съ

сѣдла—и, придерживая одной рукою поводъ, улыбаясь и кланяясь, подвинулся къ Чертопханову.

— Чего тебѣ? — съ достоинствомъ спросилъ Пантелей Еремѣичъ.

— Васе благородіе, извольте посмотрѣть, каковъ конёкъ?—промолвилъ жидъ, не переставая кланяться.

— Н...да... лошадь добрая. Ты откуда ее досталъ? Укралъ, должно быть?

— Какъ зе мозно, васе благородіе!—Я честный зидъ, я не укралъ, а для васего благородія досталъ, точно! И узъ старался я, старался! За то и конь! Такого коня по всему Дону другого найти никакъ невозможно. — Посмотрите, васе благородіе, что это за конь такой! Вотъ позалуйте, сюда!—Тпру... тпру... повернись, стань зе бокомъ!—А мы сѣдло снимемъ.—Каковъ! Васе благородіе?

— Лошадь добрая,—повторилъ Чертопхановъ съ притворнымъ равнодушіемъ,—а у самого сердце такъ и заколотилось въ груди. Очень ужъ онъ былъ страстный охотникъ до «конскаго мяса» и зналъ въ немъ толкъ.

— Да вы, васе благородіе, его погладьте! По сейкѣ его погладьте, хи-хи-хи! Вотъ такъ.

Чертопхановъ, словно нехотя, положилъ руку на шею коня, хлопнулъ по ней раза два, потомъ провелъ пальцами отъ холки по спинѣ и, дойдя до извѣстнаго мѣстечка надъ почками, слегка, по-охотницки, подавилъ это мѣстечко.— Конь немедленно выгнулъ хребетъ, и, оглянувшись искоса на Чертопханова своимъ надменнымъ чорнымъ глазомъ, фукнулъ и переступилъ передними ногами.

Жидъ засмѣялся и въ ладоши слегка захлопалъ. — Хозяина признаетъ, васе благородіе, хозяина!

— Ну, не ври,—съ досадой перебилъ Чертопхановъ.— Купить мнѣ у тебя этого коня.... нé на что, а подарковъ

я еще не то, что отъ жида—а отъ самого Господа Бога не принималъ!

— И какъ зе я смѣю вамъ что-нибудь дарить, помилосердуйте!—воскликнулъ жидъ:—вы купите, васе благородіе.... а денезекъ—я подозду.

Чертопхановъ задумался.

— Ты что возьмешь?—промолвилъ онъ наконецъ сквозь зубы.

Жидъ пожалъ плечами.

— А что̀ самъ заплатилъ. Двѣсти рублей.

Лошадь стоила вдвое—а, пожалуй, что и втрое противъ этой суммы.

Чертопхановъ отвернулся въ сторону и зѣвнулъ лихорадочно.

— А когда.... деньги?—спросилъ онъ, насильственно нахмуривъ брови и не глядя на жида.

— А когда будетъ васему благородію угодно.

Чертопхановъ голову назадъ закинулъ, но глазъ не поднялъ. — Это не отвѣтъ. Ты говори то̀лкомъ, Иродово племя!—Одолжаться я у тебя стану, что ли?

— Ну, сказемъ такъ—поспѣшно проговорилъ жидъ—черезъ шесть мѣсяцевъ.... согласны?

Чертопхановъ ничего не отвѣчалъ.

Жидъ старался заглянуть ему въ глаза. — Согласны? Приказете на конюшню поставить?

— Сѣдло мнѣ не нужно,—произнесъ отрывисто Чертопхановъ.—Возьми сѣдло—слышишь?

— Какзе, какзе, возьму, возьму, залепеталъ обрадованный жидъ и взвалилъ сѣдло себѣ на плечо.

— А деньги,—продолжалъ Чертопхановъ....—черезъ шесть мѣсяцевъ. — И не двѣсти, а двѣсти-пятьдесятъ. Молчать. Двѣсти-пятьдесятъ, говорю тебѣ! За мною.

Чертопхановъ все не могъ рѣшиться поднять глаза.

Никогда такъ сильно въ немъ не страдала гордость. — «Явно, что подарокъ», думалось ему: «изъ благодарности чортъ подноситъ!» И обнялъ бы онъ этого жида, и побилъ бы его....

— Васе благородіе, началъ жидъ пріободрившись и осклабясь — надобы, по русскому обычаю, изъ полы въ полу....

— Вотъ еще что вздумалъ?—Еврей.... а русскіе обычаи!—Эй! кто тамъ? Возьми лошадь, сведи на конюшню.— Да овса ему засыпь. Я сейчасъ самъ приду, посмотрю. И знай: имя ему—Малекъ-Адель!

Чертопхановъ взобрался было на крыльцо, но круто повернулъ на каблукахъ, и, подбѣжавъ къ жиду, крѣпко стиснулъ ему руку.— Тотъ наклонился и губы уже протянулъ — но Чертопхановъ отскочилъ назадъ, и, промолвивъ вполголоса: «Никому не сказывай!» исчезъ за дверью.

V.

Съ самаго того дня—главнымъ дѣломъ, главной заботой, радостью въ жизни Чертопханова — сталъ Малекъ-Адель. Онъ полюбилъ его такъ, какъ не любилъ самой Маши, привязался къ нему больше, чѣмъ къ Недопюскину.—Да и конь же былъ! Огонь, какъ есть огонь, просто порохъ—а степенство какъ у боярина!—Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безотвѣтный; а прокормить его ничего не стоитъ: коли нѣтъ ничего другого, землю подъ собой глодаетъ. Шагомъ идетъ—какъ въ рукахъ несетъ; рысью что въ зыбкѣ качаетъ, а поскачетъ, такъ и вѣтру за нимъ не угнаться! Никогда-то онъ не запыхается: потому—отдушинъ много. Ноги—стальныя; чтобы онъ когда спотыкнулся—и въ поминѣ этого не бывало!— Перескочить ровъ ли, тынъ ли—это ему ни почемъ, а ужъ

умница какая! На голосъ такъ и бѣжитъ, задравши голову; прикажешь ему стоять и самъ уйдешь—онъ не ворохнется; только-что станешь возвращаться, чуть-чуть заржетъ: «здѣсь-молъ я». — И ничего-то онъ не боится: въ самую тёмять, въ мятель дорогу сыщетъ; а чужому ни за что не дастся: зубами загрызетъ! И собака не суйся къ нему: сейчасъ передней ножкой ее по лбу — тюкъ! только она и жила.—Съ амбиціей конь: плеткой развѣ-что для красы надъ нимъ помахивай — а сохрани Богъ его тронуть! Да что̀ тутъ долго толковать:—сокровище, а не лошадь!

Примется Чертопхановъ расписывать своего Малекъ-Аделя—откуда рѣчи берутся! А ужъ какъ онъ его холилъ и лелѣялъ!—Шерсть на немъ отливала серебромъ—да не старымъ, а новымъ, что̀ съ темнымъ глянцемъ; повести по ней ладонью—тотъ же бархатъ! Сѣдло, чепрачокъ, уздечка—вся какъ есть сбруя до того была ладно пригнана, въ порядкѣ, вычищена—бери карандашъ и рисуй! Чертопхановъ—чего больше? самъ, собственноручно, и чолку заплеталъ своему любимцу, и гриву и хвостъ мылъ пивомъ, и даже копыта не разъ мазью смазывалъ....

Бывало, сядетъ онъ на Малекъ-Аделя и поѣдетъ — не по сосѣдямъ—онъ съ ними по-прежнему не зналися—а черезъ ихъ поля, мимо усадебъ... Полюбуйтесь-молъ издали, дураки! А то прослышитъ, что гдѣ-нибудь охота проявилась—въ отъѣзжее поле богатый баринъ собрался,—онъ сейчасъ туда — и гарцуетъ въ отдаленіи, на горизонтѣ, удивляя всѣхъ зрителей красотой и быстротою своего коня и близко никого къ себѣ не подпуская. Разъ какой-то охотникъ даже погнался за нимъ со всей свитой; видитъ, что уходитъ отъ него Чертопхановъ, и началъ онъ ему кричать изо всей мочи, на всемъ скаку: «Эй, ты! Слу-

шай! Бери, что̀ хочешь за свою лошадь! Тысячи не пожалѣю! Жену отдамъ, дѣтей! Бери послѣднее!»

Чертопхановъ вдругъ осадилъ Малекъ-Аделя. Охотникъ подлетѣлъ къ нему.—Батюшка! кричитъ, говори: чего желаешь? Отецъ родной!

— Коли ты царь,— промолвилъ съ разстановкой Чертопхановъ (а онъ отъ роду и не слыхивалъ о Шекспирѣ),—подай мнѣ все твое царство за моего коня — такъ и того не возьму!—Сказалъ, захохоталъ, поднялъ Малекъ-Аделя на дыбы, повернулъ имъ на воздухѣ, на однихъ заднихъ ногахъ, словно волчкомъ или юлою — и маршъ-маршъ! Такъ и засверкалъ по жневью. А охотникъ (князь, говорятъ, былъ богатѣйшій) шапку о̀-земь—да какъ грянется лицомъ въ шапку! Съ полчаса такъ пролежалъ.

И ка̀къ было Чертопханову не дорожить своимъ конемъ? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомнѣнное, послѣднее превосходство надъ всѣми его сосѣдями?

VI.

Между тѣмъ время шло, срокъ платежа приближался—а у Чертопханова не только двухъ-сотъ-пятидесяти рублей, не было и пятидесяти. Что̀ было дѣлать, чѣмъ помочь? — «Чтожъ?» рѣшилъ онъ наконецъ, «коли не смилостивится жидъ, не захочетъ еще подождать—отдамъ я ему домъ и землю—а самъ на коня, куда глаза глядятъ! Съ голоду умру—а Малекъ-Аделя не отдамъ!» Волновался онъ очень и даже задумывался; но тутъ судьба—въ первый и въ послѣдній разъ — сжалилась надъ нимъ, улыбнулась ему: какая-то дальняя тётка, самое имя которой было неизвѣстно Чертопханову, оставила ему по духовному завѣщанію сумму огромную въ его глазахъ, цѣлыхъ

двѣ тысячи рублей!—И получилъ онъ эти деньги въ самую, какъ говорится, пору: за день до прибытія жида. Чертопхановъ чуть не обезумѣлъ отъ радости—но и не подумалъ о водкѣ: съ самаго того дня, какъ Малекъ-Адель поступилъ къ нему, онъ капли въ ротъ не бралъ. Онъ побѣжалъ въ конюшню и облобызалъ своего друга съ обѣихъ сторонъ морды надъ ноздрями, тамъ, гдѣ кожа такъ нѣжна бываетъ у лошадей.—Теперь ужъ не разстанемся! — восклицалъ онъ, хлопая Малекъ-Аделя по шеѣ, подъ расчесанной гривой. Вернувшись домой, онъ отсчиталъ и запечаталъ въ пакетъ двѣсти-пятьдесятъ рублей. Потомъ помечталъ, лежа на спинѣ и покуривая трубочку, о томъ, какъ онъ распорядится съ остальными деньгами—а именно, какихъ онъ раздобудетъ собакъ: настоящихъ костромскихъ и непремѣнно краснопѣгихъ! Побесѣдовалъ даже съ Перфишкой, которому обѣщалъ новый казакинъ съ желтыми по всѣмъ швамъ басонами—и легъ спать въ блаженнѣйшемъ настроеніи духа.

Ему привидѣлся нехорошій сонъ: будто онъ выѣхалъ на охоту только не на Малекъ-Аделѣ, а на какомъ-то странномъ животномъ въ родѣ верблюда; на встрѣчу ему бѣжитъ бѣлая-бѣлая какъ снѣгъ лиса.... Онъ хочетъ взмахнуть арапникомъ, хочетъ натравить на нее собакъ—а вмѣсто арапника у него въ рукахъ мочалка, и лиса бѣгаетъ передъ нимъ и дразнитъ его языкомъ. Онъ соскакиваетъ съ своего верблюда, спотыкается, падаетъ.... и падаетъ прямо въ руки жандарму, который зоветъ его къ генералъ-губернатору, и въ которомъ онъ узнаетъ Яффа....

Чертопхановъ проснулся. Въ комнатѣ было темно; вторые пѣтухи только-что пропѣли....

Гдѣ-то, далеко-далеко, проржала лошадь.

Чертопхановъ приподнялъ голову.... Еще разъ послышалось тонкое-тонкое ржаніе.

«Это Малекъ-Адель ржетъ!» подумалось ему... «Это его ржаніе! Но отчего же такъ далеко? Батюшки мои... Не можетъ быть»...

Чертопхановъ вдругъ весь похолодѣлъ, мгновенно спрыгнулъ съ постели, ощупью отыскалъ сапоги, платье, одѣлся,—и захвативъ изъ-подъ изголовья ключъ отъ конюшни, выскочилъ на дворъ.

VII.

Конюшня находилась на самомъ концѣ двора; одной стѣной она выходила въ поле. Чертопхановъ не съ разу вложилъ ключъ въ замокъ — руки у него дрожали—и не тотчасъ повернулъ ключъ.... Онъ постоялъ неподвижно, притаивъ дыханіе: хоть бы что шевельнулось за дверью! «Малешка! Малецъ!» крикнулъ онъ вполголоса: тишина мертвая! Чертопхановъ невольно дернулъ ключомъ: дверь скрыпнула и отворилась.... Стало быть, не была заперта. Онъ шагнулъ черезъ порогъ — и снова кликнулъ своего коня—на этотъ разъ полнымъ именемъ: Малекъ-Адель! Но не отозвался вѣрный товарищъ, только мышь прошуршала по соломѣ. Тогда Чертопхановъ бросился въ то изъ трехъ стойлъ конюшни, въ которомъ помѣщался Малекъ-Адель. Онъ попалъ прямо въ это стойло, хотя кругомъ такая стояла тьма, что хоть глазъ выколи... Пусто! Голова закружилась у Чертопханова; словно колоколъ загудѣлъ у него подъ черепомъ. Онъ хотѣлъ сказать что-то—но только зашипѣлъ, и шаря руками вверху, внизу, по бокамъ, задыхаясь, съ подгибавшимися колѣнками, перебрался изъ одного стойла въ другое... въ третье, почти до верху набитое сѣномъ, толкнулся въ одну стѣну, въ другую, упалъ, перекатился черезъ голову, приподнялся и вдругъ опрометью выбѣжалъ черезъ полураскрытую дверь на дворъ...

— Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!—заревѣлъ онъ благимъ матомъ.

Казачокъ Перфишка кубаремъ, въ одной рубашкѣ, вылетѣлъ изъ чулана, въ которомъ спалъ...

Словно пьяные столкнулись оба — и баринъ, и единственный его слуга, посреди двора; словно угорѣлые, завертѣлись они другъ передъ другомъ. Ни баринъ не могъ растолковать въ чемъ было дѣло; ни слуга не могъ понять, чего требовалось отъ него. — «Бѣда! бѣда!» лепеталъ Чертопхановъ: «бѣда! бѣда!» повторялъ за нимъ казачокъ. «Фонарь! подай, зажги фонарь! Огня! Огня!» вырвалось наконецъ изъ замиравшей груди Чертопханова. Перфишка бросился въ домъ.

Но зажечь фонарь, добыть огня было не легко: сѣрныя спички въ то время считались рѣдкостью на Руси; въ кухнѣ давно погасли послѣдніе уголья—огниво и кремень не скоро нашлись и плохо дѣйствовали. Съ зубовнымъ скрежетомъ вырвалъ ихъ Чертопхановъ изъ рукъ оторопѣлаго Перфишки, сталъ высѣкать огонь самъ: искры сыпались обильно, еще обильнѣе сыпались проклятія и даже стоны—но трутъ либо не загорался, либо погасалъ, несмотря на дружныя усилія четырехъ напряженныхъ щекъ и губъ! Наконецъ, минутъ черезъ пять, не раньше, затеплился сальный огарокъ на днѣ разбитаго фонаря, и Чертопхановъ, въ сопровожденіи Перфишки, ринулся въ конюшню, поднялъ фонарь надъ головою, оглянулся...

Все пусто!

Онъ выскочилъ на дворъ, обѣжалъ его во всѣхъ направленіяхъ — нѣтъ коня нигдѣ! Плетень, окружавшій усадьбу Пантелея Еремѣича, давно пришелъ въ ветхость и во многихъ мѣстахъ накрѣнился и приникалъ къ землѣ... Рядомъ съ конюшней онъ совсѣмъ повалился, на цѣлый аршинъ въ ширину. Перфишка указалъ на это мѣсто Чертопханову.

— Баринъ! посмотрите-ка сюда: этого сегодня не было. Вонъ и колья торчатъ изъ земли: знать ихъ кто вывернулъ.

Чертопхановъ подскочилъ съ фонаремъ, повелъ имъ по землѣ....

— Копыта, копыта, слѣды подковъ, слѣды, свѣжіе слѣды! забормоталъ онъ скороговоркой.—Тутъ его перевели, тутъ, тутъ!

Онъ мгновенно перепрыгнулъ черезъ плетень и съ крикомъ: «Малекъ-Адель! Малекъ-Адель!» побѣжалъ прямо въ поле.

Перфишка остался въ недоумѣньи у плетня. Свѣтлый кружокъ отъ фонаря скоро исчезъ въ его глазахъ, поглощенный густымъ мракомъ беззвѣздной и безлунной ночи.

Все слабѣй и слабѣй раздавались отчаянные возгласы Чертопханова....

VIII.

Заря уже занялась, когда онъ возвратился домой. Образа человѣческаго не было на немъ, грязь покрывала все платье, лицо приняло дикій и страшный видъ, угрюмо и тупо глядѣли глаза. Сиплымъ шопотомъ прогналъ онъ отъ себя Перфишку и заперся въ своей комнатѣ. Онъ едва держался на ногахъ отъ усталости — но онъ не легъ въ постель, а присѣлъ на стулъ у двери и схватился за голову.

— Украли!... украли!

Но какимъ образомъ умудрился воръ украсть ночью, изъ запертой конюшни, Малекъ-Аделя? Малекъ-Аделя, который и днемъ никого чужого къ себѣ не подпускалъ— украсть его безъ шума, безъ стука? И какъ растолковать, что ни одна дворняшка не пролаяла? Правда, ихъ было

всего двѣ, два молодыхъ щенка, и тѣ отъ холоду и голоду въ землю зарывались—но все-таки!

«И что я стану теперь дѣлать безъ Малекъ-Аделя?» думалось Чертопханову. «Послѣдней радости я теперь лишился — настала пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись? Да гдѣ такую другую лошадь найти?»

— Пантелей Еремѣичъ! Пантелей Еремѣичъ!—послышался робкій возгласъ за дверью.

Чертопхановъ вскочилъ на ноги.

— Кто это?—закричалъ онъ не своимъ голосомъ.

— Это я, казачокъ вашъ, Перфишка.

— Чего тебѣ? Аль нашелся, домой прибѣжалъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, Пантелей Еремѣичъ; а тотъ жидовинъ, что его продалъ....

— Ну?

— Онъ пріѣхалъ.

— Го-го-го-го-го!—захолкалъ Чертопхановъ—и разомъ распахнулъ дверь.—Тащи его сюда, тащи! тащи!

При видѣ внезапно появившейся, всклокоченной, одичалой фигуры своего «благодѣтеля», жидъ, стоявшій за спиною Перфишки, хотѣлъ-было дать стречка; но Чертопхановъ въ два прыжка настигъ его, и какъ тигръ вцѣпился ему въ горло.

— А! за деньгами пришелъ! за деньгами!—захрипѣлъ онъ, словно не *онъ* душилъ, а *его* душили; ночью укралъ, а днемъ за деньгами пришелъ? А? А?

— Помилуйте, ва....се благо....родіе, застоналъ-было жидъ.

— Сказывай, гдѣ моя лошадь? Куда ты ее дѣлъ? Кому сбылъ? Сказывай, сказывай, сказывай же!

Жидъ уже и стонать не могъ; на посинѣвшемъ его лицѣ исчезло даже выраженіе испуга. Руки опустились и

повисли; все его тѣло, яростно встряхиваемое Чертопхановымъ, качалось взадъ и впередъ, какъ тростникъ.

— Деньги я тебѣ заплачу, я тебѣ заплачу сполна, до послѣдней копѣйки, кричалъ Чертопхановъ — а только я задушу тебя, какъ послѣдняго цыпленка, если ты сейчасъ не скажешь мнѣ....

— Да вы уже задушили его, баринъ, — смиренно замѣтилъ казачокъ Перфишка.

Тутъ только опомнился Чертопхановъ.

Онъ выпустилъ шею жида; тотъ такъ и грохнулся на полъ. Чертопхановъ подхватилъ его, усадилъ на скамью, влилъ ему въ горло стаканъ водки—привелъ его въ чувство. И, приведши его въ чувство, вступилъ съ нимъ въ разговоръ.

Оказалось, что жидъ о кражѣ Малекъ-Аделя не имѣлъ ни малѣйшаго понятія. Да и съ какой стати было ему красть лошадь, которую онъ самъ досталъ для «почтеннѣйшаго Пантелея Еремѣича?»

Тогда Чертопхановъ повелъ его въ конюшню.

Вдвоемъ они осмотрѣли стойла, ясли, замокъ на двери, перерыли сѣно, солому, перешли потомъ на дворъ; Чертопхановъ указалъ жиду слѣды копытъ у плетня—и вдругъ ударилъ себя по ляшкамъ.

— Стой!—воскликнулъ онъ.— Ты гдѣ лошадь купилъ?

— Въ Малоархангельскомъ уѣздѣ, на Верхосенской ярмаркѣ,—отвѣчалъ жидъ.

— У кого?

— У казака.

— Стой! Казакъ этотъ изъ молодыхъ былъ или старый?

— Среднихъ лѣтъ, степенный человѣкъ.

— А изъ себя каковъ? На видъ каковъ? Небось, плутъ продувной?

— Должно быть, плутъ, васе благородіе.

— И что́, какъ онъ тебѣ говорилъ, плутъ-то этотъ— лошадью онъ владѣлъ давно?

— Помнится, говорилъ, что давно.

— Ну, такъ и некому было украсть, какъ именно ему!— Ты посуди, слушай, стань сюда.... какъ тебя зовутъ?

Жидъ встрепенулся и вскинулъ своими черными глазенками на Чертопханова.

— Какъ *меня* зовутъ?

— Ну, да: какъ твоя кличка?

— Мошель Лейба.

— Ну, посуди, Лейба, другъ мой — ты умный человѣкъ — кому какъ не старому хозяину дался бы Малекъ-Адель въ руки! Вѣдь онъ и осѣдлалъ его, и взнуздалъ, и попону съ него снялъ — вонъ она на сѣнѣ лежитъ!... Просто, какъ дома распоряжался! Вѣдь всякаго другого, не хозяина, Малекъ-Адель подъ ноги бы смялъ! Гвалтъ поднялъ бы такой, всю деревню бы переполошилъ! Согласенъ ты со мною?

— Согласенъ-то согласенъ, васе благородіе....

— Ну, и значитъ, надо прежде всего отыскать казака того!

— Да какъ зе отыскать его, васе благородіе? Я его всего только разочекъ видѣлъ — и гдѣ зе онъ теперь—и какъ его зовутъ? Ай, вай, вай! — прибавилъ жидъ, горестно потрясая пейсиками.

— Лейба!—закричалъ вдругъ Чертопхановъ,— Лейба, посмотри на меня! Вѣдь я разсудка лишился, я самъ не свой!... Я руки на себя наложу, если ты мнѣ не поможешь!

— Да какъ зе я могу....

— Поѣдемъ со мною — и станемъ вора того розыскивать!

— Да куда зе мы поѣдемъ?

— По ярмаркамъ, по большимъ трахтамъ, по малымъ трахтамъ, по конокрадамъ, по городамъ, по деревнямъ, по хуторамъ — всюду, всюду! А на счетъ денегъ ты не безпокойся: я, братъ, наслѣдство получилъ! Послѣднюю копѣйку просажу — а ужъ добуду своего друга. И не уйдетъ отъ насъ казакъ, нашъ лиходѣй! — Куда онъ — туда и мы! Онъ подъ землю — и мы подъ землю! — Онъ къ дьяволу — а мы къ самому сатанѣ!

— Ну, зацѣмъ зе къ сатанѣ,—замѣтилъ жидъ,—можно и безъ него.

— Лейба! — подхватилъ Чертопхановъ, — Лейба, ты хотя еврей и вѣра твоя поганая—а душа у тебя лучше иной христіанской! Сжалься ты надо мною! одному мнѣ ѣхать не зачѣмъ, одинъ я этого дѣла не обломаю. Я горячка — а ты голова, золотая голова! Племя ваше ужъ такое: безъ науки все постигло! Ты, можетъ, сомнѣваешься: откуда-молъ у него деньги? Пойдемъ ко мнѣ въ комнату — я тебѣ и деньги всѣ покажу. Возьми ихъ, крестъ съ шеи возьми—только отдай мнѣ Малекъ-Аделя, отдай, отдай!

Чертопхановъ дрожалъ какъ въ лихорадкѣ: потъ градомъ катился съ его лица — и, мѣшаясь со слезами, терялся въ его усахъ. Онъ пожималъ руки Лейбѣ, онъ умолялъ, онъ чуть не цѣловалъ его.... Онъ пришелъ въ изступленіе. Жидъ попытался-было возражать, увѣрять, что ему никакъ невозможно отлучиться, что у него дѣла.... Куда! Чертопхановъ и слышать ничего не хотѣлъ. Нечего было дѣлать: согласился бѣдный Лейба.

На другой день Чертопхановъ вмѣстѣ съ Лейбой выѣхалъ изъ Безсонова на крестьянской телѣгѣ. Жидъ являлъ видъ нѣсколько смущенный, держался одной рукой за грядку и подпрыгивалъ всѣмъ своимъ дряблымъ тѣломъ на тряскомъ сидѣньи; другую руку онъ прижималъ къ

пазухѣ, гдѣ у него лежала пачка ассигнацій, завернутыхъ въ газетную бумагу; Чертопхановъ сидѣлъ какъ истуканъ, только глазами поводилъ кругомъ и дышалъ полной грудью; за поясомъ у него торчалъ кинжалъ.

— Ну, злодѣй-разлучникъ, берегись теперь!—пробормоталъ онъ, выѣзжая на большую дорогу.

Домъ онъ свой поручилъ казачку Перфишкѣ и бабѣ-стряпухѣ, глухой и старой женщинѣ, которую онъ призрѣлъ у себя изъ состраданія.

— Я къ вамъ вернусь на Малекъ-Аделѣ, — крикнулъ онъ имъ на прощанье,—или ужъ вовсе не вернусь!

— Ты бы хоть замужъ за меня пошла, что ли! — сострилъ Перфишка, толкнувъ стряпуху локтемъ въ бокъ.— Все равно — намъ барина не дождаться, а то вѣдь со скуки пропадешь!

IX.

Минулъ годъ.... цѣлый годъ: никакой вѣсти о Пантелеѣ Еремѣичѣ не доходило. Стряпуха умерла; самъ Перфишка собирался ужъ бросить домъ да отправиться въ городъ, куда его сманивалъ двоюродный братъ, жившій подмастерьемъ у парикмахера—какъ вдругъ распространился слухъ, что баринъ возвращается! Приходскій дьяконъ получилъ отъ самого Пантелея Еремѣича письмо, въ которомъ тотъ извѣщалъ его о своемъ намѣреніи прибыть въ Безсоново и просилъ его предувѣдомить прислугу—для устроенія надлежащей встрѣчи. Слова эти Перфишка понялъ такъ, что надо-молъ хоть пыль немножечко постереть — впрочемъ, большой вѣры въ справедливость извѣстія онъ не возымѣлъ; пришлось ему однако убѣдиться, что дьяконъ-то сказалъ правду — когда, нѣсколько дней спустя, Пантелей Еремѣичъ самъ, собствен-

ной особой, появился на дворѣ усадьбы, верхомъ на Малекъ-Аделѣ.

Перфишка бросился къ барину—и, придерживая стремя, хотѣлъ-было помочь ему слѣзть съ копя; но тотъ соскочилъ самъ и, кинувъ вокругъ торжествующій взглядъ, громко воскликнулъ: «Я сказалъ, что отыщу Малекъ-Аделя — и отыскалъ его, на зло врагамъ и самой судьбѣ!» Перфишка подошелъ къ нему къ ручкѣ, но Чертопхановъ не обратилъ вниманія на усердіе своего слуги. Ведя за собою Малекъ-Аделя въ поводу, онъ направился большими шагами къ конюшнѣ. Перфишка попристальнѣе посмотрѣлъ на своего барина—и заробѣлъ: «Охъ, какъ онъ похудѣлъ и постарѣлъ въ теченіи года—и лицо какое стало строгое и суровое!» А кажется, слѣдовало бы Пантелею Еремѣичу радоваться, что, вотъ-молъ, достигъ-таки своего; да онъ и радовался, точно.... и все-таки Перфишка заробѣлъ, даже жутко ему стало. Чертопхановъ поставилъ коня въ прежнее его стойло, слегка хлопнулъ его по крупу и промолвилъ: «Ну, вотъ ты и дома опять! Смотри же!...» Въ тотъ же день онъ нанялъ надежнаго сторожа изъ безтягольныхъ бобылей, помѣстился снова въ своихъ комнатахъ и зажилъ по-прежнему....

Не совсѣмъ однако по-прежнему.... Но объ этомъ впереди.

На другой день послѣ своего возвращенія, Пантелей Еремѣичъ призвалъ къ себѣ Перфишку, и за неимѣніемъ другого собесѣдника, принялся разсказывать ему—не теряя, конечно, чувства собственнаго достоинства и басомъ — какимъ образомъ ему удалось отыскать Малекъ-Аделя. Въ теченіи разсказа Чертопхановъ сидѣлъ лицомъ къ окну и курилъ трубку изъ длиннаго чубука; а Перфишка стоялъ на порогѣ двери, заложивъ руки за

спину—и, почтительно взирая на затылокъ своего господина, слушалъ повѣсть о томъ, какъ послѣ многихъ тщетныхъ попытокъ и разъѣздовъ, Пантелей Еремѣичъ наконецъ попалъ въ Ромны на ярмарку, уже одинъ, безъ жида Лейбы, который, по слабости характера, не вытерпѣлъ и бѣжалъ отъ него; какъ, на пятый день, уже собираясь уѣхать, онъ въ послѣдній разъ пошелъ по рядамъ телѣгъ и вдругъ увидалъ, между тремя другими лошадьми, привязаннаго къ хребтуку — увидалъ Малекъ-Аделя! Какъ онъ тотчасъ его узналъ — и какъ Малекъ-Адель его узналъ, сталъ ржать и рваться и копытомъ рыть землю.— И не у казака онъ былъ, — продолжалъ Чертопхановъ, все не поворачивая головы и тѣмъ же басовымъ голосомъ, — а у цыгана-барышника; я, разумѣется, тотчасъ вклепался въ свою лошадь и пожелалъ насильно ее возвратить; но бестія цыганъ заоралъ какъ ошпаренный на всю площадь, сталъ божиться, что купилъ лошадь у другого цыгана—и свидѣтелей хотѣлъ представить.... Я плюнулъ—и заплатилъ ему деньги: чортъ съ нимъ совсѣмъ! Мнѣ главное то̀ дорого, что друга я своего отыскалъ и покой душевный получилъ. А то вотъ я, въ Карачевскомъ уѣздѣ, по словамъ жида Лейбы вклепался-было въ казака — за моего вора его принялъ, всю рожу ему избилъ; а казакъ-то оказался поповичемъ—и безчестія съ меня содралъ — сто двадцать рублевъ. Ну деньги дѣло наживное, а главное: Малекъ-Адель опять у меня! Я теперь счастливъ — я буду наслаждаться спокойствіемъ. А для тебя, Порфирій, одна инструкція: какъ только ты, чего Боже оборони, завидишь въ окрестностяхъ казака, такъ сію же секунду, ни слова не говоря, бѣги и неси мнѣ ружье, а я ужъ буду знать, какъ мнѣ поступить!

Такъ говорилъ Пантелей Еремѣичъ Перфишкѣ; такъ

выражались его уста; но на сердцѣ у него не было такъ спокойно, какъ онъ увѣрялъ.

Увы! въ глубинѣ души своей онъ не совсѣмъ былъ увѣренъ, что приведенный имъ конь былъ дѣйствительно Малекъ-Адель!

X.

Настало трудное время для Пантелея Еремѣича. Именно спокойствіемъ-то онъ наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошіе дни: возникшее въ немъ сомнѣніе казалось ему чепухой: онъ отгонялъ нелѣпую мысль какъ назойливую муху и даже смѣялся надъ самимъ собою; но выпадали также дни дурные: неотступная мысль снова принималась исподтишка точить и скрести его сердце, какъ подпольная мышь — и онъ мучился ѣдко и тайно. Въ теченіи памятнаго дня, когда онъ отыскалъ Малекъ-Аделя, — Чертопхановъ чувствовалъ одну лишь блаженную радость.... но на другое утро, когда онъ подъ низкимъ навѣсомъ постоялаго дворика сталъ сѣдлать свою находку, близъ которой провелъ всю ночь — что-то въ первый разъ его кольнуло.... Онъ только головой мотнулъ— однако сѣмя было заброшено. Въ теченіи обратнаго путешествія домой (оно продолжалось съ недѣлю) сомнѣнія въ немъ возбуждались рѣдко: онѣ стали сильнѣй и явственнѣй, какъ только онъ вернулся въ свое Безсоново, какъ только очутился въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ прежній, несомнѣнный Малекъ-Адель.... Дорогой онъ ѣхалъ больше шагомъ, въ раскачку, глядѣлъ по сторонамъ, покуривалъ табакъ изъ коротенькаго чубучка и ни о чемъ не размышлялъ; развѣ возьметъ да подумаетъ про себя: «Чертопхановы чего захотятъ — ужъ добьются! шалишь!» и ухмыльнется; ну, а съ прибытіемъ домой пошла статья

другая. Все это онъ берегъ, конечно, про себя; одно ужъ самолюбіе не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Онъ бы «перервалъ пополамъ» всякаго, кто бы хоть отдаленно намекнулъ на то, что новый Малекъ-Адель, кажись, не старый; онъ принималъ поздравленія съ «благополучной находкой» отъ немногихъ лицъ, съ которыми ему приходилось сталкиваться; но онъ не искалъ этихъ поздравленій, онъ пуще прежняго избѣгалъ столкновеній съ людьми—знакъ плохой! Онъ почти постоянно, если можно такъ выразиться, экзаменовалъ Малекъ-Аделя; уѣзжалъ на немъ куда-нибудь подальше въ поле и ставилъ его на пробу; или уходилъ украдкой въ конюшню, запиралъ за собою дверь и, ставши передъ самой головой коня, заглядывалъ ему въ глаза, спрашивалъ шепотомъ: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?... а не то, молча его разсматривалъ, да такъ пристально, по цѣлымъ часамъ, то радуясь и бормоча: «Да! онъ! конечно онъ!»—то недоумѣвая и даже смущаясь.

И не столько смущали Чертопханова физическія несходства *этого* Малекъ-Аделя съ *тѣмъ*.... впрочемъ, ихъ насчитывалось немного: у *того* хвостъ и грива словно были пожиже, и уши острѣй, и бабки короче, и глаза свѣтлѣй—но это могло только такъ казаться; а смущали Чертопханова несходства, такъ-сказать, нравственныя. Привычки у *того* были другія, вся повадка была не та. Напримѣръ: *тотъ* Малекъ-Адель всякій разъ оглядывался и легонько ржалъ, какъ только Чертопхановъ входилъ въ конюшню; а *этотъ* жевалъ себѣ сѣно, какъ ни въ чемъ не бывало—или дремалъ, понуривъ голову. Оба не двигались съ мѣста, когда хозяинъ соскакивалъ съ сѣдла; но *тотъ*, когда его звали, тотчасъ шелъ на голосъ—а *этотъ* продолжалъ стоять, какъ пень. *Тотъ* скакалъ также быстро, но прыгалъ выше и дальше; *этотъ* шагомъ шелъ воль-

нѣе, а рысью трясче—и «хлябалъ» иногда подковами — то-есть, стучалъ задней о переднюю: за тѣмъ никогда такого сраму не водилось—сохрани Богъ! *Этотъ*, думалось Чертопханову, все ушами прядетъ, глупо такъ — а *тотъ* напротивъ: заложилъ одно ухо назадъ—да такъ и держитъ—хозяина наблюдаетъ! *Тотъ*, бывало, какъ увидитъ, что около него нечисто — сейчасъ задней ногой стукъ въ стѣнку стойла; а *этому* ничего—хоть по самое брюхо навали ему навозу. *Тотъ*, если, напримѣръ, противъ вѣтра его поставить—сейчасъ всѣми легкими вздохнетъ и встряхнется, а *этотъ* знай пофыркиваетъ; *того* сырость дождевая безпокоила — *этому* она ни почемъ.... Грубѣе этотъ, грубѣе! И пріятности нѣтъ какъ у того, и тугъ на поводу—что̀ и говорить! Та была лошадь милая—а эта....

Вотъ что̀ думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались въ немъ эти думы. За то, въ другое время—пуститъ онъ своего коня во всю прыть по только-что вспаханному полю или заставитъ его соскочить на самое дно размытаго оврага и по самой кручѣ выскочить опять, и замираетъ въ немъ сердце отъ восторга, громкое гиканіе вырывается изъ устъ, и знаетъ онъ, знаетъ навѣрное, что это подъ нимъ настоящій, несомнѣнный Малекъ-Адель, ибо какая другая лошадь въ состояніи сдѣлать то, что̀ дѣлаетъ эта?

Однако и тутъ не обходилось безъ грѣха и бѣды. Продолжительные поиски за Малекъ-Аделемъ стоили Чертопханову много денегъ; о костромскихъ собакахъ онъ уже не помышлялъ и разъѣзжалъ по окрестностямъ въ одиночку, попрежнему. Вотъ въ одно утро, Чертопхановъ верстахъ въ пяти отъ Безсонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, передъ которой онъ такъ молодецки гарцовалъ года полтора тому назадъ. И надо-жъ было случиться та-

кому обстоятельству: какъ и въ тотъ день, такъ и теперь—русакъ возьми да вскочи передъ собаками изъ-подъ межи на косогорѣ!—Ату его, ату! Вся охота такъ и понеслась, и Чертопхановъ понесся тоже—только не вмѣстѣ съ нею, а шаговъ отъ нея на двѣсти въ сторону—точно также какъ и тогда. Громадная водомоина криво прорѣзала косогоръ, и поднимаясь все выше и выше, постепенно съуживаясь, пересѣкала путь Чертопханову. Тамъ, гдѣ ему приходилось перескочить ее—и гдѣ онъ полтора года тому назадъ дѣйствительно перескочилъ ее—въ ней все еще было шаговъ восемь ширины да сажени двѣ глубины. Въ предчувствіи торжества, столь чуднымъ образомъ повтореннаго торжества,—Чертопхановъ загоготалъ побѣдоносно, потрясъ нагайкой—охотники сами скакали, а сами не спускали глазъ съ лихого наѣздника—конь его летѣлъ стрѣлою—вотъ уже водомоина передъ самымъ носомъ—ну, ну, разомъ, какъ тогда!...

Но Малекъ-Адель круто унерся, вильнулъ налѣво и поскакалъ *вдоль* обрыва, какъ ни дергалъ ему Чертопхановъ голову на бокъ, къ водомоинѣ....

Струсилъ, значитъ, не понадѣялся на себя!

Тогда Чертопхановъ, весь пылая стыдомъ и гнѣвомъ, чуть не плача, опустилъ поводья и погналъ коня прямо впередъ, въ гору, прочь, прочь отъ тѣхъ охотниковъ, чтобы только не слышать, какъ они издѣваются надъ нимъ, чтобы только исчезнуть поскорѣе съ ихъ проклятыхъ глазъ!

Съ изсѣченными боками, весь облитый мыльной пѣной, прискакалъ домой Малекъ-Адель, и Чертопхановъ тотчасъ заперся у себя въ комнатѣ.

— Нѣтъ, это не онъ, это не другъ мой! Тотъ бы шею сломилъ—а меня бы не выдалъ!

XI.

Окончательно «доѣхалъ», какъ говорится, Чертопханова слѣдующій случай. Верхомъ на Малекъ-Аделѣ пробирался онъ однажды по задворкамъ поповской слободки, окружавшей церковь, въ приходѣ которой состояло сельцо Безсоново. Нахлобучивъ на глаза папаху, сгорбившись и уронивъ на луку сѣдла обѣ руки, онъ медленно подвигался впередъ; на душѣ у него было нерадостно и смутно. Вдругъ его кто-то окликнулъ.

Онъ остановилъ коня, поднялъ голову и увидалъ своего корреспондента, дьякона. Съ бурымъ треухомъ на бурыхъ, въ косичку заплетенныхъ волосахъ, облеченный въ желтоватый нанковый кафтанъ, подпоясанный гораздо ниже тальи голубенькимъ обрывочкомъ, служитель алтаря вышелъ свое «одòньишко» провѣдать—и, улицезрѣвъ Пантелея Еремѣича, почелъ долгомъ выразить ему свое почтеніе — да кстати хоть что-нибудь у него выпросить. Безъ такого рода задней мысли, какъ извѣстно, духовныя лица со свѣтскими не заговариваютъ.

Но Чертопханову было не до дьякона; онъ едва отвѣчалъ на его поклонъ, и, промычавъ что-то сквозь зубы, уже взмахнулъ нагайкой....

— А какой у васъ конь богатѣйшій!—поспѣшилъ прибавить дьяконъ: — вотъ ужъ точно можно чести приписать. Истинно: вы мужъ ума чуднаго; просто: аки левъ!— Отецъ дьяконъ славился краснорѣчіемъ—чѣмъ сильно досаждалъ отцу попу, которому даръ слова присущъ не былъ: даже водка не развязывала ему языкъ. — Одного живота, по навѣту злыхъ людей, лишились,—продолжалъ дьяконъ,—и нимало не унывая, а, напротивъ, болѣе надѣясь на божественный Промыслъ, пріобрѣли себѣ дру-

гого, нисколько не худшаго, а почитай даже что и лучшаго.... потому....

— Что ты врешь? — сумрачно перебилъ Чертопхановъ:—какой такой другой конь? Это тотъ же самый; это Малекъ-Адель.... Я его отыскалъ. Болтаетъ, зря....

— Э! э! э! э!—промолвилъ съ разстановкой, какъ-бы съ оттяжкой, дьяконъ, играя перстами въ бородѣ и озирая Чертопханова своими свѣтлыми, жадными глазами.—Какъ же такъ, господинъ? Коня-то вашего, дай Богъ памяти, въ минувшемъ году недѣльки двѣ послѣ Покрова украли, а теперь у насъ ноябрь на исходѣ.

— Ну да, что же изъ этого?

Дьяконъ все продолжалъ играть перстами въ бородѣ.— Значитъ, слишкомъ годъ съ тѣхъ поръ протекъ, а конь вашъ, какъ тогда былъ сѣрый въ яблокахъ, такъ и теперь; даже словно темнѣе сталъ. Какъ же такъ? Сѣрыя-то лошади въ одинъ годъ много бѣлѣютъ.

Чертопхановъ дрогнулъ.... словно кто рогатиной толкнулъ его противъ сердца. И въ самомъ дѣлѣ: сѣрая масть-то вѣдь мѣняется! Какъ ему такая простая мысль до сихъ поръ въ голову не пришла?

— Пучòкъ анаѳемскій! отвяжись!—гаркнулъ онъ вдругъ, бѣшенно сверкнувъ глазами — и мгновенно скрылся изъ виду у изумленнаго дьякона.

Ну! все кончено!

Вотъ когда дѣйствительно все кончено, все лопнуло, послѣдняя карта убита! Все разомъ рухнуло отъ одного этого слова: «бѣлѣютъ!»

Сѣрыя лошади бѣлѣютъ!

Скачи, скачи, проклятый! Не ускачешь отъ этого слова!

Чертопхановъ примчался домой и опять заперся на ключъ.

XII.

Что эта дрянная кляча не Малекъ-Адель, что между ею и Малекъ-Аделемъ не существовало ни малѣйшаго сходства, что всякій мало-мальски путный человѣкъ долженъ былъ съ перваго разу это увидѣть, что онъ, Пантелей Чертопхановъ, самымъ пошлымъ образомъ обманулся — нѣтъ! что онъ нарочно, преднамѣренно надулъ самого себя, напустилъ на себя этотъ туманъ—во всемъ этомъ теперь уже не оставалось ни малѣйшаго сомнѣнія! Чертопхановъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, одинаковымъ образомъ поворачиваясь на пяткахъ у каждой стѣны, какъ звѣрь въ клѣткѣ. Самолюбіе его страдало невыносимо; но не одна боль уязвленнаго самолюбія терзала его: отчаяніе овладѣло имъ, злоба душила его, жажда мести въ немъ загоралась. Но противъ кого? Кому отмстить? Жиду, Яффу, Машѣ, дьякону, вору-казаку, всѣмъ сосѣдямъ, всему свѣту, самому себѣ наконецъ? Умъ въ немъ мѣшался. Послѣдняя карта убита! (Это сравненіе ему нравилось.) И онъ опять ничтожнѣйшій, презрѣннѣйшій изъ людей, общее посмѣшище, шутъ гороховый, зарѣзанный дуракъ, предметъ насмѣшки — для дьякона!!.. Онъ воображалъ, онъ ясно представлялъ себѣ, какъ этотъ мерзкій пучокъ станетъ разсказывать про сѣрую лошадь, про глупаго барина.... О, проклятіе!!.. Напрасно Чертопхановъ старался унять расходившуюся желчь; напрасно онъ пытался увѣрить себя, что эта.... лошадь хотя и не Малекъ-Адель, однако все же.... добра, и можетъ много лѣтъ прослужить ему: онъ тутъ же съ яростью отталкивалъ отъ себя прочь эту мысль, точно въ ней заключалось новое оскорбленіе для *того* Малекъ-Аделя, передъ которымъ онъ ужъ и безъ того считалъ себя виноватымъ.... Еще бы! Этотъ одёръ, эту клячу

онъ, какъ слѣпой, какъ олухъ, приравнялъ ему, Малекъ-Аделю! А что на счетъ службы, которую та кляча могла еще сослужить ему.... да развѣ онъ когда-нибудь удостоитъ сѣсть на нее верхомъ? Ни за что! Никогда!!.. Татарину ее отдать, собакамъ на снѣдь—другого она не стоитъ.... Да! Этакъ лучше всего!

Часа два слишкомъ бродилъ Чертопхановъ по своей комнатѣ.

— Перфишка! скомандовалъ онъ вдругъ. Сію минуту ступай въ кабакъ; полведра водки притащи! Слышишь? Полведра, да живо! Чтобы водка сію секунду тутъ у меня на столѣ стояла.

Водка не замедлила появиться на столѣ Пантелея Еремѣича, и онъ началъ пить.

XIII.

Кто бы тогда посмотрѣлъ на Чертопханова, кто бы могъ быть свидѣтелемъ того угрюмаго озлобленія, съ которымъ онъ осушалъ стаканъ за стаканомъ — тотъ навѣрное почувствовалъ бы невольный страхъ. Ночь наступила; сальная свѣчка тускло горѣла на столѣ. Чертопхановъ пересталъ скитаться изъ угла въ уголъ; онъ сидѣлъ, весь красный, съ помутившимися глазами, которые онъ то опускалъ на полъ, то упорно устремлялъ въ темное окно; вставалъ, наливалъ себѣ водки, выпивалъ ее, опять садился, опять уставлялъ глаза въ одну точку и не шевелился — только дыханіе его учащалось, и лицо все болѣе краснѣло. Казалось, въ немъ созрѣвало какое-то рѣшеніе, которое его самого смущало, но къ которому онъ постепенно привыкалъ; одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе, одинъ и тотъ же образъ рисовался все яснѣе и яснѣе впереди,

а въ сердцѣ, подъ раскаляющимъ напоромъ тяжелаго хмѣля, раздраженіе злобы уже смѣнялось чувствомъ звѣрства, и зловѣщая усмѣшка появлялась на губахъ....

— Ну, однако пора!—промолвилъ онъ какимъ-то дѣловымъ, почти скучливымъ тономъ: — будетъ прохлаждаться-то!

Онъ выпилъ послѣдній стаканъ водки, досталъ надъ кроватью пистолетъ — тотъ самый пистолетъ, изъ котораго выстрѣлилъ въ Машу, зарядилъ его, положилъ на «всякій случай» нѣсколько пистоновъ въ карманъ—и отправился на конюшню.

Сторожъ побѣжалъ-было къ нему, когда онъ сталъ отворять дверь, но онъ крикнулъ на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторожъ отступилъ немного въ сторону. «Спать отправляйся!» опять крикнулъ на него Чертопхановъ: «нечего тебѣ тутъ стеречь! Эку невидаль, сокровище какое!» Онъ вошелъ въ конюшню. Малекъ-Адель.... ложный Малекъ-Адель лежалъ на подстилкѣ. Чертопхановъ толкнулъ его ногою, примолвивъ: «Вставай, ворона!» Потомъ отвязалъ недоуздокъ отъ яслей, снялъ и сбросилъ на землю попону—и, грубо повернувъ въ стойлѣ послушную лошадь, вывелъ ее вонъ на дворъ, а со двора въ поле, къ крайнему изумленію сторожа, который никакъ не могъ понять, куда это баринъ отправляется ночью, съ невзнузданною лошадью въ поводу? Спросить его—онъ, разумѣется, побоялся, а только проводилъ его глазами, пока онъ не исчезъ на поворотѣ дороги, ведущей къ сосѣднему лѣсу.

XIV.

Чертопхановъ шелъ большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь; Малекъ-Адель—будемъ называть

его этимъ именемъ до конца — покорно выступалъ за нимъ слѣдомъ. Ночь была довольно свѣтлая; Чертопхановъ могъ различить зубчатый очеркъ лѣса, чернѣвшаго впереди сплошнымъ пятномъ. Охваченный ночнымъ холодомъ, онъ бы навѣрное захмѣлѣлъ отъ выпитой имъ водки, если бы.... если бы не другой, болѣе сильный хмѣль, который обуялъ его всего. Голова его отяжелѣла, кровь раскатисто стучала въ горло и въ уши, но онъ шелъ твердо и зналъ, куда шелъ.

Онъ рѣшился убить Малекъ-Аделя; цѣлый день онъ только объ этомъ думалъ.... Теперь онъ рѣшился!

Онъ шелъ на это дѣло не то, чтобы спокойно, а самоувѣренно, безповоротно, какъ идетъ человѣкъ, повинующійся чувству долга. Ему эта «штука» казалась очень «простою»: уничтоживъ самозванца, онъ разомъ поквитается со «всѣмъ», и самого себя казнитъ за свою глупость, и передъ настоящимъ своимъ другомъ оправдается, и цѣлому свѣту докажетъ (Чертопхановъ очень заботился о «цѣломъ свѣтѣ»), что съ нимъ шутить нельзя.... А главное: самого себя онъ уничтожитъ вмѣстѣ съ самозванцемъ, ибо на что́ ему еще жить? Какъ это все укладывалось въ его головѣ, и почему это казалось ему такъ просто — объяснить не легко, хотя и не совсѣмъ невозможно: обиженный, одинокій, безъ близкой души человѣческой, безъ гроша мѣднаго, да еще съ кровью, зажженной виномъ, онъ находился въ состояніи близкомъ къ помѣшательству, а нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что въ самыхъ нелѣпыхъ выходкахъ людей помѣшанныхъ есть, на ихъ глаза, своего рода логика и даже право. Въ правѣ своемъ Чертопхановъ былъ во всякомъ случаѣ вполнѣ увѣренъ; онъ не колебался, онъ спѣшилъ исполнить приговоръ надъ виновнымъ, не отдавая себѣ, впрочемъ, яснаго отчета: кого онъ собственно обзывалъ этимъ име-

немъ?... Правду говоря, онъ размышлялъ мало о томъ, что́ собирался сдѣлать. «Надо, надо кончить», вотъ что̀ онъ твердилъ самому себѣ, тупо и строго: «кончить надо!»

А безвинный виновный трусилъ покорной рысцой за его спиною.... Но въ сердцѣ Чертопханова не было жалости.

XV.

Недалеко отъ опушки лѣса, куда онъ привелъ свою лошадь, тянулся небольшой оврагъ, до половины заросшій дубовымъ кустарникомъ. Чертопхановъ спустился туда.... Малекъ-Адель спотыкнулся и чуть не упалъ на него.

— Аль задавить меня хочешь, проклятый! — вскрикнулъ Чертопхановъ — и, словно защищаясь, выхватилъ пистолетъ изъ кармана. Уже не ожесточеніе испытывалъ онъ, а ту особенную одеревенѣлость чувства, которая, говорятъ, овладѣваетъ человѣкомъ передъ совершеніемъ преступленія. Но собственный голосъ испугалъ его — такъ дико прозвучалъ онъ подъ навѣсомъ темныхъ вѣтвей, въ гнилой и спёртой сырости лѣсного оврага! Къ тому же, въ отвѣтъ на его восклицаніе, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась въ верхушкѣ дерева надъ его головою.... Чертопхановъ дрогнулъ. Точно онъ разбудилъ свидѣтеля своему дѣлу — и гдѣ же? въ этомъ глухомъ мѣстѣ, гдѣ онъ не долженъ былъ встрѣтить ни одного живого существа....

— Ступай, чортъ, на всѣ четыре стороны!—проговорилъ онъ сквозь зубы—и выпустивъ поводъ Малекъ-Аделя, съ размаху ударилъ его по плечу прикладомъ пистолета. Малекъ-Адель немедленно повернулся назадъ, выкарабкался вонъ изъ оврага.... и побѣжалъ. Но недолго слышался стукъ его копытъ. Поднявшійся вѣтеръ мѣшалъ и застилалъ всѣ звуки.

Въ свою очередь Чертопхановъ медленно выбрался изъ оврага, достигъ опушки и поплелся по дорогѣ домой. Онъ былъ недоволенъ собою; тяжесть, которую онъ чувствовалъ въ головѣ, въ сердцѣ, распространилась по всѣмъ членамъ; онъ шелъ сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидѣлъ его, отнялъ у него добычу, пищу....

Самоубійцѣ, которому помѣшали исполнить его намѣреніе, знакомы подобныя ощущенія.

Вдругъ что-то толкнуло его сзади, между плечъ. Онъ оглянулся.... Малекъ-Адель стоялъ посреди дороги. Онъ пришелъ слѣдомъ за своимъ хозяиномъ, онъ тронулъ его мордой.... доложилъ о себѣ....

— А!—закричалъ Чертопхановъ,—ты самъ, самъ за смертью пришелъ! Такъ на-же!

Въ мгновенье ока онъ выхватилъ пистолетъ, взвелъ курокъ, приставилъ дуло ко лбу Малекъ-Аделя, выстрѣлилъ....

Бѣдная лошадь шарахнулась въ сторону, взвилась на дыбы, отскочила шаговъ на десять и вдругъ грузно рухнула и захрипѣла, судорожно валяясь по землѣ....

Чертопхановъ зажалъ себѣ уши обѣими руками и побѣжалъ. Колѣни подгибались подъ нимъ. И хмѣль, и злоба, и тупая самоувѣренность — все вылетѣло разомъ. Осталось одно чувство стыда и безобразія — да сознаніе, сознаніе несомнѣнное, что на этотъ разъ онъ и съ собой покончилъ.

XVI.

Недѣль шесть спустя казачокъ Перфишка почелъ долгомъ остановить проѣзжавшаго мимо Безсоновской усадьбы станового пристава.

— Чего тебѣ?—спросилъ блюститель порядка.

— Пожалуйте, ваше благородіе, къ намъ въ домъ,— отвѣтилъ казачокъ съ низкимъ поклономъ; Пантелей Еремѣичъ, кажись, умирать собираются; такъ вотъ я и боюсь.

— Какъ? умирать?—переспросилъ становой.

— Точно такъ-съ. Сперва они кажинный день водку кушали, а теперь вотъ въ постель слегли и ужъ оченно они худы стали. Я такъ полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимаютъ. Безъ языка совсѣмъ.

Становой слѣзъ съ телѣги.—Что же ты, за священникомъ, по крайней мѣрѣ, сходилъ? Исповѣдался твой баринъ? Причастился?

— Никакъ нѣтъ-съ.

Становой нахмурился.—Какъ же ты это такъ, братецъ? Развѣ этакъ можно—а? Иль ты не знаешь, что за это.... отвѣтственность бываетъ большая—а?

— Да я ихъ и третьёго дня и вчерась спрашивалъ, подхватилъ оробѣвшій казачокъ—не прикажете-ли, говорю, Пантелей Еремѣичъ, за священникомъ сбѣгать? — Молчи, говоритъ, дуракъ. Не въ свое дѣло не суйся. А сегодня, какъ я сталъ докладывать—только посмотрѣли на меня—да усомъ повели.

— И много онъ пилъ водки?—спросилъ становой.

— Дюже много!—Да вы ужъ сдѣлайте милость, ваше благородіе, пожалуйте къ нимъ въ комнату.

— Ну, веди!—проворчалъ становой, и послѣдовалъ за Перфишкой.

Удивительное зрѣлище его ожидало.

Въ задней комнатѣ дома, сырой и тёмной, на убогой кровати, покрытой конскою попоной, съ лохматой буркой, вмѣсто подушки, лежалъ Чертопхановъ, уже не блѣдный, а изжелто-зелёный, какъ бываютъ мертвецы, со ввалившимися глазами подъ глянцовитыми вѣками, съ за-

остреннымъ, но все еще красноватымъ носомъ надъ взъерошенными усами. Лежалъ онъ одѣтый въ неизмѣнный свой архалукъ съ патронами на груди и въ черкесскіе синіе шаровары. Папаха съ малиновымъ верхомъ закрывала ему лобъ до самыхъ бровей. Въ одной рукѣ Чертопхановъ держалъ охотничью нагайку — въ другой шитый кисетъ, послѣдній подарокъ Маши. На столѣ возлѣ кровати стоялъ пустой штофъ; а въ головахъ, пришпиленные булавками къ стѣнѣ, виднѣлись два акварельныхъ рисунка: на одномъ, сколько можно было понять, былъ представленъ толстый человѣкъ съ гитарой въ рукахъ — вѣроятно Недопюскинъ; другой изображалъ скачущаго всадника.... Лошадь походила на тѣхъ сказочныхъ животныхъ, которыхъ рисуютъ дѣти на стѣнахъ и заборахъ; но старательно оттушеванные яблоки ея масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапоговъ и громадные усы не оставляли мѣста сомнѣнію: этотъ рисунокъ долженствовалъ изобразить Пантелея Еремѣича верхомъ на Малекъ-Аделѣ.

Изумленный становой не зналъ, что̀ предпринять. Мертвая тишина царствовала въ комнатѣ. «Да ужъ онъ скончался», подумалъ онъ, и, возвысивъ голосъ, промолвилъ:— Пантелей Еремѣичъ! А, Пантелей Еремѣичъ!

Тогда произошло нѣчто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшіе зрачки двинулись сперва справа на-лѣво, потомъ слѣва на право, остановились на посѣтителѣ, увидали его.... Что-то замерцало въ ихъ тусклой бѣлизнѣ, подобіе взора въ нихъ проявилось;— посинѣвшія губы постепенно расклеились и послышался сиплый, ужъ точно гробовой голосъ:

— Столбовой дворянинъ Пантелей Чертопхановъ умираетъ; кто можетъ ему препятствовать?—Онъ никому не

долженъ, ничего не требуетъ.... Оставьте его, люди! Идите!

Рука съ нагайкой попыталась приподнятѣся... Напрасно! Губы опять склеились, глаза закрылись—и попрежнему лежалъ Чертопхановъ на своей жосткой кровати, вытянувшись какъ пластъ и сдвинувъ подошвы.

— Дай знать, когда скончается,—шепнулъ, выходя изъ комнаты, становой Перфишкѣ; — а за попомъ, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо-жъ порядокъ соблюсти, особоровать его.

Перфишка въ тотъ же день сходилъ за попомъ; а на слѣдующее утро ему пришлось дать знать становому: Пантелей Еремѣичъ скончался въ ту же ночь.

Когда его хоронили, гробъ его провожали два человѣка: казачокъ Перфишка да Мошель Лейба. Вѣсть о кончинѣ Чертопханова какимъ-то образомъ дошла до жида—и онъ не преминулъ отдать послѣдній долгъ своему благодѣтелю.

ЖИВЫЯ МОЩИ.

Край родной долготерпѣнья—
Край ты русскаго народа!
Ѳ. Тютчевъ.

ФРАНЦУЗСКАЯ поговорка гласитъ: «сухой рыбакъ и мокрый охотникъ являютъ видъ печальный». Не имѣвъ никогда пристрастія къ рыбной ловлѣ, я не могу судить о томъ, что̀ испытываетъ рыбакъ въ хорошую ясную погоду и насколько, въ ненастное время, удовольствіе, доставляемое ему обильной добычей, перевѣшиваетъ непріятность быть мокрымъ. Но для охотника дождь — сущее бѣдствіе. Именно такому бѣдствію подверглись мы съ Ермолаемъ въ одну изъ нашихъ поѣздокъ за тетеревами въ бѣлевскій уѣздъ.—Съ самой утренней зари дождь не переставалъ. Ужъ чего-чего мы ни дѣлали, чтобы отъ него избавиться! И резинковые плащики чуть не на самую голову надѣвали, и подъ деревья становились, чтобы поменьше канало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о томъ, что мѣшали стрѣлять, пропускали воду самымъ безстыднымъ образомъ; а подъ деревьями точно, на первыхъ порахъ, какъ будто и не капало, но потомъ вдругъ накопившаяся въ листвѣ влага прорывалась, каждая вѣтка обдавала насъ какъ изъ дождевой трубы, холодная струйка забиралась подъ галстухъ и текла вдоль спинного хребта... А ужъ это послѣднее дѣло! какъ выражался Ермо-

лай. Нѣтъ, Петръ Петровичъ, воскликнулъ онъ наконецъ. Этакъ нельзя!... Нельзя сегодня охотиться. Собакамъ чучье заливаетъ; ружья осѣкаются.... Тьфу! Задача!

— Что же дѣлать?—спросилъ я.

— А вотъ что.—Поѣдемъ-те въ Алексѣевку. Вы, можетъ, не знаете—хуторокъ такой есть,—матушкѣ вашей принадлежитъ; отсюда верстъ восемь. Переночуемъ тамъ, а завтра....

— Сюда вернемся?

— Нѣтъ, не сюда.... Мнѣ за Алексѣевкой мѣста извѣстны.... многимъ лучше здѣшнихъ для тетеревовъ!

Я не сталъ разспрашивать моего вѣрнаго спутника, зачѣмъ онъ не повезъ меня прямо въ тѣ мѣста, и въ тотъ же день мы добрались до матушкина хуторка, существованія котораго я, признаться сказать, и не подозрѣвалъ до тѣхъ поръ. При этомъ хуторкѣ оказался флигелёкъ, очень ветхій, но не жилой и потому чистый; я провелъ въ немъ довольно спокойную ночь.

На слѣдующій день я проснулся ранехонько. Солнце только-что встало; на небѣ не было ни одного облачка; все кругомъ блестѣло сильнымъ двойнымъ блескомъ: блескомъ молодыхъ утреннихъ лучей и вчерашняго ливня.— Пока мнѣ закладывали таратайку, я пошелъ побродить по небольшому, нѣкогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всѣхъ сторонъ обступившему флигелёкъ своей пахучей, сочной глушью. Ахъ, какъ было хорошо на вольномъ воздухѣ, подъ яснымъ небомъ, гдѣ трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисеръ ихъ звонкихъ голосовъ! На крыльяхъ своихъ они навѣрно унесли капли росы, и пѣсни ихъ казались орошенными росою. Я даже шапку снялъ съ головы и дышалъ радостно — всею грудью.... На склонѣ неглубокаго оврага, возлѣ самаго плетня, виднѣлась пасѣка; узенькая тропинка вела

къ ней, извиваясь змѣйкой между сплошными стѣнами бурьяна и крапивы, надъ которыми высились, Богъ вѣдаетъ откуда занесенные, остроконечные стебли темнозеленой конопли.

Я отправился по этой тропинкѣ; дошелъ до пасѣки. Рядомъ съ нею стоялъ плетеный сарайчикъ, такъ-называемый амшаникъ, куда ставятъ улья на зиму. Я заглянулъ въ полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнетъ мятой, мелиссой. Въ углу приспособлены подмостки, и на нихъ, прикрытая одѣяломъ, какая-то маленькая фигура... Я пошелъ-было прочь...

— Баринъ, а баринъ! Петръ Петровичъ!—послышался мнѣ голосъ, слабый, медленный и сиплый, какъ шелестъ болотной осоки.

Я остановился.

— Петръ Петровичъ! Подойдите, пожалуйста!—повторилъ голосъ. Онъ доносился до меня изъ угла съ тѣхъ, замѣченныхъ мною, подмостковъ.

Я приблизился—и остолбенѣлъ отъ удивленія. Передо мною лежало живое человѣческое существо, но что̀ это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая,—ни дать, ни взять—икона стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать, — только зубы бѣлѣютъ и глаза, да изъ-подъ платка выбиваются на лобъ жидкія пряди желтыхъ волосъ. У подбородка, на складкѣ одѣяла, движутся, медленно перебирая пальцами какъ палочками, двѣ крошечныхъ руки тоже бронзоваго цвѣта. Я вглядываюсь попристальнѣе: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется мнѣ это лицо, что по немъ, по металлическимъ его щекамъ, я вижу—силится... силится и не можетъ расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаёте, баринъ?—прошепталъ опять голосъ; онъ словно испарялся изъ едва шевелившихся губъ.—Да и гдѣ узнать! — Я Лукерья... Помните, что́ хороводы у матушки у вашей въ Спасскомъ водила... помните, я еще запѣвалой была?

— Лукерья!—воскликнулъ я.—Ты ли это? Возможно-ли?

— Я, да, баринъ, — я. Я — Лукерья.

Я не зналъ, что́ сказать, и какъ ошеломленный глядѣлъ на это темное, неподвижное лицо съ устремленными на меня свѣтлыми и мертвенными глазами. Возможно-ли? Эта мумія—Лукерья, первая красавица во всей нашей дворнѣ,—высокая, полная, бѣлая, румяная,—хохотунья, плясунья, пѣвунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали всѣ наши молодые парни, по которой я самъ втайнѣ вздыхалъ, я — шестнадцатилѣтній мальчикъ!

— Помилуй, Лукерья,—проговорилъ я наконецъ,—что́ это съ тобой случилось?

— А бѣда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, баринъ, не погнушайтесь несчастіемъ моимъ,—сядьте вонъ на кадушечку—поближе, а то вамъ меня не слышно будетъ.... вишь я какая голосистая стала!... Ну, ужъ и рада же я, что увидала васъ! Какъ это вы въ Алексѣевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но безъ остановки.

— Меня Ермолай-охотникъ сюда завезъ. Но разскажи же ты мнѣ...

— Про бѣду-то мою разсказать?—Извольте, баринъ.—Случилось это со мной уже давно, лѣтъ шесть или семь. Меня тогда только-что помолвили за Василья Полякова—помните, такой изъ себя статный былъ, кудрявый,—еще буфетчикомъ у матушки у вашей служилъ? Да васъ уже тогда въ деревнѣ не было; въ Москву уѣхали учиться.—

Очень мы съ Василіемъ слюбились; изъ головы онъ у меня не выходилъ; а дѣло было весною. Вотъ разъ ночью... ужъ и до зари недалеко... а мнѣ не спится: соловей въ саду таковó удивительно поетъ сладко!... Не вытерпѣла я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается онъ, заливается.... и вдругъ мнѣ почудилось: зоветъ меня кто-то Васинымъ голосомъ, тихо такъ: Луша!.. Я глядь въ сторону, да знать съ просонья—оступилась, такъ прямо съ рундучка и полетѣла внизъ—да ó землю хлопъ! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому—скоро поднялась и къ себѣ въ комнату вернулась. Только словно у меня чтò внутри—въ утробѣ — порвалось... Дайте духъ перевести... съ минуточку... баринъ.

Лукерья умолкла, а я съ изумленіемъ глядѣлъ на нее. Изумляло меня собственно то, что она разсказъ свой вела почти весело, безъ оховъ и вздоховъ, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участіе.

— Съ самаго того случая, — продолжала Лукерья,— стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мнѣ стало ходить, а тамъ уже—полно и ногами владѣть; ни стоять, ни сидѣть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни ѣсть не хочется: все хуже, да хуже. Матушка ваша по добротѣ своей и лекарямъ меня показывала, и въ больницу посылала. Однако облегченья мнѣ никакого не вышло. И ни одинъ лекарь даже сказать не могъ, чтó за болѣзнь у меня за такая. Чего они со мной только ни дѣлали: желѣзомъ раскаленнымъ спину жгли, въ колотый ледъ сажали—и все ничего. Совсѣмъ я окостенѣла подъ-конецъ.... Вотъ и порѣшили господа, что лечить меня больше нечего, а въ барскомъ домѣ держать калѣкъ неспособно.... ну, и переслали меня сюда—потому тутъ у меня родственники есть. Вотъ я и живу, какъ видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это однакоже ужасно, твое положеніе!—воскликнулъ я.... и не зная, что́ прибавить, спросилъ: а что же Поляковъ Василій?—Очень глупъ былъ этотъ вопросъ.

Лукерья отвела глаза немного въ сторону.

— Что́ Поляковъ? — Потужилъ, потужилъ — да и женился на другой, на дѣвушкѣ изъ Глиннаго. Знаете Глинное? Отъ насъ недалече. Аграфеной ее звали. Очень онъ меня любилъ,—да вѣдь человѣкъ молодой—не оставаться же ему холостымъ. И какая ужъ я ему могла быть подруга? А жену онъ нашелъ себѣ хорошую, добрую, — и дѣтки у нихъ есть. Онъ тутъ у сосѣда въ прикащикахъ живетъ: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо.

— И такъ ты все лежишь да лежишь? — спросилъ я опять.

— Вотъ такъ и лежу, баринъ, седьмой годокъ. Лѣтомъто я здѣсь лежу, въ этой плетушкѣ, а какъ холодно станетъ—меня въ предбанникъ перенесутъ. Тамъ лежу.

— Кто же за тобой ходитъ? Присматриваетъ кто?

— А добрые люди здѣсь есть тоже. Меня не оставляютъ. Да и ходьбы за мной немного. Ѣсть-то почитай что не ѣмъ ничего, а вода—вонъ она въ кружкѣ-то: всегда стоитъ припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще дѣйствовать можетъ. Ну, дѣвочка тутъ есть, сиротка; нѣтъ, нѣтъ—да и навѣдается, спасибо ей. Сейчасъ тутъ была..... Вы ее не встрѣтили? Хорошенькая такая, бѣленькая. Она цвѣты мнѣ носитъ; большая я до нихъ охотница, до цвѣтовъ-то. Садовыхъ у насъ нѣтъ,— были да перевелись. Но вѣдь и полевые цвѣты хороши; пахнутъ еще лучше садовыхъ. Вотъ хоть бы ландышъ... на что пріятнѣе!

— И не скучно, не жутко тебѣ, моя бѣдная Лукерья?

*

— А что́ будешь дѣлать? Лгать не хочу—сперва очень томно было; а потомъ привыкла, обтерпѣлась — ничего; инымъ еще хуже бываетъ.

— Это какимъ же образомъ?

— А у иного и пристанища нѣтъ! А иной — слѣпой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Кротъ подъ землею роется—я и то слышу. И запахъ я всякій чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха въ полѣ зацвѣтетъ или липа въ саду—мнѣ и сказывать не надо: я первая сейчасъ слышу. Лишь бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что́ Бога гнѣвить?—многимъ хуже моего бываетъ. Хоть бы то взять: иной здоровый человѣкъ очень легко согрѣшить можетъ; а отъ меня самъ грѣхъ отошелъ. Намеднись отецъ Алексѣй, священникъ, сталъ меня причащать, да и говоритъ: тебя, молъ, исповѣдывать нечего: развѣ ты въ твоемъ состояніи согрѣшить можешь?—Но я ему отвѣтила: а мысленный грѣхъ, батюшка?—Ну, говоритъ, а самъ смѣется—это грѣхъ не великій.

— Да я, должно быть, и этимъ самымъ, мысленнымъ грѣхомъ не больно грѣшна,—продолжала Лукерья,—потому я такъ себя пріучила: не думать, а пуще того—не вспоминать. Время скорѣй проходитъ.

Я, признаюсь, удивился. — Ты все одна да одна, Лукерья; какъ же ты можешь помѣшать, чтобы мысли тебѣ въ голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой-нѣтъ, баринъ! Спать-то я не всегда могу. Хоть и большихъ болей у меня нѣтъ, а ноетъ у меня тамъ, въ самомъ нутрѣ, и въ костяхъ тоже; не даетъ спать, какъ слѣдуетъ. Нѣтъ.... а такъ лежу я себѣ, лежу-полеживаю—и не думаю; чую, что жива, дышу—и вся я тутъ. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жужжатъ да гудятъ; голубь на крышу сядетъ и заворкуетъ; курочка-насѣдочка

зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать; а то воробей залетитъ или бабочка—мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занятно!—Одна влетитъ къ гнѣздышку—припадетъ, дѣтокъ накормитъ—и вонъ. Глядишь—ужъ на смѣну ей другая. Иногда не влетитъ, только мимо раскрытой двери пронесется, а дѣтки тотчасъ—ну пищать, да клювы разѣвать.... Я ихъ и на слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорятъ, одинъ здѣшній охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что́ покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука.... Какіе вы, господа-охотники, злые!

— Я ласточекъ не стрѣляю,—поспѣшилъ я замѣтить.

— А то разъ,—начала опять Лукерья,—вотъ смѣху-то было! Заяцъ забѣжалъ, право! Собаки, что-ли, за нимъ гнались,—только онъ прямо въ дверь какъ прикатитъ!.. Сѣлъ близехонько—и долго-таки сидѣлъ,—все посомъ водилъ и усами дергалъ — настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значитъ, что я ему не страшна. Наконецъ, всталъ, прыгъ-прыгъ къ двери, на порогѣ оглянулся—да и былъ таковъ! Смѣшной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, молъ, не забавно? Я, въ угоду ей, посмѣялся. Она покусала пересохшія губы.

— Ну, зимою, конечно, мнѣ хуже: потому — темно; свѣчку зажечь жалко, да и къ чему? Я хоть грамотѣ знаю и читать завсегда охоча была, но что́ читать? Книгъ здѣсь нѣтъ никакихъ, да хоть бы и были, какъ я буду держать ее, книгу-то? Отецъ Алексѣй мнѣ, для разсѣянности, принесъ календарь, да видитъ, что пользы нѣтъ, взялъ да унесъ опять. Однако, хоть и темно, а все слушать есть что: сверчокъ затрещитъ, али мышь гдѣ скрестись станетъ.—Вотъ тутъ-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнувъ немного, Лукерья. — Только немного я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, чего мнѣ надобно. Послалъ онъ мнѣ крестъ—значитъ, меня онъ любитъ. Такъ намъ велѣно это понимать. Прочту Отче Нашъ, Богородицу, акаѳистъ Всѣмъ Скорбящимъ, — да и опять полеживаю себѣ безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты двѣ. Я не нарушалъ молчанья и не шевелился на узенькой кадушкѣ, служившей мнѣ сидѣньемъ. Жестокая, каменная неподвижность лежавшаго передо мною живого, несчастнаго существа сообщилась и мнѣ: я тоже словно оцѣпенѣлъ.

— Послушай, Лукерья, — началъ я наконецъ. — Послушай, какое я тебѣ предложеніе сдѣлаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя въ больницу перевезутъ, въ хорошую городскую больницу? Кто знаетъ, быть можетъ, тебя еще вылечатъ? Во всякомъ случаѣ ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями. —Охъ, нѣтъ, баринъ, — промолвила она озабоченнымъ шопотомъ, — не переводите меня въ больницу, не трогайте меня. Я тамъ только больше муки приму. — Ужъ куда меня лечить!... Вотъ такъ-то разъ докторъ сюда пріѣзжалъ; осматривать меня захотѣлъ. Я его прошу: не тревожьте вы меня, Христа-ради. Куда! переворачивать меня сталъ, руки, ноги разминалъ, разгиналъ; говоритъ: это я для учености дѣлаю; на то я служащій человѣкъ, ученый! И ты, говоритъ, не моги мнѣ противиться, потому что мнѣ за мои труды орденъ на шею данъ, и я для васъ же, дураковъ, стараюсь. Потормошилъ, потормошилъ меня, назвалъ мнѣ мою болѣзнь—мудрено таково—да съ тѣмъ и уѣхалъ. А у меня потомъ цѣлую недѣлю всѣ косточки ныли. Вы го-

ворите: я одна бываю, всегда одна. Нѣтъ, не всегда. Ко мнѣ ходятъ. Я смирная—не мѣшаю. Дѣвушки крестьянскія зайдутъ, погуторятъ; странница забредетъ, станетъ про Іерусалимъ разсказывать, про Кіевъ, про святые города. Да мнѣ и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!... Баринъ, не трогайте меня, не возите въ больницу... Спасибо вамъ, вы добрый, только не трогайте меня, голубчикъ.

— Ну, какъ хочешь, какъ хочешь, Лукерья. Я вѣдь для твоей же пользы полагалъ...

— Знаю, баринъ, что для моей пользы. Да, баринъ, милый, кто другому помочь можетъ? Кто ему въ душу войдетъ? Самъ себѣ человѣкъ помогай! Вы вотъ не повѣрите—а лежу я иногда такъ-то одна... и словно никого въ цѣломъ свѣтѣ кромѣ меня нѣту. Только одна я—живая! И чудится мнѣ, будто что меня осѣнитъ... Возьметъ меня размышленіе—даже удивительно!

— О чемъ же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, баринъ, тоже никакъ нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потомъ. Придетъ словно какъ тучка, прольется, свѣжо такъ, хорошо станетъ, а что такое было—не поймешь! Только думается мнѣ: будь около меня люди—ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула съ трудомъ. Грудь ей не повиновалась—такъ же, какъ и остальные члены.

— Какъ погляжу я, баринъ, на васъ, — начала она снова,—очень вамъ меня жалко. А вы меня не слишкомъ жалѣйте, право! Я вамъ, напримѣръ, что скажу: я иногда и теперь... Вы вѣдь помните, какая я была въ свое время веселая? Бой-дѣвка!... такъ знаете что? Я и теперь пѣсни пою.

— Пѣсни?... Ты?

— Да, пѣсни, старыя пѣсни, хороводныя, подблюдныя, святочныя, всякія! Много я ихъ вѣдь знала и не забыла. Только вотъ плясовыхъ не пою. Въ теперешнемъ моемъ званіи—оно не годится.

— Какъ же ты поешь ихъ... про себя?

— И про себя, и голосомъ. Громко-то не могу, а все—понять можно. Вотъ я вамъ сказывала — дѣвочка ко мнѣ ходитъ. Сиротка, значитъ, понятливая. Такъ вотъ я ее выучила; четыре пѣсни она уже у меня переняла. Аль не вѣрите? Постойте, я вамъ сейчасъ...

Лукерья собралась съ духомъ... Мысль, что это полумертвое существо готовится запѣть, возбудила во мнѣ невольный ужасъ. Но прежде, чѣмъ я могъ промолвить слово, — въ ушахъ моихъ задрожалъ протяжный, едва слышный, но чистый и вѣрный звукъ... за нимъ послѣдовалъ другой, третій. «Во лузяхъ» пѣла Лукерья. Она пѣла, не измѣнивъ выраженія своего окаменѣлаго лица, уставивъ даже глаза. Но такъ трогательно звенѣлъ этотъ бѣдный, усиленный, какъ струйка дыма колебавшійся голосокъ, такъ хотѣлось ей всю душу вылить.... Уже не ужасъ чувствовалъ я: жалость несказанная стиснула мнѣ сердце.

— Охъ, не могу!—проговорила она вдругъ,—силушки не хватаетъ... Очень ужъ я вамъ обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положилъ руку на ея крошечные, холодные пальчики... Она взглянула на меня—и ея темныя вѣки, опушенныя золотистыми рѣсницами, какъ у древнихъ статуй, закрылись снова. Спустя мгновенье, онѣ заблистали въ полутьмѣ... Слеза ихъ смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдругъ Лукерья съ неожиданной силой, и раскрывъ широко глаза, постаралась

смигнуть съ нихъ слезу.—Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось.... съ самаго того дня, какъ Поляковъ Вася у меня былъ прошлой весной. Пока онъ со мной сидѣлъ да разговаривалъ — ну, ничего; а какъ ушелъ онъ—поплакала я-таки въ одиночку! Откуда бралось!.. Да вѣдь у нашей сестры слезы некупленныя.— Баринъ, — прибавила Лукерья, — чай у васъ платочекъ есть.... Не побрезгуйте, утрите мнѣ глаза.

Я поспѣшилъ исполнить ея желаніе — и платокъ ей оставилъ. Она сперва отказывалась.... на что́, молъ, мнѣ такой подарокъ? Платокъ былъ очень простой, но чистый и бѣлый. Потомъ она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала ихъ болѣе. Привыкнувъ къ темнотѣ, въ которой мы оба находились, я могъ ясно различить ея черты, могъ даже замѣтить тонкій румянецъ, проступившій сквозь бронзу ея лица, могъ открыть въ этомъ лицѣ, такъ по крайней мѣрѣ мнѣ казалось,—слѣды его бывалой красоты.

— Вотъ вы, баринъ, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья,—сплю-ли я? Сплю я точно рѣдко, но всякій разъ сны вижу, — хорошіе сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во снѣ здоровая да молодая.... Одно горе: проснусь я—потянуться хочу хорошенько—апъ я вся какъ скованная. Разъ мнѣ какой чудный сонъ приснился! Хотите, разскажу вамъ?—Ну, слушайте.— Вижу я, будто стою я въ полѣ, а кругомъ рожь, такая высокая, спѣлая, какъ золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая—все укусить меня хочетъ. И будто въ рукахъ у меня серпъ, и не простой серпъ, а самый какъ есть мѣсяцъ, вотъ когда онъ на серпъ похожъ бываетъ. И этимъ самымъ мѣсяцемъ должна я эту самую рожь сжать до́ чиста. Только очень меня отъ жары растомило, и мѣсяцъ меня слѣпитъ, и лѣнь на меня нашла;

а кругомъ васильки растутъ, да такіе крупные! И всѣ ко мнѣ головками повернулись. И думаю я: нарву я этихъ васильковъ; Вася придти обѣщался — такъ вотъ я себѣ вѣнокъ сперва совью; жать-то я еще успѣю. Начинаю я рвать васильки, а онн у меня промежъ пальцевъ таютъ да таютъ, хоть ты что́! И не могу я себѣ вѣнокъ свить. А между тѣмъ я слышу—кто-то ужъ идетъ ко мнѣ, близко таково́, и зоветъ: Луша! Луша!.. Ай, думаю, бѣда—не успѣла! Все равно, надѣну я себѣ на голову этотъ мѣсяцъ замѣсто васильковъ. Надѣваю я мѣсяцъ, ровно какъ кокошникъ, и такъ сама сейчасъ вся засіяла, все поле кругомъ освѣтила. Глядь—по самымъ верхушкамъ колосьевъ катитъ ко мнѣ скорёхонько—только не Вася—а самъ Христосъ! И почему я узнала, что это Христосъ — сказать не могу, — такимъ его не пишутъ, — а только Онъ! Безбородый, высокій, молодой, весь въ бѣломъ,—только поясъ золотой,—и ручку мнѣ протягиваетъ.—«Не бойся, говоритъ, невѣста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня въ царствѣ небесномъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія». — И я къ его ручкѣ какъ прильну!—Собачка моя сейчасъ меня за ноги.... по тутъ мы взвились! Онъ впереди.... Крылья у него по всему небу развернулись, длинныя, какъ у чайки,—и я за нимъ! И собачка должна отстать отъ меня. Тутъ только я поняла, что эта собачка — болѣзнь моя, и что въ царствѣ небесномъ ей уже мѣста не будетъ.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видѣла я сонъ, — начала она снова, — а быть можетъ это было мнѣ видѣніе — я ужъ и не знаю. Почудилось мнѣ, будто я въ самой этой плетушкѣ лежу и приходятъ ко мнѣ мои покойные родители — батюшка да матушка—и кланяются мнѣ низко, а сами ничего не говорятъ. И спрашиваю я ихъ: зачѣмъ вы, батюшка и

матушка, мнѣ кланяетесь? А затѣмъ, говорятъ, что такъ какъ ты на семъ свѣтѣ много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и съ насъ большую тягу сняла. И намъ на томъ свѣтѣ стало много способнѣе. Со своими грѣхами ты уже покончила; теперь наши грѣхи побѣждаешь. И сказавши это, родители мнѣ опять поклонились—и не стало ихъ видно: однѣ стѣны видны. Очень я потомъ сомнѣвалась, что́ это такое со мною было. Даже батюшкѣ на духу разсказала. Только онъ такъ полагаетъ, что это было не видѣніе, потому что видѣнія бываютъ одному духовному чину.

— А то вотъ еще какой мнѣ былъ сонъ,—продолжала Лукерья.—Вижу я, что сижу я этакъ будто на большой дорогѣ подъ ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платкомъ окутана — какъ есть странница! И идти мнѣ куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходятъ мимо меня все странники; идутъ они тихо, словно нéхотя, все въ одну сторону; лица у всѣхъ унылыя, и другъ на дружку всѣ очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, цѣлой головой выше другихъ, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто всѣ другіе отъ нея сторонятся; а она вдругъ верть — да прямо ко мнѣ. Остановилась и смотритъ; а глаза у ней, какъ у сокола, желтые, большіе и свѣтлые-пресвѣтлые. И спрашиваю я ее: кто ты?— А она мнѣ говоритъ: «Я смерть твоя». Мнѣ чтобы испугаться, а я напротивъ—рада-радехонька, крещусь! И говоритъ мнѣ та женщина, смерть моя: «Жаль мнѣ тебя, Лукерья,—но взять я тебя съ собою не могу.—Прощай!» Господи! какъ мнѣ тутъ грустно стало!... «Возьми меня», говорю, «матушка, голубушка, возьми!»—И смерть моя обернулась ко мнѣ, стала мнѣ выговаривать.... Понимаю

я, что назначаетъ она мнѣ мой часъ, да непонятно такъ, неявственно.... Послѣ, молъ, Петровокъ.... Съ этимъ я проснулась.... Такіе-то у меня бываютъ сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху.... задумалась....

— Только вотъ бѣда моя: случается, цѣлая недѣля пройдетъ, а я не засну ни разу. Въ прошломъ году барыня одна проѣзжала, увидѣла меня да и дала мнѣ стклянночку съ лекарствомъ противъ безсонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мнѣ помогало, и я спала; только теперь давно та стклянночка выпита.... Не знаете ли, что́ это было за лекарство и какъ его получить?

Проѣзжавшая барыня очевидно дала Лукерьѣ опіума. Я обѣщался доставить ей такую стклянночку и опять-таки не могъ не подивиться вслухъ ея терпѣнью.

— Эхъ, баринъ!—возразила она.—Что вы это? Какое такое терпѣніе? Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое: тридцать лѣтъ на столбу простоялъ! А другой угодникъ себя въ землю зарыть велѣлъ по самую грудь, и муравьи ему лицо ѣли.... А то вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начётчикъ: была нѣкая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всѣхъ жителевъ они мучили и убивали; и что́ ни дѣлали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявись тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. А только прогнавши ихъ говоритъ имъ: теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обѣщаніе, чтобы мнѣ огненною смертью за свой народъ помереть. — И агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился! Вотъ это подвигъ! А я что!

Подивился я тутъ про себя, куда и въ какомъ видѣ

зашла легенда объ Іоаннѣ д'Аркъ, и, помолчавъ немного, спросилъ Лукерью: сколько ей лѣтъ?

— Двадцать восемь.... али девять.... Тридцати не будетъ. Да что ихъ считать, года-то! Я вамъ еще вотъ что доложу....

Лукерья вдругъ какъ-то глухо кашлянула, охнула....

— Ты много говоришь,—замѣтилъ я ей,—это можетъ тебѣ повредить.

— Правда,—прошептала она едва слышно,—разговоркѣ нашей конецъ; да куда ни шло! Теперь, какъ вы уѣдете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела....

Я сталъ прощаться съ нею, повторилъ ей мое обѣщаніе прислать ей лекарство, попросилъ ее еще разъ хорошенько подумать и сказать мнѣ—не нужно ли ей чего?

— Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу,—съ величайшимъ усиліемъ, но умиленно произнесла она. — Дай Богъ всѣмъ здоровья! А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить—крестьяне здѣшніе бѣдные—хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ.... Они бы за васъ Богу помолились.... А мнѣ ничего не нужно, — всѣмъ довольна.

Я далъ Лукерьѣ слово исполнить ея просьбу, и подходилъ уже къ дверямъ.... она подозвала меня опять.

— Помните, баринъ, сказала она — и чудное что-то мелькнуло въ ея глазахъ и на губахъ — какая у меня была коса? Помните—до самыхъ колѣнъ! Я долго не рѣшалась.... Этакіе волосы!... Но гдѣ же ихъ было расчесывать? Въ моемъ-то положеніи!... Такъ ужъ я ихъ и обрѣзала.... Да.... Ну, простите, баринъ! Больше не могу....

Въ тотъ же день, прежде чѣмъ отправиться на охоту,

былъ у меня разговоръ о Лукерьѣ съ хуторскимъ десятскимъ. Я узналъ отъ него, что ее въ деревнѣ прозывали «Живыя-Мощи», что, впрочемъ, отъ нея никакого не видать безпокойства; ни ропота отъ нея не слыхать, ни жалобъ.—«Сама ничего не требуетъ, а напротивъ — за все благодарна; тихоня, какъ есть тихоня, такъ сказать надо. Богомъ убитая»—такъ заключилъ десятскій—«стало быть, за грѣхи; но мы въ это не входимъ. А чтобы, напримѣръ, осуждать ее — нѣтъ, мы ее не осуждаемъ. Пущай ее!»

Нѣсколько недѣль спустя, я узналъ, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней.... и «послѣ Петровокъ». Разсказывали, что въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ, хотя отъ Алексѣевки до церкви считаютъ пять верстъ слишкомъ и день былъ будничный. Впрочемъ, Лукерья говорила, что звонъ шелъ не отъ церкви, а «сверху». Вѣроятно, она не посмѣла сказать: съ неба.

СТУЧИТЪ!

ЧТО я вамъ доложу,—промолвилъ Ермолай, входя ко мнѣ въ избу—а я только-что пообѣдалъ и прилегъ на походную кроватку, чтобъ отдохнуть немного послѣ довольно удачной, но утомительной охоты на тетеревовъ—дѣло было въ десятыхъ числахъ іюля, и жары стояли страшныя—....что̀ я вамъ доложу: у насъ вся дробь вышла.

Я вскочилъ съ кроватки.

— Вышла дробь! Какъ же такъ! Вѣдь мы съ собой изъ деревни почитай-что фунтовъ тридцать взяли! — цѣлый мѣшокъ!

— Оно точно; и мѣшокъ былъ большой: на двѣ недѣли бы хватило. Да кто его знаетъ! Прорѣха, что-ль, въ немъ произошла; — а только, какъ есть, нѣту дроби.... такъ, зарядовъ на десять осталось.

— Что же мы станемъ теперь дѣлать? Самыя лучшія мѣста впереди—на завтрешній день намъ обѣщали шесть выводковъ....

— А пошлите меня въ Тулу.—Тутъ недалече: всего сорокъ пять верстъ. — Духомъ слетаю и дроби привезу, коли прикажете, цѣлый пудъ.

— Да когда же ты поѣдешь?

— А хоть сейчасъ. Чего мѣшкать? Только вотъ что: надо будетъ лошадей нанять.

— Какъ лошадей нанять!—А свои-то на что?

— На своихъ ѣхать нельзя.—Коренникъ захромалъ... страсть!

— Это съ какихъ поръ?

— А вотъ намеднись,—кучеръ его ковать водилъ. Ну, и заковалъ.—Кузнецъ—должно—попался неладный.—Теперь даже на ногу ступить не можетъ.—Передняя нога. Такъ и несетъ ее.... какъ собака.

— Что-жъ? расковали его по крайней мѣрѣ?

— Нѣтъ, не расковали; а непремѣнно расковать его слѣдуетъ.—Гвоздь-то ему, чай, въ самое мясо вогнатъ.

Я велѣлъ позвать кучера. Оказалось, что Ермолай не солгалъ: коренникъ дѣйствительно не ступалъ на ногу.— Я немедленно распорядился, чтобы его расковали и поставили на сырую глину.

— Что-жъ? лошадей нанять въ Тулу прикажете?—пристalъ ко мнѣ Ермолай.

— Да развѣ можно въ этомъ захолустьѣ найти лошадей?—воскликнулъ я съ невольной досадой....

Деревня, въ которой мы находились, была заглазная, глухая; всѣ ея обитатели казались голышами; мы съ трудомъ отыскали одну—не то что бѣлую — а мало-мальски просторную избу.

— Можно,—отвѣтилъ Ермолай съ обычной своей невозмутимостью.—Вы про здѣшнюю деревню сказали вѣрно; а только въ этомъ самомъ мѣстѣ проживалъ одинъ крестьянинъ. — Умнѣющій! богатый! Девять лошадей имѣлъ. Самъ-то онъ померъ и старшій сынъ теперь всѣмъ орудуетъ. Человѣкъ — изъ глупыхъ-глупый, ну, однако отцовское добро протрясти не успѣлъ. — Мы у него лошадьми раздобудемся. — Прикажите, я его приве-

ду. — Братья у него, слышно, ребята шустрые.... а все-таки онъ имъ голова.

— Почему же это такъ?

— А потому—старшой?—Значитъ, младшіе,—покоряйся!—Тутъ Ермолай сильно и непечатно отозвался о младшихъ братьяхъ вообще. — Я его приведу. — Онъ простой.—Съ нимъ—да не сговориться?

Пока Ермолай ходилъ за «простымъ» человѣкомъ, мнѣ пришло въ голову: не лучше ли мнѣ самому съѣздить въ Тулу? Во-первыхъ, я, наученный опытомъ, плохо надѣялся на Ермолая; я послалъ его однажды въ городъ за покупками, онъ обѣщался исполнить всѣ мои порученія въ теченіи одного дня—и пропадалъ цѣлую недѣлю, пропилъ всѣ деньги—и вернулся пѣшій—а поѣхалъ на бѣговыхъ дрожкахъ. Во-вторыхъ—у меня былъ въ Тулѣ барышникъ знакомый; я могъ купить у него лошадь на мѣсто охромѣвшаго коренника.

— Рѣшеное дѣло! — подумалъ я. — Съѣзжу самъ; а спать можно и въ дорогѣ—благо, тарантасъ покойный.

— Привелъ!—воскликнулъ четверть часа спустя Ермолай, вваливаясь въ избу.—Вслѣдъ за нимъ вошелъ рослый мужикъ въ бѣлой рубахѣ, синихъ портахъ и лаптяхъ, бѣлобрысый, подслѣповатый, съ рыжей бородкой клинушкомъ, длиннымъ пухлымъ носомъ и разинутымъ ртомъ. Онъ, точно, смотрѣлъ «простецомъ».

— Вотъ извольте,—промолвилъ Ермолай, — лошади у него есть—и онъ согласенъ.

— То-ись, значитъ, я....—заговорилъ мужикъ сиповатымъ голосомъ и съ запинкой, встряхивая свои жидкіе волосы и перебирая пальцами околышъ шапки, которую держалъ въ рукахъ.—Я, значитъ....

— Какъ тебя зовутъ? — спросилъ я.

Мужикъ потупился и словно задумался. — Какъ меня зовутъ-то?

— Да; какъ твое имя?

— А имя мнѣ будетъ—Филоѳей.

— Ну, вотъ что, братецъ Филоѳей; у тебя, я слышалъ, есть лошади. — Приведи-ка сюда тройку,—мы ихъ заложимъ въ мой тарантасъ,—онъ у меня легкій—и свези ты меня въ Тулу. — Теперь ночь лунная, свѣтло и ѣхать прохладно. Дорога у васъ тутъ какова?

— Дорога? Дорога — ничего. — До большака верстъ двадцать будетъ — всего.—Одно есть мѣстечко.... нелад-ное; а то-ничего.

— Какое такое мѣстечко неладное?

— А рѣчку въ бродъ переѣзжать надоть.

— Да развѣ вы сами въ Тулу поѣдете?—освѣдомился Ермолай.

— Да, самъ.

— Ну! — промолвилъ мой вѣрный слуга и тряхнулъ головою.—Н-н-у! — повторилъ онъ, сплюнулъ и вышелъ вонъ.

Поѣздка въ Тулу очевидно уже не представляла ему ничего привлекательнаго; она стала для него пустымъ и незанимательнымъ дѣломъ.

— Ты дорогу хорошо знаешь? — обратился я къ Фи-лоѳею.

— Какъ намъ дороги не знать! — Только я, значитъ, воля ваша, не могу.... потому какъ же этакъ вдругъ....

Оказалось, что Ермолай, нанимая Филоѳея, заявилъ ему, чтобы онъ не сомнѣвался, что ему, дураку, заплатятъ.... и только! Филоѳей, хотя и дуракъ — по словамъ Ермо-лая—не удовлетворился однимъ этимъ заявленіемъ. Онъ запросилъ съ меня — пятьдесятъ рублей ассигнаціями,—

цѣну громадную; я предложилъ ему десять рублей,—цѣну низкую.—Принялись мы торговаться; Филоѳей сперва упорствовалъ—потомъ сталъ сдаваться, но туго. Вошедшій на минутку Ермолай началъ меня увѣрять, что «этотъ дуракъ»—(вишь, полюбилось слово!—замѣтилъ вполголоса Филоѳей) — «этотъ дуракъ совсѣмъ счету деньгамъ не знаетъ»—и, кстати, напомнилъ мнѣ, какъ лѣтъ двадцать тому назадъ, постоялый дворъ, устроенный моей матушкой на бойкомъ мѣстѣ, на перекресткѣ двухъ большихъ дорогъ, пришелъ въ совершенный упадокъ отъ того, что старый дворовый, котораго посадили туда хозяйничать, дѣйствительно не зналъ счета деньгамъ, а цѣнилъ ихъ по количеству,—т. е. отдавалъ, напримѣръ, серебряный четвертакъ за шесть мѣдныхъ пятаковъ, причемъ однако сильно ругался.

— Эхъ, ты, Филоѳей, прямой Филоѳей! — выкликнулъ наконецъ Ермолай — и уходя, въ сердцахъ хлопнулъ дверью.

Филоѳей ничего ему не возразилъ, какъ-бы сознавая, что называться Филоѳеемъ,—точно—не совсѣмъ ловко, и что за такое имя даже упрекать можно человѣка, хотя собственно виноватъ тутъ попъ, котораго при крещеніи не ублаготворили, какъ слѣдуетъ.

Наконецъ мы однако сошлись съ нимъ на двадцати рубляхъ.—Онъ отправился за лошадьми и чрезъ часъ привелъ ихъ цѣлыхъ пять на выборъ. Лошади оказались порядочныя, хотя гривы и хвосты у нихъ были спутанные и животы — большіе, растянутые какъ барабанъ.— Съ Филоѳеемъ пришло двое его братьевъ, нисколько на него не похожихъ. Маленькіе, черноглазые, востроносые, они точно — производили впечатлѣніе ребятъ «шустрыхъ»—говорили много и скоро—«лопотали», какъ выразился Ермолай,—но старшо̀му покорялись.

— Они выкатили тарантасъ изъ-подъ навѣса, да часа полтора возились съ нимъ и съ лошадьми; то́ отпускали веревочныя постромки, то прикручивали ихъ туго-на-туго! Обоимъ братьямъ непремѣнно хотѣлось запречь въ корень «чалаго», потому, «ёнъ съ горы спущать могитъ»;—но Филоѳей рѣшилъ: кудластаго!—Такъ кудластаго и заложили въ корень.

Тарантасъ набили сѣномъ, подсунули подъ сидѣнье хомутъ съ хромого коренника,—въ случаѣ, еслибъ пришлось пригонять его въ Тулѣ на новокупленную лошадь.... Филоѳей, успѣвшій сбѣгать домой и возвратившійся оттуда въ длинномъ, бѣломъ, отцовскомъ балахонѣ, высокомъ гречневикѣ и смазныхъ сапогахъ, взобрался торжественно на ко́зла. — Я сѣлъ, посмотрѣвъ на часы:—четверть одиннадцатаго.—Ермолай даже не простился со мною, онъ принялся бить своего Валетку; Филоѳей задергалъ возжами, закричалъ тонкимъ-тонкимъ голосомъ: «Эхъ, вы, махонькія!»—братья его подскочили съ обѣихъ сторонъ, подстегнули подъ брюхо пристяжныхъ—и тарантасъ тронулся, свернулъ изъ воротъ на улицу,—кудластый хотѣлъ-было махнуть къ себѣ на дворъ,—но Филоѳей образумилъ его нѣсколькими ударами кнута—и вотъ мы уже выскочили изъ деревни и покатили по довольно ровной дорогѣ, между сплошными кустами густого орѣшника.

Ночь была тихая, славная, сама́я удобная для ѣзды. Вѣтеръ то прошелеститъ въ кустахъ, закачаетъ вѣтки, то совсѣмъ замретъ; на небѣ кое-гдѣ виднѣлись неподвижныя, серебристыя облачка́; мѣсяцъ стоялъ высоко и ясно озарялъ окрестность.—Я растянулся на сѣнѣ и уже вздремнулъ-было.... да вспомнилъ о «неладномъ мѣстѣ», и встрепенулся.

— А что́, Филоѳей? До брода далеко?

— До броду-то? Верстъ восемь будетъ.

— Восемь верстъ, подумалось мнѣ.—Раньше часу не доѣдемъ. — Соснуть пока можно. — Ты, Филоѳей, дорогу хорошо знаешь?—спросилъ я опять.

— Да какъ *ет* не знать-то, дорогу-то? Не въ первой ѣдемъ....

Онъ еще что-то прибавилъ, но я уже не разслушалъ его.... Я спалъ.

Разбудило меня не собственное намѣреніе проснуться ровно черезъ часъ, какъ это часто случается,—а какое-то странное, хоть и слабое, хлюпанье и булканье подъ самымъ моимъ ухомъ.—Я поднялъ голову...

Что за чудеса?—Лежу я въ тарантасѣ по-прежнему, а вокругъ тарантаса — и на полъ-аршина,—не болѣе, отъ его края,—водная гладь, освѣщенная луною, дробится и дрожитъ мелкой, чёткой рябью. Я—глядь впередъ: на козлахъ, понуривъ голову, согнувъ спину, сидитъ какъ истуканъ Филоѳей,—а еще подальше—надъ журчащею водою,—кривая линія дуги и лошадиныя головы и спины.—И все такъ неподвижно, такъ безшумно,—словно въ заколдованномъ царствѣ, во снѣ, въ сказочномъ снѣ.... Что за притча?—Я—глядь назадъ изъ-подъ балчука тарантаса.... Да мы на самой серединѣ рѣки.... берегъ отъ насъ шаговъ за тридцать!

— Филоѳей!—воскликнулъ я.

— Чего?—возразилъ онъ.

— Какъ, чего? Помилуй! Гдѣ же это мы?

— Въ рѣкѣ.

— Я вижу, что въ рѣкѣ.— Да мы этакъ сейчасъ потонемъ.—Такъ-то ты въ бродъ переѣзжаешь? А?—Да ты спишь, Филоѳей! Отвѣчай же!

— Маленечко ошибся,—промолвилъ мой возница:—въ сторону, знать, взялъ грѣшнымъ дѣломъ, а теперь подождать надоть.

— Какъ: ждать *надоть*!—Чего же мы будемъ ждать?

— А вотъ пущай кудластый оглядится: куда онъ ворохнется, туда, значитъ, и ѣхать надоть.

Я приподнялся на сѣнѣ.—Голова коренника не шевелилась надъ водою. — Только и можно было видѣть при ясномъ свѣтѣ мѣсяца, какъ одно его ухо чуть-чуть двигалось то̀ взадъ, то́ впередъ.

— Да онъ тоже спитъ, твой кудластый!

— Нѣтъ,— отвѣчалъ Филоѳей — онъ теперь воду нюхаетъ.

И все опять замолкло, только по прежнему слабо хлюпала вода.—Я тоже оцѣпенѣлъ.

Лунный свѣтъ, да ночь, да рѣка, да мы въ ней....

— Это что̀ такое сипитъ?—спросилъ я Филоѳея.

— Это?—Утята въ камышѣ.... а не то змѣи.

Вдругъ голова коренника замоталась, уши навострились, онъ зафыркалъ, заворошился. — Но-но-но-ноо! внезапно заоралъ во все горло Филоѳей, и приподнялся, и замахалъ кнутомъ. Тарантасъ тотчасъ сдернуло съ мѣста, онъ рванулся впередъ на перерѣзъ рѣчной волнѣ— и пошелъ, дрыгая и колыхаясь ... Сперва мнѣ показалось, что мы погружаемся, идемъ въ глубь, однако послѣ двухъ-трехъ толчковъ и нырковъ, водная гладь какъ будто вдругъ понизилась.... Она понижалась все больше и больше, тарантасъ выросталъ изъ нея,—вотъ уже показались колеса и конскіе хвосты—и вотъ вздымая сильныя и крупныя брызги, алмазными,—нѣтъ, не алмазными—сапфирными снопами разлетавшіяся въ матовомъ блескѣ луны, — весело и дружно выхватили насъ лошади на песчаный бе-

регъ и пошли по дорогѣ въ гору, въ перебивку переступая глянцовитыми мокрыми ногами.

— Что̀—пришло мнѣ въ голову—скажетъ теперь Филоѳей: а вѣдь я былъ правъ!—или что-нибудь въ этомъ родѣ? Но онъ ничего не сказалъ. Потому и я не почелъ за нужное упрекнуть его въ неосторожности и, уложившись спать на сѣнѣ, опять попытался заснуть.

Но я не могъ заснуть, не потому, что не усталъ отъ охоты—и не потому, что испытанная мною тревога разогнала мой сонъ, — а ужъ очень красивыми мѣстами намъ приходилось ѣхать. То были раздольные, пространные, поемные, травянистые луга, со множествомъ небольшихъ лужаекъ, озерецъ, ручейковъ, заводей, заросшихъ по концамъ ивнякомъ и лозами, прямо русскія, русскимъ людомъ любимыя мѣста, подобныя тѣмъ, куда ѣзживали богатыри нашихъ древнихъ былинъ стрѣлять бѣлыхъ лебедей и сѣрыхъ утицъ. Желтоватой лентой вилась наѣзженная дорога, лошади бѣжали легко—и я не могъ сомкнуть глаза,—любовался! И все это такъ мягко и стройно плыло мимо, подъ дружелюбной луной.—Филоѳея—и того проняло.

— Эти у насъ луга Святоегорьевскими прозываются,— обратился онъ ко мнѣ.—А за ними—такъ Великокняжескіе пойдутъ; другихъ такихъ луговъ по всей Расѣи нѣту.... Ужъ на что̀ красиво! — Коренникъ фыркнулъ и встряхнулся....—Господь съ тобою!... промолвилъ Филоѳей степенно и вполголоса. — На что̀ красиво!—повторилъ онъ и вздохнулъ, а потомъ протяжно крякнулъ. — Вотъ скоро сѣнокосы начнутся, и что̀ тутъ этого самаго сѣна нагребутъ — бѣда! — А въ заводяхъ рыбы тоже много. —

Лещи такіе! — прибавилъ онъ нараспѣвъ. — Одно слово: умирать не надо.

Онъ вдругъ поднялъ руку.

— Эва!—глянь-ка! надъ озеромъ-то.... аль чапля стоитъ? неужели она и ночью рыбу ловитъ? Эхъ-ма! сукъ это—не чапля. Вотъ маху-то далъ! а все мѣсяцъ обманываетъ.

Такъ мы ѣхали, ѣхали.... Но вотъ ужъ и конецъ подошелъ лугамъ, показались лѣсочки, распаханныя поля; деревушка въ сторонѣ мигнула двумя-тремя огоньками,— до большой дороги оставалось всего верстъ пять.—Я заснулъ.

Снова я не самъ собой проснулся. На этотъ разъ меня разбудилъ голосъ Филоѳея.

— Баринъ.... а, баринъ!

Я приподнялся.—Тарантасъ стоялъ на ровномъ мѣстѣ по самой серединѣ большой дороги; обернувшись съ козелъ ко мнѣ лицомъ, широко раскрывъ глаза — (я даже удивился, я не воображалъ, что они у него такіе большіе)—Филоѳей значительно и таинственно шепталъ:

— Стучитъ!... Стучитъ!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: стучитъ!—Наѓнитесь-ка и послухайте. Слышите?

Я высунулъ голову изъ тарантаса, притаилъ дыханіе:— и дѣйствительно услыхалъ гдѣ-то далеко—далеко за нами—слабый прерывистый стукъ, какъ-бы отъ катившихся колесъ.

— Слышите?—повторилъ Филоѳей.

— Ну, да,—отвѣтилъ я.—Ѣдетъ какой-то экипажъ.

— А не слышите.... чу! Во.... бубенцы.... и свистъ тоже.... Слышите? Да шапку-то снимите.... слышнѣй будетъ.

Я шапки не снялъ, но приникъ ухомъ. — Ну, да.... можетъ быть.—Да что-жъ изъ этого?

Филоѳей повернулся лицомъ къ лошадямъ.

— Телѣга катитъ.... на-легкѣ, колеса кованныя, — промолвилъ онъ и подобралъ возжи. — Это, баринъ, недобрые люди ѣдутъ; здѣсь вѣдь, подъ Тулой, шалятъ.... много.

— Какой вздоръ! Почему ты полагаешь, что это непремѣнно недобрые люди?

— Вѣрно говорю. — Съ бубенцами.... да въ пустой телѣгѣ.... Кому быть?

— А что̀—до Тулы еще далеко?

— Да верстъ еще пятнадцать будетъ, и жилья тутъ никакого нѣту.

— Ну, такъ ступай живѣе, нечего мѣшкать-то.

Филоѳей взмахнулъ кнутомъ, и тарантасъ опять покатился.

Хотя я не далъ вѣры Филоѳею, однако заснуть уже не могъ.—А что́, если въ самомъ дѣлѣ? — Непріятное чувство шевельнулось во мнѣ.—Я сѣлъ въ тарантасѣ — до тѣхъ поръ я лежалъ,—и сталъ глядѣть по сторонамъ. Пока я спалъ, тонкій туманъ набѣжалъ,—не на землю, на̀ небо; онъ стоялъ высоко, мѣсяцъ въ немъ повисъ бѣловатымъ пятномъ, какъ-бы въ дымѣ. Все потускнѣло и смѣшалось, хотя къ низу было виднѣе. — Кругомъ — плоскія, унылыя мѣста: поля, все поля, кое-гдѣ кустики, овраги — и опять поля и больше все паръ, съ рѣдкой, сорной травою. Пусто.... мертво! Хоть бы перепелъ гдѣ крикнулъ.

Ѣхали мы съ полчаса. — Филоѳей то-и-дѣло помахивалъ кнутомъ и чмокалъ губами, но ни онъ, ни я, мы

не говорили ни слова. — Вотъ взобрались мы на пригорокъ... Филоѳей остановилъ тройку—и тотчасъ же примолвилъ:

— Стучитъ.... Стучи-итъ, баринъ!

Я опять высунулся изъ тарантаса; но я бы могъ остаться подъ навѣсомъ балчука, до того теперь явственно, хотя еще издалека, доносился до слуха моего стукъ телѣжныхъ колесъ, людской посвистъ, бряцанье бубенчиковъ и даже топотъ конскихъ ногъ; даже пѣнье и смѣхъ почудились мнѣ. Вѣтеръ, правда, тянулъ оттуда, но не было сомнѣнья въ томъ, что незнакомые проѣзжіе на цѣлую версту,—а можетъ и на двѣ стали къ намъ ближе.

Мы съ Филоѳеемъ переглянулись, — онъ только шляпу сдвинулъ съ затылка на лобъ и тотчасъ же, нагнувшись надъ возжами, принялся стегать лошадей. Онѣ пустились вскачь, но долго скакать не могли и опять побѣжали рысью.—Филоѳей продолжалъ стегать ихъ. Надо-жъ было уходить!

Я не могъ себѣ дать отчета, почему въ этотъ разъ я, сначала не раздѣлявшій подозрѣній Филоѳея, вдругъ получилъ убѣжденіе, что слѣдомъ за нами ѣхали точно недобрые люди.... Ничего новаго не услыхалъ я: тѣ же бубенцы, тотъ же стукъ ненагруженной телѣги, то же посвистываніе, тотъ же смутный гамъ.... Но я теперь уже не сомнѣвался. — Филоѳей не могъ ошибиться!

И вотъ опять прошло минутъ двадцать.... Въ теченіи послѣднихъ изъ этихъ двадцати минутъ сквозь стукъ и грохотъ собственнаго экипажа намъ уже слышался другой стукъ и другой грохотъ....

— Остановись, Филоѳей, сказалъ я, все равно—одинъ конецъ!

Филоѳей трусливо тпрукнулъ.—Лошади мгновенно стали, какъ-бы обрадовавшись возможности отдохнуть.

Батюшки! бубенцы просто ревутъ за самой нашей спиною, телѣга гремитъ съ дребезгомъ, люди свистятъ, кричатъ и поютъ, лошади фыркаютъ и бьютъ копытами землю....

Нагнали!

— Би-и-да,—съ разстановкой, вполголоса, промолвилъ Филоѳей—и нерѣшительно чмокнувъ, сталъ понукать лошадей. Но въ это самое мгновенье что̀-то вдругъ словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло,—и большущая развалистая телѣга, запряженная тройкой поджарыхъ коней, круто, вихремъ обогнула насъ, заскакала впередъ и тотчасъ пошла шагомъ, загораживая дорогу.

— Самая разбойничья повадка,—прошепталъ Филоѳей.

Признаться, у меня на сердце захолонуло.... Принялся я глядѣть, съ напряженьемъ, — въ полумракъ луннаго, парàми застланнаго свѣта. Въ телѣгѣ передъ нами не то сидѣло, не то лежало человѣкъ шесть въ рубахахъ, въ армякахъ на распашку; у двоихъ на головахъ не было шапокъ; большія ноги въ сапогахъ болтались, свѣсившись черезъ грядку, руки поднимались, падали, зря.... тѣла тряслись.... Явное дѣло: пьяный народъ. Иные горланили — та́къ, что̀ ни попало; одинъ свисталъ очень пронзительно и чисто, другой ругался; на облучкѣ сидѣлъ какой-то великанъ въ полушубкѣ и правилъ.—Ѣхали они шагомъ, какъ будто не обращая на насъ вниманія.

Что было дѣлать? Мы поѣхали за ними тоже шагомъ.... по-неволѣ.

Съ четверть версты двигались мы такимъ манеромъ.— Ожиданіе мучительное.... Спасаться, защищаться.... гдѣ ужъ тутъ! Ихъ шестеро: а у меня хоть бы палка! Повернуть оглоблями назадъ? но они тотчасъ догонятъ. Вспомнился мнѣ стихъ Жуковскаго (тамъ, гдѣ онъ говоритъ объ убійствѣ фельдмаршала Каменскаго):

Топоръ разбойника презрѣнный....

А не то — горло сдавятъ грязной веревкой.... да въ канаву.... хрипи тамъ, да бейся, какъ заяцъ въ силкѣ....

Эхъ, скверно!

А они по-прежнему ѣдутъ шагомъ и не обращаютъ на насъ вниманія.

— Филоѳей!—шепнулъ я,—попробуй-ка, возьми правѣе, ступай будто мимо.

Филоѳей попробовалъ,—взялъ вправо.... но тѣ тотчасъ тоже взяли вправо.... проѣхать стало невозможно.

Филоѳей попытался еще: взялъ налѣво.... Но и тутъ ему не дали миновать телѣгу. — Даже засмѣялись. Значитъ, не пропускаютъ.

— Какъ есть разбойники,—шепнулъ мнѣ Филоѳей черезъ плечо.

— Да чего же они ждутъ? — спросилъ я тоже шопотомъ.

— А вонъ тамъ впереди, — въ ложбинѣ,—надъ ручьемъ, мостикъ.... Они насъ тамъ! Они всегда этакъ.... возлѣ мостовъ. Наше дѣло, баринъ, чисто! — прибавилъ онъ со вздохомъ: — врядъ ли живыхъ отпустятъ; потому имъ главное: концы въ воду. — Одного мнѣ жаль, баринъ: пропала моя троечка,—и братьямъ-то она не достанется.

Подивился бы я тутъ, какъ это Филоѳей въ подобную минуту можетъ еще о своихъ лошадяхъ заботиться,—да, признаюсь, мнѣ самому было не до него.... Неужто же убьютъ? твердилъ я мысленно.—За что? Вѣдь я имъ все отдамъ, что у меня есть.

А мостикъ все приближался, все становился виднѣй да виднѣй.

Вдругъ раздалось рѣзкое гиканье, тройка передъ нами словно взвилась, понеслась и, доскакавъ до мостика, ра-

зомъ остановилась, какъ вкопанная, немного съ боку дороги.—Сердце во мнѣ такъ и упало.

— Охъ, братъ Филоѳей, — промолвилъ я, ѣдемъ мы съ тобою на смерть. — Прости меня, коли я тебя загубилъ.

— Какая твоя вина, баринъ! Своей судьбы не минуешь! Ну, кудластый, лошадушка моя вѣрная,—обратился Филоѳей къ кореннику,—ступай, братъ, впередъ! Сослужи послѣднюю службу!—Все едино.... Господи бо-слови!

И онъ пустилъ свою тройку рысцой.

Стали мы приближаться къ мостику, — къ той неподвижной, грозной телѣгѣ.... На ней, какъ нарочно, все затихло. Ни гу-гу! Такъ затихаетъ щука, ястребъ, всякій хищный звѣрь, когда приближается добыча. — Вотъ поровнялись мы съ телѣгой.... вдругъ великанъ въ полушубкѣ прыгъ съ нея долой—и прямо къ намъ!

Ничего-то онъ не сказалъ Филоѳею, но тотъ самъ тотчасъ натянулъ возжи.... Тарантасъ остановился.

Великанъ положилъ обѣ руки на дверцы — и, наклонивъ впередъ свою мохнатую голову и осклабясь, произнесъ тихимъ, ровнымъ голосомъ и фабричнымъ говорко̀мъ,—слѣдующее:

— Господинъ почтенный, ѣдемъ мы съ честнаго пирка, со свадебки; нашего молодца, значитъ, женили; какъ есть, уложили; ребята у насъ все молодые, головы удалыя, — выпито было много,—а опохмѣлиться нечѣмъ;— то не будетъ ли ваша такая милость, не пожалуете ли намъ—деньжонокъ самую чуточку, — такъ, чтобы по косушкѣ на брата?—Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы Ваше Степенство; — а не будетъ вашей къ намъ милости,—ну, просимъ не осерчать!

«Что это такое?»—подумалось мнѣ....—«Насмѣшка?... Глумленіе?»

Великанъ продолжалъ стоять, понуривъ голову. Въ самый этотъ мигъ мѣсяцъ выбрался изъ тумана и освѣтилъ ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо—и глазами, и губами. А угрозы на немъ не видать.... только словно все оно насторожилось.... и зубы такіе бѣлые, да большіе....

— Я съ удовольствіемъ.... возьмите.... — поспѣшно проговорилъ я,—и, доставъ кошелекъ изъ кармана, вынулъ оттуда два цѣлковыхъ; — въ то время серебряныя деньги еще водились на Руси. — Вотъ, коли этого довольно.

— Много благодарны! — гаркнулъ по-солдатски великанъ — и толстые его пальцы мигомъ выхватили у меня,—не весь кошелекъ,—а только тѣ два рубля.—Много благодарны! — Онъ встряхнулъ волосами, подбѣжалъ къ телѣгѣ.

— Ребята!—крикнулъ онъ, — два цѣлковыхъ жалуетъ намъ господинъ проѣзжій! — Тѣ всѣ вдругъ какъ загогочутъ.... Великанъ взвалился на облучокъ....

— Счастливо оставаться!

И только мы ихъ и видѣли! Лошади подхватили, телѣга загремѣла въ гору,—вотъ еще разъ мелькнула она на темной чертѣ, отдѣлявшей землю отъ неба, завалилась и пропала.

Вотъ ужъ и стука, и крика, и бубенцовъ не слыхать....

Стала тишина мертвая.

Мы съ Филоѳеемъ не вдругъ опомнились.

— Ахъ ты шутъ этакой!—промолвилъ онъ наконецъ—и, снявъ шляпу, началъ креститься. — Право, шутъ прибавилъ онъ и обернулся ко мнѣ, весь радостный. — А

хорошій долженъ быть человѣкъ—право.—Но-но-но, махонькія! поворачивайтесь!—Цѣлы будете! Всѣ цѣлы будемъ!—Вѣдь это онъ проѣхать не давалъ; онъ лошадьмито правилъ. Экой шутъ парень!—Но-но-но-ноо!—съ Богàмъ!

Я молчалъ—но и у меня хорошо стало на душѣ. Цѣлы будемъ!—повторилъ я про себя и разлегся на сѣнѣ.—Дешево отдѣлались!

Мнѣ даже нѣсколько совѣстно стало, зачѣмъ это я стихъ Жуковскаго вспомнилъ.

Вдругъ пришла мнѣ въ голову мысль:

— Филоѳей?

— Чего?

— Ты женатъ?

— Женатъ.

— И дѣти есть?

— Есть и дѣти.

— Какъ же ты объ нихъ не вспомнилъ? О лошадяхъ пожалѣлъ—а о женѣ, о дѣтяхъ?

— Да чего ихъ жалѣть-то? Вѣдь ворамъ въ руки они бы не попались.—А въ умѣ я ихъ все время держалъ,—и теперь держу.... вò-какъ.—Филоѳей помолчалъ.—Можетъ.... изъ-за нихъ Господь Богъ насъ съ тобой помиловалъ.

— Да коли то не были разбойники?

— А почемъ знать? — Въ чужую душу развѣ влѣзешь?—Чужая душа—извѣстно—потёмки. А съ Богомъто завсегда лучше. — Нѣ.... я свою семью завсегда.... Но-но-но, махонькія, съ Бо-гàмъ!

Уже почти разсвѣло, когда мы стали подъѣзжать къ Тулѣ. Я лежалъ въ забытьи полусна....

— Баринъ,—сказалъ мнѣ вдругъ Филоѳей, посмотритека; вонъ они стоятъ у кабака.... ихняя телѣга-то.

Я поднялъ голову.... точно они: и телѣга ихъ, и лошади. На порогѣ питейнаго заведенія внезапно показался знакомый великанъ въ полушубкѣ. Господинъ!—воскликнулъ онъ, помахивая шапкой, — ваши денежки пропиваемъ!—А что, кучеръ,—прибавилъ онъ, качнувъ головой на Филоѳея,—чай, заробѣлъ этта-ась?

— Превеселый человѣкъ, — замѣтилъ Филоѳей, отъѣхавши саженъ на двадцать отъ кабака.

Прибыли мы, наконецъ, въ Тулу; купилъ я дроби, да кстати чаю да вина—и даже лошадь у барышника взялъ.— Въ полдень мы отправились обратно. Проѣзжая тѣмъ мѣстомъ, гдѣ въ первый разъ мы услыхали за собою стукъ телѣги, Филоѳей, который, подвыпивъ въ Тулѣ, оказался весьма разговорчивымъ человѣкомъ,—онъ мнѣ даже сказки разсказывалъ,—проѣзжая тѣмъ мѣстомъ, Филоѳей вдругъ засмѣялся.

— А помнишь, баринъ, какъ я тебѣ все говорилъ: стучитъ.... стучитъ-молъ, стучитъ!

Онъ нѣсколько разъ повелъ рукою на-отмашь.... Очень ужъ ему это слово казалось забавнымъ.

Въ тотъ же вечеръ мы вернулись въ его деревню.

Я сообщилъ бывшій съ нами случай Ермолаю. Будучи трезвымъ, онъ не высказалъ никакого сочувствія,—и только хмыкнулъ—одобрительно или укоризненно,— этого, я полагаю, онъ самъ не вѣдалъ. Но дня два спустя онъ съ удовольствіемъ извѣстилъ меня, что въ ту самую ночь, когда мы съ Филоѳеемъ ѣздили въ Тулу, — и на той же самой дорогѣ, какого-то купца ограбили и убили. Я сперва не повѣрилъ этому извѣстію; но потомъ пришлось повѣрить; справедливость его мнѣ подтвердилъ проскакавшій на слѣдствіе становой. — Ужъ не съ этой ли «свадьбы» возвращались наши удальцы и не этого ли «молодца» они, по выраженію шутника-великана, уло-

жили? Я въ деревнѣ Филѳѳея оставался еще дней пять.— Бывало, какъ только встрѣчу его, всякій разъ говорю ему:—А? стучитъ?

— Веселый человѣкъ,—отвѣтитъ онъ мнѣ всякій разъ и самъ засмѣется.

ЛѢСЪ и СТЕПЬ.

..... И понемногу начало назадъ
Его тянуть: въ деревню, въ темный садъ,
Гдѣ липы такъ огромны, такъ тѣнисты,
И ландыши такъ дѣвственно душисты,
Гдѣ круглыя ракиты надъ водой
Съ плотины наклонились чередой,
Гдѣ тучный дубъ растетъ надъ тучной нивой,
Гдѣ пахнетъ конопелью да крапивой....
Туда, туда, въ раздольныя поля,
Гдѣ бархатомъ чернѣется земля,
Гдѣ рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами,
И падаетъ тяжелый желтый лучъ
Изъ-за прозрачныхъ, бѣлыхъ, круглыхъ тучъ;
Тамъ хорошо. . . . . .

(Изъ поэмы, преданной сожженію).

ЧИТАТЕЛЮ, можетъ быть, уже наскучили мои записки; спѣшу успокоить его обѣщаніемъ ограничиться напечатанными отрывками; но, разставаясь съ нимъ, не могу не сказать нѣсколько словъ объ охотѣ.

Охота съ ружьемъ и собакой прекрасна сама по себѣ, für sich, какъ говаривали въ старину; но положимъ, вы не родились охотникомъ: вы все-таки любите природу;

вы, слѣдовательно, не можете не завидовать нашему брату.... Слушайте.

Знаете ли вы, напримѣръ, какое наслажденіе выѣхать весной до зари? Вы выходите на крыльцо.... На темно-сѣромъ небѣ кое-гдѣ мигаютъ звѣзды; влажный вѣтерокъ изрѣдка набѣгаетъ легкой волной; слышится сдержанный, неясный шопотъ ночи; деревья слабо шумятъ, облитыя тѣнью. Вотъ кладутъ коверъ на телѣгу, ставятъ въ ноги ящикъ съ самоваромъ. Пристяжныя ёжатся, фыркаютъ и щеголевато переступаютъ ногами; пара только-что проснувшихся бѣлыхъ гусей молча и медленно перебирается черезъ дорогу. За плетнемъ, въ саду, мирно похрапываетъ сторожъ; каждый звукъ словно стоитъ въ застывшемъ воздухѣ, стоитъ и не проходитъ. Вотъ вы сѣли; лошади разомъ тронулись, громко застучала телѣга.... Вы ѣдете— ѣдете мимо церкви, съ горы направо, черезъ плотину.... Прудъ едва начинаетъ дымиться. Вамъ холодно немножко, вы закрываете лицо воротникомъ шинели; вамъ дремлется. Лошади звучно шлепаютъ ногами по лужамъ; кучеръ посвистываетъ. Но вотъ вы отъѣхали версты четыре.... край неба алѣетъ; въ березахъ просыпаются, неловко перелетываютъ галки; воробьи чирикаютъ около темныхъ скирдъ. Свѣтлѣетъ воздухъ, виднѣй дорога, яснѣетъ небо, бѣлѣютъ тучки, зеленѣютъ поля. Въ избахъ краснымъ огнемъ горятъ лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тѣмъ заря разгорается; вотъ уже золотыя полосы протянулись по небу, въ оврагахъ клубятся пары; жаворонки звонко поютъ, предразсвѣтный вѣтеръ подулъ,— и тихо всплываетъ багровое солнце. Свѣтъ такъ и хлынетъ потокомъ; сердце въ васъ встрепенется, какъ птица. Свѣжо, весело, любо! Далеко видно кругомъ. Вонъ за рощей деревня; вонъ подальше другая съ бѣлой церковью,

вонъ березовый лѣсокъ на горѣ; за нимъ болото, куда вы ѣдете.... Живѣе, кони, живѣе! Крупной рысью впередъ!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто.... Погода будетъ славная. Стадо потянулось изъ деревни къ намъ навстрѣчу. Вы взобрались на гору.... Какой видъ! Рѣка вьется верстъ на десять, тускло синѣя сквозь туманъ; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологіе холмы; вдали чибисы съ крикомъ вьются надъ болотомъ; сквозь влажный блескъ, разлитый въ воздухѣ, ясно выступаетъ даль.... не то́, что́ лѣтомъ. Какъ вольно дышетъ грудь, какъ быстро движутся члены, какъ крѣпнетъ весь человѣкъ, охваченный свѣжимъ дыханьемъ весны!...

А лѣтнее, іюльское утро! Кто, кромѣ охотника, испыталъ, какъ отрадно бродить на зарѣ по кустамъ? Зеленой чертой ложится слѣдъ вашихъ ногъ по росистой, побѣлѣвшей травѣ. Вы раздвинете мокрый кустъ,—васъ такъ и обдастъ накопившимся теплымъ запахомъ ночи; воздухъ весь напоенъ свѣжей горечью полыни, медомъ гречихи и «кашки»; вдали стѣной стоитъ дубовый лѣсъ и блеститъ и алѣетъ на солнцѣ; еще свѣжо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится отъ избытка благоуханій. Кустарнику нѣтъ конца.... Кое-гдѣ развѣ вдали желтѣетъ поспѣвающая рожь, узкими полосками краснѣетъ гречиха. Вотъ заскрипѣла телѣга; шагомъ пробирается мужикъ, ставитъ заранѣе лошадь въ тѣнь.... Вы поздоровались съ нимъ, отошли — звучный лязгъ косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнетъ трава. Вотъ уже жарко стало. Проходитъ часъ, другой.... Небо темнѣетъ по краямъ; колючимъ зноемъ пышетъ неподвижный воздухъ.—«Гдѣ-бы, братъ, тутъ напиться?» спрашиваете вы у косаря. — «А вонъ

въ оврагѣ колодезь». Сквозь густые кусты орѣшника, перепутанные цѣпкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: подъ самымъ обрывомъ таится источникъ; дубовый кустъ жадно раскинулъ надъ водою свои лапчатые сучья; большіе серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытаго мелкимъ, бархатнымъ мхомъ. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вамъ лѣнь пошевельнуться. Вы въ тѣни, вы дышете пахучей сыростью; вамъ хорошо, а противъ васъ кусты раскаляются и словно желтѣютъ на солнцѣ. Но что это? Вѣтеръ внезапно налетѣлъ и промчался; воздухъ дрогнулъ кругомъ: ужъ не громъ-ли? Вы выходите изъ оврага.... что за свинцовая полоса на небосклонѣ? Зной ли густѣетъ? туча ли надвигается?... Но вотъ слабо сверкнула молнія.... Э, да это гроза! Кругомъ еще ярко свѣтитъ солнце: охотиться еще можно. Но туча растетъ: передній ея край вытягивается рукавомъ, наклоняется сводомъ. Трава, кусты, все вдругъ потемнѣло.... Скорѣй! вонъ, кажется, виднѣется сѣнной сарай.... скорѣе!... Вы добѣжали, вошли.... Каковъ дождикъ? каковы молніи? Кое-гдѣ сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сѣно.... Но вотъ солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, какъ весело сверкаетъ все кругомъ, какъ воздухъ свѣжъ и жидокъ, какъ пахнетъ земляникой и грибами!...

Но вотъ наступаетъ вечеръ. Заря запылала пожаромъ и обхватила полъ-неба. Солнце садится. Воздухъ вблизи какъ-то особенно прозраченъ, словно стеклянный: вдали ложится мягкій паръ, теплый на видъ; вмѣстѣ съ росой падаетъ алый блескъ на поляны, еще недавно облитыя потоками жидкаго золота; отъ деревьевъ, отъ кустовъ, отъ высокихъ стоговъ сѣна побѣжали длинныя тѣни.... Солнце сѣло; звѣзда зажглась и дрожитъ въ огнистомъ морѣ за-

ката.... Вотъ оно блѣднѣетъ; синѣетъ небо; отдѣльныя тѣни исчезаютъ, воздухъ наливается мглою. Пора домой, въ деревню, въ избу, гдѣ вы ночуете. Закинувъ ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость.... А между тѣмъ наступаетъ ночь; за двадцать шаговъ уже не видно; собаки едва бѣлѣютъ во мракѣ. Вонъ надъ черными кустами край неба смутно яснѣетъ.... Что это? — пожаръ?... Нѣтъ, это восходитъ луна. А вонъ внизу, направо, уже мелькаютъ огоньки деревни.... Вотъ наконецъ и ваша изба. Сквозь окошко видите вы столъ, покрытый бѣлой скатертью, горящую свѣчу, ужинъ....

А то велишь заложить бѣговыя дрожки и поѣдешь въ лѣсъ на рябчиковъ. Весело пробираться по узкой дорожкѣ, между двумя стѣнами высокой ржи. Колосья тихо бьютъ васъ по лицу, васильки цѣпляются за ноги, перепела кричатъ кругомъ, лошадь бѣжитъ лѣнивой рысью. Вотъ и лѣсъ. Тѣнь и тишина. Статныя осины высоко лепечутъ надъ вами; длинныя, висячія вѣтки березъ едва шевелятся; могучій дубъ стоитъ, какъ боецъ, подлѣ красивой липы. Вы ѣдете по зеленой, испещренной тѣнями дорожкѣ; большія желтыя мухи неподвижно висятъ въ золотистомъ воздухѣ и вдругъ отлетаютъ; мошки вьются столбомъ, свѣтлѣя въ тѣни, темнѣя на солнцѣ; птицы мирно поютъ. Золотой голосокъ малиновки звучитъ невинной, болтливой радостью: онъ идетъ къ запаху ландышей. Далѣе, далѣе, глубже въ лѣсъ.... Лѣсъ глохнетъ.... Неизъяснимая тишина западаетъ въ душу; да и кругомъ такъ дремотно и тихо. Но вотъ вѣтеръ набѣжалъ, и зашумѣли верхушки, словно падающія волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-гдѣ растутъ высокія травы; грибы стоятъ отдѣльно подъ своими шляпками. Бѣлякъ

вдругъ выскочитъ, собака съ звонкимъ лаемъ помчится вслѣдъ....

И какъ этотъ же самый лѣсъ хорошъ поздней осенью, когда прилетаютъ валдшнепы! Они не держатся въ самой глуши: ихъ надобно искать вдоль опушки. Вѣтра нѣтъ, и нѣтъ ни солнца, ни свѣта, ни тѣни, ни движенья, ни шума; въ мягкомъ воздухѣ разлитъ осенній запахъ, подобный запаху вина: тонкій туманъ стоитъ вдали надъ желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревъ мирно бѣлѣетъ неподвижное небо; кое-гдѣ на липахъ висятъ послѣдніе золотые листья. Сырая земля упруга подъ ногами; высокія, сухія былинки не шевелятся; длинныя нити блестятъ на поблѣднѣвшей травѣ. Спокойно дышетъ грудь, а на душу находитъ странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тѣмъ любимые образы, любимыя лица, мертвыя и живыя, приходятъ на память, давнымъ-давно заснувшія впечатлѣнія неожиданно просыпаются; воображенье рѣетъ и носится, какъ птица, и все такъ ясно движется и стоитъ передъ глазами. Сердце то вдругъ задрожитъ и забьется, страстно бросится впередъ, то безвозвратно потонетъ въ воспоминаніяхъ. Вся жизнь развертывается легко и быстро, какъ свитокъ; всѣмъ своимъ прошедшимъ, всѣми чувствами, силами, всею своею душою владѣетъ человѣкъ. И ничего кругомъ ему не мѣшаетъ — ни солнца нѣтъ, ни вѣтра, ни шуму....

А осенній, ясный, немножко холодный, утромъ морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на блѣдно-голубомъ небѣ, когда низкое солнце ужъ не грѣетъ, но блеститъ ярче лѣтняго, небольшая осиновая роща вся сверкаетъ насквозь, словно

ей весело и легко стоять голой, изморозь еще бѣлѣетъ на днѣ долинъ, а свѣжій вѣтеръ тихонько шевелитъ и гонитъ упавшіе, покоробленные листья,—когда по рѣкѣ радостно мчатся синія волны, мѣрно вздымая разсѣянныхъ гусей и утокъ; вдали мельница стучитъ, полузакрытая вербами, и, пестрѣя въ свѣтломъ воздухѣ, голуби быстро кружатся надъ ней....

Хороши также лѣтніе туманные дни, хотя охотники ихъ и не любятъ. Въ такіе дни нельзя стрѣлять: птица, выпорхнувъ у васъ изъ-подъ ногъ, тотчасъ же исчезаетъ въ бѣловатой мглѣ неподвижнаго тумана. Но какъ тихо, какъ невыразимо тихо все кругомъ! Все проснулось, и все молчитъ. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нѣжится. Сквозь тонкій паръ, рòвно разлитый въ воздухѣ, чернѣется передъ вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкій лѣсъ; вы подходите—лѣсъ превращается въ высокую грядку полыни на межѣ. Надъ вами, кругомъ васъ — всюду туманъ.... Но вотъ вѣтеръ слегка шевельнется—клочокъ блѣдно-голубого неба смутно выступитъ сквозь рѣдѣющій, словно задымившійся паръ, золотисто-желтый лучъ ворвется вдругъ, заструится длиннымъ потокомъ, ударитъ по полямъ, упрется въ рощу,—и вотъ опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но какъ несказанно великолѣпенъ и ясенъ становится день, когда свѣтъ наконецъ восторжествуетъ и послѣднія волны согрѣтаго тумана, то скатываются и разстилаются скатертями, то извиваются и исчезаютъ въ глубокой, нѣжно-сіяющей вышинѣ....

Но вотъ вы собрались въ отъѣзжее поле, въ степь. Верстъ десять пробирались вы по проселочнымъ дорогамъ—вотъ, наконецъ, большая. Мимо безконечныхъ обо-

зовъ, мимо постоялыхъ двориковъ съ шипящимъ самоваромъ подъ навѣсомъ, раскрытыми настежь воротами и колодеземъ, отъ одного села до другого, черезъ необозримыя поля, вдоль зеленыхъ конопляниковъ, долго, долго ѣдете вы. Сороки перелетаютъ съ ракиты на ракиту; бабы, съ длинными граблями въ рукахъ, бредутъ въ поле; прохожій человѣкъ въ поношенномъ нанковомъ кафтанѣ, съ котомкой за плечами, плетется усталымъ шагомъ; грузная помѣщичья карета, запряженная шестерикомъ рослыхъ и разбитыхъ лошадей, плыветъ вамъ на-встрѣчу. Изъ окна торчитъ уголъ подушки, а на запяткахъ, на кулькѣ, придерживаясь за веревочку, сидитъ бокомъ лакей въ шинели, забрызганный до самыхъ бровей. Вотъ уѣздный городокъ съ деревянными, кривыми домишками, безконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строеніями, стариннымъ мостомъ надъ глубокимъ оврагомъ... Далѣе, далѣе!... Пошли степныя мѣста. Глянешь съ горы—какой видъ! Круглые, низкіе холмы, распаханные и засѣянные до-верху, разбѣгаются широкими волнами; заросшіе кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшія рощи; отъ деревни до деревни бѣгутъ узкія дорожки; церкви бѣлѣютъ; между лозниками сверкаетъ рѣчка, въ четырехъ мѣстахъ перехваченная плотинами; далеко въ полѣ гуськомъ торчатъ драхвы; старенькій господскій домъ со своими службами, фруктовымъ садомъ и гумномъ пріютился къ небольшому пруду. Но далѣе, далѣе ѣдете вы. Холмы все мельче и мельче, дерева почти не видать. Вотъ она, наконецъ—безграничная, необозримая степь!...

А въ зимній день ходить по высокимъ сугробамъ за зайцами, дышать морознымъ, острымъ воздухомъ, невольно щуриться отъ ослѣпительнаго мелкаго сверканья мягкаго

снѣга, любоваться зеленымъ цвѣтомъ неба надъ красноватымъ лѣсомъ!... А первые весенніе дни, когда кругомъ все блеститъ и обрушается, сквозь тяжелый паръ талаго снѣга уже пахнетъ согрѣтой землей, на проталинкахъ, подъ косымъ лучомъ солнца, довѣрчиво поютъ жаворонки, и, съ веселымъ шумомъ и ревомъ, изъ оврага въ оврагъ клубятся потоки....

Однако, пора кончить. Кстати—заговорилъ я о веснѣ: весной легко разставаться, весной и счастливыхъ тянетъ вдаль.... Прощайте, читатель; желаю вамъ постояннаго благополучія.

КОНЕЦЪ

ВТОРОГО ТОМА.

Типографія Глазунова, Казанская улица, № 8.